

4

Н О В Ы Й  
М И Р

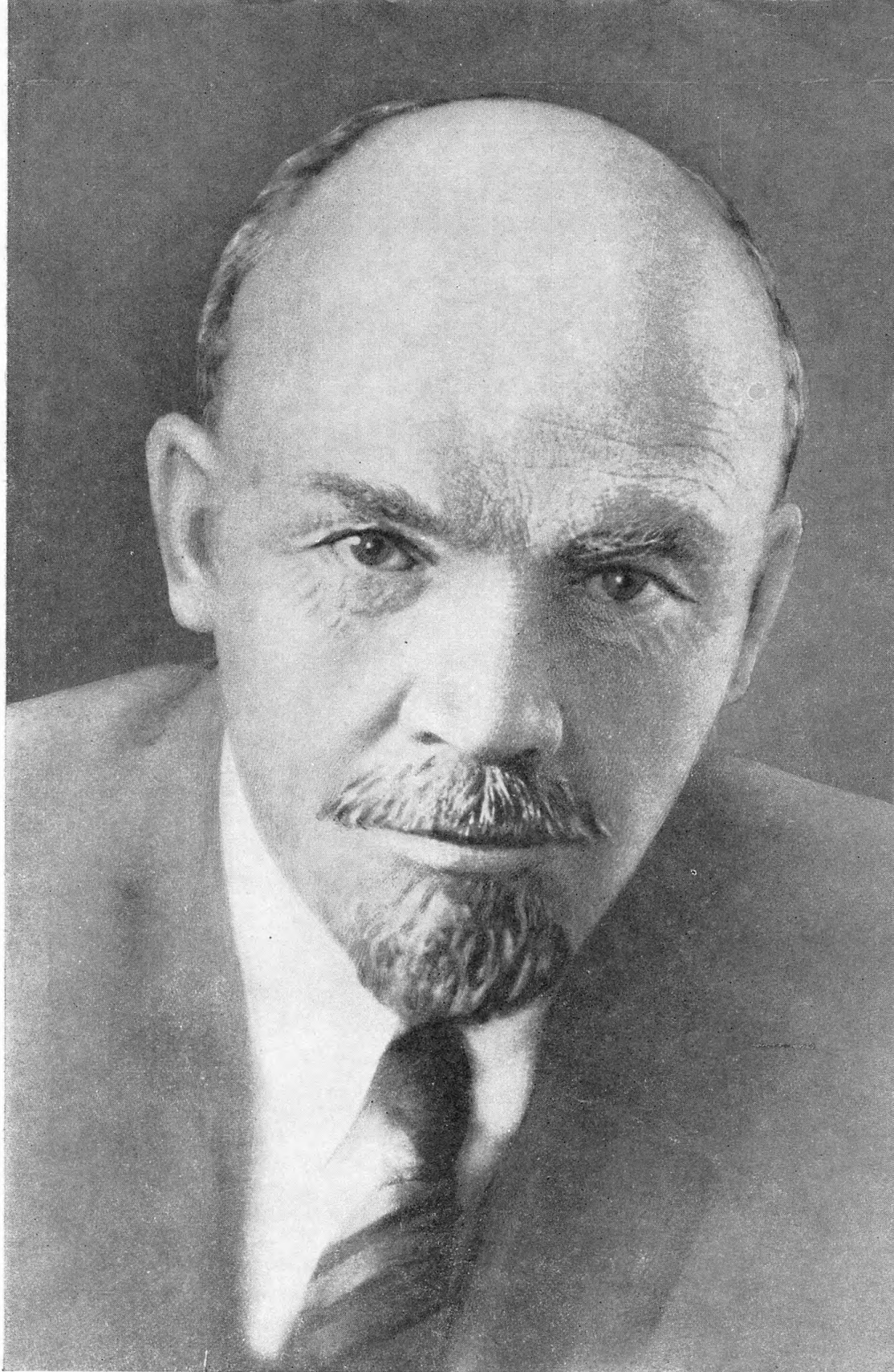
Н О В Ы Й  
М И Р

1960

4



1960



1870 — 22 апреля — 1960  
Девяносто лет со дня рождения  
Владимира Ильича Ленина



# НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVI

№ 4

Апрель, 1960 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ИРЖИ ТАУФЕР — О рождении великой радости, стихи. Перевел с чешского Мих. Луконин	3
Е. ДРАБКИНА — Золотая осень	6
МАКСИМ ТАНК — Пять стихотворений. Перевел с белорусского Я. Хелемский	46
ЕФИМ ЗОЗУЛЯ — Рассказы о Ленине	49
СЕРГЕЙ АНТОНОВ — Аленка, повесть	60
ВЛАДИМИР СОКОЛОВ — Волнение, стихи	105
МУХТАР АУЭЗОВ — Серый Лютый, рассказ. Авторизованный перевод с казахского Алексея Пантиелева	106
ФАИЗ АХМАД ФАИЗ — Стихи из тюрьмы. Перевод с урду и предисловие Ал. Суркова	120
В. КУКИНОВА — Исчезнувшие слова	126
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>	
М. ФОФАНОВА — Как рождался декрет о земле	144
К. ЗЛИНЧЕНКО — Ленин и работники печати	149
Н. СЕМАШКО — Многогранность, целеустремленность Ильича	152
Академик И. МАЙСКИЙ — На социалистическом конгрессе в Копенгагене	154
М. ИНЮШИН — По великому плану	167
<b>МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ</b>	
Кандидат исторических наук Е. Подвигина. История одной дарственной надписи	210
<b>ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ</b>	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	214
Вл. Рубин. Поэты без читателей, критики без взглядов... — Р. Орлова. В поисках знамени.	
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
<i>Обсуждаем проблемы современного романа</i>	
С. БАБЕНЫШЕВА — Солдаты идут на проверку	224
Л. ШВЕЦОВА — Против недоверия к романтике	232

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

О НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ	Стр.
Ю. Вебер. Жажда ясности — жажда переживаний.— А. Смирнов-Черкезов. О научном и художественном познании.— А. Ивич. Заметки на полях статьи.	238

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Политика и наука</i>	250
Н. Стриевская. Н. К. Крупская о Ленине.— И. Зборовский. Живое слово Ленина.— Р. Лавров. Волнующие документы.— А. Бельская. Тринадцать дней, которые вселили надежду.— В. Твардовская. Книга об Ипполите Мышкине.	
<i>Литература и искусство</i>	265
Н. Атаров. Всегда в пути.— Г. Владимов. Пародии и мелодии.— М. Блинова. Роман о молодежи.— Ю. Барабаш. Разговор, который должен быть продолжен.— В. Лакшин. Взгляните на звезды.	
КОРОТКО О КНИГАХ	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

---

---

ИРЖИ ТАУФЕР

★

## О РОЖДЕНИИ ВЕЛИКОЙ РАДОСТИ

(С чешского)

Вы можете улыбаться, и действительно  
вы улыбаетесь  
Тому, что день этот ваш  
и что завтрашний будет таким же,  
Что сегодня оставили плуг и станок свой, иглу  
отложили,  
Чтоб прогуляться по улице вашей.  
Не слишком сердитесь на пессимистов, глумцов:  
Если вы — соль земли, то они — ее перец.  
Ведь земля эта — ваша и ваши на ней города...

Камнем витрину разбить  
не придется вам завтра,  
Для того чтобы на зиму  
крышу и хлеб получить за решеткой.  
Вагоны везет паровоз, и в голову вам не приходит,  
Что человеку открыл его тайну бьющий  
из чайника пар.  
Мост возник в голове человека, увидавшего  
тонкий чертеж паутины.  
Наверно, вот так же в согнутых спинах  
рабочих Ист-энда  
Маркс угадал будущий подвиг,  
Взятие Зимнего,  
Лобовую атаку на его этажи.

Без страха вы будете жить  
И не будете жить без работы.

Было нам столько раз тяжело,  
Было тоскливо на сердце.

Но знали мы —  
Был Октябрь.  
Знали мы —  
Есть Россия,  
Есть революция,  
Смывшая прошлое с наших сердец,  
Как застарелую грязь ливень уносит  
из высохших русел.

Революция — великая радость,  
И Ленин — ее глашатай.

Ленин,  
Для меня он выше всех дат, юбилеев  
и восхвалений.

Потому что наш Ленин —  
в миллионах событий, явлений,  
Которые не перестают плыть, бороться и течь  
передо мной.

Ленин был для меня в уверенном жесте рабочего,  
произносящего речь на трибуне.

Ленин был для меня тем разносчиком седоволосым,  
что бросал мне в окно «Руде право».

Ленин был для меня в стратегических планах  
забастовщиков Эйслерка,

Ленин был для меня в каждой искре,  
разгоравшейся в пламя.

Ленин был для меня  
в ощущении скорости поезда,  
увозящего меня из старого мира.

Ленин был для меня в сознании права  
плюнуть в лицо  
каждой низости, трусости, каждой неправде,

Ленин был для меня в наборщике Альбине,  
писавшем на стенках:  
«Да здравствует СССР!»

Ленин был для меня свободой, которую пил я  
большими глотками  
в Цейле<sup>1</sup> за решеткой.

Ленин был для меня в том смехе веселом,  
которым мы бедность свою украшали.

Ленин был для меня в Днепрострое, в натянутом  
луке плотины,  
превзошедшем красу Колизея.

Ленин был для меня незнакомым рабочим  
на пристани Гамбурга —

В мае тридцать третьего года он приветствовал  
меня  
поднятым кулаком.

Ленин был для меня командой «Красина»,  
спасшей пилотов «Италии» во время  
крушенья.

Ленина видел я в негре,  
том, что сегодня бежит от расправы,  
а завтра Африку поднимет к борьбе.

Ленин был для меня красноармейцем, ведущим  
по улицам Праги  
за руку сына моего.

Ленин был для меня в безыменном герое, что лежит  
на Ольшанском кладбище.

Ленин был для меня горняком астурийским,  
что в огне баррикад ртом держал  
динамитные шашки.

<sup>1</sup> Цейла — тюрьма.

Ленин был для меня миллионами тех, кто погиб,  
 чтоб дошел этот танк, водруженный  
 на Смихове, в Праге.

Ленин был для меня в красном флаге,  
 пламенеющем над Кремлем.

Ленин —  
 Для меня он выше всех дат, юбилеев и восхвалений,  
 Для меня он в миллионах событий, явлений,  
 Которые не перестают течь, бороться и плыть,  
 словно водоворот,  
 Которые превращались и превращаются  
 в движенье вперед,

Подобно силе,  
 Поднимающей в бой людей,  
 Как тепло поднимает в термометрах столбики  
 ртути.

Для меня Ленин  
 Прост и велик, как жизнь и радость,  
 Столько раз арестованная, оскорбленная,  
 освищенная.

Для меня Ленин —  
 Это партия,  
 Воспеваемая и прекрасная без преклонений,  
 Ведь она и сама ни перед кем не преклоняет  
 коленей.

Я могу только прямо стоять перед ней,  
 как живущий в грядущем,  
 Как один из ее строителей.

Это партия.  
 Которой я не рукоплещу, как явлению свыше,  
 Как сердцу собственному не рукоплещу за то,  
 что бьется,

Как глазам не рукоплещу за то, что я вижу,  
 Как ушам своим — за то, что замечательно слышу,  
 И мозгу — за то, что я мыслю.

Как не аплодировал матери — я обнимал ее тихо,  
 Как не рукоплескал бы отцу — я бы только  
 пожал ему руку,

Как себе не рукоплещу я за то, что наследую  
 мудрость всех поколений,  
 Как не рукоплещу я далям, к которым должен  
 пробиться.

Я смотрю на них, как электрик на мачте  
 с проводами высокого напряжения,  
 Как азербайджанский рабочий с нефтяной своей  
 вышки

В сиянии социализма, льющего свет  
 и в стихи моей книжки.

*Перевел Мих. Луконин.*

(Печатается с сокращениями)





---

Е. ДРАБКИНА

★

## ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Крупным планом

**М**осква. 1919 год. Середина лета. Солнце, жара. Поперек Охотного ряда протянут плакат Всеобуча: «Тогда лишь гражданин чего-нибудь достоин, когда он гражданин и воин!» Газеты зовут: «Все на борьбу с Деникиным!»

Как-то под вечер, возвращаясь домой, я встретила маму на лестнице. Она куда-то спешила, сунула мне ключ от квартиры, на ходу сказала, что отец<sup>1</sup> в Москве и просит меня прийти к нему в Главный штаб, помещавшийся в бывшем Александровском военном училище на Знаменке (ныне улица Фрунзе).

Пропуск мне был заказан. Я поднялась на второй этаж. Отец сидел в большой комнате за столом, заваленным бумагами. Позади него на стене висела карта. Линии фронтов были обозначены флажками.

Отец сказал, что его назначили членом Революционного военного совета республики и что теперь он будет работать в Москве. Потом спросил обо мне. Разговор наш часто прерывался телефонными звонками.

В комнату никто не заходил, мы были все время вдвоем. Но вот в дверь постучали. Я, чтобы не мешать, быстро пересела в кресло, стоявшее в углу. Отец сказал: «Войдите».

В комнату вошел человек лет пятидесяти пяти. Его осанка и легкость, с какой он носил свое большое, грузное тело, выдавали кадрового военного. Волосы у него начали редеть, густая черная борода казалась крашеной. На лице играла добродушнейшая, приветливейшая улыбка.

Этот человек почему-то сразу показался мне крайне неприятным. Не замеченная им, я враждебно следила за каждым его движением. Отец же, напротив, дружелюбно пожал ему руку, осведомился о здоровье, называл по имени-отчеству Сергеем Александровичем, любезно протягивал портсигар, предлагая папиросу.

Разговор между ними шел о перебросках воинских частей. Этот Сергей Александрович предлагал снять с одного из фронтов значительные воинские соединения и перебросить на другой фронт. Отец соглашался, необычным для него тоном поддакивал, лицо его при этом стало, пожалуй, даже несколько глуповатым. Выслушав своего собеседника до конца, он попросил его еще раз повторить свои предложения и выдвинул ящик стола, чтобы взять лист бумаги и записать их.

Отец нагнул голову и пошарил рукой в ящике. Сергей Александро-

---

<sup>1</sup> Речь идет о С. И. Гусеве, члене КПСС с 1896 года, в годы гражданской войны — военном работнике.

вич взглянул на него, думая, что его самого в эту минуту никто не видит. Что это был за взгляд! Сколько в нем было ненависти!

— Слушаю вас,— сказал отец, подняв голову.

Сергей Александрович повторил свои предложения. Раскатиисто распрощался и пошел к двери. Еще раз обернулся — улыбочный, приветливый. Его провожала любезная, снова чуть глуповатая улыбка отца.

Но как изменился отец, едва тот вышел! Каким тяжелым и сумрачным стал его взгляд!

— Кто это? — не утерпев, спросила я.

— Это? — Отец говорил, как человек, который возвращается из глубокого раздумья.— Это начальник оперативного отдела Главного штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии Кузнецов.

Интонация его показалась мне чем-то странной, но я промолчала.

Он помедлил. Поднял трубку. Попросил соединить его с кабинетом Ленина. Сказал, что надо бы потолковать.

— Сейчас? — переспросил он.— Хорошо, Владимир Ильич. Дочка? Она у меня сидит. Прихвачу, прихвачу...

Вот, собственно, и все. Два взгляда, как бы увиденных крупным планом. О том, что таилось за ними,— после.

### Вечер в Кремле

Мы пришли в Кремль часу в десятом вечера. Владимир Ильич и Надежда Константиновна были у себя. Одеты они были по-домашнему: он — в стареньком пиджаке из альпага, она — в ситцевом платье в горошек.

Разговор отца с Владимиром Ильичем был сугубо секретный, и они ушли в другую комнату. Мы с Надеждой Константиновной остались на кухне. Она что-то чинила, я рассказывала, как жила все то время, что мы не виделись.

Потом Владимир Ильич и отец вернулись. «Ну и ну!» — сказал Владимир Ильич в дверях, оборотясь к отцу, и встряхнул головой, будто желая что-то от себя отогнать.

Он не сразу сел к столу, а прошелся по кухне, затем решительным движением повернул стул, уселся на него верхом и, положив руки на спинку, принялся расспрашивать отца о военных делах.

Разговор шел в быстром темпе. Владимир Ильич задавал односложные вопросы: кто? где? как? когда? сколько? Выслушав ответы, часто поругивался. Любимыми ругательными словечками его были «болван полосатый», «рохля», «безрукий растяпа».

Сначала речь шла о положении на Южном фронте, которое внушало обоим собеседникам чрезвычайную тревогу. Потом заговорили о только что назначенном Главнокомандующем вооруженными силами республики Сергее Сергеевиче Каменеве.

— Он производит очень хорошее впечатление,— сказал Владимир Ильич.— Когда был у меня, высказал мысль, что в гражданской войне военные действия являются первым средством политики и политика с оружием в руках прокладывает себе дорогу. Интересное применение положения Кляузевица о войне, как продолжении политики, к условиям гражданской войны.

Владимир Ильич сделал паузу и добавил:

— Да, имеется у наших военных специалистов, даже у лучших, воспитанная окопной войной склонность воевать для того, чтобы воевать, а не для того, чтобы побеждать. Но Каменев это понимает...

Потом заговорили о новых военачальниках и полководцах, выросших в ходе гражданской войны, — о Блюхере, Азине, Чевереве, Буденном.

Владимира Ильича живо интересовали операции, в которых проявились народный ум и находчивость этих военачальников.

Отец с увлечением рассказывал ему о том, как Буденный, конница которого тогда только что была создана, хитро водил по степным просторам свои полки. Как он описывал круги и восьмерки, заставляя преследовавшего его противника голодать и изнывать от жажды, в то время как его люди и кони были всегда накормлены и напоены. Как сам он делал переходы ночью, по холодку, а противника принуждал двигаться днем, по солнцепеку.

Много рассказывал отец Владимиру Ильичу о рано погибшем Александре Михайловиче Чевереве, которого близко знал.

Рабочий-деревообделочник, член партии с 1908 года, Чеверев во время наших тяжелых поражений на Восточном фронте в 1918 году сумел пробиться из Уфы со своим отрядом через расположение противника и соединиться с нашими войсками.

Примечательной чертой Чеверева было то, что на небольшом опыте командования двухтысячным отрядом он учуял своим пролетарским инстинктом слабые стороны паргизанщины и понял, что без военных знаний нельзя командовать. Он неоднократно приходил в штаб 2-й армии и беседовал с членами Реввоенсовета армии Шориным и моим отцом.

Он часто повторял, что главная беда в неумении командовать. Бить во фланг? А как ударить во фланг — этого-то, мол, и не знаем. Эх, если бы только подучиться немного, всю бы эту сволочь живо расколодили! Учиться, учиться надо!

Он внимательно прислушивался к каждому указанию и в первых же операциях обнаружил свои способности. В наступлении на Ижевск полк Чеверева оказался самым боевым. После Ижевско-Воткинской операции он добился, чтобы его послали в Академию генерального штаба, но, не проучившись и двух месяцев, сбежал от царившей там схоластики.

— Артиллерию начинают с персидской и греческой катапульты, — жаловался он отцу. — На черта мне эта катапульта, ежели гражданская война разгорается с каждым днем! Дьявол их заberi вместе с их катапультой!..

Потом разговор перешел на новые формы борьбы, возникшие благодаря особым качествам нового, революционного солдата и нового командира в условиях новой армии, ведущей гражданскую войну.

Поговорить тут было о чем! Народ, создающий свою армию, вложил в это дело все свое умение. Это он породил знаменитую пулеметную тачанку. Это он, когда не хватало бронепоездов, устанавливал на товарные платформы орудия и пулеметы, восполняя отсутствие брони мешками с песком. Так появились на свет бронепоезда со звучными названиями «Ленинец», «Молния», «Борец», «Смерть белым».

Отец рассказывал Владимиру Ильичу о том, как во время наступления на Уфу наши части вышли на берег реки Белой. Никаких технических средств для переправы не было. Реку пришлось форсировать на лодках, кавалерия переправлялась вплавь. Темп операции сильно замедлился. В это время к командованию явился рядовой красноармеец, сказал, что он плотник и что беретя навести переправу с помощью пустых бочек и досок, почти без гвоздей. Несмотря на быстрое

течение и огонь противника, переправа была наведена и оставшиеся части и обозы переброшены на другой берег.

Так, за разговорами, прошел вечер. Пора уже было уходить. Но тут Владимир Ильич, лукаво посмотрев на Надежду Константиновну («Разрешит? Не разрешит?»), сказал:

— А что, Сергей Иванович, если нам воспользоваться тем, что вы здесь и работать все равно уже не будете, позвать сюда Красикова и немножко помузицировать?

Надежда Константиновна разрешила. Позвонили Красикову — это был один из деятельных участников женевской группы большевиков в эпоху II съезда партии. Жил он в Кремле и минут пять спустя пришел со своей скрипкой.

С его приходом все переменялось. Он вошел, напевая какую-то французскую песенку. Отец подхватил. Владимир Ильич и Надежда Константиновна переглянулись, расхохотались — видимо, эта песенка напомнила им что-то смешное. И вдруг они все четверо наперебой заговорили о Женеве, о Мартове и Плеханове, о спорах в эмигрантской столовке на Рю Каруж, о времени страстной борьбы с меньшевиками после II съезда партии. Вспоминали всяческие перипетии этой борьбы — и трагические, и комические.

Из их разговора мне запомнилась довольно забавная история, которая произошла с одним из русских социал-демократов в день его приезда из России в Женеву.

Отправляясь за границу, этот товарищ приобрел самоучитель французского языка. Перелистывая его, он узнал, что буква «е» на конце слов во французском языке не выговаривается. Потом он нашел личное местоимение «я» — по-французски «je», — но не обратил внимания на то, что оно произносится «жэ», и решил, что его надо произносить «ж».

В Женеве он остановился в старой части города, в одном из тех узких высоких домов, каждый этаж которых состоит из одной комнаты, а квартира представляет собой несколько этажей.

Оставив вещи, он отправился на явку и домой вернулся поздно, когда хозяева уже спали. Он постучал дверным молотком. Окно в верхнем этаже раскрылось, и в нем появилась голова в ночном чепце.

— Qui est ça? (Кто там?) — донеслось оттуда.

— Жжжжжж, — ответил он.

— Qui est ça? — снова послышалось сверху.

— Жжжжжж, — опять прозвучало в ответ.

Так он стоял и жужжал, пока окошко не захлопнулось. Ночевать ему пришлось на скамейке в городском саду.

Надежда Константиновна предложила перейти в ее комнату. Владимир Ильич сел на диван, Надежда Константиновна — рядом с ним.

Красиков поднял смычок и вопросительно посмотрел на отца. Тот утвердительно кивнул, и Красиков начал играть вступление к опере «Паяцы».

Владимир Ильич сидел, откинувшись назад и прикрыв глаза левой рукой. Видно было, что он весь превратился в слух. Скрипка не могла, разумеется, передать многоголосое звучание оркестра. Но Красиков неплохо ею владел, а главное, все так изголодались по музыке, что не могли не испытывать наслаждения.

В том месте, где раздвигается занавес и на сцену выходит актер, исполняющий партию «Пролога», зазвучал голос моего отца.

Я уже не раз слышала и от мамы и от товарищей отца рассказы о его голосе. Особенно мне запомнилась история о том, как он получил предложение стать солистом Маринского театра.

Петербургской зимой 1896 года, на рождество, в Марининском театре шло праздничное представление. Давали «Пиковую даму». Партию Германа пел знаменитый Николай Фигнер.

После очередного выхода Фигнера поднялась буря аплодисментов. Фигнер, раскланиваясь, вышел на авансцену. И тут с галерки, перекрывая шум, раздался сильный молодой голос:

— Bravo, Фигнер! Bravo!

И с той же силой этот голос удивительно точно и музыкально, но в басовом ключе пропел несколько фраз из арии, только что исполненной Фигнером.

В антракте к одному из студентов, занимавших места на галерке, подошел капельдинер и отозвал его в сторону. Спутники студента тревожно переглянулись. Но он, поговорив с капельдинером, весело махнул им рукой — мол, не беспокойтесь, скоро вернусь.

Капельдинер проводил его в уборную Фигнера. Фигнер перед зеркалом поправлял грим. Когда студент вошел, Фигнер пересел к роялю и предложил студенту спеть что-нибудь по его выбору. Тот выбрал «Эпиталаму» из рубинштейновского «Нерона». Прослушав его пение, Фигнер спросил, не желает ли он принять участие в конкурсе на предмет вступления в качестве солиста в труппу Марининского театра.

— Нет,— сказал студент.— Не желаю.

— Почему же? — спросил Фигнер.— При вашей музыкальности и вокальных данных вы можете рассчитывать на прекрасную карьеру.

Студент пожал плечами.

— Каждому свое,— сказал он.— Одному быть солистом его императорского величества, другому...

Он не договорил, но это было и не нужно. Фигнер понял, что студент, говоря о «других», подразумевает его сестру — Веру Николаевну Фигнер, народоволку, находившуюся в пожизненном заключении в Петропавловской крепости.

— Тогда прощайте,— холодно сказал Фигнер.

— Прощайте,— весело ответил студент и бегом, через три ступеньки, помчался на галерку к своим товарищам.

В этот вечер у Владимира Ильича отец пел негромко, в четверть голоса. В открытое окно было видно звездное небо. Голос отца то усиливался, то становился глуше.

Так он провел всю партию. Оставалась лишь одна фраза, последняя фраза. И тут отец не сдержался. Он вскочил, сделал шаг вперед, протянул к Владимиру Ильичу обе руки и взволнованно пропел в полную силу:

— Итак, мы начинаем!

Был в этом такой порыв, такая глубина чувства и мысли, что и для слушателей и для певца «Пролог» прозвучал не как пролог к рассказу о трагической судьбе семьи паяцев, а как совсем иной пролог к совсем иным событиям...

### Наша «Свердловка»

Я училась в то время в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова, в просторечии — «Свердловке». Помещался он в начале нынешней улицы Чехова, именовавшейся тогда Малой Дмитровкой, в здании, которое теперь занимает Театр имени Ленинского комсомола.

Здание это было выстроено когда-то для Московского купеческого собрания. После революции оно было захвачено анархистами, и в нем

расположился Главный штаб московской федерации анархистов. Дом был переименован в «Дом анархии», над входом вывешен огромный черный флаг, на крыше установлены орудия и пулеметы. Когда в апреле 1918 года производилась ликвидация анархистских групп, засевшие в здании оказали сильное сопротивление, и их пришлось вышибать артиллерийским огнем.

Затем в доме разместились Курсы по подготовке партийных и советских работников, которые были преобразованы в университет имени Свердлова.

Был особый, глубокий смысл в том, что после смерти Я. М. Свердлова Центральный Комитет партии и Советское правительство решили создать Коммунистический университет его имени, призванный, по слову Ленина, «...собрать здесь несколько сот рабочих и крестьян, дать им возможность заняться систематически несколько месяцев, пройти курс советских знаний, чтобы двинуться отсюда вместе, организованно, сплоченно, сознательно для управления, для исправления тех громадных недостатков, которые еще остаются...».

В «Свердловке» была только одна общая аудитория, устроенная в бывшем зале. Кафедру для лектора поставили в простенке между окнами, у ее подножия разместили стулья. Лектор оказывался как бы в центре полукруга, образованного слушателями.

После купцов осталась кое-какая утварь, по большей части совершенно нелепая: мебель, посуда, оленьи рога (на них мы вешали шинели и красноармейские фуражки), фарфоровые вазоны для омовения пальцев после вкушения спаржи (в них подавали жидкую кашу, когда по карточкам отпускалась крупа).

«Чуден вид нашей «Свердловки», когда вольно и плавно рассаживается она на стульях, на которых еще недавно восседали жирные купеческие зады...» — гласило начало сложенной нами в те далекие времена «оды».

Да, чуден был вид нашей «Свердловки»: худые лица, горящие глаза, потертые шинели. Лохматые парни, стриженные по-мальчишески девушки. Все вечно голодные, с туго затянутыми поясами, с торчащими под мышкой потрепанными тетрадами...

Трудовой день начинался в семь утра и заканчивался далеко за полночь. Сначала лекции. Затем практические занятия. Затем работа над книгой. Затем выступления на митингах, собрания, субботники. Затем разговоры, песни, споры.

Срок обучения был трехмесячным. Большую часть слушателей составляли полуграмотные рабочие и крестьяне. Но и для тех, кто был грамотнее, все услышанное здесь оказалось внове.

Лекции читали лучшие в партии знатоки той или иной дисциплины. За немногими исключениями, они не были учеными или научными работниками и свои обширные, порой энциклопедические познания почерпнули в «тюремных университетах». Все эти люди вели большую государственную работу. Для чтения лекций им приходилось урывать несколько часов из своего предельно загруженного дня.

Курс истории партии вел Николай Николаевич Батулин, автор первой книги по истории российской социал-демократии. Лекции по истории революционного движения в России читал Михаил Николаевич Покровский. Ученый-историк, он отказался от профессорской карьеры, в момент Октябрьского переворота был одним из руководителей восстания и своим революционным темпераментом заслужил у московских рабочих прозвище «лихой старик».

Политическую публицистику (был и такой предмет!) преподавал Вацлав Вацлавович Воровский. Занятиями по антирелигиозной пропаганде

руководил Емельян Ярославский. Курс партийного строительства и практические занятия по партийной работе вел секретарь Московского Комитета партии Александр Федорович Мясников.

Несколько занятий, посвященных работе агитатора и пропагандиста, у нас провел Михаил Иванович Калинин.

С седеющей бородкой, в очках, в темном пиджаке и черной сатиновой косоворотке, подпоясанной ремнем, с палочкой в руке — таким был Калинин, тверской крестьянин, питерский рабочий, старый коммунист. Таким был он до Октября, когда работал слесарем на Путиловском заводе. Таким был он и после Октября, когда сделался председателем Петербургской городской думы. Таким он остался и тогда, когда после безвременной смерти Якова Михайловича Свердлова был избран на высший правительственный пост в стране — председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

Другого такого народного агитатора, как Калинин, на свете не было. Недаром Владимир Ильич Ленин, рекомендуя избрать его на пост председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, говорил: «Это товарищ, за которым около двадцати лет партийной работы: сам он крестьянин Тверской губернии, имеющий тесную связь с крестьянским хозяйством и постоянно обновляющий и освежающий эту связь. Петроградские рабочие сумели убедиться, что он обладает умением подходить к широким слоям трудящихся масс, когда у них нет партийной подготовки. Когда пропагандисты и агитаторы не могли подойти к ним товарищески и умело, тогда тов. Калинин уداвалось разрешить эту задачу».

Именно на него Владимир Ильич больше всего полагался в проведении руководящей линии партии по отношению к среднему крестьянству. И Михаил Иванович со своим агитационным поездом «Октябрьская революция» разъезжал по стране, останавливался на станциях, выезжал в действующие части, созывал митинги. За короткое время его услышало несколько сот тысяч человек.

Своим опытом работы с народом Михаил Иванович и пришел поделиться с нами, молодыми членами партии.

Он сел за стол, снял очки в железной оправе, провел рукой по уставым глазам, снова надел очки и сказал:

— Большое это дело, товарищи. Великое дело. И трудное.

Михаил Иванович помолчал и задумался, как бы подыскивая слова.

— С чего же нам начать? — снова заговорил он. — Не буду рассказывать вам, что на беседу с народом надо идти, хорошо подготовившись, — вы это и без меня знаете. Не буду рассуждать и о том, составлять или же не составлять заранее конспект, — на это у каждого своя привычка: одному лучше с конспектом, а другому — без него. Все это — дело шестнадцатое. Главное в ином. Главное прежде всего в том, чтобы идти к народу смело, говоря ему в глаза правду. Больше всего бойтесь тихих, гладких собраний, похожих на то, будто на холодную воду вылили растопленное сало, — оно на воде и застыло. Если собрание покрылось такой коркой, это значит, что ни вы не услышали людей, ни они вас не услышали. Чуть появилась эта корка, ищите заветное слово, которым вы сумеете ее растопить...

Таковы были наши учителя.

Спасибо вам, дорогие товарищи, за то, что вы учили нас умному!

Истины, которые в наши дни являются достоянием широких масс, были для нас тогда подлинным откровением. Возможность достать книгу

Маркса, Энгельса, Ленина — событием. Для многих свердловцев эти книги были чуть ли не первыми книгами после букваря.

Однажды ночью, когда студенческое общежитие было погружено в сон, раздался крик:

— Товарищи! Вставайте! Мировая революция началась!

Кричал Олекса Рябов, молодой красноармеец из крестьян Воронежской губернии, изъяснявшийся на причудливой смеси русского и украинского языков.

Все повскакали. Не сразу догадались спросить у Олексы, какими, собственно, сведениями насчет мировой революции он располагает.

Он сказал:

— Ось, подивиться! Це у книжки написано. У Маркса.

Кривым пальцем, на котором белел шрам — память о казацкой сабле, — показал: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма».

Как ни велика была наша учебная и партийная нагрузка, слушатели организовали кружок, который решил изучать «Капитал». Книга Маркса была библиографической редкостью, в библиотеке нашего университета мы ее не нашли. К счастью, оказалось, что у кого-то из наших есть товарищ, работающий в типографии, в которой как раз печатается новое издание «Капитала». Этот товарищ согласился давать нам оттиски при условии, что мы будем быстро их прочитывать.

Но как выкроить время? В течение дня у нас не оставалось свободной минуты. Где найти место для чтения? Учебное здание на ночь запиралось, а в общежитии мы мешали бы другим товарищам.

Выход был найден: улица! Ночи стояли теплые, темнело поздно, светало рано. Можно было отлично устроиться где-нибудь на бульваре или на каменной лесенке, спускающейся к Москве-реке.

Отныне то с вечера, то на рассвете мы собирались в условленном месте, чтобы читать мажущиеся типографской краской оттиски «Капитала».

В синем вечернем небе зажигались звезды, когда мы заканчивали главу о меновой стоимости. Под звонки первых трамваев мы приступали к чтению раздела о денежной форме стоимости. Бронзовый Пушкин слушал вместе с нами страницы о товарном фетишизме.

Мы не могли уже сделать и шагу, не вспоминая Маркса, не разговаривая языком Маркса. Быстро опустела миска с селедочной похлебкой — ну можно ли по этому поводу не сказать, что «способность переваривать пищу вовсе не тождественна с фактическим перевариванием пищи»? Спор по поводу того, удастся ли выменять брюки, просвечивающие на неудобосказуемом месте, на хлеб, — ну как тут не вспомнить, что в отличие от этих брюк Марксов сюртук «является носителем стоимости, хотя это его свойство и не просвечивает сквозь его ткань, как бы тонка она ни была»? Ребенок юной свердловки, покоящийся в колыбели, — как не сочинить по этому поводу новую колыбельную?

Спи, свердляр потенциальный,  
Баюшки-баю,  
Светит Маркса свет астральный  
В колыбель твою.

Стану сказывать я сказки,  
Сделаю прогноз,  
Ты ж дремли, закрывши глазки,  
Умственный колосс!



### Душа Советской власти

Самым значительным событием в истории нашего выпуска была встреча с Владимиром Ильичем Лениным и его лекция «О государстве».

Мы давно знали, что Владимир Ильич должен прочесть у нас лекцию. Мы знали даже примерную дату этой лекции, установленную учебным планом: десятое — двенадцатое июля. Но сумеет ли Владимир Ильич прийти? Ведь Москва переживала тогда тяжкие дни. В течение мая и июня Колчак занял Уфимскую губернию, откуда должен был прибыть хлеб для московских рабочих. Затем Деникин отрезал самые хлебобродные районы Украины. Москва осталась без хлеба. Положение было угрожающим. Но, несмотря на все это, одиннадцатого июля, в назначенный день и час, Владимир Ильич прочел в «Свердловке» свою лекцию!

О том, что он будет у нас, мы узнали накануне. Хотя забота об одежде и внешности в те времена считалась зазорной, все тут же стали приводить себя в порядок: латать локти, чистить сапоги, пришивать пуговицы и белые воротнички.

Лекционный зал был чисто убран, на кафедре поставлен букет цветов, для встречи Владимира Ильича у входа дежурила специальная делегация, приготовившаяся произнести торжественную речь.

Но пока делегаты с замиранием сердца всматривались в даль, Владимир Ильич потихоньку подошел к зданию, вошел в него боковым ходом, направился в учебную часть, потолковал с работниками университета, расспросил, как студенты занимаются, чем их кормят, и прошел в аудиторию.

Лекция «О государстве», которую он прочел в тот день, представляла собой блестящее изложение марксистской теории государства.

Трудно себе представить, что эта лекция читалась в то время, когда — в который уже раз! — над Советской республикой нависла смертельная опасность. В то время, когда в Лондоне, в доме на Даунинг-стрит, сколачивался блок четырнадцати государств для крестового похода против Советской России и, склонившись над картой, интервенты подсчитывали сроки падения Москвы, — в это время Ленин в Москве заканчивал свою лекцию словами, какими обычно заканчиваются спокойные профессорские лекции: «Надеюсь, что к этому вопросу мы в следующих лекциях вернемся — и неоднократно».

После лекции Владимир Ильич прошел в соседнюю комнату. Тут его обступили слушатели университета и сразу засыпали вопросами о положении на фронтах, о III Интернационале, о хлебе для Москвы. Мы спрашивали об этом Владимира Ильича не только для себя, но и для того, чтобы передать его слова московским рабочим, перед которыми каждому из нас приходилось выступать.

Владимир Ильич внимательно ответил на все наши вопросы, потом сказал:

— Положение наше трудное, архитрудное, и главный, даже единственный выход для нас — это идти открыто в самые широкие массы, рассказать им, что мы со всех сторон окружены, что Красная Армия истекает кровью, что нужно терпение, напряжение сил, еще один прыжок через голод и нужду — и мы победим. Если вы разъясните народу всю правду, если откроете перед ним всю душу Советской власти, голодные русские рабочие совершат чудо и в борьбе против хищников всего мира спасут Советскую Россию. Это будет чудом, но это чудо совершится...

## История с Домом союзов

Десятого августа Деникин, воспользовавшись тем, что один из участков нашего Южного фронта на Новохоперском направлении оказался открытым, бросил в прорыв конный казачий корпус генерала Мамонтова численностью до десяти тысяч сабель. Мамонтовцы ворвались в Тамбов, под колокольный звон уничтожили памятник Карлу Марксу, устроили еврейский погром, насильствовали женщин, убивали и вешали евреев, рабочих, коммунистов.

Подоспевшие красноармейские части стремительным ударом выбили мамонтовцев из города. Уже в первых столкновениях выяснилось, что мамонтовцы уклоняются от боя, уходят глубже в советский тыл. По пути они расстреливали рабочих, бедняков, семьи коммунистов и красноармейцев, насильствовали женщин, угоняли скот и лошадей, грабили население, сдирали с церковных икон золотые ризы, взрывали мосты, обрывали провода, сжигали и разбивали паровозы и вагоны.

Посылая Мамонтова в рейд, Деникин рассчитывал посеять панику в наших рядах и надеялся, что такая организованная контрреволюционная сила сплотит дезертиров, кулацкие и несознательные элементы деревни и поднимет пожар крестьянской войны против большевиков.

Ни то, ни другое не вышло.

Разорванный мамонтовской конницей Южный фронт, пропустив ее, вновь соединился и продолжал свои боевые операции. Что до крестьянства, то из уездов, где побывал Мамонтов, шли известия, что крестьянство не только не поддержало белых, но начало самостоятельно подниматься на борьбу против них, создавая отряды, вооруженные винтовками, обрезами, вилами, топорами.

Но хотя деникинский расчет не удался, удар был очень тяжелым. По тамбовским, пензенским, рязанским, тульским, воронежским лесам и полям рыскала озверелая белогвардейская орда, налетая на села и города, все грабя, все сжигая, все уничтожая. Подвоз хлеба к Москве и пролетарским центрам снова резко сократился. Вместе с приближением белых подняла голову внутренняя контрреволюция.

Примерно в эти дни мы с членом нашего районного комитета партии Петром Лазаревичем Войковым (будущий советский посол в Польше, убитый рукой врага) после целого дня беготни, в перерыве между двумя собраниями, зашли в «Кафе поэтов» на Тверской, где за фантастическую цену можно было купить тощую булочку и выпить стакан коричневой бурды с сахариню.

За одним столиком с нами оказался какой-то тип — явно буржуй. Его бритая физиономия выражала чувство сытости и ленивое желание поболтать для улучшения пищеварения. Он сам завязал разговор с Войковым. Я не поверила бы своей памяти, что такой разговор был возможен, если б Войков тогда же не записал его. Впрочем, в моих невыдуманных рассказах я стараюсь не полагаться только на свою память. Мне помогают старые мои записи, письма, документы.

— Всякая практика имеет свою философию, — сказал буржуй, вытягивая ноги и усаживаясь поудобнее. — Возьмите, например, мою специальность...

Он вынул из кармана сигару и с наслаждением ее закурил.

— Я, можно сказать, не сею, не жну, а собираю в житницу... Купить и продать — это не то, что черкнуть резолюцию или декрет составить какой-нибудь. Купля-продажа — это вдохновение, это все равно что стихи писать. Тут дело не в барыше: столько-то нажать, за столько-то продать. Возьмем пример. Вот вчера я купил сигары, несколько ящиков, тысяча рублей дюжина. Что это было: вдохновение или расчет? Конечно,

но, расчет. Ибо я знал, что завтра у меня их купят по тысяче двести рублей...

Он затанулся сигарой и выпустил клуб голубого дыма.

— А вот,— продолжал он,— другой пример. Три недели тому назад я купил за два миллиона сто тысяч рублей московский Дом союзов. Вот это я называю вдохновением!

Войков прямо оторопел.

— Вы купили Дом союзов? — спросил он, не скрывая изумления.

Его собеседник засмеялся.

— Вас это удивляет? Да, я его купил.

Мы с Войковым не верили своим ушам.

— Вы говорите о Доме союзов, что в Охотном ряду?

— О нем о самом. Я его купил, и, по-моему, купил за безделицу.

— Но позвольте,— сказал Войков.— Как же вы его купили?

Буржуй улыбнулся с насмешливой снисходительностью.

— Вы, мой милый, не в курсе дела,— сказал он.— Неужели вы не знаете, что в Москве можно купить дом так же, как в доброе старое время? Не думайте, что я шучу: за последние месяцы все, что мне удается заработать, я вкладываю почти исключительно в дома. У меня уже восемь домов в Москве и два дома в Петрограде.

— Но кому же вы платите деньги? — спросил Войков.

— О, во всяком случае не Московскому Совету,— ответил тот.— Я плачу законным владельцам, то есть тем, кто имеет на эти дома купчие крепости. Цены на дома растут сейчас день ото дня с быстротой прямо сказочной!

— На что же вы рассчитываете? — спросил Войков.

— А как вы думаете? — вопросом на вопрос ответил буржуй.

### Тверская, дом 38

Как-то вечером нас вызвали в райком партии. На эту ночь все члены партии Городского и Краснопресненского районов были мобилизованы для проведения массовой облавы в центральных кварталах Москвы. По улицам двигались усиленные патрули. У ворот и парадных были установлены посты. В квартирах, на чердаках и в подвалах проводились обыски.

Прежде чем приступить к делу, участников облавы собрали во дворе дома на Рождественском бульваре, где помещались районный комитет партии и штаб Отряда особого назначения. Член коллегии ВЧК Мартын Янович Лацис обратился к присутствующим с напутственным словом.

Он говорил о том, что за последнее время отмечено немало случаев предательства, измены, шпионажа, перехода на сторону врага. За всем этим, несомненно, угадывается широкий контрреволюционный заговор. Недавний случай предательства на Красной Горке, измены на Карельском участке Северного фронта, заговор в Петрограде, о раскрытии которого сообщалось в газетах,— все это звенья одной цепи. И повсюду замечено, что, пока линия фронта еще далеко, заговорщики сидят, притаившись, как клопы в щели, и потихоньку вооружаются. Но стоит фронту приблизиться, как местные белогвардейцы начинают стрелять нам в спину из окон и подворотен, подымают контрреволюционные мятежи, убивают наших людей и всячески стремятся дезорганизовать тыл.

Поэтому сейчас, когда Деникин рвется к Москве, а по нашим тылам гуляет казачий корпус Мамонтова, мы должны принять предупредительные меры, вроде массовой облавы, которая проводится этой ночью. Каждый дом, каждый двор, каждый сарай, чердак и подвал,

каждая квартира должны быть обысканы. У нас должна быть уверенность, что в столице нет потайных складов оружия и взрывчатых веществ; что в укромных уголках не скапливаются белогвардейские молодчики, которые выступят по первому сигналу; что где-то на задворках не работает подпольная типография, печатающая контрреволюционные листки; что в гаражах не стоят автомобили, предназначенные для обслуживания мятежников.

Группе, в которую я входила, был поручен один из самых скверных в Москве домов — Тверская, дом 38.

Он и сейчас стоит, этот дом, на том же месте, только номер его стал меньше, после того как снесли мелкие строения в нижней части улицы и тесная Тверская стала широкой, просторной улицей Горького. Внешне он не так уж изменился. Ну, конечно, покрасили фасад, в витринах магазинов вместо плакатов ликбеза «Мы не бары! Мы не рабы!» и муляжей на предмет антирелигиозной пропаганды сейчас сверкают изделия «Ювелирторга» и синтетической химии. Да, дом остался прежним, хотя и трудно представить себе его таким, каким он был в девятнадцатом году, — с его загаженными лестницами, темными переходами, зловонными дворами, туликами, подвалами, а главное — с квартирами, кишачными дезертирами, контрреволюционными офицерами, валютчиками, налетчиками, кокаинистами и прочим преступным сбродом.

При облаве дом был разбит на отсеки: лестница, выходящие на нее квартиры, подвал, чердак. Мы начали с чердака и подвала. В подвале ничего не нашли. На чердаке обнаружили две шашки полицейского образца (те, что когда-то звались «сеledками»), жестяную банку с винтовочными патронами, ствол пулемета «Льюис», несколько пар штабс-капитанских погон, два офицерских нагана. Все это было искусно спрячано в чердачном перекрытии.

Потом приступили к квартирам. Электрических звонков тогда почти не существовало. Звонили, дергая за деревянную ручку, присоединенную к колокольчику за дверью. Колокольчик звенел, некоторое время спустя слышались шаги, вопрос «Кто там?». Лишь после настоятельных просьб приоткрывалась дверь — сначала на цепочке. Наконец ее открывали. Перед нашими глазами возникали причудливые фигуры: дамы в капотах, с бумажными папильотками, торчащими из-под ночных чепцов; бледные, дрожащие господа в шлафроках и ермолках; истерически всхлипывающие девицы; молодые люди, глядевшие на нас злобно-надменными глазами.

Обычно тот, кто открывал, уже с порога начинал заверять, что он беспартийный, «беспартийный, стоящий на платформе Советской власти», «беспартийный безработный», «беспартийный революционер девяносто пятого года», «беспартийный интеллигент», «беспартийная жертва царского режима». У этих «беспартийных» неизменно оказывалось множество продуктов: мешочки с крупой, пахнущей мышиным пометом, кулечки, узелки, жестяные банки, набитые полусгнившими припасами. Словно по уговору, золото, иностранную валюту и драгоценности эти «беспартийные» прятали в рваных нестиранных чулках и носках; документы и царские ордена — в мешочках с крупой; револьверы, бомбы и холодное оружие — под половицами; дезертиров и подозрительных господ с офицерской выправкой — в кухонных шкафах и комнатах для прислуги.

Все шло однообразно, пока мы не оказались перед дверью на четвертом этаже. Позвонили. Послышались тяжелые шаги. Дверь сразу распахнулась. На пороге стоял чернявый парень в матросской тельняшке. Насупившись и подняв левую бровь, он исподлобья посмотрел на нас. «Вам чего?»

И тут, на беду, появился товарищ Хачин. Кудрявый товарищ Хачин, красноречивый, очень красноречивый товарищ Хачин.

Этого товарища Хачина я знала еще по Питеру. Да и кто его не знал? Он был всюду и везде, непременно на виду, непременно на первом месте. Но странное дело: когда он появлялся в какой-нибудь новой организации, его сначала выбирали председателем, потом он оставался только членом комитета, а на очередных пере выборах его непременно проваливали.

Потом, уже в Москве, я не раз встречала товарища Хачина, который выныривал откуда-то, всегда в каком-нибудь новом амплуа. И вот сегодня, перед выходом на облаву, я встретила его в штабе Отряда особого назначения, затянутого и перетянутого скрипящими новенькими ремнями, чем-то командующего и распоряжающегося. А сейчас он неожиданно возник перед нами и начальственно заявил, что эту квартиру, к проверке которой мы должны были приступить, он берет на себя.

Он вошел в нее с двумя понятами, а мы позвонили в квартиру напротив. Там никто не ответил. Позвонили еще и еще. По-прежнему гробовая тишина. Взломали дверь. В квартире никто не жил, но были навалены груды всякой одежды, стояли мешки с мукой и ящики консервов. Ясно было, что здесь находится то ли воровская «малина», то ли склад шайки, спекулянтов, а скорее всего — база какой-то контрреволюционной организации.

Мужчины стали выстукивать стены и проверять полы, а мне делать было нечего, и я вышла на площадку. От всего увиденного меня мутило. Я раскрыла окно лестничной клетки и с тоской смотрела на серое предрассветное небо.

Тут я услышала голос товарища Хачина.

— Именно так я и ставлю вопрос! — восклицал он. — Именно извержение лавинобразных метафор...

Товарищ Хачин появился на площадке. Вместе с ним шел человек в фуражке с красноармейской звездой. У этого человека было тонкое, красивое лицо с пустыми холодными глазами.

Увидев меня, товарищ Хачин шумно обрадовался.

— Представь себе, — закричал он, — мы с товарищем независимо друг от друга пришли к совершенно совпадающим представлениям по вопросу о задачах поэзии в настоящую эпоху! Поэзия должна быть вулканична, в то же время в ней должна звучать тема взлета. И именно в этом взлето-вулканизме...

Продолжая разглагольствовать, товарищ Хачин стал спускаться по лестнице. Человек в красноармейской фуражке шел следом за ним. У этого человека был засунут под мышку сверток в газетной бумаге, перевязанный тонким шпагатом.

Эх, товарищ Хачин, товарищ Хачин! Был бы ты хоть немножко поумнее, какое страшное несчастье, быть может, удалось бы предотвратить!

В штаб Отряда особого назначения мы вернулись к утру. Во дворе были расставлены столы. За каждым сидел работник штаба с помощником и принимал арестованных и вещи, изъятые при облаве.

Присев на какой-то ящик, я прислушивалась к разговору, шедшему за столом рядом со мной.

— Так-так, — приговаривал работник штаба, слушая то, что ему докладывал парнишка с винтовкой. — Давай сюда бумагу. «Пре-провождается гражданин Антон Устинович в революционный штаб. Личность гражданина Устиновича можно характеризовать только как гемную, произносящую самые ругательные и невыразимые слова по

адресу Советской власти». Ну что ж, отведи эту личность в арестное помещение, потом разберемся... Следующий! «Обнаружено шестьдесят золотых монет царской чеканки и золотой ошейник, который хозяйка называет собачьим именем «кулон», а также очень много разных вещей, которые невозможно описать, нужно время полную неделю...» Так-так... Следующий! «Изъято оружие: винтовки разные, сабли, тесаки, военный бинокль, револьверы, палатки, брюки офицерские, шинели офицерские, седла кавалерийские, кобуры, порох, патроны винтовочные, ленты пулеметные...» Следующий! «...Когда мы зашли и я назвал его по привычке «товарищ», он отказался принять слово «товарищ», отвечая: «Какой я тебе товарищ, разве только по веревочной петле». Я подозреваю в нем крашеного белогвардейца...» Так-так... Следующий! «Проживают женщины, а вещи оказались мужские... Открыв шкаф, мы обнаружили в нем неизвестного гражданина, при котором не оказалось документов, но оказался револьвер системы «Наган» и денег триста одиннадцать тысяч двести семьдесят четыре рубля одиннадцать копеек, каковые препровождаются...»

Но все это было не столь уж существенно по сравнению с подпольной эсеровской типографией, обнаруженной в помещении какого-то «Кооперативного объединения». В типографии стояли четыре плоские машины. Тут же был найден готовый набор очередного номера подпольной антисоветской газеты под невинным названием «Голос больного красноармейца», а также несколько десятков тысяч контрреволюционных листовок.

Листовки, связанные пачками, были сложены во дворе. Часть из них была густо заполнена текстом. Но большинство представляло собой узкие длинные полосы бумаги, на которых крупным, жирным черным шрифтом было набрано только два слова: «Долой коммунистов!»

## Взрыв

Контрнаступление Красной Армии, предпринятое в середине августа, окончилось неудачей, и в течение сентября положение на юге становилось все более грозным. Противник по-прежнему держал в своих руках инициативу боевых действий. Сосредоточив в районе Белгорода ударный кулак, он рвался к Москве. Каждый день приносил известия о новых поражениях наших армий, о новых успехах армий Деникина.

Возле щитов, на которых вывешивались военные сводки РОСТА, постоянно толпился народ. Как-то, проходя мимо такого щита на Странной площади, я увидела несколько ухмыляющихся рож. Одна из них, выставив растопыренную пятерню, загибала пальцы, приговаривая:

— Кладем недельку до Курска... Неделю до Орла... Считаем еще деньков с пятюк до Тулы... А там через недельку и к нам, в Белокаменную, пожалуют-с.

— Про ягоду говорит, а и цвету не видел,— сказал в толпе злой голос.

— Это ли не цвет? — осклабилась рожа, тыча в сводку пальцем.— Ай да цвет, милок! Цвет на весь свет!

Впрочем, так рассуждала не одна эта рожа. Как сообщала шведская печать, выступивший на последнем съезде консервативной партии английский военный министр Черчилль «информировал партийный съезд о подготовляемом Антантой смертоносном ударе по русской революции. После сосредоточения всевозможных военных припасов вдоль всех границ Советской России начнется наступление на Москву армий 14 государств. Это наступление должно начаться в конце августа или в начале

сентября... По расчетам Черчилля, Петроград должен пасть в сентябре, а Москва — к рождеству. Далее, впредь до окончания усмирительной работы в стране, Россией будет управлять смешанная комиссия под военной диктатурой...»

Но это не все!

Двадцать третьего сентября московские газеты вышли с огромными шапками.

«Рабочие!

Казаки-разбойники и волчьи стаи Деникина делают отчаянные усилия прорваться к нашим центрам!

Заговорщики и шпионы в тылу тянут свои кровавые руки им навстречу, заноса топор над головой голодных рабочих!

На часы, пролетарий!

Мы разгромим шпионов и белогвардейцев в Москве!

Истребим их на фронте!»

Дальше шло сообщение ВЧК о раскрытии заговора «Национального центра». В нем подробно рассказывалось о деятельности этой контрреволюционной организации, большинство участников которой было поймано с поличным — с приказами и инструкциями Деникина, шифрованными записями, адресами участников и оружием.

Список членов «Национального центра» разоблачал лицо российской контрреволюции. В нем были домовладельцы и заводчики, кадеты, меньшевики и монархисты. Заговорщики пользовались финансовой и материальной помощью иностранных интервентов.

В этой же компании оказался и С. А. Кузнецов — начальник оперативного отдела Главного штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которого я совсем недавно видела в кабинете своего отца в Реввоенсовете республики. О том, какого высокого полета была эта птица, можно судить хотя бы по тому, что после ареста Кузнецова Деникин по радио предъявил ультиматум, требуя его немедленного освобождения. Нужно было быть такой дубиной, как Антон Иванович Деникин, чтобы предъявить подобный ультиматум!

— А ты знал тогда, что Кузнецов шпион?— спросила я отца.

— Нет. Но чувствовал неладное,— ответил он.

— Почему же ты его не арестовал?

— Я поступил умнее. Я прикинулся дураком.

Заговорщики намеревались выступить в конце сентября. Их целью было поднять восстание в столице, завладеть радиостанцией и телеграфом, оповестить фронты о падении Советской власти, вызвать панику и разложение в рядах Красной Армии, открыть Деникину прямую дорогу на Москву.

Уже готовы были склады оружия. Уже стянуты в город преданные заговору офицеры. Уже отпечатаны в подпольных типографиях приказы, которые должна была объявить Добровольческая армия по вступлении в Москву: «За малейшее сопротивление — расстрел на месте!» Уже на карте Москвы был размечен подробный план военных действий мятежников.

В письме Деникину глава заговора, кадет Н. Н. Щепкин, давал политические директивы с лозунгами, которые он рекомендовал белым при вступлении в Москву.

«Советы падут сами собой,— писал он,— если мы проведем главное: поголовное уничтожение коммунистов!»

Уничтожение коммунистов! Через два дня после раскрытия заговора «Национального центра» мы увидели, как они это себе мыслили.

Все члены партии были мобилизованы. Одни переведены на казарменное положение. Другие брошены на фабрики, заводы, в красноармейские казармы для разъяснительной работы в связи с раскрытием белогвардейского заговора. Все было подчинено одной цели, сформулированной в написанном Лениным письме Центрального Комитета Коммунистической партии: «Советская республика осаждена врагом. Она должна быть единым военным лагерем не на словах, а на деле».

Но при всем том, когда тебе нет еще восемнадцати лет, обсуждение этих вопросов с неким товарищем представляет для тебя особый, необычный интерес и после целого дня беготни, выступлений, военных занятий ты не прочь просидеть до утра на скамейке Тверского бульвара, болтая все с тем же товарищем — разумеется, только о борьбе с Деникиным и ни о чем другом, упаси бог!

Вечером двадцать пятого сентября я должна была присутствовать на созванном Московским Комитетом партии собрании лекторов, агитаторов и представителей районных комитетов партии. На нем предполагалось выработать план работы районных партийных школ, а также обменяться мнениями по вопросу о постановке агитации.

Товарищ, о котором шла речь выше, на это собрание прийти не мог, так как выступал где-то на предприятии. Но мы условились встретиться в девять часов вечера у памятника Пушкину.

Московский Комитет партии помещался тогда в Леонтьевском переулке (ныне улица Станиславского), в особняке графини Уваровой. После революции этот особняк был захвачен анархистами. Затем, после разоружения анархистов, его заняли левые эсеры, а после подавления левозсеровского мятежа здесь находился Московский Комитет партии большевиков.

Собрание, назначенное на шесть часов вечера, началось с небольшим опозданием. На нем присутствовало много поистине блестящих и остроумных людей, и оно, как и все такие собрания, шло весело, живо, с шутками и смехом. В небольшом зале собралось человек двести. Было жарко. Окна в сад, что прилегал к Чернышеву переулку, были открыты.

Я и слушала и посматривала на часы. Часовая стрелка уже перевалила за восьмерку, а собрание еще не кончилось. Я решила пробраться к выходу и встала у двери среди курильщиков, которые, слушая ораторов, попыхивали папиросами и выпускали дым в соседнюю комнату.

В эту минуту Михаил Николаевич Покровский рассказывал что-то очень смешное, и весь зал громко хохотал. Я почувствовала, что кто-то меня слегка толкнул. Это был Владимир Михайлович Загорский. Он опоздал, видно торопился, бежал по лестнице, дышал тяжело, на лбу выступили крупные капли пота. Осторожно ступая, он вошел в зал, чтобы пройти к президиуму.

Покровский кончил. Александр Федорович Мясников, ведший собрание, прогремел колокольчиком и сказал:

— Итак, товарищи, ставлю на голосование план работы райпартшкол с учетом внесенных поправок. Кто...

«Успею»,— обрадовалась я, поднимая руку «за» раньше, чем Мясников приступил к голосованию.



И тут у крайнего окна, если смотреть от президиума, послышался странный звук, в зал влетел какой-то тяжелый предмет, раздался небольшой взрыв, потом этот предмет завертелся на полу и стал громко шипеть.

Все вскочили. Сидевшие посреди зала шарахнулись в сторону, кто-то вскрикнул. Но голос Загорского перекрыл шум.

— Спокойно, товарищи! — закричал он. — Не бойтесь! Не поднимайте паники!

Последнее, что я видела и слышала, были этот голос и фигура Загорского в ту секунду, когда он бросился вперед, к бомбе, и схватил ее, чтобы выкинуть в окно. Тут раздался взрыв. Меня отшвырнуло в глубину помещения. На какое-то время я то ли потеряла сознание, то ли просто утратила способность соображать. Когда я пришла в себя, стены, выходявшей в сад, не было; в проломе виднелась крыша, свисавшая сверху. Все стекла были выбиты, часть оконных рам вырвана, мебель разбита в щепы, пол и стены забрызганы кровью.

Смутно помню я то, что было потом: стоны раненых, тела убитых, искаженные отчаянием лица товарищей, склонившихся над останками Владимира Михайловича Загорского.

Три дня спустя московский пролетариат хоронил погибших. В Колонном зале Дома союзов было установлено десять гробов, обитых красной и черной материей. Звучал похоронный марш. На лентах венков было начертано: «Убийство вождей пролетариата не остановит революционной борьбы. Вы убиты — вы живы!»

Но кто же были убийцы?

Взрыв в Леонтьевском переулке произошел через два дня после того, как было опубликовано сообщение ВЧК о раскрытии заговора «Национального центра». Первой мыслью было: это дело рук еще не пойманных белогвардейцев.

Даже когда появилось нелегально напечатанное «Извещение Всероссийского повстанческого комитета революционных партизан», в котором заявлялось, что бомба в Леонтьевском брошена «анархистами подполья», это сочли белогвардейской провокацией.

Но прошло несколько дней, и в руки ВЧК попало письмо одного из анархистов, неоспоримо свидетельствовавшее, что взрыв был совершен именно анархистами при участии «левых эсеров».

Весь октябрь прошел в полной драматических эпизодов борьбе чекистских органов против анархистского подполья. Сначала была установлена явочная квартира анархистов в Москве. В ней произвели внезапный обыск и нашли оружие, списки членов организации, инструменты для взлома несгораемых шкафов, большие денежные суммы.

На основе этих данных были проведены аресты боевиков, из которых ни один не сдался без вооруженного сопротивления. Именно при таких обстоятельствах был убит видный организатор анархистского подполья Соболев; это он, забравшись на балкон, бросил бомбу в зал Московского Комитета партии.

Фотография Соболева была опубликована. Едва взглянув на нее, я узнала «вулкановзлетного поэта», который обвел вокруг пальца красноречивейшего товарища Хачина.

В тот момент, когда Деникин, овладев Курском, двигался к Орлу, когда еще не просохла земля на могилах жертв взрыва в Леонтьевском переулке, когда контрреволюционеры всех мастей и оттенков готовили организованное истребление авангарда рабочего класса, Центральный Комитет партии объявил «партийную неделю» и обратился ко всем трудящимся с призывом вступать в ряды Российской Коммунистической партии.

### Высокое звание коммуниста

В то время я жила вместе с отцом в гостинице военного ведомства. Гостиница была старинная, и название у нее было старомосковское: «Лоскутная». Находилась она в самом начале Тверской — там, где теперь расстилается просторная Манежная площадь. В том самом номере, который занимал отец, когда-то останавливался, приезжая в Москву, Лев Толстой.

Здание гостиницы было приземистое, толстой каменной кладки. На второй этаж вела широкая лестница со стершимися от времени узорчатыми чугунными ступенями. Дальше шли узкие коридоры с поворотами, тупиками, переходами. Отопление было воздушное; в стенах выложены были кирпичные боровы, по которым горячий воздух из котельной поступал в номера. Котельную давно уже не топили, в боровых поселились крысы.

Постояльцами «Лоскутной» были преимущественно командированные: шумные матросы, усталые политруки, звенящие шпорами кавалеристы. Население это было текучее: появлялось на день, на два — и исчезало.

Мы с отцом приходили домой только поужинать и переночевать. Тот, кто являлся первым, разжигал примус, ставил на него кастрюлю с водой и засыпал ее смесью из пшенной, ячневой и гречневой крупы, которую где-то выдали отцу. Крупы были перемешаны неравномерно, и у нашей каши каждый раз был новый, своеобразный вкус. Звали мы эту кашу «пестрой».

Как-то, когда мы только что уселись за кашу, в дверь постучали, и в номер вошли незнакомый нам военный и коридорная горничная Агаша.

Была Агаша милым веснушчатым существом, похожим на голубенький ситчик. Ходила всегда в одном и том же платье и веревочных туфлях. В отличие от остальной гостиничной прислуги, которая вздыхала о прежних господах, презирая теперешних «хамов», Агаша была со всеми приветлива и услужлива.

Военный попросил у моего отца разрешения изложить дело, которое привело его к нам, и рассказал со многими подробностями и отступлениями, как он был командирован из прифронтовой полосы в Москву вместе с неким товарищем Брюшковым; как оказалось, что у этого товарища Брюшкова и в Симбирске, и в Сызрани, и в Москве, и почитай в каждом городе Советской России имеются барышни, потому что, как говорит товарищ Брюшков, «в Тулу со своим самоваром не ездят»; как они приехали в Москву и товарищ Брюшков захворал, и во время болезни его выхаживала коридорная горничная Агаша и полюбила его, а теперь он, Брюшков, поправился и уходит к своей московской барышне, с которой путается еще с царской войны; и он, военный, решил привести Агашу к товарищу члену Реввоенсовета республики, чтобы тот вmeshался в этот позор: ведь товарищ Брюшков, который носит красноармейскую звезду, ведет себя по отношению к женщине, как золотопогонный офицер...

— Они сказали мне, что они холостые и у них никого нету, — тихо проговорила Агаша. — А я поверила им, потому что знала, что они партийные, и думала, что в партийных могут состоять только честные.

«Я думала, что в партийных могут состоять только честные... Я поверила ему, потому что он партийный...» В этих словах простой девушки бессознательно выразился моральный авторитет Коммунистической партии.

Российский пролетариат уже на протяжении двух десятилетий знал эту партию. Под ее знаменами он пошел на штурм крепостей капитала и два года бился с врагами. Но в последние, такие трудные месяцы он как бы в особенном, новом свете увидел большевистскую партию и осознал ее подвиг.

Помню, на «Прохоровке» выступал рабочий-ткач, которому машиной оторвало руку.

— Великая, товарищи, ответственность, которую взяли на себя коммунисты,— говорил он.— Великая ответственность, а взяли они ее на себя. По своей по доброй воле взяли и несут, не сгибаясь, не падая, а наоборот — смело и гордо смотря вперед.

Прижав к груди пустой рукав, он поклонился в землю.

— И я, товарищи, говорю, что мне перед вами, перед коммунистами, стыдно. Я, как пролетарий, считаю себя братом коммунистов и высказываю вам свое уважение...

Иногда разговор о партии переплетался с разговором о Советской власти, о хлебе, о гражданской войне. Но бывало и так, что тема партийной морали становилась центральной, а то и единственной темой собрания. Кто является настоящим коммунистом? Как коммунист должен относиться к народу? Каким обязан он быть на работе и в личной жизни?

Где бы ни шел такой разговор, с образом настоящего коммуниста непременно связывался высокий идеал человека, отдающего жизнь борьбе за народное счастье.

Вот так отдал жизнь Николай Антонович Антонов, рабочий-питерец с трубопрокатного завода Барановского, член партии с 1916 года. Он был одним из организаторов Красной гвардии на Выборгской стороне, принимал участие во взятии Зимнего. Вскоре после Октябрьского переворота отправился на Дон бить Краснова. Был ранен, уехал в деревню, был избран председателем комитета бедноты, а затем — председателем волостного исполнительного комитета.

К лету 1919 года в волости, где председательствовал Николай Антонов, как и во многих других местах, образовались банды дезертиров, укрывавшихся от службы в Красной Армии. Верховодило ими кулачье.

Прячась в лесах, голодные, озлобленные дезертиры терроризировали крестьянское население, то угоняя лошадей, то воруя кур.

В середине июня, по данному кем-то знаку, все банды уезда собрались в лесу, неподалеку от волостного села. Оттуда они послали Антонову письмо с требованием, чтобы он открыл амбар и выдал им муку и соль.

«Ты, пират, прибывший из Петрограда,— писали они,— ты, чертов коммунист, бродяга, повсюдуводишь дурацкую коммуну. Тебе, подлец, ведь первому крючок готов на осине, дни твоей жизни сочтены! Или выдай нам, что требуем, или прощайся с товарищами и знай, что на твоей спине будет вырезана красная звезда, за которую ты агитируешь!»

Антонов открыть амбар отказался. Тогда дезертиры двинулись в село. Они шли, играя на гармони и распевая частушки:

Не по нашему достатку  
Галифве-брюки носить,  
Не по нашему достатку  
В Красной Армии служить...

Подойдя к дому волостного исполкома, они вызвали Антонова и снова потребовали, чтобы он открыл амбар. Антонов вышел на крыльцо и сказал, что амбара не откроет, ибо не имеет на это права. Тогда дезертиры подняли стрельбу, а когда раненный в голову Антонов упал, ворвались в дом и начали избивать его и работников исполкома дубинами и ружейными прикладами. Несколько человек было избито до смерти, остальные лежали без сознания, и только Антонов, хотя его били больше всех, сохранял сознание.

Живых и мертвых погрузили на подводы и под улюлюканье и колокольный звон повезли на кладбище. Там дезертиры принялись копать могилу. Заставили ее копать и Антонова.

Когда могила была вырыта, в нее стали бросать трупы и живых людей. Уже брошенный в могилу, Антонов приподнялся, его снова начали избивать, но он успел крикнуть: «Мы не боимся вашей казни! Мы работали честно и справедливо на благо народа!»

Его ударили лопатой по лицу. Обливаясь кровью, он упал в могилу на своих товарищей. Но и тут у него хватило духу сесть, снять сапоги и пиджак и передать стоявшему тут же отцу. «Вот, возьми, отец, на память, — сказал он. — А вы, убийцы, будьте прокляты!» Потом он упал навзничь, и его стали забрасывать землей.

В начале октября я уезжала из Москвы. Первое, что бросилось мне в глаза, когда, вернувшись, я вышла на Каланчовскую (ныне Комсомольская) площадь, — это огромное кумачовое полотнище:

«Не сдадимся! Выдержим! Победим!»

Придя в «Свердловку», я сразу попала на партийное собрание. Было это к вечеру. Зал тонул в полумраке. Только в крайнем окне, позади докладчика, алело закатное небо.

Представитель Московского Комитета партии Владимир Сорин коротко сказал о том, что целый ряд мобилизаций — на фронт, на транспорт, на продовольствие, на заготовку дров — вычерпал лучшие силы коммунистов Москвы, да и не только Москвы. Все наиболее развитые, энергичные, даже просто толковые коммунисты сражаются сейчас против Колчака и Деникина, преследуют Мамонтова, добывают хлеб в Уфимской губернии. Ячейки обезлюдели. Районы истощены. В таких крупнейших районах, как Сокольнический и Замоскворецкий, осталось меньше чем по тысяче членов партии, в Сушевско-Марьянском — четверта часть человек, а по всей московской организации — немногим больше десяти тысяч.

Между тем республика требует все новых и новых людей, новых коммунистов. Следовательно, нужно их найти, подготовить. Где их искать? В рабочем классе, среди красноармейцев, среди передовых крестьян. Каждый член партии обязан пойти в массы, отыскать там честных, стойких, сознательных людей, привести их в партию. Если каждый из нас завербует хотя бы одного человека, мы удвоим наши ряды.

Прямо с собрания мы отправились за путевками в районные комитеты партии. Народу там было — не пробьешься. Все время приходили люди за докладчиками, инструкциями, тезисами, литературой.

Мне довелось во время партийной недели побывать примерно на десятке собраний на заводах, фабриках, в железнодорожных мастерских, в воинских частях.

Одни из этих собраний шли в решительном, быстром темпе, пере-

бывались смехом, шутками: уговаривать нас, мол, нечего, сами кого хочешь уговорим! Нередко они кончались решением вступить в партию поголовно — всем цехом, мастерской, ротой.

На других господствовало настроение глубокой, почти угрюмой задумчивости. Видно было, что людям нелегко. «Я на думках, как на вилах, стою», — сказал один участник такого собрания.

Не все, конечно, изъявляли готовность вступить в партию. Были среди рабочих такие, которые говорили, что сейчас, дескать, слишком много партий, каждая тянет к себе, все между собой спорят и дерутся и никак не придут к согласию. А мы, мол, люди серые, чего нам лезть туда, в такое пекло?

Были и такие, которые сводили все к пробравшимся в партию шкурникам и авантюристам. А раз в партии такие личности сидят, то ему, мол, делать там нечего и он предпочитает оставаться беспартийным.

Были, наконец, и такие, которые говорили, что борьба Коммунистической партии за освобождение трудящихся от капиталистического рабства очень трудна, она требует от члена партии огромного напряжения и жертв, и для него, выступающего, это не под силу.

— Вот я так прикидываю, что если мне в партию вступить, то хлеб на Сухаревке покупать будет зазорно, — говорил один из таких рабочих. — А утроба набивки требует, карточкой ее не прокормишь...

Но лицо собрания определяли иные люди. Те, кто переживал сейчас самую чистую, самую светлую, самую вдохновенную минуту своей жизни.

Вот на ящике, который служит трибуной, стоит рабочий лет тридцати. Его бледное лицо, окаймленное редкой бородой, светится счастьем.

— Товарищи, — говорит он задышающим голосом. — У меня раньше в голове были черные мысли. Я думал: вот, дескать, я запишусь в партию коммунистов, а господин Деникин тут как тут — и тогда мне могила. Вот, думал я, когда угонят его подальше, вот тогда и запишусь. А вышло дело, что и Деникина еще не угнали, а я иду в партию коммунистов. Теперь же!.. На душе у меня сейчас не прежняя мысль — близко ли Деникин, — но торжество правды, и эта правда рассеивает прежние мои грязные мысли. И вы, товарищи, тоже выбросьте черную задумчивость и идите в нашу партию, партию коммунистов. Я иду, но иду с надеждой, что и вы, которые отстали, не запятнаете нашей действительно пролетарской революции.

Выступает другой — человек с лицом, резко исчерченным морщинами. Он говорит, сжав кулаки. Собрание замерло: муха пролетит — услышишь.

— Как я рос? Что я видел? — глухо говорит он. — Отдали меня мальчиком на фабрику и учили там одной науке: услуживать, прислуживать, получать подзатыльники, бегать в казенку лисицей, заматывая следы, — неси младшему так, чтоб не увидел старший. Этак дрессировали из меня, как из собаки, себе раба — и остаться бы мне рабом, если бы не революция. И сейчас, товарищи, я с полным сознанием прошу зачислить меня в партию коммунистов и принять под свое красное знамя, чтобы сражаться вместе с вами за освобождение трудящихся всего мира.

На собраниях почти не интересовались тем, что в наше время называется политическим уровнем вступающего в партию. Народ волновал другой вопрос: соответствует ли тот, кто идет в ряды партии, высокому нравственному идеалу коммуниста.

— А пить бросишь? — кричали из зала.

— А с женой как ты поступаешь? — спрашивал женский голос.

Под этим углом зрения и обсуждали вступающих. Этого надо принять, он достоин высокого звания коммуниста. А этот не годится: пьяница, матерщинник, залепил затрещину подмастерью. Такой только запачкает собой партию.

Попадало при этом и тем, кто уже состоял в партии.

Вот вышел молодой парнишка и говорит:

— Я, товарищи, малограмотный, так что вы меня извините. Не знаю уж отчего, но очень люблю я рассуждать. Ну, конечно, по малограмотности рассуждаю больше всякую глупость. Меня и ругают за это, и Петр Фролович ругают, и Иван Васильевич ругают. Но от них мне это не обидно, потому что они люди непартийные. А вот вы, Николай Кузьмич, вы человек партийный, коммунист, вот когда вы меня ругаете, мне обидно. Зачем вы ругаетесь? Вы должны научить, а не ругаться...

Свою речь парнишка закончил неожиданно:

— Попрошу я вас, товарищи,— разрешьте мне записаться в пролетарию всех стран!

Районные комитеты партии заседали по несколько раз в день, утверждая списки принятых. После этого созывались собрания, на которых молодым коммунистам вручались партийные билеты. И где бы эти собрания ни происходили — в цехе, рядом со станками, или в прокуренной комнатухе заводского комитета,— все они были отмечены печатью особой торжественности.

С такого собрания коммунисты, провожаемые остальными рабочими, с красными знаменами и пением революционных песен направлялись к Московскому Совету. Часто тут же, на собрании, и старые и новые члены партии выражали желание немедленно уйти на фронт и прямо с собрания шли в военно-вербовочное бюро, а на следующий день уже направлялись к вокзалам, с винтовкой на ремне и с фунтом хлеба и двумя ржавыми воблами в вещевом мешке.

Пожилые бородачи шагали рядом с безусыми юнцами, женщины — в одном строю с мужчинами, рабочие с «Трехгорной мануфактуры», в рубахах, испачканных краской ситцепечатной,— плечом к плечу с почерневшими от металлической пыли токарями с «Бромлея». Одеты были все в свою одежду, на ногах у многих была самодельная обувь на деревянной или веревочной подошве.

У этих бойцов были впалые от голода щеки, они не умели ходить строем и держать ногу, они едва умели стрелять. Но лица их были исполнены такой непреклонности, такой веры в свое дело, такой готовности либо победить, либо умереть, что видно было: эти люди будут сражаться до последнего вздоха, но не отступят и не откроют врагу дорогу на Москву.

В октябре 1919 года, когда Деникин был под Тулой, а Юденич под Петроградом, в партию влилось свыше двухсот тысяч сынов и дочерей советского народа.

В те дни Владимир Ильич Ленин писал: «...это — чудо: рабочие, перенесшие неслыханные мучения голода, холода, разрухи, разорения, не только сохраняют всю бодрость духа, всю преданность Советской власти, всю энергию самопожертвования и героизма, но и берут на себя, несмотря на всю свою неподготовленность и неопытность, бремя управления государственным кораблем! И это в момент, когда буря достигла бешеной силы...»

Да, это было чудо, одно из тех чудес, которыми полна история нашей великой пролетарской революции!

### Золотая осень

В конце сентября Центральный Комитет партии обратился ко всем партийным организациям, ко всем членам партии с призывом удвоить, утроить, удесятерить энергию партийных организаций в деле военной обороны республики.

В этом письме чаще всего повторялось одно и то же слово, которое звучало, словно звон вечеревого колокола: **д о л ж е н ! д о л ж н ы !**

Партийные мобилизации следовали одна за другой. Двадцать процентов членов партии, тридцать процентов, пятьдесят! Некоторые партийные организации уходили на фронт целиком, полным составом.

Работа государственных учреждений подлежала предельному сокращению, а сотрудники — отправке на фронт. Мобилизация не касалась только трех ведомств: военного, продовольственного и социального обеспечения.

Размышляя об этом, я шла по кремлевским коридорам к Владимиру Ильичу Ленину, для которого я приготовила по его просьбе выписки из статьи Энгельса «Кавалерия».

«Почему социального обеспечения? — думала я. — Ну понятно, что военного и продовольственного, но почему же это несчастное социальное обеспечение?» Вопрос меня настолько интересовал, что я выпалила его, едва войдя в кабинет Владимира Ильича.

Он сердито посмотрел на меня.

— Я слышу это сегодня по меньшей мере в пятнадцатый раз, — сказал он. — В том числе и от работников Комиссариата социального обеспечения. Чтоб не терять времени на разъяснения, я распорядился отпечатать вот этот документ и даю его спрашивающим. Прошу прочесть внимательно!

Он достал из папки на столе машинописную копию какого-то документа и протянул мне.

«Мы, красноармейцы такого-то полка, — читала я, — едем на фронт для защиты и укрепления власти Советов и на помощь нашим товарищам, уже сражающимся на фронте два года. Из них уже много легло там на фронте, но мы знаем и верим больше, чем в себя, что наша власть мозолистых рук их имена на странице истории запишет и их семейства не забудет. Со своей стороны, мы заявляем: до тех пор не сдадим оружия, пока не разобьем наголову всю сволочь белогвардейскую, а также социалистов в кавычках. Мы докажем нашей собственной власти, что мы, красноармейцы, отлично понимаем, за кого мы идем и для чего на фронте умрем, но не отдадим своих прав. Но наша просьба только в том: помните о нас и о наших семействах. А в случае, если здесь, в тылу, поднимут головы контрреволюционеры, то пусть знают, что мы пойдём и разделаемся с ними, что называется, как повар с картошкой, то есть ни одного не оставим в живых. Да здравствует наш вождь товарищ Ленин! Да здравствует мировой пролетариат!»

Пока я читала, Владимир Ильич просматривал сделанные мной выписки.

— Прочли? — спросил он, когда я кончила. — Запомните навсегда слова: «Мы знаем и верим в Советскую власть большевиков больше, чем в себя». Только тот достоин высокого звания коммуниста, кто понимает, какие обязанности налагают на него эти слова...

В эти дни в письме группе иностранных коммунистов Владимир Ильич Ленин писал: «Дорогие друзья! Шлю вам наилучший привет.

Наше положение очень трудное из-за наступления 14 государств. Мы делаем величайшие усилия».

Трудно измерить поистине титаническую работу, которая скрывалась за этими словами: «Мы делаем величайшие усилия». Тут и небывалое напряжение сил для создания решающего перелома на Южном фронте, и организация обороны Москвы, и помощь красному Питеру, который решено было защищать до последней капли крови.

Чуть ли не каждую ночь у нас, в номере «Лоскутной», в темноте раздавался настойчивый звонок «вертушки» (так называли телефоны внутренней связи Совнаркома). Отец вскакивал, брал трубку — и только и слышно было: «Хорошо, Владимир Ильич... Записываю, Владимир Ильич...», а едва уснешь — снова звонок.

Отец был тогда командующим Московским сектором обороны, созданным по решению Центрального Комитета партии после падения Курска.

Отныне, указывал Центральный Комитет, основная военная и вместе с тем политическая задача — во что бы то ни стало, ценой каких угодно жертв и потерь, отбить наступление Деникина и отстоять Тулу с ее заводами и Москву. С этой целью и был создан Московский сектор обороны. Он включал Московскую, Тульскую, Рязанскую, Калужскую губернии и несколько уездов Смоленской губернии.

Перед войсками сектора были поставлены две основные задачи:

1. В случае выхода противника к Московскому сектору не дать ему быстро распространиться вдоль железных дорог, особенно ведущих к Москве.

2. В случае неудачных действий войск Южного фронта прикрыть их отход, а затем остановить и привести в порядок наши отходящие части и отразить вместе с ними наступление противника, используя для этого заранее подготовленные линии обороны, с тем чтобы, перейдя в контрнаступление, разгромить врага.

Программа военно-инженерных работ, проводимых сектором, предусматривала создание пяти линий оборонительных узлов общей протяженностью в несколько тысяч верст. На территории сектора было введено военное положение, вся власть передана революционным комитетам, непосредственно подчиненным командующему сектором.

Все говорило о том, что наступило время безмерного напряжения сил и борьбы не на жизнь, а на смерть. Было что-то величавое в притихших улицах Москвы, в безлюдных площадях, в слитном гуле шагов московских рабочих и работниц, уходивших на фронт.

Рано поутру мы с отцом шли на работу. Это было единственное время дня, когда мы могли поговорить и нас не отвлекали ни телефонные звонки, ни вестовые со срочными пакетами. Прощались мы возле окопанных медью дверей Главного штаба.

— Когда ты придешь домой? — спрашивал отец.

— Поздно вечером, — говорила я.

— Можешь, хоть сегодня сумеешь прийти пораньше?

— Нет, — отвечала я сухо, — не могу прийти пораньше. У меня много работы.

Он едва заметно усмехался.

— У меня, — говорил он, — пожалуй, тоже много работы...

За это время отец не раз объезжал Московский сектор обороны. В одну из таких поездок он взял с собой меня, сказав, что ему нужна помощь моих «глазастых глаз».



Не помню уж почему, мы ожидали вагон на разъезде Окружной дороги. Было так странно после напряженности, в которой постоянно мы жили, попасть на тихий полустанок, где копошились куры, краснели гроздь рябины, а дежурный по станции, перебирая струны гитары, напевал «Сомнение» Глинки.

Наконец пыхтящий маневровый паровозик подтащил наш вагон. В прошлом он принадлежал какому-то царскому министру и состоял из салона и нескольких купе. Сотрудники штаба, повесив в салоне карту оборонительных линий и узлов сопротивления, уселись за доработку вопросов, которые предстояло решить во время поездки. Вопросов этих было много. На одни только военно-инженерные работы, проводившиеся сектором, выходило по сто двадцать тысяч человек в день.

Маршрут наш проходил через города Центральной России. Давно ли я, сидя за школьной партой, заучивала их названия с помощью тарбарщины, переходившей от одного поколения гимназистов к другому?

Жиздра, Мценск, Ефремов, Гжатск,  
Богородицк, Тула, Спасск...

Первая крупная остановка была в Серпухове. В вагон явились члены уездного ревкома. Председатель ревкома, в прошлом рабочий местной ситценабивной фабрики Коншиных, доложил тщательно разработанный ревкомом план обороны города от белых банд.

Ревком уже приступил к строительству укреплений перед мостом через Оку и железнодорожным мостом. Вокруг города рыли окопы для стрельбы стоя — с бойницами и пулеметными гнездами. Согласно инструкции Московского сектора обороны узлы сопротивления полагалось обнести колючей проволокой в несколько рядов. Но колючей проволоки ревкому достать не удалось — вместо нее устраивались засеки и баррикады. Было что-то волнующее в сочетании этих слов: «засеки и баррикады». От одного из них веяло древней московской Русью, оборонявшей себя от кочевников, другое было неотрывно связано с революционными боями рабочего класса.

Из Серпухова мы выехали поздно. Маломощный паровоз с натугой тащил тяжелый состав. За темными окнами лежала холодная осенняя ночь. Было очень тихо.

Вдруг окна осветились неясным пляшущим светом. Паровоз надсадно захрипел, одолевая подъем. Я опустила оконную раму. В окно ворвался людской говор, звяканье лопат о камни, неуверенные звуки гармони, подбиравшей «Варшавянку». Мы въехали на мост. Внизу блеснула черная гладь воды. А направо и налево, сколько мог охватить глаз, виднелись огни костров, окутанные красноватым дымом фигуры людей и высокие холмы свежерытой земли. Здесь шло строительство одного из оборонительных рубежей.

Теперь останавливались часто. Вагон отцепляли на станции, к командующему сектором приходили члены ревкома и представители местных военных властей. Все были небриты, с запавшими щеками, с глазами, обведенными кругами бессонницы.

Вопросы решались быстро. Их было чрезвычайно много. Речь шла о переправах: их необходимо было подготовить к уничтожению. Речь шла и о бывших помещиках. В последнее время они стали появляться точно из-под земли и предъявлять неведомо откуда добытые грамоты, согласно которым им поручалась охрана их поместий как «памятников старины и искусства». Командующий сектором утверждал

постановления ревкома о том, чтобы всех объявившихся помещиков арестовывать и заключать в лагеря для принудительных работ, а в случае сопротивления — расстреливать на месте.

Говорилось и о создании местных партизанских отрядов по пяти—десяти человек, подвижных и легко скрывающихся. Их основная задача заключалась в том, чтобы непрерывно и настойчиво беспокоить неприятеля, изматывать его, любыми способами причинять ему вред, истребляя одиночек, нападая по ночам, внося панику, разгоняя лошадей, — словом, создавая вокруг него атмосферу грозящей отовсюду опасности.

— Предупреждаю вас, товарищи, — говорил командующий сектором, — что эти отряды, которые, подобно комарам, сильны своим количеством и подвижностью, ни в коем случае не должны сливаться в крупные малоподвижные отряды, требующие совершенно иных условий формирования и обучения.

Иногда командующего сектором вызывали к прямому проводу. Изпод быстро постукивающего телеграфного аппарата ползла бумажная лента, покрытая буквами: «здесь комиссар N полка Рязанской стрелковой дивизии Поликарпов т ч к здравствуйте товарищ Гусев т ч к я слышал что вы шлете мне пополнение верно ли это в о п р о с у аппарата комвойск Гусев можем прислать двести человек вооруженных з п т также невооруженных т ч к скажите сколько можете принять невооруженных в о п р о с здесь Поликарпов пришлите сегодня сколько можете т ч к если пришлете четырехста штыков двести сабель я вооружу т ч к боедуч красноармейцев отличный з п т беспартийной конференцией принята резолюция з п т просим опубликовать газетах две т ч к ни в минуты наших неудач ни в моменты нашего военного торжества мы ни на минуту не сомневаемся в конечной победе пролетариата над буржуазией т ч к в момент расправы озверевшей буржуазии над поработанным пролетариатом мира шлем проклятие буржуазии и братское к а в ы ч к и слышу к а в ы ч к и рабочим всего мира и особенно залитому кровью венгерскому пролетариату т ч к да здравствует последний бой труда с капиталом восклицая все как один на бой с Деникиным восклицая».

Иногда командующий сектором производил проверку боевой и тактической подготовки формирующихся в секторе стрелковых дивизий. В их составе было много бывших дезертиров — как добровольно явившихся (их сразу можно было узнать по неловкой старательности), так и приведенных насильственно (эти выделялись расхлябанными движениями и безразличным, тупым взглядом).

Значительную часть пополнений составляли только что мобилизованные крестьяне старших возрастов, послужившие уже в солдатах, а нередко намыкавшиеся в германском плену. Многие из них полагали, что отвоевали свое и имеют право просидеть гражданскую войну на печке, покамест другие воюют. Но Мамонтов показал им, что выбора нет: либо надо идти в кабалу к Деникину, либо вступить в ряды Красной Армии. Они избрали второе.

И вот они проходили перед командованием — с винтовками на ремне, кто в солдатской папахе, кто в старой шапке, иные в лаптях, иные даже босиком. На лицах их застыло выражение утомленной серьезности. Приближаясь к начальству, они подтягивались, четко печатали шаг и на приветствие командующего сектором многие отвечали: «Рады... стараться... ваше...»

Самым большим вопросом было снабжение. Командиры частей, стесняясь крепких выражений, употребляли по адресу снабженцев самые неожиданные ругательства: и что они «пищат телеграммы вместо дела»,

и что «разводят бюрократизм, выражающийся в питье чая». Но что могли поделывать несчастные снабженцы, когда им приносили длинейшие списки требований, в которых чего-чего только не было: пулеметы, патроны, винтовки, рубахи суконные, рубахи нательные, брюки, телогрейки, портянки, сапоги, обмотки, ботинки, шинели, ремни поясные, ремни винтовочные, мешки вещевые, мешки сухарные, сумки патронные, двуколки одноконные, двуколки парные, уздечки, упряжь, седла вьючные, седла кавалерийские и еще десятки наименований.

Воевать без всего этого было невозможно. Невозможно, но должно, ибо достать снаряжение было неоткуда!

За окнами вагона шуршал ветер. Сменялись железнодорожные станции, укрепленные узлы, люди, вопросы, с которыми они приходили. В штабном вагоне день и ночь шла не прерываемая ни на минуту работа.

Наконец, к исходу четвертого дня, вагон был прицеплен к составу, направляемому на север. Командующий сектором решил использовать свою поездку, чтобы посмотреть последнюю перед Москвой линию обороны. Линия эта окружала столицу в радиусе двадцати—двадцати пяти верст и проходила через Знаменское, Внуково, Быково, Тарасовку. Она была намечена на случай приближения противника к Москве и непосредственной угрозы городу, оборонительные работы на ней пока не велись.

Не доезжая Быкова, работники штаба сошли с поезда и пошли пешком. Дорога вела через густой лес. Мы шли уже довольно долго, когда сквозь сплетенные ветви деревьев показались чугунные ворота, ведущие в большой парк. Кто-то сказал, что это бывшее имение одного из царских сановников, а теперь санаторий. Все порядком устали и решили зайти в санаторий, попросить чаю.

За воротами вытянулась широкая аллея, обсаженная столетними липами. В конце ее белел дом, похожий издали на светлое облако. Мы были уже недалеко от него, когда впереди показались идущие нам навстречу два человека. Один из них шел, держа в каждой руке по палке и поочередно опираясь на них. Тем не менее походка его казалась легкой и величественной. Когда мы подошли ближе, лицо его поразило меня своей одухотворенностью.

Рядом с ним, поддерживая иногда его под руку, шел человек в белом халате. Мы с отцом узнали в нем хорошо нам знакомого доктора Вейсброда.

— Разрешите вас представить, — сказал доктор. — Климентий Аркадьевич Тимирязев — Сергей Иванович Гусев.

Я, конечно, знала, что Тимирязев живет в Москве, но почему-то он представлялся мне человеком иного мира, иной эпохи, иного измерения, с которым невозможно так вот запросто встретиться и заговорить.

Между тем Тимирязев живо заинтересовался людьми, с которыми сейчас познакомился, и принялся расспрашивать отца о положении на фронте. А я смотрела на него, чуть ли не раскрыв рот.

Мы поднялись по широкой пологой лестнице на мраморную террасу. Она висела над обрывом. Вокруг, пронизанные длинными полосами теплого солнечного света, стояли осенние леса, отливавшие и медью, и золотом, и бронзой.

Климентий Аркадьевич смотрел вдаль, любясь красотой этой осени, последней осени, которую ему суждено было видеть на земле.

— Помните ли вы обращенное к Москве пророчество Байрона? — спросил он.

Thou stand'st alone unrivalled, till the fire  
 To come, in which all Empires Shall expire!  
 (Единственной, себе в истории соперницы не зная,  
 ты простишь и до того пожара  
 Грядущего, в котором все империи мира  
 должны погибнуть!)

### Член парламента

Однажды меня вызвали в Центральный Комитет партии к Елене Дмитриевне Стасовой. Она сказала мне, что в Советскую Россию при- был какой-то английский полковник. Сейчас он находится в Туле. Его переводчик заболел, и нужно немедленно послать к полковнику чело- века, который владеет английским, а на худой конец французским язы- ком. Елена Дмитриевна решила послать меня.

В тот же вечер я втиснулась в поезд, уходящий с Курского вокзала. На другой день я была в штабе Тульского укрепленного района. Там все ходило ходуном. Товарищ, к которому я должна была обратиться, что-то орал, непрерывно крутя ручку полевого телефона. Когда я про- кричала ему в свободное ухо, зачем приехала, он посмотрел на меня мутными, непонимающими глазами. Потом до него «дошло». Он чер- тыхнулся и сказал, что этот англичанин — зовут его мистер Мэлон — ожидает в гостинице.

В коридорах гостиницы на полу спали люди. Я постучала в дверь но- мера, отведенного мистеру Мэлону. Открыл курносый красноармеец. Это был приставленный к мистеру Мэлону ординарец. Он тут же сообщил мне, что зовут его Мишкой.

— Наконец-то приехала,— радостно сказал Мишка.— А то я просто замаялся. Ни я, ни он ни бе, ни ме не понимэ...

Мистер Мэлон сидел у окна с книгой в руках. Уже потом я узнала, что это был томик Тацита, с которым он не расставался. Когда я вошла, он встал и чопорно поклонился.

Английский я знала плохо, поэтому заговорила по-французски. У ми- стера Мэлона было ужасающее произношение, к тому же он вставлял во французскую речь английские междометия, милиционера называл «по- лисменом», священника — «клерджименом», спекулянта — «бизнесме- ном». Но в общем мы довольно быстро стали понимать друг друга.

Я узнала от мистера Эстренджа Мэлона, что он член британского парламента, либерал. В Советскую Россию приехал, чтобы посмотреть собственными глазами, что представляет собой эта страна, о которой английская печать сообщает самые фантастические вещи. Так как бри- танское правительство находится с Советской Россией в состоянии не- объявленной войны, то он взял паспорт для поездки в Эстонию. Приехав туда, отправился на русскую границу и, подняв белый флаг, пошел на- встречу нашим пограничным постам. Пограничники его задержали и пе- реправили в Москву. В Москве он был подвергнут перекрестному допро- су, а затем ему предоставили право свободного проезда в любом направ- лении.

Желая изучить «мюжик рюсс», «козак рюсс» и «пролетэр рюсс», он прежде всего отправился на юг, но приставленный к нему переводчик внезапно заболел, и вот он, мистер Мэлон, уже два дня томится в ожи- дании и хочет как можно скорее продолжать свое путешествие. Маршрут

путешествия будет определять он сам. Мое дело — помочь ему общаться со всеми этими «руссами».

Я объяснила все это Мишке, и тот пообещал «мигом все обманда- тить». Он убежал и быстро вернулся с полуаршинным мандатом на руках. Нам предоставлялось право безвозмездно и беспрепятственно пользо- ваться всеми видами транспорта, передвигаться по территории укреп- ленного района, получать пищевое довольствие, давать телеграммы и чуть ли не разговаривать по прямому проводу.

Но когда мы пришли на вокзал к дежурному коменданту, его окру- жало плотное кольцо владельцев таких же мандатов, каждый из кото- рых был по меньшей мере на четверть аршина длиннее нашего. Мистер Мэлон невозмутимо взирал на то, как мы с Мишкой протискивались че- рез толпу, тыкали пальцем в него, Мэлона, и, сляясь всех перекричать, вопили, что именно нас надо отправить в первую очередь.

Аргументы подействовали. Нас сунули в эшелон с маршевой ротой, направлявшейся на фронт. Не доехав до Орла, мистер Мэлон пожелал сойти.

Незадолго до того прошел дождь, дорога раскисла, ноги вязли в гря- зи. Мы тащились по затерянной в полях проселочной дороге. Далеко впе- реди маячили редкие копыта и силуэты крестьянских лошадей. Только теперь почувствовала я отчаянную сложность своего положения. Мне приходилось уже бывать в разных переделках, но тогда кругом были свои. А сейчас мы с Мишкой оказались с глазу на глаз с этим сухопар- ым англичанином — вылитым мистером Домби, который почему-то по- кинул свою контору в Сити и отправился в страну большевиков.

«Что ему нужно? — думала я. — И кто он? Зачем он поехал в пы- лающую огнем гражданской войны Россию, где ему угрожают тысячи опасностей? Одно из двух: его поездка либо подвиг, либо злодейство. Либо он, подобно Локкарту, имеет тайную миссию — и тогда, быть мо- жет, судьба Советской власти зависит от моей бдительности. Либо в этой груди бьется благородное сердце, способное понять величие нашей рево- люции...»

Но мои мысли прервал голос мистера Мэлона.

— Скажите, пожалуйста, мисс, — произнес он, — вы чекистка?

— Что вы! — сказала я. — Совсем нет.

— Откуда вы знаете французский язык? Вы боуяришна?

— Почему вы считаете, что французский язык могут знать только боярышни?

— Но во всяком случае вы, мисс, болшевик?

— Да, я большевичка.

— Аоуоу, — произнес мистер Мэлон.

«Вот тебе и «аоуоу», — подумала я и показала его длинной спине язык.

Не знаю, как развивался бы наш разговор, если бы за поворотом мы не увидели деревню — из тех, о которых народная мудрость говорит: «Стоит деревушка в лоштинке, ни дров в ней, ни лучинки». Мы подошли к крайней избе, похожей на копну полусгнившей соломы. Мистер Мэ- лон вытащил блокнот.

Так я увидела этот блокнот впервые. Потом за время нашего трех- дневного путешествия я видела его не раз. Это был великолепный блок- нот в сафьяновом переплете, источавшем аромат дорогой кожи. Быть мо- жет, поэтому я возненавидела его лютой ненавистью.

Куда бы мы ни приходили, мистер Мэлон сразу клал перед собой этот блокнот и начинал задавать вопросы, а я приступала к обязанностям пе- реводчика.

Первым по программе мистера Мэлона значился «мюжик рюсс». С этого «мюжик» мы и начали.

Мы шли из деревни в деревню. Везде одно и то же: избы с топкой «по-черному»; иссиня-бледные лица детей; торчащие под ситцевыми кофтами худые лопатки женщин; слезящиеся глаза стариков; рассказы, из которых, как вата из рваного кафтана, лезли горе и нищета.

Мистер Мэлон тщательно расспрашивал, потом записывал в блокнот итоги своих наблюдений:

«С о л о м а. Для русского крестьянина солома является универсальным продуктом. Он употребляет ее в качестве кровли, кормит ею скот, добавляет солому в хлеб, спит на охапке соломы и топит соломой печи».

«З е м л я («землитса»). Объект религиозно-экстатического поклонения. Говоря о земле, крестьянин начинает с того, что крестится и произносит: «Славу богу, земляца теперь наша».

«С о л ь. Спецификой русского голода является его длительность в соединении с полным отсутствием соли. Отсюда обезвоженность кожных покровов и специфическая синюшность, особенно у детей».

И так далее, в этом же роде...

Для ночлега я велела Мишке найти избу побогаче. Хозяин сначала не хотел нас пускать, но, узнав, что с нами приезжий англичанин, согласился. Пока мистер Мэлон фыркал, умываясь под рукомойником, на столе появился самовар, вареные яйца, огурцы, квашеная капуста, стеклянный графинчик с красным петухом на донышке, наполовину наполненный мутноватым самогомом.

Не знаю, за кого принял нас хозяин, но, видимо, за своих, ибо без опаски развязал язык.

Сидя с каменным лицом, я дословно переводила:

— Он говорит: «Советская власть все берет, но ничего не дает» (хозяин произносил «береть», «не даеть»). «Завели коммуна, а ему, хозяину, эта коммуна как блоха под рубахой». Он говорит: «Правительство плохое (хозяин произносил «правительства плохая»), взялось управлять, а дела не знает». Он говорит: «Дорогие союзнички, слезно просим пособить Деникину, чтоб он поскорее пришел, а то от большевиков житья нет».

Записав все это в блокнот, мистер Мэлон осведомился о судьбе местного «лэндлорда».

— Где барин ваш? — спросила я.

— Граф в кутузке сидят-с, — ответил хозяин.

Он опрокинул чашку вверх дном, положил на донце огрызок сахару и готов был продолжать свои разглагольствования, но я сказала, что устала и хочу спать.

Хозяева легли на печь, а мы — на лавки, расставленные вдоль стен. Ночью я почувствовала отвратительное щекотание. В слабом свете лампы я увидела, как целые полчища тараканов ползают по столам, по стенам, по спящим людям.

Когда мы проснулись, хозяева уже встали. Чувствовалось, что за ночь что-то произошло. Все лампы перед иконостасом были зажжены, хозяин поминутно выбегал на улицу и к чему-то прислушивался, потом возвращался, говоря: «Нет, не слышать».

Оказывается, по деревне прошел слух, будто белые уже совсем близко. Хотя слух и не подтвердился, я решила, что надо отсюда убираться, и потому торопила мистера Мэлона.

Хозяин объяснил нам, как пройти к станции «напрямки». То ли он нас запутал, то ли мы сбились с дороги, но мы шли, шли, а станции все не было.

Я уже выбилась из сил, да и Мишка приустал, а мистер Мэлон спокойно вышагивал своими журавлиными ногами. Иногда он задавал мне вопросы, по преимуществу касавшиеся событий Октябрьской революции. Мои попытки заняться его политическим просвещением или растолковать смысл того, что мы с ним видели, он решительно отводил. Глядя на меня сверху вниз, как большая собака поглядывает на твякяющего щенка, он заявлял:

— Для вас, мисс Болшевик, существует только оголенный классовый признак, по которому вы делите всех людей на «мы» и «они». Все, кто не «мы», для вас «они», то есть враги. Я же отношусь к политике гораздо спокойнее и не требую от личности растворения в политических страстях. К вам я приехал, чтобы составить собственное мнение о том, что происходит в вашей стране, и посмотреть на нее глазами человека, над которым не тяготеют влияния того или иного класса.

— Ладно, — говорила я, отходя от мистера Мэлона к Мишке. Тут меня ждало верное сочувствие.

Мы долго шли по полям, которые перемежались редкими перелесками. Наконец подошли к большому селу, вытянувшемуся одной длинной улицей вдоль берега реки. В селе царило необычное оживление. У околицы какой-то дядя в солдатской шинели обучал молодых парней рассыпному строю. Во дворах крестьяне ладили высокие вехи из жердей, обмотанных соломой и обмазанных дегтем. Несколько готовых вех было выставлено возле моста и на пригорке.

На площади перед церковью шел сход. Речь держал человек, голова которого была перевязана грязным бинтом.

Мистер Мэлон вытащил блокнот, и я приступила к переводу.

— Он говорит: «Я, товарищи, задался вопросом, почему они все, гады, против нас? Да потому, товарищи, что наше теперешнее житье им не нравится. Еще бы! То мы были свиньи, чернь, а они промеж нас — господа! Сидели они на наших спинах и не давали бедняку разогнуться и посмотреть, что перед ним, — и все гнули, гнули его книзу. А теперь мы стали людьми и не желаем нашего прежнего жалкого существования». Он говорит: «Разве может понравиться нашему графу Бобринскому и прочим графам и князьям, что мы отняли их поместья, их капиталы, их золото? Да вернись они, гады, так половину нас перевешают, а которых оставят живыми — тех заставят по камушку, по кирпичику собирать их имена и миллионы, за каждый гвоздь, за каждую тряпку дерут вдесятеро».

Потом на бочку, служившую трибуной, взобрался парень в рваной гимнастерке. Его бил озноб. Задыхаясь, он рассказывал о том, как у них в станице под Новохоперском усмиряли восстание, поднятое против Деникина.

— Он говорит, — переводила я, — «казаки бросали ребятишек в колодец, женщин насиловали, а мужчин вешали по несколько человек на одном дереве, и оно стало будто яблоня, только с трупами вместо яблок».

— Как? — переспросил мистер Мэлон.

Я повторила.

Мистер Мэлон сделал запись в своем блокноте. Я заметила, что рука у него дрогнула.

Тем временем небо заволочло тучами. Начало быстро темнеть, но мы двинулись дальше. Часа через полтора, когда мы уже находились на полпути от станции, наступила темнота.

Мы брели, с трудом различая дорогу. Вдруг раздался продолжительный свист, на него ответили три свистка — один длинный и два коротких, — и в одно мгновение мы были окружены и схвачены.

— Говори пропуск!

Пропуска мы не знали. Нам связали за спиной руки и всех троих куда-то повели.

— О мисс Болшевик, — пробормотал мистер Мэлон, — это начинает походить на роман с приключениями.

Нас вели лесом, потом вывели на поляну. Небо прояснилось, и я разглядела, что ведут нас бородатые мужики, вооруженные чем попало: винтовками, обрезам, вилами, топорами. Это были наши партизаны.

Они свернули на тропу и подошли к избе, у которой стояли на привязи оседланные лошади. Оставив нас в сенях под надзором конвоира, они прошли внутрь избы.

В сенях было темно, пахло хлебом, пищал котенок. На полу сидели люди и о чем-то разговаривали вполголоса. Красные звездочки махорочных самокруток освещали то и дело их сумрачные лица.

Меня стало клонить ко сну, но дверь открылась, и нам велели войти внутрь.

За столом сидел командир. Стол был пуст: ни бумаг, ни чернильницы. Только два полевых телефона. В желтом свете керосиновой лампы глаза командира казались ястребиными.

— Кто вы такие? — спросил он.

Я протянула полуаршинный мандат, добытый Мишкой, и свой партийный билет. Он стал их просматривать. Зашипел телефон.

— Грозный! — закричал командир, покрутив ручку и подняв трубку. — Грозный! В десятый раз повторяю вам: триста сабель и пятьдесят штыков...

Вдруг дверь распахнулась, в комнату влетел ординарец и вручил командиру большой серый пакет. Продолжая разговаривать, командир распечатал пакет. Из него выпали записка и небольшой белый конверт. Все еще разговаривая по телефону, командир поднес записку к глазам, лицо его исказилось, он швырнул трубку и...

— Что он кричит? — шепнул мне мистер Мэлон.

Я замаялась.

— Так... Непереводаемая игра слов.

Наконец «игра слов» прекратилась. Обращаясь почему-то к мистеру Мэлону, командир протянул ему конверт.

— Ты погляди, — сказал он. — Ты почитай, что этот подлец пишет. Пошел, сволочь, делать съемку местности — и вот, гадина, к белым переметнулся...

Он начал крутить ручку телефона, а я, подойдя поближе к лампе, прочла мистеру Мэлону письмо на меловой бумаге, написанное изящным наклонным почерком.

Оно было написано в форме официального рапорта поручика, князя такого-то, на имя комбата пролетарского полка. Князь доводил до сведения комбата, что, выполнив возложенную на него «Н-ской организацией» задачу, он, князь, прибыл в штаб «Н-ского казачьего полка Добровольческой армии» и не намерен возвращаться во вверенный командир батальон, а посему просит об исключении его, князя, из списков такого, а принадлежащее ему, князю, имущество в виде двух пар кальсон и коробочки пудры жертвует на пополнение причиненных республиканской казне убытков.

— Ну, разве вы не расстреляли бы эту сволочь? — спросила я мистера Мэлона.

— Аоуоу, — ответил он.

Было ли это «аоуоу» утвердительным ответом? Едва ли! Но и отрицанием оно тоже не было...



### Мистер Мэлон пьет чашу до дна...

Нас быстро отпустили и дали провожатого, который вывел нас к станции. Теперь уже отчетливо слышалась артиллерийская стрельба. На севере небо было черным, на юге, где шел бой, оно освещалось вспышками разрывов. Вдруг слева от нас вспыхнул высокий огненный столб, за ним другой, третий. Это жители дальних деревень, зажигая вежи, оповещали, что к ним пришли белые.

На станции нам сказали, что поезд будет не раньше утра. Мы зашли в зал ожидания, но там был такой спертый воздух, что решили посидеть на платформе.

На рассвете с севера пришел воинский эшелон и приступил к выгрузке. Все было так, как всегда в таких случаях: кто выводил по прогибающимся доскам упирающихся лошадей, кто запрягал их в тачанку, кто крыл в бога-душу-мать каптеров за то, что они вместо сахара выдали сахарную крошку пополам с песком.

И вот тут-то, в этой суматохе, мистер Мэлон впервые задал вопрос о коммунизме. Собственно, не мне, а одному бойцу.

Этот боец только что добыл себе ботинки. Держа эти ботинки в руках, он появился рядом с нами, сел на землю, скинул лапти и переобулся. Довольный донельзя, он вскочил, стал похаживать, притопывая, пританцовывая, выставляя вперед то одну ногу, то другую, восхищенно рассматривал свое в высшей степени неказистое, много раз чиненное и перечиненное приобретение.

— Эх, сапожки! — восклицал он. — Вот сапожки так сапожки! В этих сапожках нехитро и до самого коммунизма дотопать.

— Что он говорит? — заинтересовался мистер Мэлон, услышав знакомое слово.

Я перевела. Голубые глаза мистера Мэлона широко раскрылись.

— А спросите у него, знает ли он, что это такое — коммунизм, — спросил он.

Я подозвала красноармейца и задала ему этот вопрос. Тот удивленно посмотрел на меня.

— Как же не знать? У меня про коммунизм даже стишок прописан.

Сунув руку в карман, он достал сложенный в несколько раз листок бумаги, в который набился махорочный мусор, и протянул его мне.

— На, возьми совсем.

«Стишок про коммунизм» представлял собой длинный столбец неровных строк, выведенных намусоленным чернильным карандашом. Вместо своего имени автор сообщал: «Сочинил Неустрашимый». В «стишке» рассказывалось о том, как будут жить люди при коммунизме, когда «будет хлеба так же много, словно в озере воды». Была в нем, между прочим, такая строфа:

Не клочки иль десятины —  
Все под силу станет нам,  
Как пойдут гулять машины  
По полям и по лугам.

Когда я дошла до этих строк, лицо мистера Мэлона выразило изумление, и он попросил меня перевести еще раз.

— Спросите, пожалуйста, у кòзака, он написал это сам?

— А как же! — важно ответил «кòзак» и убежал, топая своими драгоценными сапожками.

События вокруг нас развивались все стремительнее. Артиллерийская канонада, которая слышалась вдалеке, приблизилась. Конники уже

оседлали лошадей и по одному выезжали на дорогу. Проскакал командир, прозвучала команда. Все пришло в движение. По земле пронесся конский топот, и бойцы унеслись вперед, в бой.

Тут загудел паровоз, подали наш состав. Мистер Мэлон бросился к вагону занимать места.

— Аллур три креста, — оценил его бег Мишка. — Научился!

— Люди рождаются, любят, умирают, — заговорил мистер Мэлон, когда поезд тронулся. — На протяжении своей жизни они, как слепые щенки, ищут счастья. Каждый человек, каждый народ — на свой собственный лад, но в основе их действий всегда лежит нечто общепонятное. Однако, когда я пытаюсь найти разгадку русского сфинкса, мои усилия оказываются тщетными. В самом деле, как слить воедино вашу доброту и нетерпимость, молитву и «Интернационал», мессианизм и холодный реализм, самозабвенную ненависть и жертвенную любовь к человечеству?

— Вот мура-то, — вздохнула я и, как умела, изложила мистеру Мэлону несколько марксистских идей.

Он насмешливо посмотрел на меня.

— Мы возвращаемся к нашему старому разговору, — сказал он. — Снова, хоть и в несколько иных выражениях, я слышу от вас, мисс Болшевик, все те же истины: пролетарии и буржуи, «мы» и «они», герои и злодеи. Насколько я могу судить по взглядам, которые вы устремляете иногда в мою сторону, и по вашему шушуканью с Майклом (так мистер Мэлон именовал нашего Мишку), вы меня также причисляете к категории «они», то есть враги.

— А как же? — сказала я. — Кто не с нами, тот против нас.

— Вы ошибаетесь в своем отношении ко мне, мисс Болшевик! Я приехал сюда, в Россию, потому, что внутренне я бесконечно уважаю революционный подъем вашего народа. Но — говорю вам это со всей открытостью — я не верю в возможность вашей победы, ибо испытания, выпавшие на долю вашего народа, превышают человеческие силы. Настанет день, когда его способность к сопротивлению рухнет. Тогда Деникин возьмет вас за горло и задушит.

— Нет, — сказала я решительно. — Этого не будет. Мы всех побьем.

— Но на чем основана ваша уверенность? Вот вы сердитесь на меня, когда я говорю о мессианизме русских. Но разве не верой в чудеса является ваше убеждение, что человек, став коммунистом, приобретает новые душевные свойства и, подобно пророку, может своим словом поднимать людей на подвиг?

Ну, что было отвечать? Считая, что на мистера Мэлона лучше всего подействует деловитый язык цифр, я сказала:

— Перед отъездом я присутствовала на докладе одного крупного военного работника, и он говорил, что красноармейская часть боеспособна, если в ней имеется два процента коммунистов, и непобедима, если коммунистов пять процентов. Так что ваш «мессианизм» тут ни при чем, потому что его, как явление божественное, в процентах измерять нельзя.

— А в чем же дело? Дайте рациональное объяснение.

Но я не хотела продолжать спор. Еще во время поездки по Московскому сектору обороны мне попало переписанное от руки «Нерушимое обещание коммуниста». Это был один из вариантов «памяток», «наказов», «клятв», которые рождались в среде рядовых коммунистов и расходились по стране, переходя от одного к другому, словно песня, которая выражает мечты и чаяния лучшей части народа.

Листок с «Нерушимым обещанием» я носила в нагрудном кармане и собиралась прочитать его мистеру Мэлону, если придет подходящая минута. И сейчас, глядя на мистера, я решила: «Раз уж ты хочешь знать

«мюжик рюсс», «пролетэр рюсс» и «козак рюсс» — на, узнай их до конца!»

В вагоне было темновато. С трудом различая текст, я читала:

#### «Нерушимое обещание коммуниста

Сознательно, бескорыстно и без принуждения вступая в партию коммунистов-большевиков,

даю слово:

считать своей семьей всех товарищей коммунистов и всех разделяющих наше учение не на словах только, но и на деле; бороться за рабочую и крестьянскую бедноту до последнего вздоха; трудиться по мере своих сил и способностей на пользу пролетариата; защищать Советскую власть, ее честь и достоинство делом и личным примером; ставить партийную дисциплину выше личных убеждений и интересов; исполнять беспрекословно и безропотно все возложенные на меня партией обязанности.

Обязуюсь:

не щадить и не покрывать врагов трудового народа, хотя бы этими врагами оказались бывшие друзья и близкие родственники; не поддерживать дружбу с врагами пролетариата и со всеми враждебно нам мыслящими; привлекать к учению коммунизма новых последователей; воспитывать свою семью, как истинных коммунистов.

Обещаюсь:

встретить смерть за освобождение трудящихся от ига насильников с достоинством и спокойствием; не просить у врагов трудящихся пощады ни в плену, ни в бою; не прикидываться пред врагами инакомыслящим ради личных выгод или корысти.

Отрекаюсь:

от накапливания личных богатств, денег и вещей; считаю позором азартную игру и торговлю как путь к личной наживе; считаю постыдным суеверие как пережиток тьмы и невежества; считаю недопустимым делить людей по религии, языку, национальности, зная, что в будущем все трудящиеся сольются в единую семью.

Я пощажу лишь того, кто обманут и увлечен по темноте врагами, и прощу и забуду старые преступления тех, кто искренне раскаялся, перешел к нам из стана врагов и делом искупил прошлое.

Если же я отступлю от своих обещаний сознательно, корысти и выгоды ради, то буду отверженным и презренным предателем.

Это значит, что я лгал себе, лгал товарищам, лгал своей совести и недостоин звания человека!»

Я кончила читать. Душа моя была с теми, кто дал это нерушимое обещание. Ведь все мои товарищи ушли на фронт, и я хотела уйти вместе с ними. А вот путешествую с мистером Мэлоном. Где они, мои друзья, сейчас? Одни были заняты, казалось бы, незаметной работой, благодаря которой влияние нашей партии пронизало всю жизнь страны. Другие бились насмерть с врагом. Третьи лежали в чистом поле, и сводка политотдела с суровым лаконизмом сообщала: «Н-ский полк. В тече-

ние трех суток полк сдерживает натиск превосходящих сил противника. Политический комиссар полка и больше половины коммунистов пали смертью храбрых».

Овладев собой, я посмотрела на мистера Мэлона. Он сидел, уставившись в одну точку, и сосредоточенно посапывал. Потом достал портсигар, раскрыл его. Портсигар был пуст.

— Мне нечего курить,— сказал мистер Мэлон жалобным тоном.

— Майкл! — окликнула я Мишку.— Скрути ему собачью ножку.

Мистер Мэлон долго раскуривал непривычное для него сооружение. Заговорил он не скоро.

— У нашего писателя Уэллса,— сказал он,— есть такой герой — мистер Бритлинг, человек умный, но наивный и медлительный. Во время мировой войны он испил до дна чашу горя и страданий, выпавших на долю человечества. Лишь тогда он многое понял в окружающем его мире. Быть может, и мне еще нужно многое испытать, пока я увижу дно чаши понимания...

В Туле нас ожидал выздоровевший переводчик. Со смешанным чувством грусти и облегчения я сдала ему мистера Мэлона. Но тот пожелал проводить меня на вокзал.

— Будьте счастливы, мисс Болшевик,— повторял он, прощаясь.— И не думайте плохо о надоедливом англичанине, который не желает вам ничего, кроме добра.

Прозвучал третий звонок, поезд тронулся. Мистер Мэлон продолжал стоять на платформе.

Больше я его никогда не видела, и мне не суждено было присутствовать при том, как он пил до дна свою чашу.

Много лет спустя, желая узнать о дальнейшей судьбе мистера Мэлона, я принялась за изучение английских газет. Велика была моя радость, когда в отчетах о заседаниях палаты общин, в газетах «Таймс» и «Дейли геральд», я встретила знакомое имя.

Он вернулся в Англию в конце октября или в первых числах ноября. Сцена, которая разыгралась при его появлении в палате общин, выразительно рассказывает о том, какая встреча была ему устроена.

«Мистер Уинтертон. Каким образом Министерство иностранных дел правительства его величества выдало паспорт для проезда в Советскую Россию в то время, когда британский флот бомбардировал русские форты?

Заместитель министра иностранных дел. Мне не известно ни одного случая выдачи подобного паспорта.

Мистер Гвинес. Следует ли это понимать так, что мистер Мэлон поехал в Россию, не имея паспорта?

Заместитель министра иностранных дел. Паспорт полковнику Мэлону был выдан для проезда в Эстонию. Что произошло в дальнейшем, мне не известно.

Мистер Биллинг. Судя по тому, что мы слышали, достопочтенный член парламента братался с врагами нашей родины.

Мистер Кенворт. Чего вы добиваетесь, Биллинг?

Мистер Биллинг. Я хочу разоблачить находящегося здесь предателя и немедленно с ним покончить. (Возгласы одобрения.)

Спикер. К порядку! К порядку!»

Это заседание палаты общин было посвящено утверждению дополнительных ассигнований на военные расходы в сумме ста восемнадцати миллионов фунтов стерлингов, в том числе пятнадцать миллионов фунтов стерлингов — на поддержку Деникина и Юденича.

Прения, которые развернулись по этому вопросу, газетные отчеты характеризуют как «парламентскую дуэль между двумя очевидцами, вернувшимися из России: поборником белых и защитником красных».

В качестве поборника белых выступил полковник Джон Уорд, который командовал в Сибири батальоном английских оккупационных войск и помог Колчаку совершить его контрреволюционный переворот. Уорд произнес панегирик в честь Колчака как «истинного демократа, носителя гуманности и прогресса». Советскую Россию, в которой он никогда не бывал, Уорд изображал чем-то вроде земного филиала ада, с тем лишь отличием, что вместо раскаленных сковород там применяются более жестокие методы пыток. В заключение полковник Уорд призвал вести против Советской России войну до полного истребления большевиков.

«Защитником красных» был полковник Мэлон.

Судя по его речи и по заявлениям, опубликованным в печати, в нем осталось много от того мистера Мэлона, которого я успела узнать за время нашего короткого знакомства: и настойчиво повторяемая мысль, что ему «чужды идеи крайнего социализма», и всяческое подчеркивание того, что он «не подвержен влияниям какого бы то ни было класса».

Но в то же время это был другой человек. Наше путешествие было незначительным эпизодом в его поездке: он имел беседы с рядом руководителей Советского государства, провел много времени в Туле, Москве, Петрограде, посещал театры, концерты, заводы, красноармейские части, разговаривал с сотнями самых различных людей.

С первых же слов речь, которую он произнес в палате общин, прозвучала отнюдь не «беспартийно», «внепартийно» или «надпартийно».

Он начал ее с заявления, что кампания, которая ведется английской печатью против Советской России, представляет собой сплошную ложь и фальсификацию. Эта кампания, по его убеждению, инспирирована русскими реакционерами и лицами, которые им симпатизируют и боятся распространения в Англии идей коммунизма.

С огромным сочувствием говорил он о Советской России — об ужасных лишениях, которые терпит русский народ вследствие бесчестной блокады, организованной Антантой; о программе социальной реконструкции, разработанной Советским правительством во имя общественного благополучия, здоровья и всеобщего образования.

— Особенно поражает забота, которой эта голодная, страдающая страна окружила детей,— говорил полковник Мэлон.— Там работают театры, люди не падают духом. Нет, они полны бодрости и надежд! И это все несмотря на величайшие тяготы, которые приходится переносить русскому народу. Этот народ с безграничным энтузиазмом поддерживает советскую систему управления и никогда не сдастся врагу.

В заключение он заявил, что привез предложения Ленина о немедленном заключении перемирия на всех фронтах гражданской войны и созыве конференции круглого стола, на которой был бы положен конец смерти и кровопролитию. Передав эти предложения английскому правительству, полковник Мэлон потребовал, чтобы оно безотлагательно занялось созывом такой конференции и тотчас же сняло блокаду, обрекающую русских детей на голодную смерть.

— Большевики победят,— говорил мистер Мэлон.— Мы видели на прошлой неделе французского президента, который приезжал к нам с визитом. Быть может, через несколько лет в Лондон придет русский президент и даже будет принят в Букингэмском дворце. Пусть будет созвана международная конференция. Если же вы захотите обсуждать русский вопрос без России, то Россия будет обсуждать ваши вопросы без вас!

Он много раз выступал на митингах, организованных обществом «Руки прочь от России» в Портсмуте и других городах.

В английской рабочей печати того времени имя мистера Мэлона, человека, который добивался прекращения интервенции в России и рассказывал правду о первой республике рабочих и крестьян, занимало почетное место рядом с именами американцев Линкольна Стеффенса и Джона Рида.

### Раздумье

В ту осень долго стояли ясные, солнечные дни. Холода наступили сразу. Накануне годовщины Октября вдруг подул ледяной ветер, а на второй день праздника разыгралась вьюга, снег мокрыми хлопьями залепил окна. Мы с мамой уже раздумали было идти на концерт в Большой зал консерватории, куда у нас были билеты. Но в конце концов все же пошли.

На улице мело. Лампочки иллюминации едва светили сквозь снежную мглу. У Дома союзов стояла деревянная статуя красноармейца. Символизируя победы, одержанные за последние недели над Деникиным и Юденичем, он нанизал на свой штык генералов, помещиков и фабрикантов.

Взявшись за руки, мы с мамой шагали навстречу ветру, который рвал флаги и раскачивал провода. К подъезду консерватории вела дорожка, протоптанная в снегу. Гардероб не работал. Стряхнув с себя снег, мы поднялись вверх.

Когда мы вошли, зал был почти полон. Служители выносили на эстраду пюпитры и раскладывали ноты. Билеты наши были в партер — в пятый или шестой ряд. Прямо передо мной место было свободно, а следующее кресло занимал человек в шапке-ушанке, отделанной черным мехом. Воротник пальто был у него поднят, он сидел, устало опустив плечи.

Появились оркестранты в шубах и шапках. Пианистка не сняла шерстяных перчаток. Вяло звучали настраиваемые инструменты, словно и звуки застывали в этом мертвящем холоде. Наконец вышел дирижер. — если мне не изменяет память, Сергей Кусевицкий. На нем был фрак, но вместо белого пластрона из-под фрака выглядывал серый свитер. Дирижер быстро поклонился, подышал на руки и поднял палочку. Концерт начался...

Я запахла поглубже пальто и приготовилась слушать, но мама тронула меня за руку. Одними глазами она показала мне на того человека, который сидел впереди, слева от меня. Теперь он снял шапку и опустил воротник. Я увидела, что это Владимир Ильич.

Мне довелось много раз видеть Владимира Ильича выступающим на трибуне, председательствующим на заседании, у него дома. И всегда он был в действии, в движении. Сейчас впервые я видела его в минуту сосредоточенного раздумья, когда он не знал, что на него смотрят, когда он весь ушел в себя.

Слушая и не слушая увертюру «Кориолан», я неприметно, боковым зрением, наблюдала за Владимиром Ильичем. Он сидел не шелохнувшись, поглощенный музыкой. Оркестр постепенно освобождался от оцепенения, но все еще звучал приглушенно, и только замерзший ударник, когда ему приходило время вступать, с непомерной силой колотил по своему инструменту.

— Как застоявшаяся лошадь, — негромко пошутил кто-то сзади.

Но вот прогремел финал, раздались аплодисменты. Владимир Ильич слегка пошевелился. По его движению я поняла, что он старается

устроить поудобнее левое плечо, из которого еще не были извлечены эсеровские пули.

Это затруненное движение напомнило мне, как работники Совнаркома и Секретариата Центрального Комитета партии, помещавшегося за стенами Кремля, в первые дни после ранения Владимира Ильича невольно ходили на цыпочках и разговаривали шепотом; как потом он стал выздоравливать и мы, приходя обедать в кремлевскую столовую, иногда видели его через окно гуляющим по двору.

Новый взрыв рукоплесканий прервал мои думы. Теперь Владимир Ильич переменил позу и сидел так, что мне видна была правая половина его лица. Выражение его было сосредоточенным и даже грустным. И чувство огромной любви к нему охватило мою душу.

Было что-то особенное в отношении к Владимиру Ильичу людей, которые его знали. Никто и никогда не видел в нем какого-то «небожителя»; он был для всех вождем, учителем и в то же время близким, доступным, участливым человеком, товарищем, державшимся со всеми, как равный с равными. Он умел, как никто, переходить от высокого к обыденному, от вдохновенной речи, охватывающей опыт человечества, к самым простым земным делам.

Мне вспомнился день Первого мая девятнадцатого года. Праздник международного пролетариата проводился тогда иначе, чем теперь. Вся революционная Москва стройными колоннами приходила на Красную площадь. Люди слушали выступления ораторов, проходили мимо Ленина, пели, произносили клятву верности социалистической революции и, проведя здесь, на Красной площади, несколько часов, расходились по своим районам, чтобы там закончить празднование дня солидарности трудящихся всего мира.

И Красная площадь тоже была совсем не такой, как теперь. Вдоль Кремлевской стены голо и неприятно, обложенные дерном, тянулись могилы жертв революции. Площадь была вымощена брусчаткой. По ней проходили две трамвайные линии. Трамваи со звоном и скрежетом одолевали подъем у Исторического музея, а потом с грохотом спускались к коротенькому, перекинутому с берега на берег Москворецкому мосту. Сразу за храмом Василия Блаженного шел ряд невзрачных домов — и площадь от этого была меньше и теснее, чем в наши дни.

В тот день, Первого мая девятнадцатого года, она выглядела праздничнее, чем обычно. Здание Верхних торговых рядов (нынешний ГУМ) украшали огромные алые полотнища; на одном из них был нарисован рабочий, на другом — крестьянин. На каждом зубчике Кремлевской стены алел красный флажок, и даже Минину и Пожарскому, памятник которым стоял у самого центра торговых рядов, сунули в руки по красному флагу. На Лобном месте белое покрывало окутывало фигуру Стеньки Разина — памятник должен был быть открыт сегодня. Свежая могила Якова Михайловича Свердлова утопала в цветах.

Ярко светило солнце. Деревья были усыпаны почками и зеленоватым кружевом вырисовывались на фоне ясного неба. Настроение у всех было радостное. С фронтов приходили вести о победах Красной Армии. В толпе слышались песни, знакомые громко приветствовали друг друга еще только входившими в обычай словами: «С Первым мая, товарищи!»

После двенадцати на площади появился Владимир Ильич Ленин, бурно приветствуемый собравшимися. Он обратился к ним с речью, которую закончил словами: «Да здравствует коммунизм!» Потом он спустился, чтобы перейти на следующую трибуну (их было установлено несколько, в разных концах площади — так, чтобы все, кто пришел, могли

услышать Ленина и других большевистских деятелей). Но Владимира Ильича остановили и протянули ему лопату.

Дело в том, что в тот год день Первого мая был объявлен днем древонасаждения. Окруженная со всех сторон врагами, Советская республика решила высадить молодые деревья.

Владимир Ильич, лукаво усмехаясь, потер ладони, взял лопату и принялся копать землю у Кремлевской стены.

Когда ямки были вырыты, подъехала подвода с саженцами. Владимиру Ильичу вручили тоненькую липку. Он бережно поставил ее, засыпал ямку землей, полил водой и, только когда работа кругом была закончена, прошел вперед и поднялся на другую трибуну.

В первой своей речи в этот день он подводил итоги прошлого, теперь его мысль была обращена к будущему — к тому новому миру, который вырисовывался из-за туч порохового дыма, окутавшего Советскую Россию. Он видел это будущее и в детях, слушавших его, стоя у подножия трибуны, и в молодых деревьях, которые были только что посажены.

Опираясь на лопаты, собравшиеся вслушивались в слова Владимира Ильича.

— Внуки наши,— говорил он, протянув перед собой почерневшую от земли руку,— как диковинку, будут рассматривать документы и памятники эпохи капиталистического строя. С трудом смогут они представить себе, каким образом могла находиться в частных руках торговля предметами первой необходимости, как могли принадлежать фабрики и заводы отдельным лицам, как мог один человек эксплуатировать другого, как могли существовать люди, не занимавшиеся трудом. До сих пор, как о сказке, говорили о том, что увидят дети наши, но теперь, товарищи, вы ясно видите, что заложенное нами здание социалистического общества — не утопия. Еще усерднее будут строить это здание наши дети.

Он посмотрел на детей и, немного помедлив, сказал:

— Мы не увидим этого будущего, как не увидим расцвета деревьев, которые сегодня посажены; но это время увидят наши дети, его увидят те, кто переживает сегодня пору юности.

Шум рукоплесканий возвестил об окончании первого отделения концерта. Все поднялись с мест, притопывая, хлопывая себя, чтобы согреться. Встал и Владимир Ильич.

Он надел шапку, постучал кулаком о кулак, потом обернулся и увидел нас с мамой.

— А, Елизавет Воробей,— окликнул он меня тем прозвищем, которое мне дали, когда я была девочкой. Он поздоровался с мамой, потом со мной своим крепким, быстрым рукопожатием.

Да, все это было...

И когда сегодня вспоминаешь об этом, тебя охватывает желание быть лучше, благороднее, быть всегда достойным высокого звания коммуниста!





---

МАКСИМ ТАНК

★

## ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

*(С белорусского)*

\*.\*.\*

Когда-то внушали наставники мне,  
Бывалые люди, учебники в школе,  
Что путь отыскать в незнакомой стране  
Несложно по карте, по стрелке бусоли,  
По солнцу, по прочим небесным телам,  
По руслам извилистых речек бурливых,  
По россыпи мха, по древесным стволам,  
По глыбам крутым валунов молчаливых.

Но как на чужбине не сбиться с пути,  
Коль нет ни камней, ни реки, ни растений,  
Коль солнце в тумане никак не найти,  
Коль звезды погашены тучей осенней?  
Поэтому, в край попадая чужой,  
Не веря заученным с детства приметам,  
Всегда находил я дорогу домой  
По голосу сердца, по песням неслетым.

### ПЕЧЬ

Друзья, засыпали вы в возрасте раннем  
На старой печи, под сверчка стрекотанье?

Вы видели, как до рассвета, бывало,  
Лучину смолистую мать зажигала,

Очаг раздувала, склонясь над углями,  
Пока не займетса, как радуга, пламя?

Вы слушали сказки и мудрые речи,  
Ладони озябшие грея у печи?

Глядели на то, как огонь веселится,  
Как скачет он, словно живая синица?

Следили вы, как в чугуне постепенно  
Ботвинья, вскипая, пузырится пеной,

Как жарят картошку на пламени жарком,  
Как жиром стреляет шипящая шкварка,

Как тушится мясо с горохом, с бобами,  
Как сушатся ягоды рядом с грибами?

А ежели свежим пахнёт караваем,  
Тот запах поистине незабываем!

Я мог бы, печную использовав тему,  
Создать диссертацию или поэму.

А все ж я жалею, что с доменной печью  
Имел лишь одну мимолетную встречу.

Была б моя песня звучней и богаче,  
Когда бы сдружился я с плавкой горячей!

### НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Незабвенные просторы — лес, и лес, и лес.  
Как медведь, на скат землянки бурый мох залез.

Развалился, словно в спячке, как медведь мохнат,  
Под его кудлатой лапой кругляши скрипят.

Бочажок мерцает рядом темною водой,  
Весь осыпан медной хвоей и сухой листвой.

Средь золы костров остывших — зыбкие, как сон,  
Дереза, брусничник мелкий и кукушкин лен.

Тут когда-то партизаны памятной порой,  
Как султану запорожцы, в чаще вековой

Гитлеру письмо писали и в посланье том  
Изъяснялись напрямую сочным языком.

Им служил столом походным срез кривого пня,  
В их письме хватало соли, перца и огня.

Над седым Днепром, над Сожем смех стоял такой,  
Что враги покой теряли в норах за рекой.

На дорогах, где остыли давние костры,  
И поныне бродит эхо боевой поры.

Только вслушайся в звучанье милых голосов  
Белорусских синих речек, вековых лесов.

### НАД ОЗЕРОМ «МОРСКОЕ ОКО»

Горы, долины, горы, долины...  
Кажется, будто на всю страну  
Кто-то баян, бесконечно длинный,  
Под небом праздничным растянул.

Мехи развернул, излучая веселье,  
И зазвенели на все голоса

Все верховины, и ущелья,  
И водопады, и леса.

Поет околдованное пространство,  
Переливается эхо гор.  
Парни кружатся в «Збуйницком танце»,  
Девушки прыгают через костер.

И я, зачарованный и онемелый,  
Гляжу на стремительный этот бег.  
Только б красавица не сгорела!  
Жива! И гуральский слышится смех.

Хозяева просят не торопиться,  
Еще денек у них погостить.  
— Боюсь,— отвечаю,— в ваш край влюбиться  
И вовсе дорогу домой забыть.

Прощаюсь с Карпатами утром ранним.  
Склон, отраженный в озере, крут.  
Друзья, не от слез ли при расставанье  
«Морское Око» возникло тут?

\*.\*.\*

Я останавливаюсь у столов,  
Где продают целительные травы.  
Они сюда принесены с лугов,  
Они росли под кронами дубравы,  
Они в смолистом найдены бору,  
Росою увлажненные в июне,  
При петушином пенье поутру  
Или в сквозную полночь, в полнолуние.

Их мать берет, чтоб рану утолить  
Сердечную — война убила сына.  
Берут их молодуха и дивчина.  
Зачем? Желанного приворожить?  
Сплести из них венок для кос густых?

В век атома, вдыхая запах милый,  
Я тоже верю этим травам — в них  
Родной земли живительная сила.

*Перевел Я. Хелемский.*



---

ЕФИМ ЗОЗУЛЯ

★

## РАССКАЗЫ О ЛЕНИНЕ

*В рукописном фонде Е. Д. Зозули, хранящемся в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР, есть тетрадка, в которой содержится ряд небольших произведений о В. И. Ленине. Судя по всему, они представляют собой устные рассказы простых людей, встречавшихся с Владимиром Ильичем, записанные и обработанные писателем.*

*Ниже публикуются некоторые из этих рассказов.*

### ЯДОВИТАЯ ПУЛЯ

**Н**аметили враги народа истратить хоть миллион пуль, но убить Владимира Ильича, чтобы не было на свете человека, который действительно обеспечивает полную сохранность и неприкосновенность Советской власти. Пытались взорвать поезд, на котором переезжало правительство из Петрограда. Это не удалось. Тогда изверги установили в Москве непрерывную слежку за Лениным.

В то время Ильич очень часто выступал на митингах. В иные дни он делал по два, по три и по четыре выступления в разных концах Москвы.

И вот две из ядовитых пуль поразили Ильича по выходе его с огромного рабочего собрания. И пал вождь на землю, обливаясь кровью.

Подбежали тут рабочие, подняли, положили Ильича в автомобиль.

Все старания приложил рабочий класс, чтобы возвратить Ленина к его рабочему месту у руля революции.

Еще лежал он больной, а уже опять начал писать книги. Было у него в голове много науки, не хотел умирать, пока не отдаст все ученикам.

### ЛЕЧЕНИЕ

Сперва Ильич жил и лечился в Кремле, а потом, как выздоравливать стал, врачи прописали ему дышать лесным воздухом. И порекомендовали Горки, зеленеющиеся над рекою Пахрой.

Золотая осень уже шумела желтыми листьями берез, лип, кленов, дубов и ясеней и насыпала их сантиметра на четыре толщиной. Под ногами они шуршали приятнейшим шорохом.

Мы, рабочие совхоза «Горки», сгребали листья в кучи, чтобы их потом вывезти. Как вдруг вижу — пришла легковая машина из Москвы и все сразу почему-то засуетились.

- Кто приехал?
- Товарищ Ленин.
- Ведь он же болен!

— Его сюда привезли на поправку.

И поселился Ильич в лесу, на горé, в большом доме.

Возле дома, где он поселился,— сад, за садом река, за рекою луга, за лугами селения, за селениями железная дорога, а там город Подольск; вечером красив он при сверкающих вдали фонарях.

Вид и днем замечательный. Парк старый, тенистый. Есть такие места, что солнечный свет и дождевая гуща не могут пробиться через чащу деревьев.

Залюбовался Ленин большим, дуплистым дубом толщиной в пять обхватов.

## У РЕКИ

В тенистом местечке, на берегу реки Пахры, сидел человек лет пятидесяти, в простой синей рубашке. Он удил рыбу. А мимо шел крестьянин, также на рыбную ловлю.

Не зная сидящего, мужик спросил:

— Клюет рыба-то?

А человек лет пятидесяти ответил:

— Пока плохо.

Уселся с ним крестьянин рядом и тоже стал закидывать удочки с червяками в воду.

Зашел у них разговор о Советской власти.

Крестьянин был недовольный человек. Первоначально-то у нас была большая разруха, и трудно было этому темному крестьянину разобраться, кто в ней виноват. Изложил крестьянин пятидесятилетнему рыболову свою горечь и свое неудовольствие.

Выслушал его Ильич и так начал говорить:

— Не все то может блеснуть сразу, что хорошо и прекрасно. Не сразу строили железные дороги и высокие, многоэтажные здания, не сразу появились города...

Объяснил Ильич крестьянину, какое зло нанесла народу трудовому царская война, объяснил про буржуазную интервенцию, войну международной буржуазии с молодой Советской страной.

— Острой бритвой отрезала от нас интервенция и белый хлеб украинский, и твердый уголь донецкий, и жирную нефть бакинскую, и отборные фрукты южные, и леса архангельские, и золотые россыпи алданские. Сделала она нашу жизнь нищенской. Получили мы в наследство тяжелое хозяйство. Надо нам отбить у врагов все, что мы имели, раздавить контрреволюцию начисто и тогда приняться за строительство новой, богатой жизни.

Хорошо и понятно говорил собеседник крестьянину, сразу объяснил самую суть, объяснил, где источник нашего несчастья.

Так разговорились два товарища по рыбной ловле на возвышенном берегу реки Пахры.

И забыли даже про свои закинутые в воду удочки. Рыбки червяков у них съели и отплыли от железных крючков в свое жидкое раздолье.

Затем распрощались рыболовы и ушли каждый в свою сторону.

И потом только крестьянин узнал, что беседовал-то он с Лениным.

## ПОДАРОК НОВОРОЖДЕННОМУ

Когда в восемнадцатом году родился в деревне мой сынок Алешка, жена стала приходить ко мне в санаторию за пайком для ребенка. А в это время была щипоглотка-голодовка. И для ребенка невозможно было достать молочной пищи.

И кто-то сказал Владимиру Ильичу, что вот Лаптев Иван, горский крестьянин, работающий при санатории, плохо живет, а у него народился в деревне ребенок.

И Ильич решил помочь новорожденному. Он попросил ежедневно отпускать ребенку манной крупы. И каждое утро, как жена приходила ко мне в парк, ей выдавали крупы и молока.

### МАЛЬЧИК И ЛЕНИН

С Яма-села шел мальчик, а Ильич стоял у большого дома. И мальчик, поравнявшись с ним, говорит:

— Вот тут Ленин живет. Как мне Ленина хочется поглядеть!

— Тебе хочется? — говорит Ильич. — Смотри, вот я и есть Ленин.

— Ну что ты, — говорит мальчик, — Ленин в простой рубашке разве пойдет, да еще без пояса? Нет, у Ленина, поди, наряды какие!

— Самый, — говорит, — я!

Мальчик ему не поверил.

И вот идут они вдвоем, разговаривают, спорят. Ильич его уверяет, а этот не уверяется. Хоть удостоверение предъяви, да мальчик неграмотный.

А я шла аллеюшкой и это видела. Хотела посмеяться, но было неудобно.

И Ленин пошел к себе в дом, а мальчик — в совхоз за капустой.

### ГРИБЫ

Старушка с грибами из лесу шла, а Ильич встретил ее и спрашивает:

— Бабушка, грибы каковы?

— Никуда не годятся, милый. Вот некрещеные большевики сюда понаехали, и грибы перестали расти.

— Разве от этого грибы не растут?

— Да, батюшка.

А в это время молодые ребята выходят из березничка и полные корзины грибов несут и Ильичу показывают, хвалясь:

— Вон сколько собрали! И совсем недалеко. Рядом здесь, в лесу.

— Ну вот, бабушка! — воскликнул Владимир Ильич. — Ты говоришь, от большевиков грибы перестали расти, а они вон как растут.

### В МОСКВУ

Лето уже стало гаснуть, морозами захватывало цветы. Листья все осыпались.

Сегодня Ильич уезжал из Горок. Машина стояла, готовая к отходу. Шофер ждал Ильича.

Перед отъездом Ленин долго наслаждался свежим воздухом и шумом шуршащих листьев.

— Я погостил, — говорит, — и совершенно выздоровел. Будьте вы все здоровы и живите, товарищи, дружно.

Рука за руку с нами всеми, рабочими, попрощался.

Уже окрепший, возвращался он в Москву к своей огромной работе.

Долго мы все смотрели на следы отъехавшей машины и думали о Ленине. Жаль нам было, что уехал, и рады мы были, что стал он здоров.

## КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

...Очень хорошо прошел первый Октябрьский праздник на великой Красной площади, у стен могучего Кремля.

Год назад, в октябре семнадцатого, Красная площадь была побитыми стеклами засыпана, а древние стены Кремля дырками изранены.

По высоким лестницам, по длинным коридорам, без свечек, взбирались мы на чердаки. Спички зажигали и лезли наверх. Из слуховых окон выглядывали. Видна нам была Красная площадь. На кремлевских стенах, за бойницами, и на колокольнях стояли пулеметы белых. Но не прерывался гул шестидюймовок наших, штурмовали мы твердыню белых, и грохотала белокаменная Москва.

Это был решительный бой рабочих с буржуями. Сходился сильный гул и по Москве-реке по воде отдавался, как в лесу. Рокотали, вздрагивали стены, и шаталась земля.

Видимо-невидимо народу пошло на юнкеров, на буржуев. Здесь уж будь что будет, а надо было дело добивать до точки.

Так было год тому назад, в семнадцатом.

А сейчас, седьмого ноября восемнадцатого года, с радостными лицами колонны победивших буржуазию шли за красными флагами, за струнными оркестрами, за гармошками, с песнями шли, вспоминая бои, отмечая победы. Хотя и фронтами еще объята, но шагнула вперед Великая Октябрьская революция. Кадетов, белых офицеров, юнкеров, сыщиков, помещиков, капиталистов, социал-предателей, монархистов выгнали из дворцов.

Чем особенно была богата сейчас Красная площадь — это выздоровевшим Ильичем, стоящим на трибуне...

Видел весь народ Ленина, и голова его казалась ясным солнцем, а вытянутая рука была как светящийся факел.

Он показал, что единая судьба ожидает все народы мира; какой раньше, какой позже, но все народы пойдут по пути, который начат в октябрьских боях на Красной площади, ровно год тому назад.

В народном шествии я проходил через Красную площадь. Великого Ленина я видел здоровым на трибуне и жадно слушал его пламенный привет.

## СОБРАНИЕ

Седьмого ноября в восемнадцатом году была хорошая погода. И Брянские леса шумели вокруг заводов над рекой Болвой. Они были в своем зеленом одеянии и еще не пустили листву на ветер.

В нашем рабочем поселке построили деревянную арку, на ней фигура освобожденной женщины и портрет Ленина. У этого сооружения проводился парад чугунолитейного завода и фарфоро-фаянсовой фабрики. Музыка с двух заводов играла «Интернационал».

Мы знали, что Ленин выздоровел и рабочие Москвы видят его на Красной площади. Как хотелось и нам быть у стен Кремля!

Тут же после праздника я уехал в Москву на Всероссийский съезд химиков. Ехал я в приподнятом настроении, надеясь, что, может быть, увижу Ленина.

Золотая осень. Дворец труда покрыт флагами. На четвертом этаже большой зал заседания. Фарфоро-фаянсовые химики, спичечники, галошники, мыльники, стекольщики изо всех краев Советского Союза съехались в Москву, на Солянку.

Все выступали с деловыми предложениями, поддерживая ленинские тезисы о необходимости развить промышленность, хотя бы и горел кругом пожар контрреволюции. Говорили и об удобрении, и о галошах, о спичках, о стекле и о мыле. Каждый сознавал боевую задачу, а жизнь подсказывала, что если не мы о себе — никто о нас не позаботится.

Ветры дули со всех сторон. Страна была объята пожаром. Хотелось слышать ленинское слово.

И когда сказали, что сегодня Ленин выступит с докладом, мы просто из рук рвали билеты и побежали в Колонный зал.

Восемь часов вечера. Люстры горят полным огнем, освещая блестящее колонное помещение.

Народ возбужден. Шапки сняты. Где белеет лысина, а где чернеет или рыжеет копна волос.

Как вошел Ленин, все встали. Гремел, содрогался зал. Люстры заблестели, как алмазы.

В самых простых и всем понятных словах Ленин заговорил о международном положении и объяснил, почему и как вредят нам алчные своры, внешние и внутренние.

И тогда Владимир Ильич повторил свои вещие слова о том, что даже каждая работница, кухарка и нянька обязана научиться править государством.

Мечта моя увидеть Ильича живым и здоровым сбылась.

## ОБОРОНА РОДИНЫ

Я подымалась по лестнице в кабинет к товарищу Свердлову, а Ленин спускался вниз по той же лестнице. И когда встретились, я смутилась и даже отшатнулась в сторону.

Он улыбнулся.

— Что вы так смутились?

А я — с фронта. У меня сумка военная через плечо. Я только что из телячьего вагона...

Этот телячий вагон привез меня из Симбирска, из города, где родился Ленин.

Пять раз переходил город от рабочих к белогвардейцам, и с каждым разом господ из дворянских гнезд все больше озлоблялись против Ленина. Когда же красные комиссары попадали в руки к белым, так эти господа их мало того что расстреливали — над их трупами издевались, отрубали челюсти, зонтиками выкалывали глаза.

А почему они так злодействовали? Город же дал Ленина. Так они это учитывали. И, не имея живого Ильича в Симбирске, вымещали злобу на первопопавших его соратниках.

Какова же была радость буржуев, когда тридцатого августа совершилось злодейское покушение на Ленина! Ликовала волжская буржуазия. В честь этого митрополит расклеил по городу, где родился Ленин, синие плакаты, чтобы все как один шли благодарить бога за совершившееся.

— Главный-то столп большевизма, слава те господи, упал.

Но когда печальная весть о жестоком ранении Ильича донеслась до красных бойцов, до одетых в шинели крестьян и рабочих, все как один поклялись освободить Волгу от белогвардейских банд. Питерские и московские рабочие, иванововознесенцы, нижегородцы, ярославцы, тверяки, туляки и красные моряки Балтики, охваченные возмущением, дали клятву двенадцатого сентября обедать в Симбирске.



И стрелки коммунистических полков рванулись с Инзы, с села Кремен, через овраг Винновский, через густые мордовские леса, через кустарники к большой реке, разлившейся под горным берегом. И с разных сторон подошли к Симбирску — городу, где родился Ленин.

А белые буржуи из дворянских гнезд по мосту понеслись на Мелекес и — на лодках через Волгу, а вдогонку им рокотали выстрелы с высот Старого Венца.

И двенадцатого сентября, как было обещано, обедали красные бойцы в Симбирске и послали в Москву телеграмму товарищу Ленину:

«Дорогой Владимир Ильич! Взятие Вашего родного города — это ответ на одну Вашу рану, а за вторую — будет Самара!»

В Симбирске Ленин родился и жил до семнадцати лет, а в Самаре жил юношей до двадцати трех...

Вскоре бойцы народа взяли Самару...

И оставляет белоармия трофеи — пушки, орудия, пулеметы, телеги и лошадей — пролетарской ленинской Красной Армии. И тридцать белых самолетов не могут улететь из Казани, потому что механики, бывшие у белых, узнав о злодейском покушении на Ленина в Москве, испортили машины Антанты, бывшие в Казани.

И знает весь народ, что купцы и богачи нанимали злодеев уничтожить Ленина, но выстрелы предателей им не помогли.

...Я увидела Ленина в Кремле, на лестнице, совершенно здорового и улыбающегося. От радости дрогнуло сердце, и я не нашла слов, чтоб хоть что-нибудь ему сказать.

## КОКУШКИНО

Тридцать лет — с тех пор как уехал молоденький студент Ульянов из нашего Кокушкина, — я ничего про него не слыхала, хотя вспоминался он часто и задумывалась я о его судьбе. Как был он борец с юных лет, полагала я, что он уже, может, где-нибудь погиб на царской каторге.

И вот совершилась та революция, которая предсказана была нам, крестьянам, молодым студентом Ульяновым.

И вот зимою восемнадцатого года пришла я в Совет и вижу портрет на стене, а под портретом надпись. Заинтересовалась я, стою и по буквам читаю: «Владимир Ильич Ульянов (Ленин)».

А писаря из-за стола глядят на меня.

— А что, Якимовна, знаком он тебе? Больно присгально глядишь.

— Ну да, — говорю, — мы знакомы.

— Вот как! — усмехнулись они. — Руководитель наш знаком с бабушкой Якимовной.

— А что же вы удивляетесь? Я Владимира Ильича хорошо знаю.

Они не верят. Смеются громко. А я и говорю:

— Это наш студент, Володя Ульянов. Даже лицом не изменился, хотя и постарел. Жил он у нас, в Кокушкине, в ссылке. С раннего детства приезжал он сюда каждое лето к дедушке своему, Александру Дмитриевичу Бланку. Ссылку он здесь, у нас, отбывал, когда его, студента, из Казани пригнали с полицией за забастовку.

Только уж к тому времени его дедушка помер, и жил Володя в нашем Кокушкине в ссылке, в маленьком домике.

В ту зиму снегу больно много нанесло. Подъедешь к Кокушкину — и деревушки не видно. Пурга-вьюга загудит на четыре дня, а то и на неделю другой раз завоет и качает всюю. Тут из дому ссыльному никуда не выйти было, но он не скучал, а все занимался и занимался. Книжки читал, большой шкаф книг вычитал.

Как наедет начальство на осмотр, мы, деревенские, опасаемся. «Ну, думаем, погиб Володя». А его-то, смотрим, и не берет смущение. Как будто его это и не касается.

Бывало, сотник или урядник спрашивает крестьян кокушкинских:

— Студент Ульянов вас не посещает? Не просвещает? С вами разговоров не проводит? Вам чего-нибудь не предлагает или, может, книги какие запретные читает?

Ну разве крестьянин ему, сотнику, скажет?

— Ни в чем не замечали. Он не касается нас.

А на самом-то деле Владимир Ильич очень даже часто ходил к нам. Покрутит урядник хмурые усы и уедет ни с чем из Кокушкина.

Писаря сельсовета заинтересовались, а я давай им рассказывать, давай рассказывать. Перестали смеяться. Уж они и слушали!

— Правду говорит Мария Якимовна. Да, видела она Ленина, и на очень близком расстоянии.

### КОПЧЕНАЯ ФОРЕЛЬ

Долго рыбак Васильев мечтал повидаться с Владимиром Ильичем, но он жил в Питере, а Ленин — в Москве.

И вот однажды предложили рыбаку поехать в Москву и переговорить с Ильичем насчет рыбных угодий.

Приготовился рыбак в путь-дорогу.

— Надо,— говорит,— от своих дел захватить Ильичу подарок.

— А что же ты возьмешь? — говорят ему.— Неужели рыбу повезешь?

— А что же,— говорит он,— в Москве и на рыбу кризис. Почему бы Ильича не угостить? Сейчас же выкопчу форель.

Выкопчил Васильев форель кило на три весом, приличную, сочную рыбину, бережно запаковал ее в газету и отправился к поезду.

Приезжает в Москву Васильев-рыбак, не налюбуется новой столицей. Идет в Кремль.

Доложили Ленину. Выписали пропуск.

Как-то нерешительно прошел рыбак через высокие Троицкие ворота и остановился посреди Кремля.

«Я здесь ни разу не был,— думает,— куда же тут пойдешь?»

Идут навстречу ему красноармейцы без винтовок, любезные и веселые, объяснили, как пройти.

Продолжает дальше свой путь рыбак Васильев, проходит под аркой и приближается к указанным дверям.

Любезно пропускает его часовой и указывает рукой на лестницу. Подымается рыбак вверх по большим ступеням, а там стоит на площадке другой часовой.

Идет Васильев коридором, идет и думает: «Не вернуться ли? Повод очень маленький у меня — поговорить с Лениным насчет рыбного дела! Но мало ли у нас дел? Если управляющие всеми делами соберутся в Совнарком, то во что же превратится главное учреждение? Зря совершенно выдумал идти, и куда — в Совнарком!»

И хочет уже поворачивать обратно, но почувствовал — это неудобно. Да и без отметки на пропуске не выпустят, пожалуй.

Продолжает он идти дальше. Видит надпись. Открывает дверь. Часовой посмотрел на него и говорит:

— Проходите.

Раздевальня. Вешалки. Снял пальто. Отдал.

Открывает следующую дверь. Стоит товарищ.

— Это вы к Владимиру Ильичу?

Он подает ему комендантский пропуск. Секретарь уходит и тут же возвращается.

— Войдите,— говорит,— вас Владимир Ильич дожидает.

Лишь только вошел он, а Ильич встречает его очень радостно, крепко пожимает ему руку и проводит в глубь кабинета.

Кабинет Председателя Совета Народных Комиссаров помещался на третьем этаже, под алым флагом. Обстановка кабинета поражала порядком. На большом письменном столе — книги и бумаг огромное количество. На стене — портрет Маркса. Над большим кожаным диваном — мировая карта.

Владимир Ильич сидел за столом, и чувствовалось, что работает он с наслаждением.

— Владимир Ильич,— говорит Васильев,— я хочу поговорить с вами насчет своей промышленности. Я рыбак.

Васильев начинает рассказывать, сколько рыбы поймано на Балтийском море и на Карельских озерах.

— А на Мурмане только что начинаем осваивать. Но некоторые элементы, товарищ Ленин, мешают развить это дело. Искусственные препятствия суживают. Денег не отпускают, и рыба наша уплывает в английские воды.

— Надо,— говорит Ильич,— все препятствия убрать. Надо будет устранить тех, которые мешают, а рыбное дело во что бы то ни стало развить. Имейте в виду, что это крайне важно. Задание наше — дать свежую рыбу к рабочему столу.

В это время Ленин сидел на своем месте и писал записку — по всей вероятности, распоряжение по секретариату для оказания помощи в развитии рыбного дела. Рыбак Васильев, высокий черный мужчина, стоял лицом к Ильичу, а руки у него были за спиной, и он из-за этого не мог взять стула и оставался стоять.

Что же так обескураживало Васильева и заставило его руки держать позади себя? Это был гостинец, привезенный им для Владимира Ильича,— завернутая в газету копченая форель, доказательство того, что Карельские озера действительно богаты рыбой и ее умеют хорошо готовить. Затем и привез Ильичу ее, для пробы.

— Владимир Ильич, наши рыбаки прислали вам.

Ильич вскинул глаза.

— Что такое?

— Владимир Ильич, эту форель мы нарочно для вас закоптили. Попробуйте.

— Что вы, что вы! — Поднял руку и протянул перед собою.

Видит рыбак — ошибка сделана. Чтобы исправить положение, говорит:

— Пожалуйста, Владимир Ильич, возьмите. Это же я сам для вас специально поймал.

Ильич нажимает кнопку, входит помощник секретаря.

— Возьмите,— говорит ему Ильич,— эту рыбку и передайте ее в детский приют.

Человек в защитном костюме, рассыльный по Совнаркому, взял рыбу, вышел с нею и закрыл дверь.

— Владимир Ильич,— говорит рыбак.— Вы меня извините, что уж так нехорошо вышло.

Но Ленин не стал больше говорить по этому поводу, как будто ничего и не случилось.

## СВЕРСТНИКИ

Увидев у себя в Сокольниках Ленина, я еще не знал, что это он.

Я тогда в лесной школе за возчика был, а также работал истопником.

Ну и как, мимо идучи, поздоровался он со мною, я узнал сразу, что это именно Ленин идет.

И на его охочий до дружбы характер я, конечно, откликнулся, и довелось мне с ним познакомиться.

И вот однажды прихожу затапливать ванну. Вижу — Владимир Ильич идет навстречу. Поравнялся со мною.

— Трудись, трудись, дедушка,— сказал Ленин,— жить будем очень хорошо!

Посмеялся я. А уж ответить не знал что, только почувствовал — очень он добрый и умный.

А мы с ним были почти в одних годах, я шестьдесят восьмого, он семидесятого. Как пристально посмотрел на меня, всю подноготную разглядел!

И понравился мне его сказ: «Трудись, трудись, дедушка, жить будем очень хорошо!»

## ДУНЕЧКА

Я работала помощницей кухарки в лесной школе и никогда не видела Ильича проходящим через нашу кухню молча.

— Ну как дела у вас? — спрашивает он у технического персонала.

Его шофер с помощником, раздевшись, сидят на кухне, греются, разговаривают, книжки читают. Улыбнется им обоим Владимир Ильич и разговорится с нами, кухарками.

— Как вы-то поживаете? — спрашивает нас Владимир Ильич.

А была у нас Дунечка, русская красавица, преданная няня и вообще чудный человек. Смелая, она без всяких подойдет к Владимиру Ильичу и как заговорит с ним! Как оратор!

— А вы родом откуда, Владимир Ильич?

Мы ей:

— Что ты, Дунечка, разве можно так?

— А почему нельзя? Он человек хороший.

Не сильно развитая, малограмотная, а находил Ильич с ней общий язык. Должно быть, и для него эти беседы были полезны. Многое узнавал Ленин у трудящихся, их уча и у них учась.

## ПЕШКОМ В КРЕМЛЬ

Однажды ночью в двадцатиградусный мороз я делала обход всей территории лесной школы в Сокольниках.

Слышу стук. Открываю дверь на веранду. Вижу — Владимир Ильич, но не в шубе с меховым воротником и не в глубоких галошах, как обычно, а в мелких, и в легком осеннем пальто.

— Владимир Ильич,— говорю,— так холодно, а вы легко одеты. И потом — почему вы один?

— Я пришел пешком,— говорит мне шепотом Владимир Ильич.— Заседание не состоялось, и я решил прогуляться. Надежде Константиновне не говорите, что я без машины.

— Но как же,— спрашиваю,— вас пустили из Кремля одного в такое позднее время и так далеко?

— Ну, старый конспиратор да не уйдет?!  
Разделся и пошел наверх, к Надежде Константиновне. Сколько-то времени пробыл там и собрался уходить.

— Останьтесь ночевать,— говорю Ильичу,— очень опасно идти ночью лесом. Ведь до Круга три версты по густой чаще. Здесь бывают нападения.

Но он не соглашался остаться. Оделся и вышел.

А у нас было на веранде разбитое стекло. Я высунулась — ночь была темная, морозная, и очень глухо в лесу.

— Как мне страшно за вас! Вы пойдете один ночью лесом. Ведь говорят, за вами Антанта охотится.

Так вырвалось у меня, и самой неловко стало.

А он говорит:

— Пустяки! Не верьте! Мало ли чего наговорят. Прогуляюсь и буду лучше спать.

И еще раз попрощался и пошел в темную ночь один.

Время тревожное — свирепствовал бандитизм. Рассказывались ежедневно десятки налетных историй. По нашему району почти не оставалось точки, которой бы не приписывалось того или иного происшествия.

«И как же Ленин-то один не боится?»

Ночью я видела его, идущего среди причудливых елей и сугробов снега, в такой холод, в такую темь, по пустынной дороге, мимо замерзшего пруда.

## СВЕЧА

Надежда Константиновна покидала лесную школу. К отъезду стала я собирать ее вещи.

Замечаю в ящике ночного столика огромную свечу с золотым ободком, из тех, которыми пользовались когда-то в церквях при венчании.

— Надежда Константиновна,— говорю,— что это за свеча?

— Это Владимир Ильич принес. Несколько раз электричество гасло, а керосиновая лампа была не в порядке.

## ГОСТИ

Приехал Ленин однажды в Сокольники, когда Надежды Константиновны уже не было у нас.

После обеда вышел муж мой, Филипп Ильич, погулять. Видит — Гиль в шоферской шубе спешит по тропинке. Подошел к мужу шофер, поздоровался и говорит:

— Машина завязла в снегу. Ильич идет сюда пешком.

— Вы опять у нас в Сокольниках!— воскликнул мой муж, увиди Владимира Ильича.

Видит он двух сестер Ленина и маленького мальчика. Его ведет за руку Владимир Ильич.

Обменялись рукопожатиями, и Бодров обращается к Ленину и его спутникам:

— Пока не освободится автомобиль из снега, зайдемте ко мне. Согремся, по стаканчику чайку выпьем. Четверть столетия тому назад ведь вы пили чай у братьев Бодровых в Питере, за Невской заставой, в рабочей комнатке. Почему бы вам сейчас не попить чаю у меня в Сокольниках?

Вошли. Разделись. Я усадила их. Поставила самовар, сухой щепой его наполнила. Он быстро закипел, и я подала на стол пять стаканов чаю.

Еще у меня были картофельные оладьи. Я ими стала угощать. Владимир Ильич был сыт и согласился только выпить чаю.

Так они у нас и сидели с полчаса в ожидании прочистки пути для автомобиля. И разговорились. Но я ушла на кухню и не выслушала все, что говорил Владимир Ильич с мужем моим, Бодровым.

Удивительно, хотя не в первый раз, было подмечать, что такой великий человек с простым рабочим говорит, как с товарищем. Трогательно это было для меня. Мы и самовар тот бережем, из которого он пил.

Когда Ленин стал выходить, он вместо своего пальто взял мужнино. А муж ему:

— Владимир Ильич,— говорит,— вы не свое, а мое пальто надеваете.

— Ох,— говорит Ленин,— извиняюсь! Ваше пальто висело сверху, и я его принял за свое.

Неважное пальтишко было и у Ленина.

Засмеялись тут обе Ильиничны, и Владимир Ильич смеется, что он чуть не залез в чужое пальто...

— Почему Владимир Ильич зашел к Бодровым? — спрашивали соседи.

Я разъяснила:

— Филипп Ильич мой был с Владимиром Ильичем знаком еще вон где и вон когда.



---

СЕРГЕЙ АНТОНОВ

★

## АЛЕНКА

*Повесть*

**В** горячее время уборки день в совхозе «Солнечный» отличается от ночи только расцветкой, а больше ничем.

Днем и ночью ходят по квадратам лафетки, трактора и комбайны, гудят на глубинных токах зернопульта и тугой прозрачной параболой взвивается в воздух зерно; круглые сутки опрокидываются над кузовами ковши зернопогрузчиков и шелкают в местах соединений бесконечные ремни.

Одна за другой наполняются степным золотом машины, и чумазые шоферы, проверив, не заснул ли кто-нибудь случайно под колесом, садятся за баранку и включают ладонью первую скорость.

Днем и ночью на главной усадьбе дышат электрические лампочки, днем и ночью стучит движок электростанции, стучит громко и до того привычно, что его уже никто не слышит.

По степи длинными эшелонами несутся грузовики, слепя фарами встречный порожняк, и, вспыхивая в ночной темноте, бьют в черное небо столбы автомобильного света, и усталые, сильные сигналы машин изредка прорываются сквозь деловой рокот тракторов и комбайнов, и ни на минуту не оседает над степными дорогами легкая пыль.

Вот в такое-то горячее время, часа в два ночи, в коротком, на восемь домов, совхозном поселке, у фонаря стояла грузовая машина с надписью «Уборочная».

Подкрашенный бортовой номер, отчетливо белеющий в темноте, железная бочка с горячим, мешки и чемоданы, ожидающие погрузки,— все говорило о том, что машина отправляется в дальний рейс.

Несмотря на поздний час, возле машины толпились женщины и ребята. Были здесь и отъезжающие и провожающие, подходили и просто любопытствующие и, прислушавшись к разговору, довольно быстро узнавали, что машина поедет за четыреста километров — до станции Арык.

Пассажиров было не много; они ждали шофера и тихо беседовали. Только болезненно рыхлая Василиса Петровна, уезжающая в родной город Рыбинск, уже успела вспотеть и запыхаться от хлопот и волнения. Машина стояла пустая, шофер ушел на склад — просить, чтобы поменяли резину, а Василиса Петровна была вся во власти пассажирской горячки; она толкалась среди людей, пересчитывала вещи, шупала зашитые в подкладке деньги и волновалась так, будто возле нее стоял поезд, который вот-вот тронется и навеки оставит ее в «этом степу».

На станцию Арык, а оттуда поездом в Рыбинск уезжала и Настя Тарасова. Туго спеленутый ребенок тихонько плакал на ее руках. Ти-

хонько плакала и сама Настя Тарасова — ей было всего восемнадцать лет. Приехала она сюда, на пустое место, одной из первых по комсомольской путевке, работала замечательно. Ей дали почетную грамоту, сняли на кино. Как только лицо Насти появилось на экране, местные трактористы, словно по команде, влюбились в нее. Она вышла замуж, скорей чтобы отвязаться от докучливых ухажеров, чем по любви, и, сделавшись мамашей, механически выбыла из комсомола. Совхоз существовал всего полтора года — яслей еще не было. Настя подумала-подумала и решила отвезти сыночка к родителям, вернуться обратно и восстанавливать былую славу. А то и муж уважать перестал. Даже проводить не вышел — спит... Поговаривают — гуляет от нее...

— Вы напишите, если что, тетя Груня,— по-детски шмыгая носом, говорила Настя пожилой простоволосой женщине, вышедшей в белом докторском халате поглядеть, как поедут. Это была заведующая местным медпунктом Аграфена Васильевна.

— Напишите, напишите... — ворчала она, насильно нагибая голову маленькой мамы и утирая ей нос.— За ними разве уследишь? Их каждый омет на мысли наводит. Сдавай ребенка — и назад. Пулей!

— Я приеду... — всхлипывала Настя.— Вы только поглядите, чтобы мой-то с Ефимом не ходил. Его Ефим с пути сбивает...

— Смотри ребенка не застуди. И скорей назад! Ты должна при законном муже непрерывно находиться. Как часы, должна на нем висеть.

— Я приеду... Ребенка сдам и приеду... А вы напишите, ладно? Все как есть напишите, ничего не таите. Чтобы я знала, что сама с собой делать... Конверты я оставила с марками, с адресом... Только в ящик кинуть... Сосновый лес Шишкина. На конвертах. Такая красота.

— Красота, красота,— проворчала Аграфена Васильевна и снова утерла Насте нос.— Вперед думай сперва, а потом детей рожай.

— Ничего, тетя Груня. До годика, говорят, дорастет, дальше легче будет... Конверты у тети Лиды, под патефоном.

Молодая черноглазая волжанка Лида с мускулистами, как у мужчины, руками стояла тут же. Пользуясь оказией, она отправляла к бабушке девятилетнюю дочь Аленку.

Большинство рабочих и служащих совхоза «Солнечный» набиралось в городе Рыбинске, там же жила Аленкина бабушка, там училась и Аленка.

— Ты за ней гляди, Василиса Петровна,— говорила Лида.— Сама знаешь, какая она ракета. Только и толку, что пятерки приносит, а так вовсе еще глупенькая. Мигнешь — и нету ее.

— Не бойся, Лидушка, и не сомневайся,— бормотала Василиса Петровна, бросаясь то туда, то сюда и ощупывая обеими руками вещи.— Все сделаю, все исполню... Узелок — вот он... Сонькина посылка — вот она... Чемодан — вот он... А где кошелка?.. Куда кошелка девалась?..

— Ты ее с вагона не спускай,— говорила Лида.— А то соскочит и убежит. С нее хватит.

— Куда же кошелку-то?.. Ой, батюшки!.. — металась Василиса Петровна.

Спокойнее всех относилась к предстоящей поездке Аленка. Она была полностью готова к отъезду — в красных ботиночках, обшарпанных до белого цвета, и в коротеньком бархатном пальтишке. Поверх одежды заботливая мама упаковала дочку в оренбургский платок; голова девочки вместе с беретом была плотно обмотана, спина и плечи закрыты, тонкая поясница опоясана в два оборота. Одного пухового платка не только хватило на все это, но еще и осталось на свисающий чуть не до земли хвост. Аленка была мала ростом даже для своих девяти лет.



Она сидела в стороне, на стопке учебников, перевязанных электрическим проводом. На коленях у нее лежала зеленая корзинка подсолнушка-уголька. Внимательно прислушиваясь к разговору взрослых, Аленка выковыривала из плотных ячеек сырые семечки и забрасывала их в рот.

Вдали, в темноте, слышались шаги.

— Никак товарищ Гулько! — всполошилась Василиса Петровна. — Да где же кошелка?.. Завсегда так — чужое под рукой, а своего не дощешься...

— Если Аленке попадет верхняя полка, привяжи полотенцем, — печально говорила Лида. — А то свалится... Сюда весной ехала — два раза падала.

— И не думай даже об этом, — бормотала Василиса Петровна, торопливо подтаскивая к машине узлы и кошелки. — И не переживай... Глаз не сведу... Вот она, зараза! Ну, прощайте, бабоньки... Счастливого вам тут...

— Куру ей всю не давай, а то всю и съест. Или отдаст кому. Глупенькая еще.

— Батюшки! А чемодан где? — закричала вдруг Василиса Петровна. — Ох, вот он! Аж сердце захолонуло...

Чемодан был большущий, фанерный, запертый висячим замком.

— Да что же вы, Настя, Лида! — шумела Василиса Петровна, пытаясь забросить чемодан на борт. — Языки чесать — все они тут, а помочь больному человеку — нет никого... Встали и стоят!

— Чего ты туда, кирпичей, что ли, наложила?.. — проворчала Аграфена Васильевна.

Действительно, чемодан был тяжеленный. Пока его поднимали, он сопротивлялся всеми своими выступами и уголками, сопротивлялся молча и упрямо, будто ему очень не хотелось уезжать из целинного совхоза.

— Ну и тяжесть!

— Замок как на госбанке.

— Небось полкило тянет, — говорили женщины.

Аленка хотела было помочь; на нее закричали:

— Не толкись под ногами!

— Замком вдарит — сразу ляжешь!

— Пришибет, как лягушонка!

Она отошла и увидела Дмитрия Прокофьевича Гулько.

Дмитрий Прокофьевич был полный мужчина с рыжеватым лицом и рыжеватыми руками. Под мышкой он держал желтый, тисненой кожи, портфель с кармашками, с пояском и с хромированными застежками, от которых в солнечный день во все стороны прыгали зайчики. Вот бы Аленке прийти с таким портфелем в школу!

— Ты кто? — спросил Аленку Гулько.

— Муратова, — глядя на портфель, ответила она.

— А-а, Муратова! Что же это ты, Муратова, от отца-матери бежишь?

— Мне учиться надо. А тут школы нету.

— Обожди год-два — будет и школа.

Тем временем вещи погрузили. Очутившись в кузове, Василиса Петровна заметила еще одного пассажира. К бензиновой бочке жалась тихая, как мышка, девушка в коротеньком жакете и в лыжных штанах. На жакете мерцал комсомольский значок. У девушки были бледные щеки и такой тонкий нос, будто она прищемляла его на ночь защепкой для белья. Судя по испуганным, застывшим глазам, с ней случилось что-то такое, чего она до сих пор не в силах ни объяснить, ни осмыслить. Она сидела у бочки, обнимая полированный радиоприемник, и молчала.

— А ты что? Пособить не могла? — заворчала Василиса Петровна, хотя видела девушку первый раз в жизни. — Ничего бы с тобой не случилось...

Девушка испуганно смотрела на нее.

— Сидит, как принцесса... — продолжала Василиса Петровна, утирая вспотевшее лицо. — Небось руки не отвалились бы.

Девушка молчала.

— Все сели? — спросил высокий шофер Толя, заглядывая в кузов не с подножки, а прямо с земли. Зеленая фуражка пограничника сидела на его голове с таким невыносимым кокетством, что на пограничной заставе Толя давно бы схватил наряд вне очереди.

— Обожди, не торопись, — раздалось из темноты, и у фонаря вырос никому не известный детина с пиджаком, небрежно свисавшим с крутого плеча. К его сапогу трусливо жалась пегая собачонка. На плотное тело парня была, словно кожа, натянута морская тельняшка, и крошечная дырка растянулась на его могучей груди до размера медали.

— Это куда машина? — проговорил он густым басом. — На Арык? Законно.

И, подняв собачонку под брюхо, бросил ее в кузов.

— Эй! — закричал Толя. — Куда с собаками?!

— Жену еду встречать, — пробасил крутоплечий парень.

— Какую жену?

— Не твою, не бойся! — И парень бросил в кузов пиджак.

— Чего ты?.. Куда лезешь?.. Кто позволил?.. С собаками... — От возмущения Толя стал немного заикаться. — А ну слазь!

— Да ты что, смеешься? Я от самого «Южного» попутную ищущу...

— Так ты еще и не с нашего совхоза!.. А ну слазь сейчас же!

— Я жену встречать еду. Ясно тебе или нет? Ну и тупой ты... Не уважаю я это...

И парень растянулся в кузове во весь рост, подманил собачонку, положил на нее, как на подушку, голову и быстро заснул.

— Новая мода! Лезут с собаками!

— Оставь его, — сказала тетя Груня. — Не загрызет тебя собачонка.

— И верно, не трожь... — бормотала Василиса Петровна. — Вишь у него руки-то — как ноги. Долго ли до греха... Пусть едет... Ну, прощайте, бабоньки. Коли чем обидела, досадила — не помняйте.

— Гляди за Аленкой, Василиса Петровна, — снова заговорила Лида. — Пожалуйста, уж доглядывай.

— И не думай об этом, касатка. И не переживай, — неслось из машины. — До самой парадной доведу, и в дверь постучу, и сдам с рук на руки, живую и невредимую. Даже и не думай об этом.

— Поехали, — сказал Толя.

Дверца хлопнула. Мотор зашумел.

— А Аленку-то! — закричала Лида. — Обождите! Аленку-то!

Аленка стояла у кабинки и старалась что-то втолковать Дмитрию Прокофьевичу. Гулько хмурился и ничего не мог понять.

— Вы ее знаете... — говорила Аленка. — Тарасова Настя, которую на кино снимали... Тарасова, тракториста, знаете?

— Так в чем дело? — подозрительно спросил Гулько.

— А это его жена... В платье пестреньком ходит, в бумазейном...

— Ну и что же, что в бумазейном?

— Да как же вы не понимаете? — Аленка огорченно всплеснула руками. — Грудной у нее. Разве ее можно в кузове?..

Мать дернула Аленку и оттащила от кабинки.

— Сидите, Дмитрий Прокофьевич, сидите! — торопливо говорила Лида. — Она у нас еще глупенькая. Ничего не соображает.

Но Гулько уже выпрастывал из кабинки полную ногу.

— Да не слушайте вы ее! — уговаривала его Лида. — Чего ее слушать... — И, ткнув Аленку в плечо, проговорила: — Вишь, что наделала, бесстыжая!

А Гулько, сердито посапывая, поднялся на скат, залез в кузов и наступил на ногу тихой девушке. Некоторое время он постоял на ее ноге, высматривая место, и наконец неумело примостился в заднем углу.

— Не сяду! — испугалась Настя. — Нипочем не сяду.

— Садись! — прикрикнул вдруг Гулько, сверкнув глазами. — Будешь еще кривляться!

— Тебе делают уважение, значит садись, — добавил Толя. — Ездят взад-назад, да еще возись с ними.

Женщины на чем свет стоит ругали Аленку. А она недоуменно смотрела своими большими синими глазами на всех по очереди и ничего не могла понять. И действительно, откуда ей знать, что машина занаряжена в распоряжение главного механика совхоза товарища Гулько, что едет он в Арык по неотложному делу и стоит ему только приказать — никто вообще не поедет на этой машине, а поедет только он один, главный механик Гулько, и поедет в кабинке или в кузове, хоть на радиаторе — где ему будет угодно.

Мать наградила Аленку прощальным шлепком и подала в кузов, в руки Василисы Петровны.

Настя уселась с ребенком в кабинку и никак не могла с не привычки закрыть дверцу.

— Посильней стукни, — сказал Толя. — От души.

Ровным шумом зарокотал мотор. Внутри железной бочки явственно плеснул бензин, земля впереди осветилась, и машина тронулась.

Никто не плакал — ни Аленкина мама, ни другие провожающие. Заплакала только докторша тетя Груня, заплакала громко и сердито — на всю усадьбу. Почему заплакала докторша, Аленка не могла понять: может быть, ей стало жаль Настиного ребеночка-сосунка, может быть, самоё Настю, а может быть, тетя Груня плакала просто потому, что была одинока и своих провожать было некого...

Она родилась в ауле, по-казахски говорила так же хорошо, как по-русски, а может быть, и еще лучше. Не только она сама, но и все ее предки родились в этих краях. Папа ее тоже был доктором. Его застрелили в первую мировую войну. И дедушка был доктором — он ездил по степи из аула в аул, и однажды, когда лечил киргизскую девочку от трахомы, его зарезал шаман. А папа этого зарезанного дедушки — прадедушка тети Груни — доктором не был, а служил у царя казаком и воевал с джунгарцами. Конечно, он плохо воевал, раз он был дряхлый прадедушка, и джунгарцы его в конце концов забрали в плен. А чем занимался папа прадедушки и где он жил, не могла сказать даже тетя Груня — так это было давно.

Машина ехала и ехала. Аленка сидела зажата между мягким горячим боком Василисы Петровны и скользкой стенкой приемника, грызла семечки и думала, что никакого папы у прадедушки вообще не было и прадедушка произошел от обезьяны, как об этом написано в книжках...

Быстро проплыли один за другим домики совхозной усадьбы, еще не доделанные, с ящиками вместо ступенек возле дверей; слева проплыла арка, сооруженная в прошлом году, в первые дни организации совхоза.

На арке было написано: «Добро пожаловать!», но через нее никто почему-то не ездил.

Вот промелькнул последний, глинобитный домик, конура, перепуганный щенок Пополамчик, принадлежащий двум хозяевам, и потянулись опухавшие против степных пожаров квадраты. Началась бесконечная, как море, жутковатая степь.

Ярко светила круглая луна. На узких полосах, отделяющих квадрат от квадрата, на хилых бахчах белели арбузы, изгрызенные сусликами, кое-где темнели высокие сухие стебли гаоляна, посаженные на пробу веселым агрономом Геннадием Федоровичем.

Небо было большое, пустынное, без единой звездочки. Над головой оно было светлее, ближе к земле — темнее.

Окруженная перламутровым сиянием луна неотступно следовала за машиной.

Комья тяжелой глины на опухавших полосах стояли торчком, и все время казалось, что за ними кто-то перебегает и прячется.

У самого горизонта мерцала узкая полоска зыбкого света. Свет был слабый, бледный и загибался дугой, вроде перевернутой радуги. Скользя глазами за уходящей в небо дугой, Аленка заметила, что дуга обегает луну и замыкается в сплошной, бледно отсвечивающий обруч.

— Ладно тебе крутиться! — сказала Василиса Петровна. — Только отъехали, а уже никакого покою нет.

Обруч занимал почти все небо, и луна блестела в самом центре его, как серебряная девочка в середине цирковой арены.

«Откуда взялась эта ночная радуга?» — стала думать Аленка, но ничего не придумала и решила, что это, наверное, от атомной энергии.

А машина все шла и шла, и в обратную сторону, к совхозной усадьбе, тянулись ометы соломы, серое скучное жнивье, валки пшеницы.

Белым пятном промелькнул лошадиный череп, и Аленка вспомнила, что была в этих местах, когда отец косил черноуску. Она привозила ему обед и сидела на этом черепе...

Папа у Аленки веселый и грязный, приходит домой то днем, то ночью. Когда Аленка показывает ему интересную книжку, он листает ее локтем, чтобы не запачкать. Папа у нее — самый лучший папа в совхозе, и люди говорят, если бы все работали, как Аленкин папа, давно бы был коммунизм.

Сейчас работы ушли дальше, в глубинку, туда, где над горизонтом, выбеливая небеса, блестят и переливаются сотни электрических огней. Ничем не приглушенные, незатуманенные огоньки ярко блестят сквозь легкий и чистый степной воздух, и отсюда кажется, что вдали раскинулся большой город и жители не спят, а празднуют веселый праздник. А это ходят взад и вперед трактора и комбайны, убирают хлеб, торопятся выполнить план.

— Там мой папа работает, — сказала Аленка.

Ей никто не ответил.

— Хотите семечек? — стараясь задобрить Дмитрия Прокофьевича, предложила она.

Гулько не ответил.

— Крупные семечки, — сказала Аленка, надламывая ломоть корзинок. — Тетя Василиса, надо?

— Молчи уж, — проворчала Василиса Петровна.

Предложить семечек молчаливой девушке Аленка побоялась и стала снова глядеть на дальние огоньки, блестящие, как драгоценные камни. Она смотрела, как они блестят и тухнут, исчезают один за другим как-то сразу, будто перегорают электрические лампочки. И с каждым исчезающим огоньком словно что-то обрывалось в душе Аленки.

Вот потух и последний огонек; оборвалась последняя ниточка, соединявшая Аленку с папой, с мамой, с совхозом; и осталась только пустая

степь, и два крыла темноты по бокам машины, и сухой шелест колес, и луна на небе.

Дорога, черная полоса которой угадывалась между жнивьем, стала раздвигаться, расплзаться шире и шире и наконец стала такой широкой, что пропала вовсе.

И машина уже не ехала по земле, а плыла, покачиваясь, по воздуху, и колеса ее бессильно вращались в разные стороны...

— Ты что же это, умная твоя голова? — послышался гневный голос Гулько. — Дорогу потерял?

— Я ее не терял, — возразил Толя. — Она сама кончилась. Степь да степь кругом.

Аленка открыла глаза.

Луна потускнела, и небесный обруч исчез.

Вокруг тянулась плоская, унылая степь, дикая, потрескавшаяся земля, покрытая прошлогодней тырзой, солеными лишаями и черными пятнами недавнего пала, рассыпчатые горки, нарытые сусликами, островки полыни и ковыля и еще той самой травки, с которой Аленка любила дергивать султанчик и загадывать, что останется в щепотке — петушок или курочка.

Машина стояла. Из кабинки доносился спокойный голос Насти:

Спи, дитя, до вечера,  
Тебе делать нечего.  
А как будут дела,  
Мы разбудим тебя.

— Да ты что со мной делаешь? — заговорил Гулько, поднимаясь и застегиваясь на все пуговицы. — Ты что — первый раз едешь?

— А то не первый. Конечно, первый.

Гулько остолбенел.

— Ой, лихо, батюшки! — ахнула Василиса Петровна.

— Так что же ты... как же ты за баранку сел? — обрел наконец дар слова Гулько. — Как же ты сел на ответственный рейс, умная твоя голова?.. Почему не доложил, что пути не знаешь?

— А вы спрашивали? Только и слышать от вас: давай-давай, быстрей да на цыпочках.

— Ты мою кандидатуру не обсуждай. Ясно?

— Я не обсуждаю, — сказал Толя. — Вот и получилось — на цыпочках...

— Да ты хоть сознаешь, что ты наделал? Ты понимаешь, какой ты мне рейс сорвал?

— Надо как-нибудь доехать до Кара-Тау, — робко посоветовала девушка с приемником. — Там районный центр. Там знают дорогу.

— Я и сам знаю — Кара-Тау, — горько усмехнулся Толя. — А где он, Кара-Тау?

— Туда надо ехать по столбам. По телеграфным столбам.

— А где столбы?

— Может, он знает? — Василиса Петровна кивнула на спящего парня.

Принялись будить парня. Будили его самыми разными способами, но он не просыпался. Даже тогда, когда его посадили и прислонили спиной к борту, лицо его было крепко-накрепко запаяно сном.

Рассердившись, Толя сунул два пальца в рот и оглушительно свистнул.

Не открывая глаз, парень поковырял в ухе.

— Ну вот, — сказал Гулько. — Называется водитель. Человека разбудить не можешь.

— Сейчас я ему устрою вакуум, — проговорил Толя и сдвинул парню ноздри.

Парень захлебнулся, вздрогнул и не успел еще открыть глаза, как на него накинута с вопросами и Гулько, и Толя, и Василиса Петровна.

Он смотрел на них мутными, как у новорожденного, глазами и ничего не понимал.

Взгляд его остановился на Аленке.

Он улыбнулся и спросил:

— В каком ухе звенит?

— В левом, — сказала Аленка.

— Верно. В левом...

Просыпался он медленно, со вкусом, сладко потягиваясь и хрустя суставами, как спелый арбуз. Потом присел перед Аленкой и, шевеля лопатками, попросил:

— Ну-ка, дочка, пошуруй на спине — соломка кусает. Вытащи.

— Ты в Арык ездил? — спросил его Толя.

— Чего ты орешь? Я не глухой. Конечно, ездил.

— До самого Арыка? — спросил Гулько.

— А как же! Жену на станцию кто вез? Я или не я?

— Дорогу знаешь? — спросила Василиса Петровна.

— Конечно.

— Как фамилия? — спросил Гулько.

— Ревун. Степан.

— Садись в кабину. Будешь дорогу показывать.

— А что? Сбились? — встрепенулся Степан.

Общее молчание подтвердило его догадку.

— Э-э-э! — протянул он, безнадежно оглядывая пустынную степь. — Плохо дело. Тут, ребята, можно год кружить — живую душу не встретишь. Мы тогда по столбам ехали и то заплутали... Ладно у шофера трубка была, срезанная от телефона. Он ее где-то срезал, у какого-то бюрократа... Провода на провода закинет и едет по разговорам. А ночью по звездам ехали. По Северной Медведице. У тебя хоть компас есть? — спросил он Толю.

— Еще, может, астролябию с собой возить? — взорвался Толя. — Тоже мне клиент! Насела полная машина людей, а куда ехать — не знают. Посылают машину за полтыщи километров, а дорогу не обеспечивают. Комедия! А ведь в Кара-Тау дорожный отдел есть, инженеры сидят. Если не способны дорогу уделать, поставили бы на крайний случай палку, хоть бы палкой оправдали свою зарплату... Куда это годится? Едешь, едешь и обратно в совхоз заедешь...

Пассажиры слушали Толю молча, пристыженно, словно все работали в дорожном отделе. Только Аленке стало весело оттого, что она нечаянно-негаданно может снова очутиться возле папы и мамы.

— А машина? — продолжал Толя. — На этой машине и по асфальту ехать нельзя, не то что по целику. Даже глухому слышать, как задний мост разговаривает. А резина? Разве это резина? Пошел менять — не дают. Есть, говорят, распоряжение главного механика — не давать. Ты, говорят, сменил семь покрышек. А что, я их для себя сменил? Это Иван Грозный сменил семерых жен из личного каприза, а у меня портянки целей, чем эта резина...

Между тем восточная сторона неба равномерно светлела, словно ес потихоньку разбавляли прозрачной родниковой водой. Горизонт очерчивался ровнее, и наконец, словно через дверную щелку, в степь

осторожно заглянул краешек скромного, светящего вполне собою солнышка.

Солнышко чуть поднялось и остановилось, стараясь не потревожить чуткого предрассветного сна степи.

Первые прохладные лучи стали медленно разливаться по земле, с любовью и нежностью прорисовывая мельчайшие былинки, метелки, султанчики, увядающие кустики и колтуны прошлогодней ветоши и зажигая на игольчатом листе устели-поля еще не выпитую ящерицей бу-синку-росинку.

А степь спит. Серо-свинцовый призрачный воздух еще не потерял своей неподвижности, досматривают ночные сны и грязная зелень омоложенного типчака и табунки мельхиоровой полыни.

Выше поднимается солнышко — и чутко вздрагивает от прикосновения янтарного луча рассыпчатый ковыль-волосатик. И как будто первый раз встречая рассвет, какая-то птаха удивленно вскрикивает: «Что это?»

И тогда, видя, что таится уже не имеет смысла, солнце с улыбкой вступает в отдохнувший, свежий, словно заново рожденный мир — и трогается с места настоявшийся на густом полынном настое воздух, и половодье света заливает степь, и теплые, спокойные ладони его ложатся на плечи присмирившего Толи.

— Ладно! — сказал он, прервавшись на полуслове. — Поеду по тени. На запад. Может, приедем куда-нибудь.

— Запад, север, юг, восток — страны света, — сказала Аленка внезапно.

Василиса Петровна строго посмотрела на нее и спросила:

— Это у тебя все учебники?

— Учебники.

— И из каждого задают?

— Из каждого.

— Господи, как ребятишек мучают. Тяжело небось?

— А то не тяжело? — печально проговорила Аленка. — С одного раза все запоминаю. Новое отвечаю, а старое все помню. Уж и учительница про старое забыла, а я все помню... Прямо не знаю, что и делать.

— А ты не думай... Не думай об этом... — сказала Василиса Петровна. — Думай об чем-нибудь об другом... Об хозяйстве, об жизни... Чего почем стоит...

— Да я и так чего только не делаю. Отвечу урок и бегаю на перемене, чтобы все через уши выдуло. А нет — все равно помню! Это все потому, что я чересчур способная. Я в два года «р» говорила... Недавно полистала историю для четвертого класса и всю запомнила... Закрою глаза, а строчки тут как тут, выпрыгивают каждая на свое место. — Аленка прикрыла глаза и начала безнадежным голосом: — Тыща семьсот девять — Полтавская битва, тыща семьсот семьдесят три — семьдесят пять — восстание крестьян под предводительством Емельяна Пугачева...

— Ладно тебе, — перепугалась Василиса Петровна. — Хватит!

— Тыща восемьсот двенадцать, — обреченно продолжала Аленка, — Отечественная война, тыща восемьсот двадцать пять — восстание декабристов... А знаете, тетя Василиса, — с видом заговорщика зашептала она, — сколько новеньких картинок нужно нам пересмотреть, сколько домиков построить, сколько песенок пропеть?

— Да ты что, Христос с тобой!

— Я этот стишок еще с первого класса помню.

— Ну, стишок — ладно. Стишок — не велика беда. От него вреда нету....

— А клички собак, кошек и других животных пишутся с большой буквы,— горестно продолжала Аленка.— Вот. Тоже с первого класса. А вы говорите, стишок,— сказала она, будто виновата в этом была тетя Василиса.

— Где же такая школа, что так насмерть учат? — спросила Василиса Петровна.

— От нас недалеко.

— За рекой, что ли?

— За рекой.

— И хорошая школа?

— Ничего... Только вот на перилах гвозди набили. Съехать нельзя.

— Правильное решение,— сказал Гулько.— Чтобы не хулиганили.

— Тыщи и тыщи, Стенька Разин...— задумчиво проговорила Василиса Петровна.— Вот грех-то какой! Ты гляди, Аленка, не думай об этом. Ответила, что велят, и ладно... А то перепутается в голове все, как в торбе, и ничего потом не разберешь. Стеньку Разина запомнишь, а где что лежит — позабудешь. Свое родное фамилие и то позабудешь. Я как молитвы знала! Много-много! Бывало, полный вечер под иконой могла на коленках стоять и разное молотить. А теперь нет. Все молитвы перепутались, и сложить путем ничего не могу. Раз стала молиться, чтобы сварку привезли, в столовой плиту бы заварить, и забормотала: «Речет, господи, заступник мой, прибежище мое, бог мой, и упадаю на него»,— забормотала и спохватилась: на кого это я упадаю? Это на бога-то, на господа нашего, на Иисуса Христа? Да на что это ему нужно? Вот ведь какой грех! С той поры уж и не молюсь вовсе, не решаюсь заступника нашего ни об чем попросить, и плита в столовой так и стоит нечиненая. А то помолюсь, а бог-то за мою молитву трахнет меня молоньей по башке. Вот тогда и будет — упадаю!

— Не бойтесь, тетя Василиса,— сказала Аленка.— Бога нету.

— Дай бы бог, чтобы не было. Я уж так со своими молитвами нагрешила, что лучше пускай уж его и не будет... Вот он тебе и Стенька Разин. Учиться, дочка, тоже надо с умом. Всему научишься — люди станут тебе скучны. Все знать будешь — не об чем и с людьми поговорить.

— Как вам не стыдно! — внезапно сказала тихая девушка с комсомольским значком.— Зачем внушать ребенку такие идеи?

— А тебе что? — обернулась к ней Василиса Петровна.— Ты-то сама кто такая?

— Неважно, кто я. Я сама стоматолог. Из Риги.

Гулько удивленно осмотрел девушку, ее бледное лицо, руки, тонкие пальцы, длинные ногти с остатками розового лака и спросил:

— Зубной врач?

— Да.

— И вы что, рвать можете зубы или только пломбы накладывать?

— Конечно, могу и удалять.

— А где работаете?

— Теперь я не могу сказать. Наверное, я теперь безработная. Так,— сказала девушка, и бледные щеки ее задрожали.

Аленка, первый раз в жизни увидевшая безработного человека, уставилась на нее во все глаза.

— Не бойся, девочка, я тебя не укушу,— сказала девушка с комсомольским значком.— В этом году я кончила институт. Так. Я кончила институт весьма хорошо и получила диплом. И я пожелаю ехать на целину. Мама сказала, что я дурочка и где я там буду заниматься на фортепиано. А я сказала, что раз я дурочка — отпусти меня на целину, там тоже где-нибудь есть фортепиано. Мою фотографию напечатали



в газете и дали мне комсомольскую путевку. Тогда мама рассердилась и отпустила меня на целину. Мои друзья приехали на «Победе» и повезли меня на вокзал. И на вокзале подарили мне приемник с серебряной табличкой. Здесь на табличке написано, чтобы я слушала родную Ригу и не забывала друзей. И мама, хотя и сердилась, пришла провожать меня. И когда она увидела, что другие родители тоже провожают своих дочерей, она перестала сердиться и даже сказала представителю радиокомитета, что ее дочь будет достойной своего старого отца. На вокзале было очень хорошо, музыка играла «Дунайские волны». Папу отпустили из учреждения, и он тоже пришел проводить меня... А музыка играла «Дунайские волны», и это было как праздник. Потом мы сели в поезд, свалили все продукты в одну кучу и пели песни. Конечно, мы ехали в разные места, и я приехала на станцию Арык одна. Когда я пришла в отдел здравоохранения, все были очень довольны, потому что у них постоянно не хватает зубных врачей. Пока больной доедет из совхоза — он забывает, какой болит зуб, и от этого получается врачебная ошибка... Мне показали на карте несколько городов и спросили, куда я хочу ехать по своему желанию. Однако на карте все кружки была одинаковые, и я сказала, что мне все равно. Тогда меня похвалили и дали направление в Кара-Тау. Какой-то человек должен был ехать в Кара-Тау на легковой машине и обещал взять с собой. Но произошла неудача: он забыл про меня и уехал один. Такая неудача! А я поехала в Кара-Тау на попутной машине и опоздала на целый день. Это было ужасно!.. У меня был документ, в котором было указано: «Прибыть тогда-то». А я опоздала на целый день! Я так беспокоилась. Однако в отделе здравоохранения были деликатные люди. Они ни слова не спросили, почему я опоздала, и даже не подали вида, что волновались. Я успокоилась и отправила маме телеграмму, что все в порядке, мама, я целую тебя и скоро пришлю постоянный адрес. Мне назвали несколько совхозов, чтобы я добровольно выбрала, в какой хочу ехать, но я не знала, где лучше, и сказала — мне все равно. «Вы хорошая девушка и хорошая комсомолка, — сказали они, — и за это мы направим вас в совхоз «Южный». Там культурный директор, и для медицины создадут исключительные условия». Я спросила, как далеко этот совхоз. Они сказали — недалеко, всего двести километров. Потом они звонили туда, но никак не могли дозвониться. Они звонили туда так долго, что мне стало неудобно, что я причиняю столько беспокойства. «Мы лучше вот что сделаем, — сказали они. — Направим вас в совхоз «Солнечный». Там культурный директор, и для медицины создадут исключительные условия. И, кроме того, этот совхоз на пятьдесят километров ближе «Южного». Тогда я спросила, как туда ехать. Они сказали, что трамвай туда еще не провели и каждый едет, как сумеет. Во всяком случае, из всех, кого туда посылали, никого волки не съели. «Ну что же, Эльза, — сказала я себе. — Надо идти». Но у меня был тяжелый приемник, и я не знала, как его нести. Я могла бы его продать, но на нем была табличка — и продавать было некрасиво. А когда я спросила, где в Кара-Тау камера хранения, они снова стали проверять мои документы. Тогда я взяла приемник и пошла на дорогу. Идти было весьма тяжело, но я сказала себе: «Подумай, Эльза, что сделал бы на твоём месте Павка Корчагин!» Я украла доску, прибила к ней пояс от своего макинтоша и сделала миниатюрные санки. На санки я положила чемодан и приемник и потащила санки по степи. Я тащила санки и думала, как огорчились бы друзья, что подарили мне тяжелый приемник.

Когда я вышла далеко за город, меня снова постигла неудача. Я не сумела найти дорогу. Кругом была пустая степь, а дороги нигде не было. Тогда я села отдохнуть и подождать машину, но никто не ехал.

Такая неудача! Я просидела напрасно до самой ночи и пошла спать к одной девушке, которая возила почту, и эта девушка объяснила, что я пошла не в ту сторону и что дорога идет там, где телеграфные столбы. Я проснулась рано утром, подарила девушке свой клетчатый платок, послала телеграмму, что все в порядке, мама, я целую тебя, скоро вышлю адрес — и пошла искать столбы. На этот раз мне улыбнулась удача. Меня взяли на попутную машину и довели до самого совхоза. Я была так рада, что подарила шоферу джемпер...

— Как фамилия? — оборвал Гулько.

— Калнынь, — робко проговорила она. — Эльза Калнынь...

— Нет... Фамилия шофера...

— Я не знаю... Я не спросила у него фамилию. А что? Разве надо спрашивать?

— Не надо. Я сам узнаю. — Гулько полез в карман и написал что-то в записной книжке.

Потеплело. Солнце поднялось — и степь ожила под его лучами.

Аленка смотрела, как вылезали греться жирные суслики, как они поднимались, прислушиваясь, на задние лапки, стояли столбиком и вдруг, испугавшись, укатывали, словно на роликах, в свои норки, как, отпечатываясь в небе, плыл острый угол гусей, как на мраморном от птичьего помета валуне сидел неподвижный, словно отлитый из чугуна, беркут.

Аленка долго любовалась его гордой неподвижностью. Вдруг беркут взметнул в воздухе, быстро нагнал машину и, ничуть не страшась людей, полетел рядом, кокетливо западая то на правое, то на левое крыло.

Увидев зорким глазом одинокий валун, он легко обгонял машину, устремлялся туда, садился и укутывался в свои большие, пушистые с исподу крылья, как в дорожную шаль.

Но только машина равнялась с ним, он сильно отталкивался голенастыми ногами и летел у самого борта, так близко, что Аленка отчетливо слышала шелковый шелест его крыльев.

Беркут был еще молодой и глупый, с желтой пленкой по углам кривого живодерного клюва. Он поглядывал на машину веселым злым глазом, дразня это неуклюжее земное животное с человеческими головами, и подстрекал его померяться силами и пуститься наперегонки.

Вся земля трещала от сверчков и кузнечиков, все суше становилось кругом, сильнее дул ветер, и медленно, со скоростью трактора, наплывала на землю тень облака.

Вприпрыжку прокатилось перекати-поле. Видно, оно торопилось куда-то, но часто цеплялось и останавливалось, будто его то и дело задерживали знакомые и родственники и ему неловко было не перемолвиться словом и не пожелать каждому доброго утра.

Потом Аленка услышала напряженный волнистый звук, но сколько ни искала глазами самолет, так и не могла увидеть его. Только слышно было исходящее непонятно откуда мерное мурлыканье, да гуси заволновались, сломали строй и так, не выровнявшись, растворились в опаловой мгле неба.

— Я приехала в совхоз и стала искать поликлинику, — продолжала между тем Эльза. — Однако поликлинику я нигде не могла найти. Тогда я пошла искать главного врача.

— Тетю Груню? — спросила Василиса Петровна.

— Я не знаю... Она жила в приемном покое и стирала свой врачевный халат. Когда она узнала, кто я, она обняла меня мокрыми руками и поцеловала. «Отныне, Эльза, — сказала я себе, — эта женщина будет твоя вторая мама». А потом, когда я спросила, где помещается зубо-врачебный кабинет, она стала кричать очень громко. Я совершенно не

могла понять, что она кричит, поняла только, что я должна встать на ее место, а она бросит все и уедет... Я хотела сказать, что она жестоко заблуждается, что я комсомолка и никогда не стану заниматься интригами и претендовать на должность главного врача. Но она все кричала, что в больнице нет места для зубоучебного кабинета, что она ночует в одной комнате с больными, что женщинам негде рожать, что главный механик совхоза захватил все комнаты. Я стала успокаивать добрую женщину и хотела сказать, что мне дали двое щипцов, одни для верхней челюсти, другие для нижней, но она все кричала и кричала и наконец сказала, чтобы я ехала обратно в Кара-Тау и требовала зубоучебное кресло и помещение... А если не дадут, чтобы не попадалась ей на глаза... Я подумала и сказала себе: «Если ты останешься безработной, Эльза, и если об этом узнают за границей — это будет позор. Я должна достать зубоучебное кресло, чего бы это ни стоило». И вот я еду теперь в Кара-Тау... Может быть, я как-нибудь достану кресло... Потом у меня есть двое щипцов... одни для верхней челюсти, другие для нижней... Но помещение? Кто мне там даст помещение?

Аленка шмыгнула носом.

— Тебе чего? Жалко? — спросил Гулько.

Она кивнула.

— А мне нисколько. Почему это я ее должен жалеть, а она меня нет? Ей сколько лет? Двадцать? Двадцать пять? А мне вдвое больше. Она жить только начинает, а мое время — к вечеру. У меня в Рыбинске больная жена и дети, которых вряд ли теперь я увижу: дочка поехала учиться, сынок в этом году идет в армию. Чего я сюда сорвался? А поехал я потому, что понимал — мое дело здесь, кроме меня, никто не сделает. А она куда ехала? Чего она ждала от совхоза, которому годик едва миновал? Что там у них, в географии, что ли, написано, что здесь в степи на каждом километре стоят кресла для сверловки зубов? Она, значит, будет рвать зубки, а вокруг будет ходить оркестр и исполнять «Дунайские волны»? Ну и наплодили мы чистоплюев — больше, чем при царе, честное слово. И едут они, и едут, будто с луны валяются. Вполне понятно, что Аграфена Васильевна в голос закричала. Зачем она ее обратно в Кара-Тау направила, этого я еще разгадать не могу. Не такая она женщина, чтобы отпустить штатную единицу. Тут заложена какая-то хитрость. А что стала кричать — понятно, поскольку я от таких чистоплюев скоро сам кочетом закричу. А как же: придет, поглядит, что пирожных тут еще не дают, и первым делом начинает придуривать, корчить из себя этакого сосунка, этакого заколдованного от жизни книгочия, который будто уж и не понимает, за какой конец лопату надо держать. Пожилая женщина зерно гребет, и он идет мимо, а чтобы помочь — никак ему, бедному, не догадаться, очень уж высокое у него образование. Вот и ходит придурком, да еще уважения к себе требует. Люди — добрые, авось, мол, пожалуют.

— Не все же такие, — возразила Василиса Петровна.

— Еще не хватало, чтобы все! Я не возражаю — большинство на целине наша здоровая молодежь. Без них мы бы с тобой целину не подняли. Я даже так скажу — и многие придурки вроде бы ничего, хорошие ребята. Они не притворяются, а на самом деле юродствуют, от природы и домашнего воспитания. Тычутся туда-сюда, как слепые котята. Вот какая история. Они, видишь ли, творить желают. А мы, значит, для ихнего творчества должны им доставать гвозди. А здесь, в степу, иногда, чтобы достать гвоздь, надо затратить больше творчества, чем сочинить «Евгения Онегина». Эх, мне бы так придурить, — усмехнулся Гулько. — Хоть по воскресеньям... Лежать бы на диване и вздыхать: ай-ай-ай, нету, мол, у меня шнура на четыре квадрата... А не могу. Как

вспомню, что на мне висит тыща моторов, так и вскакиваю с дивана. Хочешь не хочешь, а доставай шнур на четыре квадрата хоть из-под земли... И не потому его нет, этого шнура, что государство не дает. Государство сюда столько добра забросило, что две Москвы можно поставить. А вот сидит где-нибудь такой придурок не от мира сего, а из-за него добрым людям приходится за каждой доской бегать по степу в пыли по ноздри... Вот вы и будьте любезны,— Гулько обернулся к Эльзе,— пока нету зубного кресла, рвите зубки на деревянной табуреточке... Нет, так Аграфена Васильевна вас не могла отослать. Не такая она наивная, чтобы бросаться кадрами. Она у меня в июне месяце уборщицу сманила, а тут не уборщица, а зубной врач с дипломом. Чего-то здесь есть, только разгадать не могу... Ну-ка, ребята, укутывайтесь плотней,— сказал он внезапно без всякого перерыва.— Казахстанский дождь идет.

Аленка посмотрела в небо, в пустую спокойную степь и не заметила ничего, внушающего беспокойство. От машины к горизонту бежала все та же выжженная солнцем земля, то желтая, то пепельно-серая, унылая и до того однообразная, что и лиловые шарики осота казались на ней украшением.

— Укутывайтесь, доктор,— говорил Гулько, бросив Эльзе плащ-палатку и забираясь с головой под пиджак.— И приемник накройте. А то работать не будет.

Машина бежала быстро. Ветер усилился, дул порывами.

Аленке показалось, что стало темнее и запахло гарью.

Повсюду катились шары перекасти-поля. Их было видимо-невидимо. Они уже не мешкали, а бежали вприпрыжку, обгоняя друг друга, как на кроссе.

Вдали возник желтый вращающийся конус, из каких обыкновенно в мультпликационных фильмах появляются волшебники.

Быстро крутясь, он подбирал по пути прошлогоднюю ветошь, гнал листья, шары перекасти-поля и тут же терял свою добычу.

Небо опустилось и стало желто-розовым, будто на него падал отсвет далекого пожара.

Вращающийся конус, быстро увеличиваясь, превратился в длинный дымящийся столб, дотянулся до неба и вдруг, неизвестно отчего, ослаб, обессилел и растворился в мутном воздухе.

Сверчки давно затихли. Птицы куда-то попрятались.

Столбики пыли возникали то справа, то слева, рассыпались, исчезали, возникали снова; один из них догнал машину и прошел сквозь нее, как будто ее не было.

Аленка испугалась, накрыла лицо платком, но любопытство все-таки пересилило, и она снова стала смотреть, что творится вокруг.

Столб, пробежавший сквозь машину, не распался; чуть накренившись, он обегал степь тугим веретенном.

Ветер дул ровно и сильно.

Ковыль лежал ничком.

Сзади, где Аленка привыкла видеть ровную, спокойную линию горизонта, колебалась широкая, на всю степь, бурая стена.

Стена медленно надвигалась и, хотя машина шла быстро, все же настигала машину.

Вдруг что-то острое больно хлестнуло Аленку по левой щеке, по лбу, по левому глазу, и она снова нырнула под платок.

Волны мелкой, острой пыли шли одна за другой, и, закутанная в толстый платок, Аленка безошибочно ощущала, когда подходила очередная волна.

— С пашни несет,— послышалось глухое ворчание Гулько.— Как бы всю нашу целину в Россию не унесло...

Пыль то тише, то громче барабанила по одежде.

Аленке надоело сидеть в шерстяной духоте, и она выглянула из-под платка.

У неподвижных людей в каждой складке платьев, юбок, платков, плащей, пиджаков желтели тяжелые барханчики пыли, а на лбу спящего Степана можно было писать пальцем.

Бурая стена немного посветлела, но ветер дул с прежней силой, и новая волна уже настигала машину.

Аленка собралась было снова скрыться под надежным платком, но заметила пыльный конус и стала с удивлением приглядываться, потому что конус показался ей неподвижным. Вскоре она убедилась, что темневший предмет не двигается, а поэтому не может быть пыльным конусом.

— Теперь я знаю! — радостно закричала она, сбрасывая платок на плечи.— Туда надо ехать! Туда! Там столбы! На том боку столбы!

Осыпанные песком фигуры были неподвижны, словно замерзли.

— Вон она! Я вижу! — кричала Аленка, колотя кулаками по кабинке.— Могилка! Нам туда надо ехать.

Действительно, это была старая казахская могила, сложенная из земляных кирпичей. Аленка запомнила ее еще с весны, когда ехала к маме на каникулы.

Толя остановил машину и вышел. Глаза у него были красные, как у кролика, и губы обведены черным кантом.

— Туда надо ехать, дядя Толя! — кричала Аленка.— Туда! Там столбы!

— А ты почему знаешь?

— Да вот же она, могила! Ей-богу, правда! Я же здесь ехала! А за могилой — столбы.

— Ну смотри,— сказал Толя.— Если напутала — дальше не повезу. Скину.

«А что, как ошиблась? — подумала Аленка, когда машина стала поворачивать.— Может, это какая-нибудь другая могила... И так они на меня сердятся, а тогда и вовсе беда». Она так разволновалась, что встала и, не обращая внимания на режущий лицо ветер, начала вглядываться в мутную даль. Пыльные волны набегали реже, и, хотя ветер дул с прежней силой, заметно посветлело.

Машина ехала и ехала, а никаких столбов видно не было. «Тыща восемьсот двенадцать — Отечественная война,— шептала Аленка, стараясь успокоиться.— Тыща восемьсот двадцать пять — восстание декабристов...»

— Вот они,— проговорил Гулько и указал совсем в другую сторону.

И правда, там виднелись тощие степные телеграфные столбы. Наверное, их увидел и Толя — машина прибавила ходу и уверенно побежала вперед.

Все зашевелились, стали отряхиваться, перешучиваться.

Только Эльза сидела в уголке, тихая, как мышка, уставившись в одну точку. Лицо ее потемнело от пыли, под глазами чернели мокрые пятна.

— Наелись краснозему? — спросил ее Гулько, утирая лоб и щеки циркуляром, отпечатанным на папиросной бумаге.— Небось на критику сердитесь? Я ведь это так, без укору. За то, что вы такие чудные получаете, в первую очередь нас корить надо, а не вас. Вон растет пополнение,— кивнул он на Аленку.— Эти, будьте спокойны, они не то что зубное кресло — что хочешь добудут.

Аленка сияла.

— Натек-ка вот бумажку, утрите глаза,— примирительно продолжал Гулько.— Сейчас еще ладно — лето. А зимой придется ехать — берите с собой ватное одеяло. В буран попадете — беда! Тут, в солнечном Казахстане, снегу намывает метра на три. Угольником ничего не сделаешь, приходится роторный снегоочиститель пускать. Выроет снегоочиститель в снегу траншею, вот и едешь в этой траншее, как в корыте. Там уж не заплутаешься, вправо-влево не свернешь.

— А я увидела могилку и вспомнила, где столбы,— сказала Аленка.

— Молодец,— похвалил ее Гулько.— В январе мне пришлось этой траншеей ехать на тракторных санях. За оборудованием ездили. Сажу, закутавшись в ватное одеяло, а буран одеяло пробивает насквозь. Ровно это решето, а не толстое одеяло. «Скорей бы, думаю, досхать, не то замерзну». Смотрю — впереди фары... Кто-то навстречу пробивается по нашей траншее. А разъезды там были сделаны через два километра. Заднего хода дать не можем, поскольку у нас сани. Подъехали ближе. Смотрю — мать честная! — у них вроде тоже тракторные сани! А в общем,— неожиданно заторопился Гулько,— в общем разъехались.

— Я эту могилку еще весной запомнила,— сказала Аленка.

— Молодец! А ну, постучи Толе.

— Зачем?

— Постучи, тебе говорят! — повторил Гулько, раздражаясь.

Машина остановилась. Гулько спрыгнул на землю и размялся.

Пыль пронесло. На посветлевшем небе сияло солнце.

Дул теплый прозрачный ветер, и стрекотали сверчки.

Вокруг было до того ярко и солнечно, что Аленка подумала, не при-  
снились ли ей все эти пыльные столбы и полосы.

Гулько строго кашлянул и направился к телеграфному столбу.

— Куда это он? — тревожно спросила Аленка.

— Ладно тебе. Сиди.— Василиса Петровна легонько толкнула ее и постно поджала губы.

Гулько остановился у столба и прикинул глазами расстояние. Машина была близко. Он пошел к столбу, который подальше.

— Куда он, тетя Василиса?

— Ты что, судья? Нет? Так и нечего беспрерывно вопросы спрашивать. Вон гляди, какой краля.

На ближнем столбе сидел белоголовый ястреб. Вот он сгорбился, чуть раздвинул крылья, стремительно, как из рогатки, упал со столба и, чуть коснувшись земли, красивой дугой взмыл в воздух с жирной тушкой суслика под брюхом.

Когда Аленка потеряла ястреба из виду, Гулько уже шел назад.

— С легким паром,— почему-то сказал ему Толя.

Главный механик ничего не ответил и полез в кузов.

Вдоль столбов лежала хорошо заметная, накатанная колея. Кое-где редкими кустиками росла пшеница-падалица; наверное, по этой дороге колхозники возили зерно. Грузовик бежал быстро, как по асфальту, и не больше чем через час показались домики Кара-Тау.

Разъезженная колея привела машину к маленькой площади, совершенно пустой, если не считать стоящего в середине ее сооружения на четырех ножках, похожего на этажерку и украшенного выцветшими сатиновыми лозунгами. Это был остов трибуны, с которой местные жители посрывали половину досок и употребили их на более неотложные надобности.

Вокруг трибуны расположились кружком приземистые домики с названиями районных организаций и учреждений. Все эти учреждения и организации внимательно смотрели на дырявую трибуну маленькими своими окнами и, казалось, недоумевали, что теперь с ней делать.

Ветер-степняк ослабел, но был еще силен, и линялые флажки, украшавшие трибуну, трещали от напряжения и дрожали вместе с древком, словно трибуна мчалась по площади со скоростью мотоцикла.

Аленка сошла на землю и покачнулась: от долгой дороги у нее кружилась голова, и она не могла отделаться от ощущения движения.

Эльза отправилась в исполком, а остальные, включая и Настю со спящим младенцем на руках, пошли в столовую.

В просторном пустом зале столы были накрыты белоснежными скатертями, в вазочках торчали цветы и бумажные салфетки, а на стене, под перовскими охотниками, было прибито извещение о том, что приносить и распивать спиртные напитки строго воспрещается.

Увидев на стремянке старичка, который красил бронзовой краской карниз, Аленка озадаченно остановилась.

— Входи, входи,— улыбнулся старичок.— Открыто. Сейчас я тебе выбью и первое и второе. Кассирша, это верно, на уборочной, а я сейчас выбью.

Потом они ели лапшу, вкусную, жирную и несоленую. Аленка посолила ее, но лапша была до того густая, что так и осталась местами соленая, а местами несоленая, хотя Аленка перемешивала ее довольно долго. Потом Аленка пила какао, пахнущее пылью, и ей все время казалось, что она едет.

А потом пришла Эльза и стала молча хлебать лапшу.

— Вы посоли́те,— сказала Аленка.

Эльза послушно стала трясти над тарелкой солонку.

— Хватит,— сказала Аленка.

Эльза поставила солонку и начала есть.

— Что у вас? Что-нибудь плохое?

— Не знаю... В учреждениях никого не оказалось. Все разъехались на уборку. Будут неизвестно когда.

— Почему неизвестно? — усмехнулась Аленка.— Уборочная кончится — приедут. Никуда не денутся.

Эльза взглянула на нее и слабо улыбнулась.

— Правда, правда! Вы даже не думайте об этом... Вас послали сюда, вы и сидите. Чего с вами могут сделать? Ничего с вами не могут сделать. Вас послали — вы и сидите, пока не добьетесь, чего вам надо... Вот я вам сейчас расскажу, как я с Люськой один раз поспорила на эскимо.— Аленка оживилась и заерзала на стуле.— Люська выделена у нас санитаром, следит за чистотой. Давно еще, во втором классе, она меня дразнила, что я любимчик, потому что мне Витаминыч ставит пятерки. Это наш учитель был во втором классе, Константин Вениаминович, а сокращенно — Витаминыч. Он у нас добрый, вот он и ставит пятерки, а Люська говорит, что я любимчик. Вот я и поспорила, что она жестоко заблуждается и что, если захочу, принесу сколько хочешь двоек. Люська говорит: «Не принесешь». Я говорю: «Принесу». Она говорит: «Не принесешь». Я говорю: «А поспорить слабó». Она говорит: «Не слабó». Вот мы и поспорили на эскимо, что я получу пять двоек. Люська говорит: «Только чтобы двойки были подряд». Я говорю: «Конечно, подряд. Еще бы не подряд». Дома мне не велят зимой есть эскимо, потому что у меня гланды, а мы, что я, что Люська, обожаем эскимо без памяти... Ну вот, так у нас и началось...— Аленка печально вздохнула.— Заиметь первую двойку никакой трудности не составило. Витаминыч вывел в журнале двойку и сказал: «Не огорчайся, Муратова. У тебя еще будет возможность исправить оценку». И на другой день меня пер́вую вызывает к доске. Задаст задачку на тыквы: «На школьной выставке были две тыквы. Одна весила двадцать пять килограммов, другая на три килограмма меньше. Сколько весили две тыквы?». Я сложила двадцать пять и три, и у меня

получилось двадцать восемь килограммов. «Муратова,— говорит Витаминыч.— Ты что, больная?» — «Не знаю,— говорю.— У меня гланды». — «Ну, тогда садись, если гланды». Смотрю — порядок, двойка. И показываю Люське пальцами, что уже две... А она губы поджала и сидит, как будто ей безразлично. День прошел, опять Витаминыч вызывает к доске. Опять диктует про тыквы. Задумалась я чего-то, замечталась, подумала, что Люська — жадюга, вполне может отказаться от своих слов, потому что спор секретный. Задумалась я об этом и слышу, Витаминыч говорит: «Вот, говорит, и верно, вот и отлично, Муратова». Глянула я на доску, а там написано «сорок семь». Как у меня эти «сорок семь» написались — убей не пойму! Ой, как я испугалась! «Нет, нет,— кричу,— двадцать восемь, двадцать восемь!» — и давай стирать правильный ответ. Витаминыч ничего не сказал и велел садиться. На переменке Люська поглядела в журнал на мою клетку и говорит: «Э-э-э, ни двойки, ни пятерки — ничего нету. Чистое место».

— Ты с ней дружишь, девочка? — спросила Эльза.

— Нет. Это она со мной дружит, а я с ней нет... Ну вот. Как получилось у меня по ответу, я подумала, что надо запомнить одну цифру — например, двадцать восемь,— а то станешь писать по-разному, случайно можно сбиться и написать правильно... Кончилась переменка, и приходит в класс Витаминыч, а вместе с Витаминычем приходит директор. Директор у нас — бывший военный, с орденами, учит по физкультуре. Мы думали, какое-нибудь объявление будет про утиль или про демонстрацию, или украли чего-нибудь; ничего подобного — опять меня вызывают к доске. Витаминыч молчит, а директор диктует задачку про тыквы. Я немного помазала на доске и пишу ответ — двадцать восемь. «Муратова,— говорит директор.— Ты зачем хулиганишь? Пиши, говорит, сорок семь!» — «Как же я буду писать сорок семь, когда получается двадцать восемь?» — «Пиши — сорок семь и не рассуждай!» Что поделаешь, директор велит — пришлось писать «сорок семь». А Люська дразнится, язык показывает. А язык весь в чернилах. Еще называется санитар. Из-за эскимо готова удавиться. «Ну вот,— говорит директор,— теперь правильно. Сорок семь». — «Чего сорок семь?» — спрашивает Витаминыч. «Сорок семь тыкв», — говорю я. «Правильно. Сорок семь тыкв», — говорит директор; он уже позабыл про задачку и собрался уходить к себе в кабинет. И говорит Витаминычу: «Надо иметь подход к детям». — «Позвольте,— говорит Витаминыч,— каких тыкв? Сорок семь килограммов!» — «Нет, тыкв», — говорю я. «Муратова!» — говорит Витаминыч. «Сорок семь тыкв», — говорю я. «У вас есть телевизор?» — спрашивает директор. Я говорю — есть. «Тогда, говорит, ясно. Это у нее влияние заграничных фильмов. Надо вызвать родителей. А Муратову, если будет продолжать безобразничать, оставьте без обеда». И ушел. А я весь урок простояла у доски, и у меня все время получалось двадцать восемь. А когда все ушли, Витаминыч сказал уборщице громко, на весь коридор: «Как у нее получится сорок семь килограммов, сейчас же отпустите ее домой». А я до самого вечера протирала в классе окна, пока за мной не пришла мама.

На другой день вызывают к директору. Прихожу — сидят папа и мама. Директор посадил меня за свой письменный стол и велел решать задачку про тыквы. Я решила, и опять у меня получилось двадцать восемь. «Ладно,— сказал папа,— придем домой, я тебе покажу — двадцать восемь». Пришли домой, он сел, прочитал задачку и спрашивает: «Ты что, может думаешь, что две тыквы не потянут сорок семь килограммов? Вполне свободно потянут. Я, говорит, на выставке сорт такой видел — крупноплодная. Один экспонат восемьдесят килограммов тянет». Я говорю, что, конечно, тыква может весить восемьдесят килограммов, а тем более две тыквы. «Ну, так пиши», — говорит папа. «Чего писать»



то?» — «Сорок семь». — «Как же я напишу сорок семь, — говорю я ему, — когда надо не писать, а решать по вопросам?» — «Ну и решай по вопросам!» — «А я не знаю как!» — «Ладно, говорит, тогда я решу, а ты своей рукой перепишешь». И папа стал решать по вопросам и запутался. Перечеркал две страницы, и у него ничего не получилось. Знает только, что сорок семь килограммов, а какие должны быть вопросы — не знает. Тогда он позвал маму и велел ей придумывать вопросы; у мамы тоже ничего не получилось. Тогда папа стал ругать школу, Витаминыча, и меня, и маму, и ругался так, что мама ушла из дому. Какая я все-таки несчастливая! Другие получают двойки — и хоть бы что, а как я — так целая история... Вечером приходит мама, кладет возле меня эскимо и говорит: «Сил, говорит, больше нет. На, говорит, подавись. Только завтра в школе реши задачку». Я поняла сразу — это Люська няябедничала, и теперь про наш спор всем известно.

Прихожу в школу — Витаминыч говорит: «Муратова». А мальчишки в нашем классе и уроки не стали учить — знают, что Витаминыч одну меня спрашивает, и не учат — играют в перышки, и все. Никто ничего не учит. Витаминыч поставил меня и говорит: «Муратова, мне все известно про твой спор. Спор этот глупый. Мы всем коллективом боремся против двоек. Каждая двойка — это брак для всей школы и позор для учителя и ученика. Муратова, каждая лишняя двойка — пятно не только на тебя, а на родную школу. Но, очевидно, ты еще до этого не доросла и не понимаешь этого, Муратова. Но мое состояние, твоего старого учителя, ты должна понять? Должна или нет?»

Витаминыч говорил долго. Я несколько раз садилась, думала, что он кончил, а он опять начинал говорить, и мне снова приходилось вставать.

«Муратова, — сказал под конец Витаминыч. — Неужели я стал такой старый, что уже и учить не могу? Что же мне — из школы уходить? Не узнаю я тебя, Муратова».

Мне стало жалко Витаминыча, и я заревела. Тогда он вызвал меня к доске, велел перестать реветь и решать задачку про тыквы. Я стала решать, и у меня получилось — двадцать восемь.

Больше меня почему-то не вызывали. Ни Витаминыч не вызывал, никто. А маме сказали, что меня постараются исключить из школы. Я думаю: чего же, буду неученая! Разве все должны быть ученые? Неученых тоже надо. Жалко только, что спор проспорила, — не получить будет мне пяти двоек. Люська и так ходит нос задравши...

Так через неделю, на переменке, девчонки шепчут — приехало начальство из района Муратову из школы выгонять. Вызывают меня в учительскую. Смотрю, Роман Семенович — наш директор совхоза... Он тогда еще в районе работал. Веселый, смеется. Спрашивает: «Сколько у тебя, Муратова, двоек?» Я говорю: «Две». — «А сколько надо?» — «Пять». — «Ну-ка, давай решать задачки!» Решаю — получается не по ответу. «Э-э!» — дразнится Роман Семенович по-девчачьи и ставит двойку. Дает другую задачку. Еще двойка. Дает третью — опять двойка. Красота! Правда? В один день — три двойки. Папе рассказывала — не поверил. А Люська ревела от злости, когда узнала. «Ну, все, — сказал Роман Семенович. — А теперь иди исправляй отметки у Константина Вениаминовича». И уехал.

На другой день, только вошла в класс, Витаминыч вызывает к доске и задает задачку про тыквы. «На школьной, кричит, выставке, было две тыквы!» Я пишу: «Две тыквы». «Одна весит двадцать пять килограммов!» Я пишу «двадцать пять». «Другая на три килограмма меньше!» — кричит Витаминыч. Я пишу «три». «Сколько весят две тыквы? Ну?» Тут мы оба разволновались: и мне его жалко, бедного Витаминыча, и ему-то охота повисить успеваемость; вот он глотает пилюли, а я пишу, тороп-

люсь. Первый вопрос — правильно, второй вопрос — правильно, думаю: сейчас напишу «сорок семь» — и конец. А он все подгоняет: «Ну, ну!» И понимаете, что получилось: сама думаю, что пишу «сорок семь», а рука заторопилась и пишет «двадцать восемь». По привычке. Написала «двадцать восемь» и сама ахнула.

Витаминыч даже ничего не сказал. Он сделался белый как мел и ушел. Я сразу стерла «двадцать восемь», написала «сорок семь» и выбежала в коридор. Витаминыч стоял, прислонившись головой к холодному окну. Я подбежала к нему и сказала, что получилось по ответу. Он молчит и не верит. Тогда я стала тащить его в класс и кричать на весь коридор, что задачка получилась по ответу. Витаминыч присел на корточки, повернул меня к себе лицом и спросил шепотом: «Сорок семь?» Я ничего не сказала, только кивнула головой. «А не двадцать восемь?» — спросил Витаминыч. Я так замотала головой, что думала, она отвалится. Смотрю — у Витаминыча из глаз пролилась слезка. Пролилась одна слезка, а потом по той же самой дорожке пролилась другая. «Чего это у вас, говорю, Константин Витаминыч, один глаз плачет, а другой нет?» — «Подожди, говорит, будешь у меня в третьем классе учиться — оба заплачут». Он взял меня за руку, и мы пошли в класс, а там стоял такой шум, что ничего нельзя было разобрать...

— Подожди, девочка, — остановила Аленку Эльза. — Где же твои друзья?

Аленка растерянно оглянулась. В столовой никого не было.

Она спросила старичка, куда подевались люди.

— Это с «Солнечного»? — откликнулся он. — А все уехали. Лапша вкусная?

— Вкусная. Как же это так они уехали?

— А так. Расплатились и поехали...

— Давно уехали?

— Минут с пятнадцать.

Аленка выбежала на площадь. Ветер почти затих, и знойное солнце палило с зеленого неба.

Возле столовой виднелся свежий след Толиной машины.

По следу было видно, как лихо развернулся Толя, как проехал мимо трибуны и умчался по столбам на ту сторону горизонта.

— А сколько отсюда до Арыка? — спросила Аленка.

— Двести сорок километров, — сказал старик.

— Что же ты теперь будешь делать, девочка? — медленно проговорила Эльза.

— Я-то что! — откликнулась Аленка. — Я на попутной нагоню. А вот вы как?

— Сегодня на попутные не надейся. — Старик покачал головой. — Может, завтра поедут с «Комсомольского» совхоза. А тут у вас никого своих нету?

— Есть, есть... — заторопилась Эльза. — Одна девушка есть... Почту возит...

Присев на ступеньки, она стала перелистывать свою крохотную записную книжку. Страницы были исписаны карандашом, острым, аккуратным почерком; названия рижских улиц, фамилии рижских подружек, телефон рижской филармонии, рижского ателье, рижской парикмахерской... И поверх всего этого, прямо по бледным, полустертым карандашным строчкам, размашисто и торопливо были написаны вечной ручкой фамилии и телефоны отдела здравоохранения в Арыке, исполкома в Кара-Тау, фамилии совхозного начальства, названия степных населенных пунктов.

Пока Эльза разыскивала фамилию девушки-почтальона, послышался шум, и пыльная трехтонка лихо развернулась у крыльца.

— Где ты там, пропажа ты едакая?— закричала Василиса Петровна.

— Вот она я,— сказала Аленка.

— Ты что же это такое делаешь с нами! — На подножке кабинки появился Толя.— Почему я из-за тебя обязан гонять машину взад-назад? Что ты за королева Марго?

Аленка залезла в кузов и села, покорно ожидая заслуженного выговора. Гулько уже начал откашливаться, но в это время взгляд его остановился на Эльзе.

Молодая докторша, с трудом таща приемник, направлялась к дверям райкома.

— Ну хитра баба! Ох, хитра!— воскликнул вдруг Гулько со злостью и восхищением.

— Кто?— удивилась Василиса Петровна.

— Тетя Груня ваша, вот кто! Как же я ее сразу не разгадал? Да если бы я ее сразу разгадал, я бы еще в совхозе эту Эльзу ссадил и ехать никуда не позволил. Сама-то тетя Груня небось не поехала. К ней всюду пригляделись, что в райкоме, что в исполкоме, давно она там надоела и примелькалась. Отмахнулись бы от нее, как от ядовитой осы, и кончен бал. Так она вон кого послала... Ой, хитра! А как же! Поглядят в райкоме — худенькая комсомолочка, беззащитная, то и дело плачет. Хочешь не хочешь, а надо реагировать, проявлять заботу о людях. Что, мол, девочка, плачешь? А она пожалуйста: как же мне не плакать, когда помещение для зубного кабинета самовольно захватил главный механик? А кто там главный механик? Гулько — главный механик. Ах, Гулько! Знаем мы этого Гулько. Утрите слезы, девушка. Готовьте решение: комнаты немедленно освободить, исполнение доложить! А Гулько, конечно, выговор! Выговор, выговор! Поскольку Гулько недопонимает, что в нашей стране самый ценный капитал — люди, и медицина превыше всего, и так далее, и тому подобное. Ну хитра! И приурочила эту авантюру к моему отъезду!.. А вы что думаете — я эти две несчастные комнаты забрал себе под квартиру? Я отомкнул эти комнаты — на нашей усадьбе все двери отмыкаются одним ключом — и вселил прикомандированных слесарей-ремонтников, хотя Аграфена Васильевна кидалась на меня, как беркут. А я проявил творчество и вселил. Потому что если бы я не обеспечил ремонтников жильем, машины сейчас не возили бы хлеб государству, и эта наша машина не двигалась бы, а стояла на приколе. А для медицины комнаты не годились, у них стены просвечивали, как марля, а печи были сложены так, что дым шел из всех дырок, за исключением трубы, и ходить надо было на цыпочках, а не то кирпичик свалится со стояка и стукнет тебя по макушке. Ну и тетя Груня! И молчала ведь, не поднимала вопроса, пока мои ребята не отремонтировали жилье, пока не вложили в это дело труд и средства. Выходит, она двух зайцев хочет убить — и врачуху воспитать на трудностях и отремонтированные хоромы получить... Ну и люди пошли! Сама чуть не в землянке живет, пожилая женщина, себе бы комнату хлопотала... Ан нет! Об себе и не думает. Больницу, видишь, ей надо — две комнаты и никак не меньше. Ну ладно! Вы хитры, а мы хитрее!

Машина резко остановилась, и Толя крикнул из кабинки:

— Эй, друг! Сколько до станции Арык?

— Двести сорок,— сонно откликнулся парень, сидящий в узкой тени мотоцикла с лепешкой и бутылкой кумыса.

— Как это двести сорок?! — возмутился Толя.— В Кара-Тау тоже говорили двести сорок...

Вместо ответа парень налил в чашку кумыс.

— Да так ли мы едем?— спросил Толя.

— Так...— сказал парень и стал пить.

Ветер совсем утих. Сверчки и кузнечики трещали непрерывно одно и то же. Сверху жарко палило солнце, и до раскаленной кабинки невозможно было дотронуться.

Степан вспотел и спал беспокойно.

Пегая собачонка лежала рядом и тяжело дышала, свесив розовый, как кусок семги, язык.

— Вон как мается,— сказала Василиса Петровна.— Снять бы с него пиджак, что ли.

Пиджак сняли, но Степан так и не проснулся.

Аленку тоже сморил зной. Чтобы не заснуть, она решила заняться делом и стала искать подсолнушек, но не нашла. Видно, его кто-то выкинул, пока она сидела в столовой. Она вспомнила, что мама сунула ей в карман железную коробочку с леденцами, и достала ее. Есть их было нельзя — леденцы слиплись в один полупрозрачный камень.

А солнце палило все сильнее. Машина переезжала высохшую реку.

Рядом стоял низкий деревянный мост, но Толя поехал прямо по песчаному дну, плоскому, как стадион.

На пологих берегах торчал сухой кочкарник, на песке лежали белоголовые коровы — видно, песок сохранил еще прохладу и запах воды.

Верблюд с завалившимся набок горбом грыз белую землю.

Шерсть на верблюжьих боках была протерта до замшевой кожи. Часто, наверное, ездят на нем люди и бьют его по бокам каблуками.

Когда машина проезжала мимо, верблюд высоко поднял голову на длинной шее и, жуя мягкой раздвоенной губой, важно посмотрел на Аленку.

А потом снова потянулась степь, и в ушах снова зазвучал однообразный степной стрекот, слитная сухая музыка сверчков и кузнечиков.

Наверное, только в степи бывает такая громкая непрерывная музыка. Вот если собрать всех совхозных людей — из центральной усадьбы и из отделений, и маму, и папу, и тетю Груню, и Романа Семеновича, и агронома Геннадия Федоровича, и всех механизаторов, и прикомандированных — да расставить их по степи на вытянутую руку и велеть каждому заводить часы, ручные или карманные — какие у кого есть, — то, может быть, получится такая же музыка... И только Аленка подумала об этом — уже и стоят все совхозные, полная степь народу, так много, что не проехать. Стоят и заводят часы. Только у мамы часы почему-то не заводятся — наверное, засорились от пыли, — и она огорчается и говорит, что надо везти их чинить на станцию Арык...

Аленка проснулась и услышала певучий голос Василисы Петровны.

— Станция Арык, станция Арык... А что станция Арык? В Арыке тоже лесу нету. Я тебе вот как скажу: хотя сама я с Волги и жили мы спокон веку от Волги — не об Волге я тоскую, а об лесе. Все об лесе тоскую. Что может быть лучше, чем молодой лесок, что может быть краше? Тут тебе и белые березки, и сосенки да елочки, да такая кругом благодать — встала бы и не уходила. Глядишь — дубок тебе зеленые прутьки выкинул, да у елочки свежие лапки выросли, желтенькие, новорожденные, и у сосенки на веточках пальчики только-только выросли — торчат кверху свечками, еще не расправились, не растопырились, еще сложены вместе, ровно для крестного знамения. А сама-то сосеночка молоденькая, да какая она хорошенькая, да какая она барышня, и ствол-то у нее мохнатенький, по всему по стволу, до самой земли, иголочки растут... А солнышко-то светит, а роса-то блестит, буд-то раскиданы по лесу стеклушки... Все бы перетерпеть можно в этом степу — и стужу и холод-голод, — а родину, где родился, не позабыть.

— Это как сказать,— ответил Степан.— Мужчина, может быть, да. А баба — она как кошка. Куда ее ни закинь — обойдет углы, обнюхает и на место ляжет. Да еще замурлыкает. Я ведь мою-то с Москвы увез. А это тебе не Бежецк. Это Москва. На каждом углу газированная вода. А увез.

— И добровольно поехала?

— Без звука. Отец у ней и сейчас в Москве. Номенклатура.

— Кто?

— Крупный работник. В легковухе возят. Где-то он работает там — позабыл, какое учреждение. Название длинное, как забор у этого учреждения. Позабыл.

— А как она из себя?

— Ничего. Глазастая. Волосы до колен. Коса толстая, как витая булка. Вот я и увез ее в Бежецк.

— Чего же она, такая краля, Москву променяла?

— А я ей опомниться не дал. Понятно? Она переругалась на даче с отцом-матерью из-за какой-то петрушки. Вроде они ей не велели ходить в манеж — учиться ездить верхом. Вот она переругалась насмерть и приехала с дачи в Москву — вроде бы навек ушла из дому, от своих родителей. Конечно, если бы я не попался на дороге, она бы к вечеру домой воротилась. Кофею захотела бы и воротилась. А тут я как раз с Рязанского на Ленинградский вокзал переходил. На Комсомольской площади увидал ее и познакомился. Ясно? Взял я ее и привез к себе в Бежецк.

— Это как же понять? — спросила Василиса Петровна.— Выходит, она со зла за тебя пошла?

— Нет, почему?.. — нахмурился Степан.— Чего я — хуже других? Может, мой батька не меньше, чем ее, пост занимает. Может, вот он мой папаша,— Степан кивнул на Гулько,— а ты мамаша... Кто вас разберет...

— Да ты что, рехнулся? — испугалась Василиса Петровна.— Христос с тобой!

— А я про себя ничего не знаю. Ни родителей — ничего. Подкинутый я. Когда точный день рождения — и того не знаю. Детдомовские врачи присудили — седьмое ноября, чтобы и я мог отметить, как и все, день своего рождения... А чего ей было за меня со зла идти? Работаю на «хорошо» и «отлично». Зарабатываю — дай бог каждому. Не пью. Не курю...

— Ну? — удивилась Василиса Петровна.

— Честное слово. Даже не знаю, сколько пол-литра стоит. Не интересуюсь. Не уважаю я это... И рост у меня нормальный, на костюм четыре с половиной метра идет.

— Ну да уж, четыре с половиной!

— Ты вот что, тетка. Я тебе лицо неподотчетное, и врать тебе никакого интереса нету. Хочешь слушать — слушай. А нет — так нет. А то не уважаю я это...

— И хорошо, и дай тебе бог, — примирительно заговорила Василиса Петровна.— Значит, счастливый ты. Один раз увидал — и законная супруга, мужнина помощница. Другой девчонок обхаживает-обхаживает, одну примеряет, другую, а в итоге такую лахудру приведет, что не то что свекровь, а сам на другой день шарахается... А у тебя, значит, глаз легкий.

— И у нас, конечно, притерлось не сразу, — сказал Степан.— Все ж таки, что ни говори, не моей пары рукавица. Я не курю, а она дымит, как трубадур, и беспрерывно читает книжки. Клипсы к ушам пристег-

нет и читает. Хочешь ее обнять — клипса падает. Надо клипсу искать. Не уважаю я это... Немного пожил — говорит: «Скучно». Чего ей надо? Живем культурно, выписываем «Огонек». А ей скучно. Пожили еще с месяц — она говорит: «Я, говорит, собачонку возьму. Мне, говорит, тогда не будет скучно». И правда, взяла где-то кутенка, кобелька. Назвала его Рекс. Купила ему жетон, ошейник, цепку где-то достала хорошую. Наденет клипсы, заберется с ногами на диван, посадит этого Рекса на колени и скармливает ему конфеты. Сама ест и ему скармливает.

Сперва я недопонимал, на что ей этот Рекс сдался. А в выходной как-то взял книжку полистать — гляжу, статейка под названием «Дама с собачкой». Почитал — и дошло до меня, в чем дело. Там тоже выведена собачка. Вот моя-то от скуки и стала эту даму копировать и прогуливать по Бежецку своего кобелька. И смех и грех. Собралась жить под копирку. Там-то, в книжке, хоть породистая выведена, а этот, хрен его знает, какой-то сборный. Блохастый какой-то. Каждую минуту стучит по полу мослами — чешется. А на улице тянет его к любому столбу — то и дело приспичивает ему опраться. Дурной какой-то кобель. Блох вычесывать сядет — не поднимешь.

Пожил так с ней да с собакой — новое дело. «Хочу, говорит, в Крым. В Ялту». Жалко мне ее стало. Гляжу на нее и думаю: «Надо, думаю, что-нибудь делать. А то она с тоски вовсе захворает». А тут как раз в газетах про целину стали писать. Взял я на работе расчет, пошел на станцию, купил до Арыка билеты — два плацкартных, третий собачий, — прихожу домой. «Собирай, говорю, своего Рекса. Поехали». — «Куда?» — «В Ялту». Только в поезде на другой день до нее дошло, куда везу. Сперва она было чуть на ходу не выбросилась, потом задумалась и притихла. Доехали до места — февраль. Зима, сама помнишь, какая была. В шапках спали. Директор совхоза видит — из всех прибывших я единственный семейный, к тому же с собакой, и стал мне создавать условия. Вызвал — предлагает жить до лета на станции, принимать прибывающие в адрес совхоза грузы. «Нет, говорю, товарищ директор, я тракторист и механик, делать мне на станции нечего. Отправляй нас в совхоз». Так и поехали мы на центральную усадьбу, где в то время, кроме снега да директора, не было ничего. А директор имел такое имущество: доверенность и печать. Ну что же, выкопали землянки, начали жить. Помню, в первые дни, после бурана пошли снег разгрывать, а мою дома оставили, чтобы суп сготовила. Приходим вечером — сидит в углу моя дама с собачкой и хнычет. И Рекс у ней под ногами скулит. А в землянке темно, полно чаду и дыму. «В чем дело? — спрашивает директор. — Почему сидите в темноте? Где лампа?» — «Что это за лампа? Целый вечер я ее зажигала, не зажигается ваша лампа». — «А керосину налила?» И знаешь, что моя на это сказала? «Разве, говорит, и керосин надо?» Верите: тыщу книг прочтала, а обыкновенной семилинейной лампы сроду не видала и не интересовалась, как с ней управляться. Так одна весь вечер билась: поджигала сухой фитиль, все спички перевела. Не уважаю я такие штуки. Потом пригнали вагончик, и все переехали туда. Сунулись было и мы, но вагончик был новый и вонял масляной краской, особенно когда жарко натопят. До того вонял, что моя угорала, а Рекс, так тот чуть не подох. Директор подумал-подумал и отдал в наше распоряжение землянку, и тут в первый раз мы зажили, считай, на отдельной квартире, как бароны. Моя ожила, точно оттаяла, стала хозяйничать, создавать уют. А я каждый день в рейсе. Ну вот. Приезжаю раз ночью домой, сажусь отдохнуть. Гляжу — на стенке висит под стеклом картина. Сперва я глазам не поверил. Стал приглядываться. Так и есть. Нарисованы два старика

в голом состоянии, а между ними такая же голая баба. И моя спит на топчане под этой картиной.

— Это что же,— спросила Василиса Петровна.— Она сама повесила?

— Она. Для уюта.

— Господи! Да что она у тебя, вовсе глупая?

— Нет. Она так-то не глупая. Она торопится перед каждым разом свой показать, чтобы не подумали случайно, что она деревянной ложкой щи хлебает. Знаешь, есть такие любители другим оценки ставить: «Это, мол, ты верно сказал», «Это, мол, ты умно заметил». Так вот она из таких. Сама себя высоко понимает.

— Это ты верно,— сказал Гулько.— Есть такие.

— Ну так вот. Висит, значит, картина. А у меня тогда тулка была, двустволка. Взял я тулку, прицелился и трахнул из левого ствола, так что от этой картины один гвоздь остался. Моя с перепугу с топчана на пол — хлоп! Отлежалась, встала и принялась меня стыдить: «Ах, ах, что ты делаешь! Это Рубенс! Я по силе-возможности хочу уют создать, а ты, снежный человек, ходишь дома, как по лесу, и разводишь стрельбу». Я ей объясняю, что это не уют — развешивать по стенам голых мужиков да баб. «Ты, говорю, голышом сядешь — по-твоему это тоже уют? Ты бы, говорю, застлала бы хоть постель как положено, чтобы людей не совестно было, простынку бы с подзором застелила...» Да что с ней рассуждать? Она и того не понимает, что за подзор такой. Да по правде сказать, и некогда было мне заниматься семейным воспитанием. Начали мы на усадьбе досрочное строительство, и каждый день степь загадывала нам загадки: из чего сделать оконную коробку? Где взять лопатку, пассатижи? Где взять балку для перекрытия? Так и жили и загадки разгадывали: оконные коробки сбивали из ящиков, в которых засылали нам детали плугов, на балки весной пошли полозья тракторных саней. Работа шла лихо. Лично я дни и ночи не слезил с трактора и бородой зарос по самые ноздри. Тут ведь у нас не только земля, тут у нас сам воздух плодородный, и борода растет быстрее, чем в Бежецке. Чтобы сохранить культурный вид, нужно бриться с утром и вечером.

А какое тут может быть бритье, когда дома нелады! Домой приеду — сидит молчком. Подаст есть — снова молчит. Бывало, в Бежецке схватит за шею и шепчет: «Я тебя бешено люблю». Вон как! А тут молчит, точно язык у ней отказал. Не уважаю я это... «Чего, спрашиваю, молчишь? Чего тебе надо?» — «Ничего, говорит, устала я тут». — «С чего же это ты устала?» — «Ты, говорит, не поймешь. Я, говорю, морально устала». — «Почему?» — спрашиваю. — «Может, мыши одолели?» — «Да, говорит, мышей много». И снова молчит. Пришлось израсходовать ночь на мышеловку. Сделал мышеловку — аккуратную, на шурупчиках. Шурупчики с сапог снял, с подковок. Поставил мышеловку — жена все молчит. «Чего, говорю, тебе надо в конце концов?» — «Ничего, говорит, спасибо». — «Может, мыши плохо ловятся?» Молчит. Тогда я к задней стенке мышеловки приладил зеркальце. Мышь — существо жадное: думает, другая навстречу бежит, и теряет осторожность... Стали мыши ловиться лучше. А моя все молчит. Думаю — может, она за картину сердится? Ладно. Дождался рейса в Арык, купил там на базаре хорошую кантованную картину под стеклом: кот серебряный с красным бантом. Фон черный. Хорошая картина — полсотни отдал. Привез, повесил на гвоздь. Она поглядела и говорит: «Знаешь, Степан, я тебя, кажется, больше не люблю».

Что теперь сделаешь? Не любишь — не люби. Слез с койки, лег на пол. А она говорит: «Нет, ты ложись на топчан, а я лягу на пол». Я, конечно, не пошел из принципа. Так и стали жить: топчан пустой, а оба —

на полу, в разных углах. Вроде как командировочные или, лучше сказать, ночлежники. Вот и получился Рубенс. Утром она встанет, начнет волосы расчесывать, оскалится, как молодая волчица, а я с пола гляжу — ничего не скажешь, красивая.

А она подрядилась работать учетчицей. Один раз приезжаю с рейса ночью, захожу в землянку, а ее нет. Клипсы тут, на тумбочке, а ее нет. Она их зимой снимала, чтобы уши не мерзли... Давно, видно, ее нету. Чайник холодный. Собака не кормлена. А на улице темная ночь и буран песни поет. Вполне можно заплутать и замерзнуть. Это теперь, когда электричество светит, нашу усадьбу за десять километров видать, а тогда снаружи один керосиновый фонарь висел, и возле вагончика можно было всю ночь проплутать и ничего не увидеть... Что делать? Рекс в глаза глядит, скулит некормленный. Не понравилось мне это... Накинул робу — и на трактор. Поехал искать. А буран такой, какого я никогда не видал и никогда, верно, не увижу. Все кувырком и кверху тор-машками. И снег-то летит не с неба, а куда-то наверх, с земли на небо... Такой вой стоит — своего трактора не слышать. Еду — мигаю фарами, чтобы увидела. А ее нет нигде. Ездил я, ездил и до того доездили, что трактор встал. Трубки замерзли. Выскочил, стал руками отогревать и чую — руки примерзают к железу. Руки примерзают, а я держу. Шу: с ними, с руками, лишь бы трубки отогреть, лишь бы спасти живую душу. Видишь, какие ладони? Кремьень. Ладонь об ладонь чиркнешь — искры посыплются. Не бойся, пощупай.

— Да! — сказала Василиса Петровна с уважением. — Ну как? Разыскал?

— Нет. Замерз, как ледышка, и воротился. Как тут искать, когда сам заплутать боишься? Я ж тебе говорил, что у нас никакого ориентира не было — один фонарь висел, да и тот бураном задуло. Воротился в землянку и сел — не знаю, что делать. А буран поет похоронную. И собака скулит. Глянул я на собаку, на Рекса, и вдруг меня такое зло разобрало, что и сказать не могу. Взял я его за шкурку и кинул в буран. «Ищи, — кричу, — сукин ты сын!» Кинул его — и сам за ним. А из Рекса к тому времени получился видный пес, шерсть густая, теплая. Усвоил он, что от него требуется, и пошел. Я за цепочку держусь — и за ним. И, понимаешь, нашли. Совсем недалеко, в сугробе, — скорчилась, сидит. Еще не вовсе замерзла, даже говорить могла. Но стужи уже не чуяла. Принес я ее домой, раздел, как у того Рубенса, стал снегом оттирать и воротил, как говорится, к нашей современной действительности.

Надо сказать, что с той ночи отношение к собаке переменилось. Стали Рекса уважать. Как что случится — зовут его на розыски. И не было такого случая, чтобы он не оправдал доверия. Как кому-нибудь надо в буран идти — берут Рекса. Он или назад приведет, или прибежит лаять, чтобы искали. Будете в «Южном», в совхозе, спросите. Хорошая собака... В общем, так у нас получилось — не дама с собачкой, а собачка с дамой.

— Видишь ты, как ее обижаешь, — вздохнула Василиса Петровна. — Все вы с одного теста...

— Да нет... Я так, ничего. Дело прошлое... — Степан улыбнулся. — Работала она, работала и незаметно для себя во вкус вошла, успокоилась. Дело понятное. У человека тогда на душе спокойно, когда он сознает, что не только самому себе, а еще и другим надобен. Тогда он и живет уверенно. И она так: глаза зажглись, смеяться стала. То худая была, как щепка, а к лету налилась — не ущипнешь... Идеи разные завелись. «Люди, говорит, поднимают целину, а целина, говорит, поднимает людей. И тебя, говорит, Степан, она скоро поднимет до надлежащего уровня. Я, говорит, теперь знаю, что мне надо делать... Главное, говорит, в чело-



веке — это культура». И смеется. «Я, говорит, дала согласие работать завклубом».

— А что? Для нее это в самый раз,— сказала Василиса Петровна.

— Нет. Не уважаю я это. Неполноценная работа. Надо материальные ценности создавать. Летом у нас вон воды не было, воду цистернами возили и отмеряли литрами, как молоко, а она в это время ругается, что у ней в библиотеке книжки грязными руками захватали. А в общем, вроде наладилось. Опять спим вместе... Вот теперь в Москву поехала — оборудование добывать, парики, литературу, шахматные часы какие-то... У нее там отец в Москве, номенклатурный работник... Только боюсь, Рубенса бы не привезла.

— А не боишься? — осторожно спросила Василиса Петровна. — Не останется?

— Нет. Телеграмму получил. Едет. — И Степан хитро подмигнул. — А Рекс-то на что? Разве она без него останется? Дама-то с собачкой.

— Да! — вздохнула Василиса Петровна. — Меня, считай, сюда тоже силком приволокли. Я сюда с дочкой заехала. Дочка по путевке по комсомольской, а я за ней безо всякой путевки и без ничего. Как забралась в Рыбинске в вагон, так и не вылазила до самого Арыка. Всему вагону была мамаша...

Машина притормозила и остановилась. Степь была залита зноем. Забравшись на вершину неба, солнце немилосердно жгло.

В радиаторе клокотал кипяток.

От кабины, от радиатора, от крыльев машины струился прозрачный пар, густой, как сахарный сироп.

Аленка встала на ноги.

Сквозь струящийся пар было видно плохо, хуже, чем через бракованное, волнистое стекло.

Далеко впереди неподвижно стояли коротконогие лошади. Стояли они кружком, уткнувшись друг в друга лбами, словно баскетбольная команда, заявившая минутный перерыв.

К машине громадными прыжками неслась собака-волкодав.

«И охота ей бежать в такую жару,— подумала Аленка. — Глупая».

На лохматой, как дворняга, лошадке, то и дело подбадривая ее ногами, ехал стройный пастух. Когда он приблизился, Аленка с удивлением увидела на нем огромную, отороченную лисьим мехом шапку и стеганный халат, опоясанный в несколько витков цветным кушаком. Рукава халата были длинные-предлинные — в одном ничего не было видно, даже кончиков пальцев, а из другого свисала плетеная нагайка.

Сухое лицо пастуха, изрытое глубокими оспинами, было похоже на грецкий орех.

Подъехав, он потянул сыромятную уздечку.

Послушная мохнатая лошадка остановилась, зевнула, и Аленка увидела у нее во рту крупные нечищенные зубы.

— Вода тут есть где-нибудь? — спросил Толя, вывинчивая трубку радиатора.

Пастух что-то проговорил по-казахски и ослепительно улыбнулся.

— Ты еще по-немецки объясни,— проговорил Толя. Пробка обжигала пальцы, и он был не в духе.

— Нам воду надо, дяденька, воду! — крикнула Аленка. — Мы казакша бельмейдым!

И она показала поллитровку, на донышке которой осталось немного воды.

Увидев бутылку, пастух взвизгнул, засмеялся и стал говорить быстро и весело, грозя Аленке морщинистым пальцем.

— Нет, нет! — смеялась Аленка. — Вода, вода! Су! Су!

Откуда ей стало известно, что вода по-казахски «су», она и сама не знала.

К этому времени подоспел волкодав и с яростным лаем стал плясать возле машины. Не переставая смеяться, пастух хлестнул его по морде и снова начал говорить по-казахски и кивать головой, и никто не мог ничего разобрать, только Аленка поняла, в чем дело, и спросила Василису Петровну:

— Можно?

— Чего еще? — насторожилась Василиса Петровна.

— Я с этим дяденькой поеду... Верхом.

— Другого ничего не надумала?

— Он воду покажет.

— Пускай покатается. Чего тебе? — сказал Степан. — Ты верхом-то ездила?

— Конечно, — соврала Аленка.

Пастух посадил ее на широкий круп лошади и цокнул языком. Аленка уцепилась за тугой кушак, и лошадь затрусилась в степь.

Сзади, наверно из озорства, просигналил Толя.

Пастух весело взвизгнул, лошадь помчалась, как ветер; рядом заливался волкодав, сзади сигналил Толя, и, несмотря на то, что лошадиная спина была слишком широкой, и от халата пахло кизяком и дымом, и волкодав норовил цапнуть Аленку за ногу, — несмотря на все это, ей было весело, до того весело, что она и не заметила, как натерла ноги о лошадиные бока.

Колодец она увидела издали.

Вокруг рос густой кустарник.

С длинного шеста свисал полинявший флаг.

Из-под земли торчало большое бетонное кольцо.

Аленка первая подбежала к колодцу и, свесившись, посмотрела вниз, но не увидела ничего — ни дна, ни воды.

Снизу, из темноты, дул прохладный вентиляторный ветер.

Ветер вкусно пахнул водой.

Водой пахло и от бетонного колодца, и от ведра, и от деревянной колоды.

Не сходя с седла, пастух стал опускать ведро; оно долго билось о бетонные стенки, громыхало и царпалось.

Потом его не стало слышно, и наверх оно поднималось с важным молчанием.

Степан взял мокрое ведро за бока обеими руками и стал пить, не проливая ни капли.

Кадык его двигался вверх и вниз, как челнок.

Он пил, и все смотрели на него.

Дужка ведра стукнула его по голове, а он все пил, и горло его отщелкивало глотки, как счетчик.

— И я хочу пить, — сказала Аленка.

Все по очереди напились, наполнили бутылки и термосы.

Толя долил в радиатор, а Степан наполнил деревянную колоду.

Лохматая лошадка, не слушаясь уздечки хозяина, потянулась к колоде и, показалось Аленке, стала не пить, а целовать воду бархатными губами.

— Ровно пробу снимает, — усмехнулась Василиса Петровна.

Степан стащил тельняшку, сложил котелком большие ладони, и Толя стал поливать ему на руки.

Вода была свежая, холодная, тяжелая. Каждая морщинка на ладони виднелась сквозь эту прозрачную воду, как через увеличительное стекло.

Степан плюхнул полной пригоршней по пыльному, разгоряченному лицу, вторую опрокинул на затылок, и его давно не стриженные волосы собрались в острые косички.

Ему доставали уже третье ведро, а он все шлепал и шлепал себя прохладными пригоршнями, урча от наслаждения, и вода словно таяла на его теплых, вздрагивающих мускулах.

— Будет тебе, — сказала, потеряв терпение, Василиса Петровна. — Дай другим умыться. Рычит, как бес, прости господи.

Утираться Степан не стал. Пока он поливал Толе, солнце его совершенно высушило.

Остатки воды он выплеснул на волкодава. Пес всхрипнул от ярости и стал кататься по земле, дрыгая лапами...

Умывались долго, со вкусом, налили лужи вокруг колодца.

Настя вынесла мальчонку. Маленького целинника распеленали и вылили на него ведро холодной воды. Целинник захлебывался и орал на всю степь.

— Чего это у него? — спросила Василиса Петровна.

— Царапает сам себя. Мал еще, — вздохнула Настя. — Ничего... До годика дорастет, дальше легче будет.

— Да как же ему не царапаться? Вон какие ногти!.. Стричь надо.

— Боюсь. Больно маленькие ноготки.

— Ну и мамаша, прости господи! Ножницы у тебя хоть есть? Дай дитя Аленке — ступай ищи!

Василиса Петровна засуетилась.

— Ну-ка, матрос — соленые уши, пособи-ка! — Она сунула ножницы Степану. — Я бы сама взялась, да глаза плохо видят.

Степан долго щелкал ножницами, сопел, остриг один ноготок и отступился.

— Эх ты, герой! — пристыдила его Василиса Петровна.

— А чего он дергается! Больно все у него мизерное. Еще палец отстрижешь — будет всю жизнь попрекать. Не уважаю я это.

— Дайте я попробую, — попросила Аленка.

— Еще чего! — остановила ее Василиса Петровна. — Свой будет, тогда и попробуешь.

— Глебов! — приказал Толе Гулько. — Займись.

Толя деловито примерил ножницы на пальцах, постриг воздух и горько усмехнулся.

— Это называется ножницы, — сказал он. — Этими ножницами, если хотите знать, спокойней резать листовое железо. Ну где тут?.. Чего тут стричь?

Аленка поднесла ребенка.

— Нет, это не инструмент, — продолжал Толя, пробуя ножницы на своем толстом ногте. — На что хочешь спорю — не точены с самого сотворения мира... Ну давай, друг, лапу. Будешь директором совхоза — не забывай. Обожди... — Он заморгал недоуменно. — Что тут ему стричь? Смеешься, что ли? Какие тут ногти?

— Да вот... — Настя взяла мальчика у Аленки. — Батюшки, что это? Тут были, на мизинчиках...

— Голову только морочат! — гремел Толя. — От жары мерещится! Да он у тебя такой, что у него сроду ногти не будут расти... Не ту диету ела, мамаша!

— Ничего подобного... — Настя чуть не плакала. — Были ноготки... Правда, тетя Василиса? Были... Чего он?..

Подошла Василиса Петровна.

— Что за чудеса? Куда они подевались?.. Аленка, ты?

Аленка отвела глаза.

— Ты, тебя спрашивают?

— Я, — тихо протянула она. — Сгрызла.

— Как — сгрызла?

— Зубами. Пока вы тут говорили, я и сгрызла.

— Ну чего с ней сделаешь? — Василиса Петровна оглядела всех по очереди. — Нет, не доехать мне с ней до Рыбинска. Что-нибудь свершится.

Но все засмеялись. Засмеялась и она.

— Далеко до Арыка? — спросил пастух Толя. — А? Не знаешь, вольный сын эфира?

Пастух посмотрел на Аленку, как на толмача.

— Станция! — закричала она. — Станция, дяденька! Арык!

— Арык! — Пастух замахал плеткой. — Там, там!

— Мы и сами знаем, что там, — солидно возразил Гулько. — А сколько километров?

Пастух понял. Он показал сперва два пальца, потом четыре, а потом сделал пальцем ноль.

— Что-о? — протянул Толя. — Опять двести сорок?.. Нашли у кого спрашивать.

Пастух, видимо, понял и это и обиделся. Он заложил нижнюю губу под верхнюю и свистнул. От табуна отделился стригунок и пустился вскачь. Босой, лет восьми, мальчишка лежал животом поперек его спины. Не успел он вскарабкаться и усесться как следует — стригунок уже стоял у колодца и пил воду.

Задирая рубашку, мальчишка сполз на землю.

Аленка с робким восхищением посмотрела на него, на его голую, навечно загоревшую шею, на которой в виде украшения блестел на бечевке двугривенный, и исключительно для того, чтобы проверить, не затекла ли нога, встала в первую позицию и сделала полный поворот, как учили на танцах.

Мальчишка скользнул по ней смелыми насмешливыми глазами, как по не стоящему внимания пустяку, и, красиво выговаривая русские слова, попросил у Гулька закурить.

— Мал еще, — сказал Гулько. — Сколько километров до Арыка, знаешь?

— Конечно, знаем, — сказал мальчик. — Двести сорок.

— Что? — Толя угрожающе двинулся на него. — Двести сорок? До Арыка?

— Да, да! — радостно закивали оба, и пастух и подпасок. — Двести сорок, двести сорок...

А мальчишка для большей убедительности взял палку и написал на земле крупными цифрами «240».

Толя на некоторое время потерял дар речи.

Стройный пастух сошел с лошади и, к удивлению Аленки, сразу сделался дряхлым старикашкой.

Ему было, наверное, не меньше ста лет.

Ноги у него были кривые, плохо двигались, сидеть на лошади ему было гораздо удобнее. Но он все-таки сошел с седла, уселся на корточках возле написанной цифры и залюбовался ею, как картинкой.

— Нет, это безобразие, — заговорил наконец Толя. — Посылают в такой рейс, а горячее отпускают по московской норме. Что мне — кобылу доить? Кобыла дает не бензин, а кумыс. — Толя обернулся к Василисе Петровне, собравшейся лезть в кузов. — Разве здесь такой износ, как на асфальте? Пыль съедает железо или нет? А охлаждение? Проанализируйте охлаждение. Возьмите автомобиль, комбайн — что хотите. Рассчитана система охлаждения на здешнюю температуру? В радиаторе вода кипит!

А все — ноль внимания.. Сколько говорю: машины для целины надо делать с учетом местных условий, а главный механик молчит, Роман Семенович молчит...

Толя говорил долго, но Аленка не слушала его.

Она не сводила глаз с казахского мальчика.

Мальчик возился с волкодавом. Он дразнил сильного пса, хватал его за нос, пытался свалить, совал руки в свирепую оскаленную пасть.

Аленка восхищенно следила за ним и твердо знала, что прекраснее этого мальчика-подпaska не существует никого на свете, хотя на нем не было никаких украшений, кроме дырявого двугривенного.

Как и следовало ожидать, бесстрашный мальчик не обращал на нее никакого внимания.

Аленка стала испытывать к волкодаву что-то вроде ревности. Она приняла первую позицию и сделала полный оборот.

Мальчик по-прежнему дразнил собаку.

Тогда Аленка встала к нему спиной, зажмурила глаза и, замирая от непонятного страха, спросила издали:

— У вас тут кино есть?

— Нету, — раздался ответ.

— А у нас есть.

На этом разговор оборвался. Аленка набралась смелости и обернулась.

— У нас в совхозе кино, — сказала она. — В совхозе «Солнечный».

Мальчик красиво сплюнул сквозь зубы и уселся на волкодава верхом.

— Недавно я видела тяжелую картину, — сказала Аленка. — Про Кашея Бессмертного.

Мальчик взглянул на нее узким, в щелочку, глазом и собрался что-то спросить. Но Толя закричал: «Снова хочешь остаться?! А ну, быстро!» — и Аленке пришлось забираться в кузов.

Машина сердито рванула и поехала.

Аленка долго смотрела, как бесстрашно возится с собакой удивительный мальчик.

Она знала, что больше никогда не увидит его, и ей было так же тоскливо, как тогда, ночью, когда гасли совхозные огни один за другим, словно перегорали электрические лампочки.

А старый пастух все сидел и сидел на корточках и никак не мог налюбоваться написанными на гладкой, как стол, степи красивыми цифрами...

— На Романа Семеновича он зря сердает, — сказала Василиса Петровна про Толю. — Роман Семенович не виноватый. С него требуют — и он требует.

— Толковый он у вас? — спросил Степан.

— А ты что, Романа Семеновича не знаешь? — удивилась Василиса Петровна.

— Слышал об нем... Как он нашу лафетку увел. А в лицо не видел.

— Хозяин! — улыбнулась Василиса Петровна. — До смерти не забуду, как он ко мне припожаловал. Утром прибегает бригадир — прибепись, говорит, и умойся. Гости к тебе. И убег как ошалелый. Какие, думаю, гости? Откуда взялись? Вроде ни сродственников, ни знакомых у меня в этом степу нету. Стала узнавать: сам директор совхоза Роман Семенович собирается. И этот еще, длинный, который на заем ходил подписывать, и главный агроном. Вся, значит, власть...

— Я тогда убывал в командировку, — пояснил Гулько.

— Да, да, Димитрий Прокофьевич, славу богу, был куда-то уехавши, а то и его бы взяли. «Может, говорю, не ко мне?» — «Нет, говорит, к тебе придут, к персональной». Ну, забота! Чего хоть они со мной делать будут? В чем провинилась? Ничего не известно... А дома у нас еще

только ставили, и я, помню, месила печникам глину, работала разнорабочей — «куда пошлют». Для жилья у нас были накопаны землянки, и жила я в такой землянке с дочкой Лизаветой, царство ей небесное и вечный покой. — Василиса Петровна всхлипнула и стала громко, без надобности сморкаться.

— Ладно тебе, — строго сказал Гулько. — Не отвлекайся.

— Ну так и вот, — продолжала Василиса Петровна, нисколько не обидевшись. — Не знаю, как у вас, а у нас на Волге гостя без угощения не отпускают. А их кто знает, чем угощать? Их ничем не удивишь. Они каких только сластей не пробовали! Побегла в лавку — нет ничего. Товару не напасешься. Народ у нас денежный — все нарасхват. Прибегла домой, подняла свои запасы... Что у меня там было-то? Обожди, вспомню. Тушенка была — три банки, лаврового листа маленько было, уксус был, перец был, не наш красный, стручковый, а настоящий — черный, горошком, банка томату была полная... Стала я тут сдобничать да пирожничать. Стряпаю, а сама сомневаюсь. А ну как ребята сговорились и подшутили надо мной? Обманули? Куда же я все свое добро загубила?.. А нет, только успела одеться — нагрянули. И вдобавок этот еще с ними, из Арыка, ну, кожаный весь, как его?..

— Уполномоченный, — подсказал Гулько.

— Пришли, сели. Ласковые такие, приятные. И беседовать стали, а к чему — не понять. Тут я и позвала их откусать. А сама поставила белую-то головку — не на стол, а на тумбочку, так, чтобы ее было хоть и не видать, а заметить можно. Захотят, думаю, — увидят, не захотят — пускай так стоит. Сели за стол, стали хлебать борщ. Может, думаю, теперь о деле заговорят? Нет. На бутылку и не глядят — будто она пустая. Совсем смолкли. Хлебают и молчат, ровно приказы пишут. Чего я тут только не передумала! Чего пришли? Может, мне награда какая вышла? Вроде бы не за что. Глину месила для печников, а больше ничего... А может, теперь и за глину дают, кто их знает... Доели они борщ, зачистили миски, и Роман Семенович спрашивает этого, кожаного-то: «Ну, как ваше мнение специалиста — овощ не подгорел?» — «Нет, говорит, овощ качественный». — «Томату не много?» — «Нет, говорит, в самый раз». — «Ну, тогда дело решенное, — говорит Роман Семенович. — Наливай нам, Василиса Петровна, по чарке и себе в том числе. Выпьем за твою коронацию». Вслед за тем достал из кармана белый поварской колпак и надевает мне на голову, прямо на платок. «Спасибо, говорит, тебе, Василиса Петровна, за обед. Борщ отменный. Испытание ты прошла с честью». — «Какое испытание?» — «А назначаем мы тебя шефом-поваром на центральную усадьбу. Иди оформляйся». Вот, милые, с той поры и стала я в совхозе поварихой и целное лето простояла возле плиты без выходных, до самой осени... А плита — сами знаете какая. Вся снасть распаялась. Понимайте совесть, Димитрий Прокофьевич, дайте приказ, пусть пригонят сварку.

— Тебя теперь это не касается, — сказал Гулько. — Поехала — и езжай.

— Так и что же, если поехала? Люди там остались или нет? Есть-пить им надо? И дела-то, если поглядеть, на копейку: верхний поясок, справа, где первые стоят, заварить да вытяжку приладить как следует — больше ничего и не прощу.

— Была бы сознательной — добилась бы сама. А то ты у нас умней всех: люди пускай плиту чинят, а ты справку у тети Груни справила и — тикать из совхоза.

— Почему у тети Груни? Я и в Арык ездила, в полуклинику. Два раза меня просвещали — всю болезнь списали. Тоже велят ехать... Разве

бы я по своей воле от могилки бы, от доченьки-то, уехала? — Василиса Петровна громко высморкалась, и на глазах у нее заблестели слезы.

Аленке стало жалко Василису Петровну, и, подумав, что бы такое сделать ей приятное, она похвастала Димитрию Прокофьевичу:

— А тетя Василиса такие пластинки везет, каких у вас ни у кого и нету. Целый чемодан пластинок...

— А ты помалкивай! — быстро прикрикнула на нее Василиса Петровна и стала возиться и бормотать: — Ну и жарища, батюшки... Да куда ли мы едем? Как бы обратно с пути не сбиться...

— Всякие, всякие! — закатывая глаза, продолжала Аленка. — И «Тропинка милая», и «Омская полечка», и «Одинокая гармонь», и «Алабама»... Это танец такой — «Алабама».

— Вот они куда из лавки все пластинки подевались! — Гулько нахмурился.

— Она наговорит! — Василиса Петровна в сердцах толкнула Аленку локтем. — Она тебе навидумывает!

— А что? — нерешительно говорила Аленка, чувствуя, что опять делает что-то не так. — Каждую на нашем патефоне проверяли... Не правда, что ли? Я с утра до вечера заводила, даже рука заболела — столько много было пластинок.

— Заводила и помалкивай! И кто ее за язык тянет? Нет, не доехать добром до Рыбинска с таким ребенком.

— Напрасно кричишь, — упрекнул Гулько Василису Петровну. — Бежишь от трудностей, так и говори. И ребенок здесь ни при чем. А то ездят, ищут, где за рубль два дают. А потом ребенок виноват.

— Как не совестно, Димитрий Прокофьевич? — огорчалась Василиса Петровна. — У Романа Семеновича больше вашего дел, а и он вник в мое положение. Меня же болезнь одолела! Я только на вид такая, а внутри вся износилась, сверху донизу.

— В совхозе уборочная, каждая лопата на счету, а ей приспичило болеть, — сказал Гулько. — В войну небось не слыхала, где что болит. Шуровала небось в две смены наравне с дизелем.

— То война.

— Опять недопонимаешь! Нынешняя уборочная, если хочешь знать, имеет международное значение. Каждая тонна хлеба удаляет войну. Ясно?

— А шут с ней, с войной!

— Как это — шут с ней?

— Она такая будет страшная, что я уж ее и не боюсь.

— К тебе, я вижу, не просто ключи подобрать, — протянул Гулько. — Значит, по-твоему, закономерно: в отделениях дожди, зерно температурит, а ты бежишь к старику на печку. Рабочий класс день и ночь на токах, а ты бегаешь по степи — пластинки скупаешь. Тоже мне шеф-повар: щи ушли, сгорела каша... — ввернул Гулько, но тут же и закаялся.

— А как я тебе стану стряпать, когда у меня, считай, плиты нету?! — пронзительно закричала Василиса Петровна. — Все лето сварку прошу, плиту заварить, а вам хоть бы что!

— У меня, кроме твоей плиты, тыща моторов на шее.

— Тыща моторов! Значит, и людей не надо кормить? Сам небось придет, так дай ему гуши, да понаваристей, да споднизу ему зачерпни... Тыща моторов! За чей счет я с донышка буду зачерпывать?

— Ладно, ладно, — попробовал утихомирить ее Гулько. — Не тебе обсуждать мою кандидатуру... С кем, интересно, ты там будешь плясать омскую полечку?

Но Аленка знала — когда Василиса Петровна сердилась, она становилась глухая и говорила беспрерывно, как радио.

— Мне на всех одинаково с базы отпускают! — кричала она. — Не глядят на фамилии, Гулько там или кто!

Долго шел бестолковый спор, из которого нельзя было ничего понять, кроме того, что спорщики устали и сердятся друг на друга за жару, за пыль и за то, что не видно конца дороге.

А Аленка выхватит из чужого разговора два-три слова и от нечего делать оборачивает их в голове и так и эдак. Помянул Гулько про тысячу моторов, и Аленка задумалась на несколько километров. «Роман Семенович заведует людьми, а Димитрий Прокофьевич — моторами, — размышляла она. — Конечно, Роман Семенович — директор, он и выбрал, что полегче. С людьми что!.. Люди все одинаковые, а моторы разные. У трактора заводятся от ломика, у самосвалов — от ручки, у легковушек — сами собой. У электростанции движок без ремня, у насосной станции — с ремнем, у зерномета маленький моторчик, электрический. И у транспортера электрический. И у погрузчика электрический. — Аленка наморщила лоб и стала припоминать, зачем это она перебирает моторчики. Но такая стояла жара, что Аленка забыла, откуда потянулась ее думка, и стала размышлять о чем попало, с надеждой как-нибудь, невзначай, набрести на верную тропку. — К моторчикам подходить нельзя, хоть они и маленькие. А подойдешь — так током ударит, что сгоришь дотла и дыма не останется... А там всюду таблички нарисованы — смерть и два мосла... А летом орел налетел на провода и стукнулся мертвый наземь... А одну табличку со смертью кто-то сорвал со столба и прибил на двери столовой... А на другой день поставили шеф-поваром Василису Петровну. В столовой стало чисто и стали давать сладкие компоты...»

Мысли текли сонно, лениво, и, покорно вздохнув, Аленка продолжала думать о чем думалось. А думалось ей о том, что в столовой делают сладкие компоты и горячую пищу возят на квартиры, и один раз она ездила с термосами на папин квадрат и сидела на лошадином черепе...

Папа был весь перемазанный, у него тогда не заводился трактор. И лицо и руки у папы были вымазаны черным маслом. А Аленке пришлось самой совать ему в рот папироску. А подъехал Димитрий Прокофьевич и не успел подойти — мотор завелся. Папа сказал про трактор: «Хозяина испугался!» А Димитрий Прокофьевич рассердился на трактор, почему он сам завелся, и стал кричать, зачем главного механика срывают с дела, что он не пешка, что он — было время — беседовал с самим Орджоникидзе и что его зовут работать на ремонтный завод в Москву...

«Ага, — обрадовалась Аленка, — я о том думала, что Димитрий Прокофьевич — хозяин над всеми машинами и машины его боятся. Как подойдет к самосвалу, так он и заведется. Наверно, в Димитрии Прокофьевиче есть какое-то электричество. А вот сейчас уехал Димитрий Прокофьевич — и машины остались без хозяина. Засорится трактор — и некому помочь. А трактора засоряются часто, особенно когда дует степняк. Вот как сегодня. Ох, наверное, много сейчас стоит машин на полях! Люди, наверное, бегают, кричат: «Где Гулько?», а его нет нигде».

Аленка испугалась и спросила:

— Вы надолго в Арык, Димитрий Прокофьевич?

— Положили три дня, а не знаю. В три дня не обернешься с этим вопросом. — Гулько обрадовался случаю отвязаться от вьедливой поварихи и стал разъяснять обстоятельно: — К нам поступает исключительно этилированный бензин, вот какая история. А заправка на местах не организована. Как правило, шофера опоражнивают емкости ведрами.

— А нельзя? — вежливо спросила Аленка.



— Тебе говорят — этилированный бензин. Свинец. Отрава. Я еще летом ставил вопрос: надо организовать колонки. Тогда отмахивались — до уборочной, мол, далеко. Вот и домахались до осени. А тут, конечно, инспекция. Кто виноват? Ясно — главный механик. Составили акт, записали выговор. И давай езжай куда хочешь, добывай насосы Гуро. А как я их добуду? Что это — грибы? Это не грибы, а насосы Гуро.

Гулько надулся и стал смотреть в пустое бледно-зеленое небо. Солнце пошло под уклон и уже не грело. Воздух был прозрачен.

Пыль, взбитая колесами, стояла, как длинный крепостной вал.

— Подумаешь, хозяйство! — продолжал Гулько. — Зерновой совхоз — только и всего... А я миллионами ворочал. Меня на ремзавод в Москву приглашают! Квартиру дают, персональную «Победу»... Со мной, если хотите знать, сам товарищ Орджоникидзе беседовал.

Он посмотрел в добрые глаза Аленки и проговорил, успокаиваясь:

— Вот, дочка. Выучишься — оформляйся на любую работу, хоть в цирк иди сальто крутить. А в механики не ходи. Загрызут. Разорвут на части. Вот какая история.

Аленка вздохнула.

— Уезжайте вы отсюда, Димитрий Прокофьевич, — сказала она.

— Отпускаете, значит? — внезапно рассердился Гулько. — Я, значит, уеду, а ваша тетя Груня слесарей выселит?.. Нет, други дорогие, — угрозил он Аленке. — Не для того я тратил здоровье, чтобы какая-то тетя Груня обвела меня вокруг пальца.

Внезапно машина остановилась. Толя спрыгнул, не затворив кабинку, и пошел проверить скаты.

— Что стоим? — спросил Гулько.

— Кормит. — Толя кивнул на кабинку.

Аленка сонно смотрела на чистое и пустое, до уплывающих точек в глазах, зеленоватое небо, на бурую ленту пыли, обозначающую след машины.

Вся степь, от горизонта до горизонта, была тиха и неподвижна.

Вдали, на камне, отвернув набок голову, чернел беркут.

Воздух застыл. Даже ковыль не решался шевельнуть ни одним волоском, и невозможно было поверить, что земля и сегодня вертится вокруг собственной оси.

Все в этот час казалось неправдашным: и машина, и Толя, и Димитрий Прокофьевич, и сама она, Аленка, зачем-то оказавшаяся далеко от родного дома, посреди пустынной степи.

Навстречу ехал грузовик — и он тоже почему-то казался неправдашным.

Гулько посоветовал: «Спроси, далеко ли до Арыка», но Толя поморщился: «Они не знают». И звуки слов, начисто лишенные эха, тоже были какие-то нездешние, как предметы без тени, и не было в них ни выражения, ни смысла.

Аленка только на секунду сомкнула глаза, но, когда она их открыла, солнце уже садилось и степь была неровная, с двумя горизонтами. За ближним, волнистым, горизонтом, образованным лиловой цепью мягких невысоких холмов и пологими склонами широкой долины, блестела золотая полоса созревших хлебов, отделенная от теплой зари ровной, словно проведенной по линейке, линией. Это и был второй, настоящий горизонт.

На стерне, как новый красный флаг, сиял под заходящим солнцем самоходный комбайн.

Когда подъехали ближе, стало видно, что комбайн стоит, хедер у него задран и мотовило бессмысленно загребает воздух. Комбайн с крутящимся мотовилом выглядел очень глупым. Но вот черная фигурка

штурвального в лоснящемся, как графит, комбинезоне вылезла из-под машины, вскарабкалась наверх, и машина сразу поуменьла. Хедер опустился, мотор зашумел, и, степенно развернувшись, комбайн деловито принялся косить пшеницу.

«Наверное, колхоз близко», — подумала Аленка и поднялась на ноги.

Далеко-далеко, наверное над Арыком, стояли алые вечерние зори.

Толя объезжал копань, усыпанную гусиным пухом, и вел машину к селению, состоящему из двух десятков глинобитных побеленных избышек с плоскими крышами и крошечными, похожими на бойницы, окнами.

Небольшие, чисто подметенные дворики были огорожены земляными заборами, такими низкими, что Аленка могла бы через них перепрыгнуть.

В каждом дворике дырявыми папахами чернели припасенные на зиму укладки кизяка.

По улице пришлось ехать тихо. Атласно-белые гуси паслись в колеях, собирая просыпанное зерно, и сколько им Толя ни сигналил, они передразнивали его своим гоготом, но дороги не уступали.

«Объелись, — подумала Аленка. — Лень посторониться».

После желтого однообразия степи было приятно вдыхать горьковатый кизячный дымок и смотреть, как хозяйки в белых рубахах и бумазейных штанах готовят перед своими домами ужин и кипятят зеленый чай. Было интересно увидеть незнакомых ребят, больших и совсем маленьких, балующихся у дымных костров.

На стене одной из избышек висел почтовый ящик, и женщина в форме почтового служащего тоже сидела на корточках перед костром и тоже готовила ужин. У некоторых были старинные чайники с длинными, змеиными носиками, у некоторых — новые хромированные самовары, которые в Рыбинске продаются в самом большом и хорошем магазине.

На совхозную машину никто не обратил внимания: видно, много грузовиков и легковушек появилось в степи. Только долговязый черноволосый мальчуган, заметив Аленку, пронзительно закричал и, размахнувшись, бросил ей что-то, но не добросил.

Аленка долго смотрела на него; он был чем-то похож на подпaska с двугривенным, но подпасок был куда красивее и мог скакать на лошади без уздечки, а этот — вряд ли.

Селение кончилось, и снова потянулась монотонная степь. Аленке сделалось грустно, и она снова стала слушать, что говорят взрослые.

— Я ей то же самое сказывала, — говорила Василиса Петровна. — Куда тебе, доченька, в пастухи? Чего ты там не видала, в пастухах-то? Небось не по бумажке приехала, а по доброй воле, с десятилеткой, можешь чистую работу исполнять. Да и где тут пасти, в этом степу? Это у нас на Волге, на лугах-то на заливных, трава сахарная, хоть варенье с нее вари... Полежишь на лугу — от тебя медом пахнет. А тут чего? Образумься, говорю, доченька, где ты станешь тут пасти? Тебе, мол, не козу дают, а конский табун — десять голов. «Нет, говорит, мама, хоть ты и воспитала меня в послушании, а не огорчай — отпусти в пастухи. Погляди, говорит, мама, как нынешний-то пастух бессердечно лошадок бьет. Как ты меня в родном, говорит, доме воспитала, мама моя дорогая, такая я и стала — очень, говорит, жалею животных и особенно лошадей. А если мы с тобой станем работы пугаться, нечего нам было и на целину ехать». Вот тебе и получился пастух, царство ей небесное, вечный покой. Двух дней не поработала. За два дня только зарплату и вывели... Это Егор виноват, зараза, век я ему не забуду, черту сивому...

Василиса Петровна заплакала.

Она рассказывала о своей дочери Лизавете, и Аленка стала слушать внимательнее.

— Егора винить не надо, — сказал Димитрий Прокофьевич.

— «Не надо!» — передразнила Василиса Петровна. — А чего он мешки-то из саней повыкидывал?

— А ты забыла, как мы тогда в грязи тонули? — спросил Димитрий Прокофьевич. — Все совхозы сев кончили, а мы и не начинали. Трактора и те по кабинку вязли. А горючее — за Кара-Тау.

— Помню, как же! — оживилась Василиса Петровна. — Сама небось от этого Кара-Тау с доченькой пешком пришла. Ни одна машина не едет — все застряли. А Лизавете не терпится: пойдём да пойдём... Пришли в совхоз — там все ровно очумели. Никто ничего слушать не хочет — бегут, кидаются куда-то по сторонам. Спрашиваю, где на первый случай переночевать, а они смеются. Чего смеются? Залезли мы с дочкой в землянку. — Василиса Петровна на минуту смолкла и задумалась. — Мне и до сей поры не понять, чья это была землянка. Вроде бы в ней по-людски и не жил никто, кроме меня, только спать набивались. Да вещи чьи-то навалены, чемоданы, одеяла... Ничего не поймешь — где чье... Ну ладно, оформилась дочка сменным ластухом, в ночь заступила. Первую ночь, слава богу, все обошлось благополучно. А во вторую ночь приехала, все равно как Буденный, в лыжных штанах да на коне верхом. Давай, значит, ей среди ночи полдник. Поставила — суп гороховый на мясном отваре. Только дочка ложку хлебнула, Егор этот, ирод, и кричит с дороги: «Пастух! Я у берега семена бросил. Лигроин весь вышел». Смотри, мол, как бы твои кони не поели семена. Сортовой материал! Бросила дочка ложку да на коня, да к табуну наметом, да не по мосту, а прямым к берегу, да вплавь. Сижу — дожидаюсь, а сердечко уже беду-то чувствует. Сижу — гляжу на свечу. В ту пору не одна я — все при свечах сидели. Керосину для «летучей мыши» и того не давали — вон как дожились с горючим-то... Вдруг сердце как схватит да как прищемит — никакого продыху нет. И в самый этот момент свеча туда-сюда — и загасла, ровно кто склонился надо мной и дунул из-за плеча. Я и дух-то нездешний щекой услышала. Ну, батюшки, страсть! Знак подан, беда пришла... Спаси и сохрани царица небесная!

— Предрассудки, — сказал Димитрий Прокофьевич.

— Вам все предрассудки! — заворчала Василиса Петровна. — У плиты вся снасть распаялась — тоже вам предрассудки.

Она помолчала немного, успокоилась и продолжала:

— Надо, думаю, в степь выйти, поглядеть. А самой страшно. И свечу зажечь боюсь и выйти боюсь. Легла — не спится, всю постель боками истерла. Нет, думаю, чем такую муку терпеть, лучше пойду погляжу.

А ночь в ту пору выдалась светлая, первая за всю весну. Вышла я к речке, гляжу — на том берегу мешки на тракторных санях и трактор брошенный, а возле мешков — лошади, дерут зубами мешковину, уничтожают семенной материал. И ейный конь там, дочка моей, красавицы. Седло на брюхе — и тоже ест. Чего ему не есть...

Как увидела я седло-то на брюхе, так и села на месте. Сижу и воплю в голос, а никто не идет. В эту пору до усадьбы пробился первый бензовоз с горючим. Ну все и кинулись туда как ошалелые — даром что ночь. И трактористы там, и шофера, и кто надо, и кто не надо. Вопила я вопила, побегла к бензовозу. Там из-за горючего форменная драка идет. Кидаюсь к одному, к другому — ничего не слышат. Кой-как разобрались — побегли на реку. Кто с чем: кто с веревкой, кто с заступом, кто с багром, а кто так, без ничего побег. А я-то, дура, не то что побегу с ними, а идти путем не могу. Села наземь и сижу так. Пройду немного, опять на землю сяду. Так и плелась до самой до реки.

Припелась. Лежит на бережку русалочка моя. На одной ноге сапог, на другой — нету. Вокруг разложены под камешками документы — сохнут. А личико бледное, зеленое... Косынка зеленая была, линючая, вот и течет по личику зеленая краска...

— Что она у тебя, плавать не умела? — спросил Димитрий Прокофьевич.

— Еще чего, не умела! Сами подумайте, разве мыслимо — на Волге родилась, а плавать не умеет? Она у меня, победна головушка, Волгу переплывала, не то что Иргиз. А тут у ней ноги в стремяна были вздеты... Солдаты, гсворят, и те, когда на конях переплывают, ноги из стремян выпрастывают. А моя в солдатах не служила, никто ее этому не учил. Стала переплывать реку, а седло было неподогнатое. Перевернулось седло — и коню под брюхо. И ее туда же поволокло. Правую ногу успела выдернуть, а верней из сапога вынуть, а левая, видно, крепко зацепилась за стремя. Подвернулась она у ней там да и сломалась... Тут и пришел ей конец, и успокоилась касатка моя на донушке.

Что делать? Куда деваться? В землянку ее не снесешь: там и живым тесно, не то что с усопшими туда лезти... И остались мы с дочкой вдвоем ночь коротать на бережку, под ясными звездочками, с красавицей моей нелюбанной, нецелованной. Рвалась на целину, а и не повидала путем, что это и за целина... Утерла я ей со щечек зеленые потеки, лежит она бледная, ровно капустный листик, в порванном пинжачке... багром ребята порвали... И пальчики у ней сморщились, как в большую постирушку. Одна ножка, без сапога, кверху носком глядит, другая все набок отваливается. Подгребу кой-как глины к ножке-то, немного подержится — и опять набок... Сапожище мужской, тяжелый. Сиж у ней в головах, ничего не чую. Дождик постукивает, а я не чую. И не верю, что мертвая. Вижу, а не верю. Так вот и стерегу, что проснется, станет вставать — тут и надо ее остеречь, что ножка сломана... Как развиднялось, гляжу — стоит кто-то в отдалении. «Тебе, говорю, что тут интересно?» — «Здравствуйте, говорит, тетенька. Примите, говорит, соболезнование». Сам молоденький, лохматый, на рукаве черная тряпка. А в отдалении стоит, не подходит. Бойтся, значит, подойти. Не видал еще по молодости лет поблизости от себя покойничков. «Ну, спрашиваю, чего тебе?» Он и говорит оттуда: «Замерить, говорит, надо». А сам не подходит. Сломала я прутик, сделала мерку. А он говорит: «Не сердчайте, говорит, тетенька, ради бога... Сейчас, говорит, бензовоз придет и нужно мне на заправочную спешить, а то кабы еще кого не пришлось замерять. Не сердчай, говорит, тетенька, снеси сама мерку плотникам. Им дело поручено, а в подкрепление я еще бумажку напишу». — «Спасибо тебе, говорю, сынок. Кабы ты постарался, чтобы сыграли у нее на могилке, я бы тебя отблагодарила». — «Мы бы, говорит, сыграли, да у нас барабанщик с оркестра гдей-то пропал на бензовозе без вести, а без барабана какая музыка? Это не краковяк играть». — «Ну что же, нельзя так нельзя. Ступай, говорю, сынок. И на том спасибо». Взяла у него бумажку и поплелась к плотникам на центральную усадьбу.

А плотники тот дом собирали, где сейчас Муратовы живут. Нашла бригадира, подаю ему бумажку, прошу гробик сколотить. А он головой мотает: «Пускай нам спускают из конторы чертеж. Мы, говорит, сроду такого наряда не получали и не знаем, с какого бока к нему приступить. По чертежу, говорит, постараемся, а так не сумеем. Не сердись, говорит, мамаша, сами будете недовольны». И правда, вижу — не сколотить им гробика. Ребята все молодые, глупые, рты пооткрывали и глядят, ровно на чучело...

Что делать? Побегла в контору, а там, как на грех, нету никого. Ни Романа Семеновича, ни замполита, ни инженера, ни агронома, ни-

кого нету. Хоть шаром покати. Только бак стоит цинковый. Может, думаю, дома отдыхают? Куда там, говорят, дома! Они трое суток не ночуют. От самой, считай, станции расстановились по всему пути, горючку из грязи выволакивают.

— Я тоже тогда был на трассе,— сказал Гулько.

— Про то и говорю. Куда, думаю, деваться? Бегу обратно к плотникам. Христом богом молю — не берутся. «Что же вы над нами делаете, ребята, как не совестно? Не могу же я вокруг вас целый день скакать, она там одна лежит, ее птица склюет!» И слушать не слушают, мерку не берут. Тут, спасибо, идет этот лохматый. Постоял тихонько и говорит: «Ступайте, тетенька, я улажу». И мерку взял. Хороший парнишка, дай ему бог здоровья.

— Как фамилия? — спросил Гулько.

— А кто его знает, какое у него фамилие... Вы его знаете, он ваш, на механизации служит.

— Орлов?

— Нет, какой Орлов! Орлова я знаю, а этот не Орлов. Да знаете вы его! Лохматый такой. Неженатый.

— Не Маркарян?

— Какой там Маркарян! Чего я, Маркаряна не знаю, что ли? Маркарян во втором отделении ночует, а этот — на центральной усадьбе.

— Ладно,— сказал Гулько.— Продолжай.

— Чего ладно-то! Знаете вы его. Который с Нюркой все ходит.

— С какой Нюркой?

— С хромой-то... Ну с библиотекаршей. И не обедает путем никогда.

— Рахматуллин?

— Да что вы, ей-богу! Рахматуллин давно от Нюрки отстал и женился на Верке из третьего отделения... А этот лохматый. Не обедает путем никогда. И первое не доест, и второе. Все ему некогда.

— А-а-а! — сказал Гулько.— Знаю. Лохматый... Продолжай.

— А говорите — не знаете,— обрадовалась Василиса Петровна.— Он же у вас служит, на механизации... Как же вам его не знать?.. Ну так вот. Успокоил он меня, и воротилась я к моей доченьке, к моей свечке нетопленной. Подошла — гляжу, лежит у нее в ногах лиловый букетик, первые цветочки, петушки... Кто-то собрал и положил, чистая душа... Может, водовоз, может, тракторист какой, может, прицепщик — не знаю. У нас своих знакомых не было; считай, третий день жили — какие знакомые... Поглядела я на букетик и завыла на всю степь и выла до самого вечера, пока гроб на подводе не привезли... Может, у них досок не было, а может, и верно, не умели ребята, а сколотили они гроб узкий да глубокий — не поймешь, где голова, где ноги. Прошлись кое-как шерхебкой снаружи — и дело с концом. «Чего, говорю, вы, ребята, такой нескладный-то сколотили? Она в него, боюсь, не взойдет». — «Взойдет, говорят, мамаша. Мы, говорят, сами поочередно ложились. Не жмет». Стала я обрывать мою лапушку и вижу — моя правда, не входит она туда как следует, пришлось ее ложить маленько бочком. Вот уезжаю я отсюда, Димитрий Прокофьевич, и — хотите верить, хотите нет — никакой у меня обиды ни на кого не осталось. Ко всему я тут притерпелась, все приняла. Одно мне обидно — что лежит моя покойная дочка в сырой земле не как люди, а бочком лежит... Вот что мне обидно прямо-таки до слез...

Да это еще ладно! — встрепенулась вдруг Василиса Петровна.— А как могилку копали — знаете? То-то и есть, что не знаете. Принялись было на бугорке копать, возле реки, чтобы далеко-то не несть, — прибегает какое-то начальство, подымает шум: «Что вы, мол, делаете! Вы что, не видите разве, столбики?» — «Что, батюшка, за столбики?» — «Да

здесь седьмой квадрат. Здесь не сегодня-завтра трактора пойдут, пахать будут». В другой раз я бы ему по-другому сказала, а тогда у меня уж и глаза не глядели и все было, как в тумане. «Куда же, говорю, нам, батюшка, деваться, где мне доченьку захоронить?» — «Ничего, говорит, не знаю. В каком отделении прописаны, в том и хороните!» — «Да мы, батюшка, ни в каком не прописаны. Она у меня пастухом была». — «Ничего, говорит, не знаю. А тут, говорит, копать не советую. Как привезут, говорит, горючку — все здесь перепашут и засеют, и следов потом от вашей могилки не найдете». Стала я снова скакать туда-сюда. Негде хоронить; там — квадраты, там — бахчи, там — опытные участки, там — подъездные пути. Бегу снова к этому, к лохматому. «Нигде, говорю, копать не дают... Что, говорю, теперь делать? Хоть обратно в реку кидай». — «Пойдем, говорит, мамаша, на главной усадьбе поглядим, — может, там где-нибудь захороним». Пришли на главную усадьбу, стал он начерченный план глядеть, где что должно возводиться. Глядел, глядел — ничего не нашел. «Все, говорит, тут указано: и баня, и пекарня, и монумент где должен стоять, а местоположения кладбища не указано». Да что ж это такое! Кругом, куда глаз видит, — пустая степь, а человека захоронить места нету.

Тут, слава богу, приехал Роман Семенович. Распушил он их всех — и лохматого вашего и плотников, — а мне говорит: «Если, говорит, вы не возражаете, Василиса Петровна, вот где мы ее похороним. В парке мы ее похороним. В самой середке, куда сойдутся все дорожки и где через несколько лет зашумят ивы и клены...»

— Правильное решение, — сказал Димитрий Прокофьевич.

— «И не просто похороним, а камень привалим, гранит, и на том камне-граните выбьем золотом ее имя-фамилию. и нынешний горячий год выбьем, тысяча девятьсот пятьдесят пятый, чтобы каждый житель будущего нашего города, по какой бы дорожке ни пошел, наткнулся бы на этот камень и вспомнил бы про комсомольцев, которые не испугались променять домашние ватрушки на пустую степь, и понял бы, что здесь во второй половине пятидесятых годов двадцатого века молодые люди наши шли на тяжелые и славные бои за коммунизм, а не на пикник с веселыми приключениями, как об этом уже повествуют кое-какие современники... Чтобы лет этак через пять, в каком-нибудь шестидесятом году, остановился житель будущего нашего города возле того камня-гранита и призадумался, как жить свою жизнь дальше...» И правда, уважил Роман Семенович: когда хоронили кровинушку мою, доченьку, и музыка играла, и барабан бил, и во всем совхозе на одну минуту остановились машины. Такой у ребят уговор был. И грузовики встали и трактора...

Слезы градом текли по лицу Василисы Петровны. Она вынула из рукава платок, но стала вытирать не лицо, а мятые лацканы пиджака, закапанные слезами.

— Вот только камень не знаю когда привезут, — продолжала она. — Скорей бы, а то портретик на пирамидке вовсе смылся, и буквы смылись, и все... Одна я ее личико разбираю, а другие уже ничего, кроме глаз, не видят. И как я от нее оторвалась... Как я ее... одну-то... кровинушку мою...

— Ладно реветь, — сказал Димитрий Прокофьевич. — Надо было работать в столовке, как работала, и с места не срываться.

— Да у меня в деревне-то, на Волге, еще одна дочка осталась. Такая же упрямец, такая же поперечная, как и эта. Она с этой, с покойницей-то, двойчата — вот у них и характер один. И как я ей скажу про сестренку-то, как я к ней подступлюсь...

— Постой, постой... Что это, домашние у тебя не знают?

— А знали бы, так чего бы я тут полное лето отсиживалась? Боюсь я, Димитрий Прокофьевич... Боюсь домой являться. Старик ладно — старенький старичок, сам ровно дитя, только борода белая, а вот как я перед дочкой предстану? Как мне перед ней оправдаться? А долго не утаишь. Сама не скажу — глаза покажут... Узнает, что любезная сестренка преставилась, — ну страсть! Что будет-то! Любили они друг друга без памяти... Ведь я знаю... Все бросит, а поедет к вам сюда. И именно в наш совхоз приедет, в «Солнечный». Туда приедет, да еще и в пастухи наймется — поперечница. Вот ведь она какая. Одна надежда — может, ее замуж какой-нибудь возьмет. Может, хоть муж сдержит. Да не берет никто. Не глядят на них парни... Еще беда — завелась летошний год у нас в деревне зараза: франтиха из города приехала на колхозную работу, у соседей в избе стоит. Как закрутит на патефоне музыку — ребята, ровно жеребцы, сбегаются со всего колхоза. А в нашей-то избе тихо, приятно, гульбища никакого нет — к нам никто и не идет. Ну ладно... — Она взглянула на большой чемодан с надеждой и со злорадством. — Мы еще поглядим, у кого музыка шибче.

Пока Василиса Петровна рассказывала, солнце зашло и совсем стемнело; Аленка с трудом различала, где кончается машина и начинается степь.

На бархатно-черном небе ярко лучились рассыпанные без всякого порядка звездочки.

Звезд было много-много, и крупных и совсем малюсеньких, крошечных, новорожденных. Одни блестели высоко над головой, другие мерцали низко, почти у самой земли, и как будто поворачивались, взблескивая то бирюзой, то рубиновым светом.

Круглая важная луна, окруженная газовым отсветом, неподвижно и, казалось, неодобрительно, как классный руководитель на перемене, наблюдала за живым и веселым мерцанием неба.

Василиса Петровна сморкалась и всхлипывала.

Аленка хорошо знала фанерную пирамидку, окруженную низкой оградой, перевитые прутьки — остатки большого венка, — выбеленную солнышком и дождями фотографию, на которой действительно ничего нельзя было разобрать, кроме двух черных упрямых глаз. Она знала, что под пирамидкой лежит дочка Василисы Петровны, но это нисколько не мешало ей и ее подружкам играть в пряталки и прятаться за фанерную пирамидку, потому что поблизости не было ничего такого, за что можно было бы спрятаться, кроме редких, худо приживающихся на сухой земле саженцев.

До сих пор Аленка ни разу не думала о дочери Василисы Петровны всерьез. Но сейчас, когда мама ее насовсем уезжает из совхоза, а дочка так и останется навеки под пирамидкой, Аленке стало жалко эту незнакомую девушку такой пронзительной жалостью, что на глаза ее навернулись слезы.

Она оперлась о крышу кабинки и стала смотреть в темноту.

Два густых луча расплывались бледным продолговатым пятном по степной дороге.

Лучи доставали далеко, и все, что было в степи, старалось поглубже спрятаться в темноту и разбегалось от сильного света. Растягивались и уползали черные тени кустов, камешки-голыши оживали и стремительно откатывались в стороны.

И, только приглядевшись, Аленка поняла, что разбегаются совсем не камешки, а суслики, вышедшие, пока спят беркуты, подбирать зерно.

Постепенно она успокоилась и забыла про дочку Василисы Петровны и про фанерную пирамидку. Ее заинтересовала крупная, как орех; звездочка: как быстро она дотягивала оттуда, с неба, до земли свой иголь-

чатый лучик, как осторожно касался он ресницы, вздрагивая от малейшего движения века, и как трусливо, в один миг, удирал обратно, стоило только утереть слезки и пошире открыть глаза.

Впереди, у самой земли, звездочек становилось все больше. Чем дальше ехала машина, тем ярче и отчетливее светились они в кромешной мгле. И вообще, кажется, это не небесные звездочки. Они совсем не мерцают и светят ровно, спокойно и сильно. Ну конечно, это фонари, а не звездочки! Вот они вытягиваются ниточкой вдоль улицы. «Наверное, какой-нибудь колхоз или МТС», — подумала Аленка.

Из-за первой цепи фонарей выдвинулась вторая, такая же яркая и длинная, за второй — третья... «Нет, это не может быть МТС. Это какой-нибудь город. Может, даже станция Арык... Ой нет! Это какой-то очень большой город, гораздо больше Арыка и больше Рыбинска — наверное, Толя перепутал дорогу и заехал в Москву».

Аленка собралась было поднять тревогу, но решила немного повременить: ей казалось, что в ярких, словно застывших огнях было что-то неправдашнее, ненастоящее. Аленка долго соображала, в чем дело, и наконец поняла: странные огни не давали зарева. Будто это были не огни, а отражения огней в черной стоячей воде. Небо над ними чернело так же, как в пустой степи, и даже еще больше.

Машина приближалась к огням, а они опускались все ниже и ниже.

Аленке стало казаться, что машина съезжает вниз с пологой горы в широкую долину, где вольно раскинулся большой сверкающий город.

Машина бежала, не сбавляя хода, прямо в город — огни его быстро приближались, не освещая ничего, — и приблизилась настолько, что появилась опасность врезаться в забор или в угол здания.

Аленка собралась было крикнуть, чтобы Толя был осторожнее, но вдруг огни начали тускнеть, меркнуть и тонуть в темноте.

Первая цепочка потонула полностью, и пока Аленка разгадывала, что случилось, вторая незаметно отодвинулась далеко-далеко и манила оттуда холодным, отраженным светом. Но и те, дальше, огни постепенно поблекли и пропали совсем, и опять вокруг стало темно, только сильные лучи фар, простреливаемые раскаленными мошками, раздвигали темноту.

Все ровнее и плавнее катится по степи машина, и вот уже совсем не слышно ни шума колес, ни голосов взрослых. И младенец не плачет, и Аленку сильнее клонит ко сну.

И снова машина приподнимается над землей и летит по воздуху на бесшумных крыльях, и колеса задумчиво крутятся в разные стороны.

На небе по-прежнему ночь и звезды, а на земле светло и все видно: каждый кустик, каждую галечку.

Иногда машина окутывается белым дымом, но Аленка успокаивает Василису Петровну и говорит, что это не дым, а обыкновенное облако, и всегда, когда машины или самолеты летают по небу, они пролетают сквозь облака.

Василиса Петровна ничего не отвечает.

Аленке это кажется странным, и она оглядывается.

Василисы Петровны в кузове нет. И вообще никого нет — ни Гулько, ни Степана с собакой. Все куда-то подевались.

А машина поднимается все выше и выше, и чем выше она поднимается, тем светлее становится на земле и темнее на небе.

С земли доносится какая-то знакомая музыка.

Аленка смотрит через борт, и далеко внизу, как в перевернутом бинокле, видит круглый бетонный колодец, табун лошадей, доброго пастуха на мохнатой лошадке.



У колодца стоит патефон, и крутится пластинка, и какая-то пара танцует веселый танец.

Аленка смотрит пристальнее и узнает Гулько и Василису Петровну. Они держатся друг за друга и танцуют омскую полечку. У Василисы Петровны получается хорошо — она подпрыгивает на носочках и оттопыривает мизинчики. У Дмитрия Прокофьевича выходит немного хуже, потому что ему мешает желтый портфель, который он все время держит под мышкой.

Им очень приятно. После каждого поворота Дмитрий Прокофьевич кивает головой и важно говорит: «Одобрю». А Василиса Петровна поет под музыку: «Сколько новеньких картинок нужно нам пересмотреть, сколько домиков построить, сколько песенок пропеть».

Пластинка кружится медленнее, в патефоне кончается завод. Василиса Петровна и Дмитрий Прокофьевич танцуют все тише, тише и наконец совсем тихо, как в воде. Они не понимают, что случилось, и сердятся, и начинают ругаться, и Дмитрий Прокофьевич спрашивает: «Как фамилия?» А Василиса Петровна показывает ему язык. И язык у нее почему-то весь в чернилах.

Аленке неприятно видеть, как они сердятся и ругаются, и она быстро начинает крутить блестящую ручку патефона. Как она очутилась на земле, куда подевалась машина — никому не известно, да и у Аленки нет времени рассуждать: первым делом надо завести патефон.

Черный диск пластинки вращается быстрее, музыка звучит веселее и задорнее. Василиса Петровна, смущенно улыбаясь, подает Дмитрию Прокофьевичу руку с оттопыренным мизинчиком, и они снова начинают весело подпрыгивать и вертеться.

Теперь все хорошо, но, кажется, патефон испорчен. Как только Аленка бросает ручку — пластинка замедляет ход и музыка меняет голос. И сразу Дмитрий Прокофьевич и Василиса Петровна становятся друг против друга и начинают ругаться... Чтобы они не ругались, Аленке приходится непрерывно крутить. Она крутит час, крутит два, крутит три часа. Пальцы у нее коченеют, а она все крутит и крутит, и звуки омской полечки весело разлетаются по степи. На минутку она бросает ручку, чтобы утереть потные щеки, и музыка начинает печально замирать. Гулько и Василиса Петровна требовательно смотрят на Аленку. «Что же делать? — в смятении думает она, торопливо хватаясь за ручку. — У меня совсем расшаталось плечо. Силы кончаются, я не смогу крутить... А надо... Прямо не знаю, что делать».

И в это время она чувствует: кто-то подошел и тихонько встал за спиной. У нее сладко замирает сердце. Она знает, кто подошел, но боится признаться в этом даже себе.

Крепко зажмурив глаза, она отворачивается и спрашивает: «Это ты?» — «Да, это я! — отвечает знакомый голос. — Смотри на меня».

Аленка открывает глаза и видит блестящий двугривенный на черной, загорелой груди, и белые зубы, и смеющиеся глаза мальчика-подпаска. Он смеется и протягивает руку — зовет танцевать. Аленка грустно отказывается. Она объясняет, что не может отойти от патефона, потому что тогда кончится музыка и Гулько поругается с Василисой Петровной. А мальчик смотрит на нее и заливается смехом. Почему он смеется? Аленка оглядывается: ни Гулько, ни Василисы Петровны нигде нет и патефона никакого нет. Только загорелый мальчик и она. Аленка, стоя в пустой степи возле написанной на земле цифры «240».

Аленке стыдно: мальчик может подумать, что она совсем маленькая и глупая, и постоянно выдумывает всякую чепуху. И она говорит: «Полтавская битва была в тыща семьсот девятом году».

Мальчик улыбается. А с неба несется громкая музыка, стеклянные, осыпающиеся звуки звенят в ушах, и вскоре нестройный звон сменяется спокойным, уверенным боем курантов. Замирает последний удар, короткая пауза — и торжественная музыка, которую Аленка не раз слышала по радио, возникает где-то рядом.

Мальчик ласково кивает ей и протягивает руку. Аленка смеется: разве можно под эту музыку танцевать? Ведь ее передают из Москвы, с кремлевской башни. Эту музыку надо просто слушать. Она пытается растолковать ему это, но мальчика плохо видно; становится темнее, и в темноте повисают большие, залитые светом, открытые настежь окна.

Музыка звучит громче. Мальчика не видно совсем.

— Где он? — печально проговорила Аленка.

— Вот он... Держи, — ворчит Василиса Петровна и сует ей узелок с учебниками, перевязанный электрическим проводом. — Выгружайся, приехали. Делов много: билеты компостировать, то, се... Слезай — в вагоне доспишь.

Музыка резко оборвалась, в репродукторе щелкнуло. За окном, в светлом кабинете, серебристо зазвенел телефон и незнакомый голос произнес: «Принимай на шестую путь». Где-то совсем рядом прогудел паровоз.

Аленка окончательно проснулась и сообразила, что машина приехала на станцию Арык и стоит у вокзала. В кузове никого не было — пока она спала, все вышли. Надо выходить и ей, но сознание того, что загорелый мальчик исчез, лишало ее сил.

— Ты где там? — послышалось из темноты. — Аленка! Ты где? Ну и дите, прости господи!

— А я какой сон видела, тетя Василиса! — забормотала Аленка, спрыгивая на твердую мостовую. — Как будто я завожу патефон и как будто...

— Я тоже спала без задних ног, — перебила Василиса Петровна. — Тоже пригрезилось — гряды и река. Река — значит речь, а гряды — чего-то плохое.

— А меня и тут разыскали. — Появился озабоченный Гулько. — Из Кара-Тау звонили, из райкома. — Думая о чем-то важном, он рассеянно попрощался с Аленкой за руку, так же как с Василисой Петровной. — На обратном пути врачуху эту, Эльзу, велели забрать... Чего-то она там добилась... Ну, счастливо!

Он сел в кабинку, пустая машина загромыхала по булыжнику, и красный огонек исчез за углом.

Аленка и Василиса Петровна вошли в большой зал. Прибыл поезд дальнего следования, и множество пассажиров с узлами, чемоданами и рюкзаками сплошным потоком двигалось навстречу.

— Держись за меня, — ворчала Василиса Петровна, пробиваясь сквозь толпу. — И по сторонам не глазей. Ничего тут тебе не припасли. Где вещи-то? Ой, батюшки! Куда Настенька-то запропала? Вон, кажись, она! Нет, не она! А нет — она...

Охраняемый Настей багаж кучей лежал у скамьи.

— Все тут? Чемодан тут? Сонькина посылка тут? Все тут? Теперь скажи в комнату матери и ребенка, Настя. Бери своего младенца и скажи. Хоть реви, хоть что хочешь делай — пускай дадут тебе три лежачих билета... Хотя нет, обожди! Сиди тут, не сходи с чемодана. Сперва я в медпункт сбегая, попробую — может, у меня такая хвороба, что мне без очереди положено...

— Тетя Василиса! — печально позвала Аленка.

— Что тебе?

— А я помню. И стишки помню и года все... Во сне снятся.

— Ничего не поделаешь. И мне ты своим стишком голову задурила. Сижу и твержу, ровно дурочка. На, ступай...— Она сунула мятую рублевку Аленке.— Купи себе эскимо...

И Василиса Петровна убежала.

А люди с поезда шли и шли. Вскоре Аленка увидела пегую собачку Степана. Собачонка прыгала вокруг молодой женщины и, изловчившись, лизала ей то руку, то баулы, которые женщина несла к выходу. Она была стройная и высокая, в небрежно повязанной цветной косынке, с гордым лицом и решительной походкой. Вслед за ней шел Степан с тяжелыми чемоданами. Проходя мимо Насти, он смущенно отвел глаза, словно ему было совестно, что у него такая красавица жена.

Аленка провожала их взглядом и думала, что обязательно достанет такую же цветастую косынку, когда подрастет, и так же небрежно ее повяжет, потом разыщет мальчика с двугривенным и по выходным будет танцевать с ним омскую полечку.

— А спать здесь, барышня, не положено,— вспугнул ее человек в красной фуражке.

Но какой-то чужак с соседней скамейки, которому, видно, нечего было делать, подозвал его и стал доказывать, что не надо шуметь на людей, что они плутали на машине и хотят отдохнуть. Зачем же на них шуметь? Ведь только с виду это простые, обыкновенные люди, а на самом деле они совсем не простые и очень необыкновенные, потому что живут не для себя, не для своей корысти, а исключительно для народа, для будущего и делают необыкновенное, великое дело, какого до них еще никогда никто не делал,— ставят на ноги целинный совхоз. Зачем же на них шуметь? Ведь вы и сами не такой уж простой и обыкновенный человек, товарищ дежурный, если как следует разобраться, и вам самому нравится деликатное отношение...

Голос у дяденьки был густой, приятный, и говорил он так, словно рассказывал сказку. Аленка слушала и дремала и не слышала, когда он договорил до конца.

Счастливого пути, Аленка!



---

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ

★

## ВОЛНЕНИЕ

Я проснулся тревожно, чудно, незнакомо.  
Словно сердце мое ночевало не дома.

Словно дал обещание и не исполнил,  
А исполнить пора! Что же было? Я вспомнил.

Снова побыл я там, над рекою зальдевшей,  
Под широкой пургой, за сердце задевшей,

Там, где, взыв, экскаватор ковшом крепкозубым  
Брал породу... Где пахло тайгой и мазутом...

Где чернели у рыжих обочин дороги  
Корневища тяжелые — как осьминоги.

Где мне ветрено, молодо, холодно было,  
Словно лучшая в мире меня полюбила,

Словно я полюбил, позабыв, что не холост,  
И обличье ее, и походку, и голос...

Ах, зачем мне о ней говорили влюбленно  
Юный парень и техник, судьбой убеленный!

Заливала их щеки счастливая краска  
На прославленных улицах нового Братска.


Может, это смешно, вызывает улыбки?  
Только слышатся мне скрепера, точно скрипки.

И лежат на столе — не утеха для глаза,  
А призыв и укор — два куска диабаз.

Значит, юность жива, дело просится в руки,  
Если имя реки повторяешь в разлуке,

Если сердце и ныне ночует не дома,  
А вдали, где раскаты творящего грома,

Где пурга обнимает у края прорана  
Лебединую шею порталного крана.



---

МУХТАР АУЭЗОВ

★

## СЕРЫЙ ЛЮТЫЙ

*Рассказ*

**Б**ольшой овраг близ Черного Холма безлюден, но хорошо известен пастухам окрестных аулов. Из этого оврага нередко приходит беда. Черный Холм, точно меховой шапкой, покрыт низкорослыми кустами караганника и таволги. Верхушки караганника бледно, нежно зеленеют — на них раскрылись почки. А овраг сплошь устелен зарослями шиповника. Под их колючим ковром скрыты волчьи норы.

Прохладный майский ветер порывами задувает из оврага, далеко разнося запах молодых трав и дикого лука. Кусты шевелятся и угрюмо, сухо шелестят, словно перешептываясь.

Поздней весной в овраг к старым норам пришли волк и волчица. Старые норы размыло полою водой, в них мог бы свободно влезть человек. Волки выкопали поблизости новую, более тесную нору и соединили ее со старыми узким темным лазом.

Волчьи лапы вскоре утоптали свеженарытую землю. Белесая шкура волчицы не успела облिनять, когда в логове появились дымчато-серые волчата.

Тихим утром волчица лежала на солнцепеке, под высокими метелками конского щавеля. Здесь было безветренно, жарко, ее разморило. Она дремала, изредка приоткрывая мутный глаз. Бока у нее опали, соски набухли молоком. Кожа на спине нервно подергивалась, соски непрерывно вздрагивали.

Слабый хруст донесся из-за кустов. Волчица вскочила, взметнув с земли летучие клочья белой шерсти, и оскалилась, глухо ворча. Волчата барахтались у ее ног.

И тотчас, перелетев через ветвистую стенку кустов, перед волчицей плюхнулась туша ягненка. Следом бесшумно выскочил крупный, тяжелый волк с низко опущенным хвостом. Роняя с морды красноватую пену, он обнюхал волчицу, а она жадно лизнула его в окровавленную скулу.

Ягненок был еще жив. Волк и волчица набросились на него и в одну минуту разорвали на части. Две белозубые прожорливые пасти большими кусками глотали легкое, нежное мясо. Зеленые глаза злобно горели.

Сожрав ягненка без остатка, волк и волчица повалились в сочной пахучей траве и растянулись на ней во весь рост. Потом поочередно стали отрывивать проглоченное мясо.

Волчата один за другим подползли к мясу и, урча, толкаясь, стали его трепать. Только двое, родившиеся последними, были еще слепы. Волчица подтащила их к себе и положила около сосков.

На другой день, когда солнце стояло в зените, волчица издалека почуяла стойкий, густой конский запах. Быстро затолкав волчат в нору, она скрылась в кустах.

Послышались людские голоса, конский топот.

Люди съехались у самого логова, прыгнули с коней. О землю дробно застучали длинные пастушьи дубины.

Волчица стояла в шиповнике на крутом откосе оврага, вывалив из оскаленной пасти язык. Она все видела. Набрасывая на головы, на шею волчатам крепкие ременные путы, двуногие вытаскивали их одного за другим из темной норы.

Пятерых тут же прикончили. Одному перебили задние лапы и бросили около обгрызенной головы ягненка. Волчонок будет ползать, скулить, и волки унесут его и надолго уйдут из этих мест. А самого маленького из выводка люди взяли с собой.

Стих в овраге конский топот. Матерый черногорбый волк и белая волчица с двух сторон подошли к лежавшему пластом волчонку и свирепо оскалились на него, а затем друг на друга. Волчица схватила волчонка и скользнула вверх по оврагу. Волк высокими, летучими прыжками понесся за ней.

Логово опустело.

Жил в ауле мальчик по имени Курмаш. Ему и достался слепой волчонок. Старшие говорили: раз серый попал к людям слепым — может быть, он приживется в ауле.

Курмаш не расставался с ним; приготовил для него чистую плоскую, мягкий кожаный ошейник.

Дня через два волчонок открыл глаза, но из юрты не высовывался — снаружи доносился лай и жутко пахло псиной. На ночь Курмаш брал его к себе под одеяло. Ради него мальчик ложился теперь спать врозь со старой бабушкой, которую любил больше всех людей на свете.

Она одна не одобряла его привязанности к слабому, прозрачно-серому зверьку с острыми, точно колючки, зубами.

— Он еще не прозрел, когда у него выросли клыки, — говорила бабушка. — Не успеет встать на ноги — прижмет к затылку уши.

И мальчик сердился на нее.

К середине лета волчонок подрос, окреп и ничем не отличался от аульных щенков, своих однолетков. Будь он полохматей, он походил бы на маленького волкодава. Но жизнь в ауле была для него неволей. Пастушьи псы не хотели с ним примириться, как и старая бабушка. Рычание, ощеренные пасти встречали его всякий раз, когда он отваживался показаться из юрты.

Курмаш заступался за него, и верные сторожевые псы отходили от мальчика, обиженно огрызаясь. А в юрте волчонку было тесно, душно и скучно. Ему хотелось в степь, в высокие многоцветные травы, в неизведанный простор.

Однажды рослый черно-пегий пес из Большой юрты подстерег, когда мальчика не было поблизости, отогнал волчонка от его юрты, повалил и долго мял тяжелыми клыками. Подоспели другие псы и с упоенным лаем принялись хватать серого за ноги и за бока. Прибежали дети и взрослые, едва отбили волчонка. Потрепанный, искусанный, он отполз к юрте, сел к ней спиной и беззвучно оскалил белозубую пасть.

— Ишь какой немой... Гордый! — удивились мужчины. — Щенок бы сейчас своим визгом землю просверлил.

А женщины сказали:

— Ворюга! Потому и немой...

И это было верно. Даже Курмаша изумляла и тревожила его про-

жорливость. Мальчик баловал, кормил его безотказно, намного сытнее, чем собака. А волчонок, казалось, никогда не мог насытиться.

Аульные псы ходили поджарые, они были неприхотливы. У волчонка туго налились бока и грудь, заметно рос жирный загривок. А он был постоянно голоден и рыскал по юрте, поводя черным влажным носом.

При людях он не притрагивался к еде, отворачивал от нее морду. Но стоило человеку отойти, как он мгновенно проглатывал все, что ему положили, и тоскливо смотрел на пустую плоску, будто ничего не ел. Стоило людям заглядеться, как он жадно хватал все, что было плохо положено и попадалось ему на зуб. Утаскивал вареное хозяйское мясо, лакал простоквашу из казана, будто она поставлена для него, грыз свежие шкуры, подвешенные сушиться на остов юрты.

Частенько он попадался — и его колотили безжалостно. Он испытал и удары скалкой, от которых гудело в голове, и острую, жгучую боль от тонко свистящей плетки. Ловко увертываясь, он молча скалил белые клыки. Не было случая, чтобы он, побитый, подал голос.

А между тем в ауле стали поговаривать, что по ночам он проскальзывает, не замеченный собаками, и обнюхивает курдюки у ягнят, а овцы его боятся. Кто-то видел, как он втихомолку один убежал в степь.

Курмаш не слушал аульных пересудов. Но как ни старался мальчик, как ни учил своего серого, тот никак не мог понять, чем хуже еда, которую он крал, сам добывал с риском для своей толстой шкуры.

Курмаша он не опасался, ел при нем. Когда мальчик протягивал ему мясо, волчонок не брал, а выхватывал кусок из его руки. Но Курмаш ни разу не поднял на него палки, которой отгонял от него псов. Мальчик любовался волчком, его сумрачным независимым взглядом исподлобья, его слегка темнеющим грозным загривком, его растущей день ото дня упрямой силой.

И назвал Курмаш своего любимца К о к с е р е к, что означает: Серый Лютый.

К исходу лета Серый Лютый стал уже мало похож на аульных псов. Голенастый, как теленок, кругогорбый, как бык, он перерос их всех. Хвоста он не поднимал по-собачьи и оттого казался еще рослей, а загривок и спина его напоминали натянутый лук.

Теперь он не убежал от черно-пегого кобеля, и собаки перестали задирать его. Едва он поворачивал к ним лобастую каменно-серую морду и сморщивал верхнюю губу, те кидались врассыпную. Обычно собаки держались при нем сворой. И он и они всегда были настороже.

Никто не замечал, чтобы волк резвился в ауле. Не играл он и с Курмашем. Только кличку свою помнил хорошо и прибегал, когда его звали Курмаш или старая бабушка, но бежал неторопливо, ленивой трусцой и не махал хвостом.

Собаки он не трогал, не оборачивался на их лай, не гнался за убежавшими. Чаще всего он лежал в тени юрты, выпрямив острые уши, и угрюмо щурил зеленые глаза.

Курмаш гордился молчаливым зеленоглазым зверем и весело смеялся, когда соседские собаки, визжа от страха, пускались от него наутек. По правде сказать, мальчик и сам подчас побаивался Серого Лютого, но ни за что не признался бы в том даже старой милой бабушке.

Хозяин черно-пегого пса хвастался:

— Что ваш серый, вислохвостый! Мой черно-пегий враз его скрутит, только ему дай. Давно бы придушил, если б не отгоняли.

Как-то проходя, пробы ради, он науськал черно-пегого. Пес, не колеблясь, с азартным ревом бросился на волка, ударил его клыками в плечо. Метил он в шею, но промазал. В последний миг волк увернулся и, преж-

де чем пес успел отскочить, молча метнулся, в прыжке взял его за загривок и швырнул на землю. Огромный пес покатился с пригорка, точно беспомощная жирная овца. Волк тоже промахнулся, иначе он вырвал бы у пса горло.

Выбежал Курмаш и отозвал Серого Лютого, а хозяин отогнал своего черно-пегого.

Поздним вечером два волка неожиданно напали на овец, которые паслись неподалеку от аула.

Чабан поднял отчаянный крик, свист. Прискакали на конях из аула подростки и старшие. С оглушительным лаем дружной сворой примчались на выручку все аульные псы, а с ними и Серый Лютый.

Волки ушли в степь. За ними погнались — не догнали.

На ближних холмах всадники и собаки остановились. Вдали, по высокому гребню Черного Холма, в тусклом, неясном свете скользили серые тени.

— Раненько они нынче объявились, — сказал чабан.

И только Курмаш заметил, как по волчьим следам, почти касаясь мордой земли, бесшумно понесся Серый Лютый.

Мальчик отстал от людей и пеший бесстрашно пошел в темноту, к Черному Холму. Долго ласково звал:

— Коксерек! Кок-се-рек...

Но Серый Лютый так и не пришел на его зов.

Волк показался в ауле ночью. Встав на виду у своей юрты, он неторопливо поскреб железными когтями сухую, утопанную землю, взметая клубы пыли. Поднял голову к звездному небу и втянул в себя по-осеннему студёный воздух, жадно внюхиваясь в слабые дуновения со стороны Черного Холма.

Днем Серого Лютого видели в ауле, а ночью он опять ушел в степь.

Пропадал он трое суток. Вернулся отошавший, люто голодный, но по-прежнему угрюмый и без ошейника. Когда Курмаш окликнул его, он подошел, низко и словно бы угрожающе опустив голову. Мальчик обрадовался, обхватил его за короткую мускулистую шею. Волк вырвался, прижал к затылку уши, но даже бабушка не стала его бранить и захлопотала, готовя еду.

Ел он страшно, и Курмаш отступил от него подальше.

— Ого! Сказывается его порода, — сказал Курмашу отец. — Глазато у зверя зеленые-презеленые, днем горят. Пора, сынок, пора содрать с него шкуру.

И мальчик задрожал, боясь, что теперь старшие не уступят ему, погубят его волка.

Но Серый Лютый словно понял, что о нем говорят. Едва люди отвернулись, он исчез. Никто не видел, как он ушел из аула.

Много дней затем Курмаш напрасно искал его в зарослях чия и караганника, облазил все окрестные лощины, звал — с тоской, с угрозой. Тщетно! Минула ветреная осень, белой кошмой покрыла степь суровая зима. Серый Лютый не возвращался.

До поздней осени он кормился зайчатиной далеко от родных мест, не брезгал и мышковать. Суслики были жирны, и он лакомился ими, как лиса. А по снегу голод пригнал его к людским зимовкам, овечьим загонам.

Теперь он пришел крадучись, как чужой. Шерсть поднималась на нем торчком, когда он видел людей.

Ночь за ночью он кружил, петлял по заснеженным холмам, оставляя на снегу летучий след пяток и когтей. Пар клубился у его слегка сморщенной серой морды. Он останавливался с подветренной стороны,



и в нос ему бил густой, сытный запах хлеба и скота, а в уши — собачий беспокойный лай. Волк свирепо клал клыками. Сейчас собаки так же чутки, как он голоден.

В глухой пуржистый час он попытался приблизиться к зимовке. Но бессонные псы словно знали, откуда он подойдет. Его встретила вся свора во главе с черно-пегим, прогнала.

Ветер стих, подморозило. Волк заплясал, приседая на задние лапы. Жесткий снежный наст обжигал пятки, черные уголки пасти мерзли, брюхо стянула голодная боль. Мелкой рысцей волк поднялся на холм. Снег искрился под сильным лунным светом. Серый Лютый вскинул голову к небу и, застыв в судорожной, не испытанной прежде истоме, протяжно, уныло завыл.

Тотчас в ауле вскипел оголтелый собачий лай.

Серый Лютый не опускал головы. И вдруг издалека, с Черного Холма, донесся невнятный, тоскливый отклик. Волк выпрямился, дрожа. Кто-то ему вторил, манил его. Он вслушался, повел носом и стремительно понесся на зов.

У входа в большой овраг он остановился, настороженный, вздрагивая от сильного озноба. С Черного Холма к нему спускалась снежно-белая волчица.

Серый Лютый не подпустил ее к себе. Она подходила, он отскакивал, скаля на нее зубы, прижимая уши. Но уйти он не мог. И когда она пошла назад по его следу, вынюхивая его, а потом вернулась, жалобно повизгивая, и ткнулась теплым носом ему в пах, он не тронулся с места. Волчица тихо побежала прочь. Он догнал ее и лизнул в скулу.

Плечом к плечу они пустились вверх по оврагу, пролетели его насквозь и повернули к людскому жилью. По гребням холмов они за полчаса безостановочно, неумоимо проложили гигантский полукруг двойного редкого следа, и только наст звонко похрустывал под их лапами. Затем, словно сговорясь, они так же рядом помчались вниз, к аулу.

Луна зашла. Ночь была на исходе. Серый Лютый и белая волчица вихрем пролетели аул насквозь, как большой овраг, и оба видели, как от желтоватого сугроба у овчарни за ними метнулся вдогон длинношерстый кудлатый пес, увлекая за собой всю свору. Это был, конечно, черно-пегий.

Волки неслись от аула во весь мах. Черно-пегий не отставал, надрывисто, натужно лая. Свора за ним растягивалась, редела. И Серый Лютый умерил скок, злобно прислушиваясь к лаю, — пес разрывался от ярости, от гнева.

Близ лоцины свора остановилась, остановился и черно-пегий кобель и побежал обратно, к своре. Волчица первая кинулась за ним.

В безлюдной степи собаке трудно убежать от волка. Но черно-пегий не струсил, хотя остался один. Он жил для того, чтобы драться с волком, и, не колеблясь, сцепился с волчицей, когда на него налетел Серый Лютый и подмял под себя. Волчица с визгливым рычанием впилась псу в горло.

Вскоре от огромного черно-пегого остались лишь хвост и обглоданная голова, редкие клочки шерсти. Даже окровавленный снег волки проглотили.

Нажравшись, они ушли к Черному Холму и в овраге повалились на чистом снегу.

С той ночи они не разлучались. И пошла гулять по округе серая беда.

То тут, то там, близ Черного Холма и далеко от него, волки задирали овец, резали коров и лошадей, валили верблюдов, губили лучших сторожевых псов и ускользали безнаказанно.

От аула к аулу ползла худая молва.

— Их целая стая, серых бесов, и все, точно оборотни, человека не боятся. Ничуть не боятся — вот что! Вожак у них матерый, с теленка ростом, до того лют, до того страховиден... Не бежит, даже когда чабап подходит к нему на длину соила!<sup>1</sup> Подойти-то боязно. Налетит стая с одной стороны, чабаны кидаются туда, собаки их травят, а тем временем вожак с другой стороны уносит на горбу овцу...

Подолгу волки не держались на одном месте. Сегодня их видели у Черного Холма, а завтра — верстах в десяти, двадцати, тридцати южнее, восточнее. Известно: волка ноги кормят.

Степь в том краю холмистая, овражистая, обросла кустарником. Любо-дорого посмотреть на нее с Черного Холма: точно море в бурю, она горбится высокими валами, кипит мохнатыми гребнями. Но в таких местах удобно волку, хлопотно пастуху. Легко подобраться невидимкой к стаду, к загону, легко подстеречь, отбить отставшую скотину. И трудно выследить серого, невозможно предвидеть, откуда он выскочит неслышной дымчатой тенью. А снежной зимой и выследишь — не догонишь! Глубоки сугробы. Волк уходит целиной. Наст волка держит, а всадника нет: проваливается конь, не скачет — вспахивает снег.

Попробовали подбросить у большого оврага, где не раз находили волчьи норы, отравленное мясо и покаяться. Разве оборотни возьмут отраву? Молодые аульные псы-недоумки подобрали мясо у оврага и там же остались лежать. Волки не тронули и застывшие собачьи туши.

Сытной была для волков та зима. Серый Лютый все рос и рос, наливался каменным весом, но по-прежнему не мог насытить свою страшную жажду мяса и крови.

Лишь к весне как будто слегка приглух его голод и в жилах у него ненадолго зажглась иная жажда.

Снег в степи рыхлел, темнел. На холмах появились рваные пятна проталин, оголялась рыжая вязкая земля.

Небывалая игривость обуюла Серого Лютого. На бегу он стал суетлив, никчемно кружил, метался около волчицы, как шенок. Она ложилась отдыхать, а он приплясывал близ нее, поднимая вихри искрящегося снега, дурашливо прыгал через нее, толкал грудью, лапами, мордой. Она сердито огрызалась, а он хватал ее за шею и, подержав, отпускал. Иногда он подолгу трепал ее за шиворот, не давая вырваться. Она сварливо визжала, кусалась.

Потом она подобрела и стала чаще обнюхивать его и лизать.

Севернее Черного Холма лежали обширные мелководные соленые озера. Берега их тесно поросли чием и камышом. Места дикие — не зря над зарослями постоянно висит птичий грай. Сюда белая волчица увела весной, когда буйно зазеленели берега озер, Серого Лютого.

Теперь он охотился далеко от родных краев. А волчица не покидала логова и кормилась птичьими яйцами, подобранными в камышах.

Раз он принес ей бараний курдюк, но она не встретила его, как обычно. Он беспокойно заскреб лапами землю, и она вылезла из норы обесиленная, едва волола ноги.

Из норы исходил сильный незнакомый запах. Серый Лютый грозно ошетинился, сунул в нору оскаленную морду и вытащил зубами хлипкого, неказистого волчонка.

Волчица, слабо твякая, кинулась к нему, но не смогла ему помешать. Серый Лютый бил маленького слепого волчонка о землю, пока тот не превратился в бесформенный серый комок, и с отвращением швырнул через себя.

<sup>1</sup> Соил — копьеобразная пастушья дубина.

Когда он обернулся к волчице, она лежала между ним и норой и к ней подползали другие волчата, тыкались ей в соски.

Серый Лютый, угрюмо облизываясь, лег в стороне.

Волчица стала выходить с ним на охоту, но была еще неповоротлива, грузна и то и дело убегала к своему выводку. Нередко они возвращались в логово несолоно хлебавши, ничего не добыв, и он алчно поглядывал на волчат, а она кусала его, гоня от норы.

Ранним апрельским утром, когда волчата уже прозрели, Серый Лютый и белая волчица бежали вдоль озера к своей лежке, она — впереди, не позволяя себя обогнать, он — вплотную за ее хвостом, и вдруг почували человека. Птицы тучей поднялись над гнездами, топтали кони, стучали о землю пастушьи дубины... Волки прятались в камышах, пока не стихло кругом. А подкравшись к логову, нашли в нем лишь одного волчонка с перебитыми лапами.

Несколько суток волчица неотступно бродила вокруг аула, куда люди увезли других ее волчат. Тщетно Серый Лютый отзывал ее. Она не шла за ним — и их заметили.

Подсохла, зацвела земля. Кони быстро набирали силу на сочных весенних травах. И в один теплый голубой день волки услышали за собой шумную погоню. Трое жигитов на резвых конях выгнали волков из большого оврага, что у Черного Холма.

Серый Лютый летел как стрела. Еще в овраге волчица отстала от него. Соски у нее не успели затвердеть, и она была тяжела в беге. Сперва Серый Лютый вернулся к ней, побежал сзади, покусывая ее в бока, подгоняя. Она зарычала на него. Он оглянулся на конников и молча, стремительно ушел вперед.

У выхода из оврага он круто повернул и гибкими скачками, точно коза, взлетел вверх по скату оврага, заросшего колючим шиповником.

Серый Лютый скрылся в кустах, а белая волчица неслась напрямик по открытому месту, и жигиты с гиком и улюлюканьем поскакали за ней.

Ночью Серый Лютый, фыркая, осторожно потрусил по следу травли. В дальней ложине, на сырой от росы траве, он нашел пятно засохшей крови. Принюхался, лизнул ее. Здесь лежала белая волчица, и здесь обрывался ее запах.

Серый Лютый сел и сидел, не двигаясь, напружинив выпуклую грудь, горбя бурый затылок, пока не взошла луна. А когда взошла луна, он завыл уныло, глухо.

Словно окаменев, Серый Лютый сидел в ложине до утра. Перед рассветом поднялся, судорожно позевывая. Голод охлаждал ему брюхо.

Все лето он рыскал по степи один, нагоняя на стада и аулы страх. Не утихал ночной разбой, и пастухи проклинали свою долю. Как будто ходил у Черного Холма, близ соленых озер и повсюду окрест один серый с бурым горбом, а за лето зарезал не меньше полусотни ягнят и телят! Бездонное было у него брюхо.

Дважды пускались за ним вдогон на свежих конях со сворой резвых собак, и всякий раз ему удавалось унести ноги. С таким тяжелым брюхом легок был на ногу, разбойник, и неутомим. Волк не убегал — улетал, срамя аульных жигитов.

Днем он прятался, отсыпался в темных дебревых зарослях камыша, на топких, сильно заболоченных озерах, а ночью ничто его не останавливало — ни крик человека, ни лай собак, ни гром и огонь ружейного выстрела. Зря тратили чабаны патрон за патроном, целя в серую цель, без толку посвистывали над отарами жаканы — волк, невредимый, возвращался, едва утихало эхо в ночном мраке.

За лето Серый Лютый разжирел. Плотная жесткая шерсть стояла на нем, как колючки на еже, но брюхо было поджато и не знало ни часу покоя.

Повадился он ходить за косяками лошадей. Подкравшись к сосунку, он хватал его за короткий хвост и держал так, что тот не мог стронуться с места. Жеребенок вырывался изо всей мочи; волк внезапно выпускал его, и тот кубарем катился по земле, а волчьи клыки смыкались на его горле.

Осень промелькнула короткая, ненастная, и вот опять завывали, замели многодневные, многоснежные бураны.

В морозную светлую ночь на голом гребне холма Серый Лютый неожиданно столкнулся с большой волчьей стаей. Взметая вихрь колючей снежной пыли, стая налетела на него и окружила. Серый Лютый оказался носом к носу с вожакom — громадным матерым зверем с дымящейся на морозе оскаленной пастью.

Но стая сразу поняла, что встретила не добычу, а хозяина здешних мест. Поджав толстый хвост, приседая, Серый Лютый свирепо клал железными клыками. Он был вдвое моложе вожака, но не уступал ему ни в росте, ни в весе; ни у кого в стае не было таких крутых гладких боков.

Волчицы первые подошли и принялись обнюхивать Серого Лютого. Опасливо приблизились волки помоложе. Лишь вожаку он не позволил себя обнюхать, и тот тоже не подпустил его к себе. Пришельцы повалились на твердом сугробе, проглотали мерзлые комья снега. Так же поступил Серый Лютый. И пошел со стаей, рядом с вожакom.

К утру заметелило. Серый Лютый привел стаю к табуну коней. Отбили кобылу-двухлетку, загнали ее в глубокий сугроб, и Серый Лютый свалил ее на снег, как некогда черно-пегого кобеля. Волки навалились на лошадь со всех сторон. Серый Лютый по привычке вцепился в лопатки и отскочил от тупого удара клыками в плечо. Около него, ощерясь, стоял вожак: Серый Лютый тронул его коронную часть добычи.

Однако драться в эту минуту было некогда — лошадиная туша таяла, дымясь. Молодые волки вгрызлись в брюхо по уши. Волчицы терзали труп, толкаясь и рыча. Серый Лютый и вожак вернулись в тесный круг.

Над последней, задней ногой остались только они двое. Остальные с почтительного отдаления, положив головы на лапы, смотрели, как они рвут мясо, с хрустом мозжат лошадиные кости. Оба отошли одновременно, тяжело дыша, немирно косясь один на другого, вымазанные в крови до глаз.

Легли порознь в центре стаи. Волчицы кружили около Серого Лютого. Он не сводил зеленых глаз со старого вожака.

Еще несколько ночей они водили стаю вдвоем, держась голова к голове, и если один уходил вперед на полшага, другой тотчас хватал его зубами за бок или за ногу.

А ночи выдались ясные, безветренные — голодные. В немом горле Серого Лютого клокотала ярость.

Волки шли вдоль яра, когда у них из-под ног сорвался заяц. Косой проскакал и прометался вплотную перед волчьими носами не менее версты, прежде чем его смяли. Серый Лютый и старый вожак одновременно схватили его и разорвали пополам. Стая далеко отстала от них.

Оба жадно проглотили свои куски и тут же бросились друг на друга. Веером полетели снежные комья, клочья шерсти. Дробный ляг клыков разнесся в тишине.

Двое матерых грызлись, встав на задние лапы, сцепившись передними, глубоко вскапывая под собой сугроб. На секунду они разошлись.

Вожак рычал, он был не прочь покончить и на том. Но Серый Лютый изловчился и немо схватил его чуть пониже уха — собачий прием, так берут волкодавы. Согнул, подмял под себя и мгновенно вгрызся в высокий могучий загорбок. Сжал клыки, как клещи, и сломал железную волчью шею.

Старый вожак лежал боком на снегу, бессильно скаля пасть. Подоспела стая и с ходу мгновенно разнесла его до костей. Волк лежащего не шадит — ни чужого, ни своего.

День и ночь не слезали табунщики с коней и не могли устеречь табунов. Такого страха, такого разбоя еще не знавали близ Черного Холма. На глазах у пастухов волки косили все живое.

Серый Лютый водил свою стаю от зимовки к зимовке, с заката до рассвета. Волки быстро отъелись, отяжелели, но вожак не давал им подолгу спать. Он бил, кусал даже волчиц, а волчицы злобно подгоняли младших волков. Стая снималась с лежки, неслась по степи, точно лавина.

И был случай, когда серая шайка напала на человека. Одинокий путник ехал в санях по торной дороге. Редко волк отваживается подойти к такой дороге, пересечь ее, особенно ежели по ней едет человек. А Серый Лютый недолго колебался, прижал уши к затылку и погнался за санями.

Лошадь понесла. Стая настигла ее, завернула с дороги в сугроб. Сани увязли, лошадь провалилась по грудь, и волки серой прудой оседлали ее.

Путник, обезумев от страха, скатился с саней и кинулся бежать по глубокому снегу. Серый Лютый перепрыгнул через сани и короткими легкими скачками понесся за бегущим. Две матерые волчицы тотчас пустились вслед за вожакком.

Серый Лютый, словно играя и испытывая себя, сделал широкий круг и встал на пути у человека. Волчицы остановились за спиной обреченного, беззащитного и все же неприкосновенного двуногого, выжидая. Тронет ли его серый атаман? Повалит ли на четвереньки человека?

Люди спасли его. С ближнего холма донесся гулкий топот. По дороге галопом, пронзительно свистя, неслись вниз, в лошину, два всадника.

Серый Лютый сморщил верхнюю губу и, оглядываясь, все быстрее и быстрее пошел прочь по снежной целине. Стая снялась с растерзанной лошади и растаяла в сумеречной, взвихренной поземкой степи.

И еще один раз Серый Лютый попробовал схватиться с человеком — в открытую.

Это случилось днем. Трескучий мороз сковал степь. Белесо-голубое небо затянуло искрящееся марево, сквозь которое угрюмо смотрело багровое, кровавое око солнца. Снега звенели.

Волки, горбясь, приседая и словно дымясь на морозе, подошли вплотную к аулу. И вдруг из-за окраинной зимовки вышел двугорбый верблюд, валко зашагал прямо на стаю. Между его горбами сидел человек, один человек, и голова его была обернута белым, а это — женский убор.

Серый Лютый насторожился.

Верблюд — не конь, и всадник на нем — не чабан, не табунщик. Собаки лаяли, не высываясь из аула. Стая застыла, предвкушая легкую добычу. Однако верблюд поднял губастую голову и побежал на стаю ровной размашистой рысцой. Волки заматались, наскакивая друг на друга, и брызнули от него в степь.

Странный верблюд! Куда он бежит? Почему не боится? И всадник странный — не кричит, не свищет, не размахивает руками.

Волки бежали без оглядки. Бежал и Серый Лютый. Верблюд остановился, шумно фыркая. Жгучий январский ветер шевелил на его боках грязно-бурые космы. Женщина сидела между его горбами, не шевелясь; лишь платок на ее голове вздулся белым шаром.

Вся шерсть поднялась на Сером Лютом. Он встал как вкопанный, вытянул лобастую остроухую морду, пригнувшись.

Ничего особенного... Двухногий его не пугал, он сам пугал двухногих, едва успел вырасти, еще в ауле. А здесь, в открытой степи, он, серый, всех страшнее.

Стая рассеялась, волки маячили далеко на холмах в сияющем морозном тумане. Серый Лютый остался. И когда верблюд опять вскинул голову и пошел к нему, он неспешно затрусил к холмам, низко держа, словно бы волоча по снегу, хвост, заманивая всадника подальше от аула, поближе к стае.

Верблюд останавливался — тотчас садился на хвост и волк. Верблюд пускался рысью — рысил впереди него и волк. Расстояние между ними медленно сокращалось. Серый Лютый терпеливо, холодно примеривался.

Наконец аул скрылся за снежным косогором, а стая — вот она!

Серый Лютый выпрямился и поступил так же, как накануне с одиноким путником: скачками, играючи, понесся вокруг верблюда, отрезая ему путь в аул. Верблюд затоптался на месте, скрипуче заревел, и Серый Лютый видел, как на рев кинулась с холма разом осмелевшая стая.

Зато он не заметил, как меж верблюжьих горбов внезапно, невесть откуда, возникла, блеснув на солнце, гладкая черная палка с круглым немигающим глазом на конце.

И вот из безоблачного зимнего неба ударил гром. Раскатистое эхо запрыгало по окрестным холмам. Незримая свинцовая оса впилась волку в ляжку и прожгла ее насквозь. Впервые в жизни Серый Лютый подал голос. Яростно взвизгнув, он куснул себя в ляжку и полетел через голову кувырком, чего с ним тоже до тех пор не случалось.

Вскочив, Серый Лютый на трех ногах ошалело покатил прочь от ревшего верблюда. Озябшие челевечи руки не успели перезарядить ружье, волк скрылся в ложине. Длинная нитка ярко-красных капель протянулась вдоль его трехпалого следа.

Кое-как Серый Лютый доскакал до большого оврага у Черного Холма и повалился на снег. Пробитая пулей ляжка горела, точно опаленная головешкой из костра. Волк сталлизывать рану снаружи и со стороны паха, ежеминутно вздрагивая и испуганно настораживая уши.

Стая ушла, теперь ее не вернешь в эти края. И хорошо, что она далеко и что молодые волки не понюхали его свежей крови, не видели его лежащим на красном снегу, — вот когда бы они с ним сквитались!

Не слышно было и погони. Странный верблюд не пошел по следу, но Серый Лютый боялся иного. Он ждал за собой собачьего лая и топота коней.

А люди замешкались, не сразу собрали свору. Собаки не шли из аула — они чуяли приближение ледящей затяжной метели.

Мороз не ослабевал, а ветер усилился. Застонала степь. И повисли над степными просторами снежные хвосты от земли до неба.

Серый Лютый медленно поднялся. Оглядываясь, боком, на трех ногах, изредка судорожно подрыгивая четвертой, он поскакал к камышовым чашобам, на соленые озера.

Трое суток без передышки гудел стоголосый степной буран, и день не отличить было от ночи. Трое суток не высовывался Серый Лютый из занесенных снегом камышей. Закопался в сугроб, уткнулся носом в хвост, и кровь не застыла в его жилах, грела лучше, чем очаг юрты.

Отощал серый, ослаб, но рана у него в паху, рваная, косая, затянулась, запеклась.

На четвертую ночь он выбрался из-под снега и, сильно прихрамывая, пошел в степь. На ходу размялся, хромота стала менее заметна, но боль не ослабевала.

Целую неделю он голодал. Искал падаль — не нашел. Лишь к концу недели повезло: наткнулся он на отставшую от табуна кобылу со стригуном, загрыз стригуна, лег рядом и жрал его всю ночь напролет, не отрываясь. Рыгал и жрал, рыгал и жрал, подбирая под свое непомерно разбухшее брюхо затекавшую на морозе раненую лапу.

Прошла еще неделя. Ляжка у волка поджила и ныла реже. Он стал бегать резвее и осмелел. Его потянуло к Черному Холму.

К вечеру он подошел к аулу, в котором вырос, и встал на гребне холма с вздыбленной от ушей до хвоста шерстью. Верблюдов в ауле не видно. И собак не слышно — они с отарами и табунами в степи. Серый Лютый пустился рыскать по знакомым местам и тропам, поставив против ветра влажный нос.

Издалека слабо и сладко пахнуло овцами. Серый Лютый сморщил губу. На горизонте, в желтоватом свете зари, маячила высокая черная фигура всадника. Маленький гурт овец теснился у ног коня. Чабан вел их к загону.

Волк бросился наперерез, прячась за буграми и косогороми. Выскочил, как всегда, стремительно, неожиданно, но чабан сразу же увидел его и вдруг закричал тонким, ребяческим голоском, отчаянным и властным.

Серый Лютый резко остановился, приседая на хвост и вспахивая лапами снег. На коне сидел мальчик, подросток, с длинной, не по руке, пастушьей дубинкой.

Мальчик!.. Волк не боялся его.

Злобно ощерясь, Серый Лютый метнулся вбок, чтобы обойти маленького пастуха и подобраться к жалобно блеющим и наседающим друг на друга овцам. Это блеяние, толкотня горячили волка. Перед ним была легкая и жирная добыча, мягкие кости, обильная кровь. Но мальчик изо всех сил забил коня пятками в бока, поднял над головой тяжелую, непослушную дубинку и бесстрашно поскакал прямо на волка.

Серый Лютый опять невольно повернул в сторону от сбившегося в кучу гурта. Мальчик кричал, не переставая. И что-то непонятное томило и пугало волка в мальчишечьем крике. Волк бежал, мальчик гнался за ним, не подпуская к овцам. Привстав на стременах, потрясая дубинкой, он вопил во все горло, захлебываясь:

— Ок... ерек! Ок... ерек!

Волк щелкнул клыками и ускорил бег.

Мальчик был ловким наездником и отчаянно понукал послушного коня, бил его дубинкой, но видел, что отстает. Серый Лютый уходил, и мальчик, размахнувшись, швырнул ему вслед дубинку, точно копые.

Она задела большую ногу волка округленным концом и покатила по обледеневшей земле, подскакивая и звеня. Серый Лютый свиреп схватил ее клыками и мгновенно переломил надвое. Затем повернулся и, прижав уши, сморщив губу, словно улыбаясь свирепой волчьей улыбкой, немо кинулся на мальчика. Прыгнул и рванул его за полу овчинного полушубка. Конь прынул в сторону с испуганным ржанием, а мальчик вылетел из седла и ударился оземь, о наледь, облепленную пушистым снегом, спиной и затылком, так что шапка слетела с его головы и покатила по белому откосу.

Последнее, что видел мальчик, было знакомое ему волчье ухо, на-

дорванное у виска в драке с собаками в дни, когда серый еще жил в ауле.

Мальчик был уже мертв, когда волк вихрем пронесся над ним и с ходу распорол ему изогнутым клыком щеку.

Ночью труп мальчика подобрали, унесли в аул и положили у очага в юрте.

Старая бабушка села у него в ногах.

— Жеребеночек мой,— окликала старая бабушка,— жеребеночек мой!..— И высохшие ее подслеповатые глаза не могли источить желанную слезу.

Тогда пришел черед охотника Хасена, знаменитого в тех краях жигита, и его рыжевато-белой борзой.

Своего пса Хасен выменял в Семипалатинске на коня. На лбу у пса белела маленькая пролысинка с четырьмя соразмерными лучиками, и оттого хозяин прозвал его Белозвездным — Аккаска.

Об Аккаска также ходила громкая молва, все его знали, и иные считали, что он происходит от легендарной, воспетой в песнях собаки батыра Богомбая из рода Канжыгалы.

Пес был кровный, гордый и вспыльчивый. При кормежке мясо брал с рычанием. На стоянках Хасен сажал его на цепь, и пес подпускал к себе одного хозяина. Безродные аульные собаки сторонились Аккаска и облаивали его издали. Аккаска их не замечал, позевывал лениво, часами лежал на брюхе пластом, положив длинную морду на длинные лапы, и лишь на охоте загорался, легко обгонял любого коня и лаял гулко, жутко. Глаза у него светились, как у волка, но не зеленым, а красноватым огнем, точно горячие угли.

Несколько суток Хасен прожил с табунщиками, изучая повадки Серого Лютого, расспрашивая о нем. Жигиты ночевали в шалашах. И все ночи напролет у костров не утихали горячие споры об одиноком волке, убившем Курмаша. Но Хасен не услышал ничего нового, неожиданного для себя.

Говорили, что волк — бешеный. Говорили, что это вовсе и не волк, а гиена. Недаром он так немисливо прожорлив. Хасен не верил басням.

— Это волк,— говорил он.— А волка сеном не накормишь!

Табунщики бранились, грозились:

— Эх, попадись он нам в руки...

Хасен посмеивался:

— Что сделаете? Шкуру сдерете?

И только горькие слова отца Курмаша больно задели Хасена. На могиле сына он сказал охотнику:

— Ты малый бывалый... смелый, упорный... Правда, нелегко взять оборотня. Но если ты не прикончишь его, знай — ты не родич мне и не жигит, никому ты не нужен, и собаке твоей грош цена. Тогда не показывайся нам на глаза.

Хасен решил обратиться табунщиков на облаву — иначе не справиться. Их не пришлось уговаривать...

На рассвете, перед облавой, Хасен не дал своему псу мяса; поставил перед его мордой миску с похлебкой из мелко крошеного сухого овечьего сыра. Аккаска быстро поел и больше не спускал с хозяина глаз. Умный пес понимал: будет большая, важная охота, опасный гон.

— Ну, Белозвездный,— сказал Хасен, трепля пса за ухом,— или ты его, или он тебя, иначе не разойдемся. Сынок Курмаш мертвый пойдет с нами третьим...



Аккаска внимательно смотрел хозяину в глаза, нетерпеливо помахивая рыжим хвостом.

Вышли в степь, и Хасен спустил пса со сворки, чтобы тот размял ноги, разогрел грудь. Аккаска громадными прыжками помчался по синеватым в утренних сумерках снегам.

Хасен разделил жигитов на несколько групп и разослал в разные стороны, а сам поднялся с Аккаска на каменистую вершину одинокого, открытого всем ветрам холма. Жигиты разобрали аульных собак и разлетелись. Хасен разостлал меж острых камней плотную кошму, уложил на нее Аккаска и лег рядом на снег, придерживая пса за ошейник.

Аккаска лежал под рукой хозяина спокойно, лишь уши непрерывно ворочались из стороны в сторону, как флюгера. Отовсюду глухо доносились крикливые голоса, ералашный собачий лай, растрепанный ветром.

Вдруг Аккаска поднялся на передних лапах, не подчиняясь руке Хасена, настороженно вглядываясь в сторону тихой лощины. Теперь пес походил на беркута, высматривающего со скалы добычу. Но долго еще в лощине было пусто и голо, а крики жигитов и лай собак, казалось, отдалялись. Вряд ли загонщики видели волка — серый шел в их многоверстном кольце невидимкой. Аккаска непривычно сгорбился, опустил морду. Уж не отвлекала ли его лежка зайца? Борзая любит ходить за косым.

Нет. Не ошибся Аккаска. Волк внезапно, неслышно показался там, где его ждал пес, — в тихой, пустынной, заснеженной лощине. Вот он, хитрец! Тут суробы сыпучие, зыбкие — целина. По свежему следу конь не пройдет, увязнет по брюхо.

Волк бежал рысью, ходко, но неторопливо, осмотрительно, и Хасен с минутным сомнением прикусил губу, косясь на пса. Серый был во всей силе и издали напоминал чалого стригуна с волчьей мордой. Ни дать ни взять оборотень!

Волк шел с надветренной стороны и не чуял охотника и борзую. Но Хасен не надеялся, что зверь подойдет на прицельный выстрел, и спустил пса, сказав: «Давай... Держи!», а сам побежал к коню, привязанному за скалой.

Серый Лютый сразу, с первого же взгляда, оценил стать и силу рыжебелой борзой. От нее не убежать. Собака летела на него с холма с гулким, бухающим ревом, она была поджара, но вдвое рослее черно-пегого кобеля. Позади нее, меж камней, точно меж верблюжьих горбов, мелькнул с черной гладкой палкой человек. Кругом облава. Скорей!

Пес и волк столкнулись на снежном откосе, и пес с разгона сшиб волка с ног, но и сам покатился, не устояв. Оба вскочили, сцепились клыками и разошлись с окровавленными пастями, хрипло дыша. Нашла коса на камень...

Несколько раз Серый Лютый кидался на пса и встречал тяжелый, меткий удар клыками. Все же волк извернулся, сумел стать выше пса по косогору и ухватил его пониже уха, как в начале зимы жоака стаи, но Аккаска не согнулся, сильно тряхнул волка и вырвался, оставив в его зубах шматок своей рыжей шерсти и кожи. Серый Лютый понял, что эта схватка скоро не кончится. А с холма уже неся галопом всадник, азартно крича:

— Держи, держи, милый! А-аккаска-а!

Серый Лютый коротко взвизгнул и пошел напролом.

Пес и волк опять сшиблись клыками так, что искры полетели бы, если бы было темно. И тут Аккаска, не оберегаясь, а помня только то, что кричал человек, сунул нос прямо в волчью пасть и намертво схватил его за нижнюю челюсть.

Теперь их было не расцепить: пес грыз волчью челюсть, а тот — его, и ни один не мог повалить другого.

Подскакал Хасен. Лошадь плясала под ним, встав на дыбы. И руки у Хасена плясали. Он бросил ружье, выпрыгнул из седла и тоже, не думая о себе, повалился всем телом на каменно-твердую спину волка. Сунул ему под лопатку широкий нож.

Аккаска высвободил из судорожно ощеренной волчьей пасти изодранную морду и отошел. Постоял-постоял и упал на грудь. Против него лежал на боку Серый Лютый.

Стали подъезжать жигиты, и один из них ткнул кнутовище в зубы волку, размыкая его черно-красную пасть, и все поразились тому, как она велика.

— Дьявол...— сказал жигит, отходя.

— Серый вор! — сказал Хасен, бережно осматривая раны Аккаска.

Волчью тушу привезли в аул, бросили у юрты Курмаша, и здесь старая бабушка опознала Серого Лютого, как и Курмаш, по надорванному уху.

— Коксерек! — вскрикнула старая бабушка, заламывая руки.— Трижды проклятый... Где же твоя совесть? Кровопиец!

И слабой ногой она пнула волка в оскаленную пасть.

*Авторизованный перевод с казахского Алексея Пантиелева.*



ФАИЗ АХМАД ФАИЗ

★

## СТИХИ ИЗ ТЮРЬМЫ

### Предисловие переводчика

Первые строки стихов Фаиз Ахмад Фаиза я услышал в Москве, в зимний декабрьский вечер. Кончался 1954 год. В теплом уюте московской квартиры поэтам, съехавшимся из братских республик советского Востока, и гостям из стран зарубежного Востока молодой индийский поэт Али Сардар Джафри читал, почти пел на непонятном, но чарующем языке поэзии стихи, в которых то звучала нежная интонация голоса влюбленного юноши, то слышалась шемая тоска тюремного одиночества, то пламенный гнев сердца революционера.

Это были стихи одного из самых выдающихся поэтов современного Востока — пакистанского поэта Фаиз Ахмад Фаиза. Он не мог быть с нами. Далеко от Москвы, в духоте одиночки мрачной тюрьмы Монтгомери, он в это время, может быть, смотрел сквозь железо оконных решеток на небо, усеянное звездами, и шептал новые строки, подивившиеся в глубине его горячего и мужественного сердца.

Через три месяца после этого вечера я вновь услышал берущие за сердце и волнующие без перевода строки Фаиз Ахмад Фаиза вдалеке от Москвы, еще овеваемой последними зимними метелями, в столице Индии — Дели.

Были начальные дни марта. Стояла жаркая и немного душная погода. Над столицей мерцали в черном южном небе мириады звезд. Темными куполами маячили никогда не теряющие зеленого убора деревья. Почти бесшумно, как привидения, пронеслись под сенью зубчатых стен Красного Форта коляски велорикш. Многие из них направляли свой путь к тому месту, где несколько ярких фонарей вырывало из тьмы полосатый тент огромного шатра, зеленые пятна травы, фантастически крупные разноцветные грозди цветов на каких-то неизвестных мне деревьях.

У входа в шатер толпились люди. Разные люди. И государственные чиновники в длиннополых белых, кремовых и черных кафтанах. И сикхи с подвязанными бородами, в разноцветных тюрбанах. И гандисты в холщовых «дхоти», и рикши, и поденщики с впалыми животами, чуть прикрытыми грязными тряпками нищенских рубищ. При самом беглом взгляде на толпу можно было заметить, что среди головных уборов преобладают многоярусные чалмы мусульман.

Здесь, под сенью шатра, должна была начаться большая «мушайра» — состязание поэтов, пишущих на языке урду.

Огромный простор шатра, освещенного солнечно-белыми шарами электрических ламп. Не меньше пяти тысяч человек заполняло этот импровизированный зал, в передней части которого, на возвышавшемся помосте, устланном коврами, по-восточному подобрав под себя ноги, восседали крупнейшие, пользующиеся всендийской известностью лирики, пишущие на языке урду.

Поэт, открывающий «мушайру», подошел к микрофону и, чуть покачиваясь в такт ритму стиха, стал читать, или правильнее сказать — петь.

Зрители слушали с большим вниманием и время от времени повторяли вслед за чтецом наиболее выразительные строчки.

Один, другой, третий, пятый, седьмой поэты сменяют друг друга у микрофона. Уже несколько шумнее начинает становиться в зале, с изумительно напряженным вниманием слушавшем каждую строку читаемых стихов.

И вот на эстраде возникает знакомая стройная фигура Али Сардар Джафри.

Джафри, вкладывая в каждое слово всю силу своей любви к автору читаемых стихов, поет-читает новые песни, сложные за непроницаемыми стенами одиночки тюрьмы Монтгомери, где уже пятый год томился Фаиз Ахмад Фаиз.

Воцаряется напряженная тишина. И только в тех местах, где стихи достигают предельной доверительной сердечности или взлетают на высокие, звенящие гневом ноты призыва, зал, как бы проснувшись, вторит голосу певца и рокотом одобрения пошпурт его.

Что знал я тогда о Фаиз Ахмад Фаизе? Я знал, что он с молодых лет посвятил себя борьбе за освобождение поработенной колонизаторами родины. Я знал, что, движимый чувством ненависти к фашизму, он в годы войны стал офицером чуждой ему англо-индийской армии, а по окончании войны ушел из ее рядов в чине полковника. Пламенный журналист, беспредельно преданный идеям борьбы за освобождение родного народа от гнета колонизаторов и отечественных поработителей, Фаиз Ахмад Фаиз и стихом, и гневным словом публициста, и деятельностью самоотверженного бойца-революционера страстно и самозабвенно ведет борьбу в рядах лучших сынов Пакистана.

Реакционеры, боясь силы и правды пламенного слова талантливого поэта, фабрикуют против него и его друзей провокационный политический процесс. И вот пять мучительных лет в страшных тюрьмах Хайдерабада, Монтгомери. Ужас одиночества, вынужденного бездействия, навязанной врагами немоты.

Но даже из-за толстых стен тюрьмы звучала страстно, проклинаяще, призывно неумолчная песня его мужественного, полного любви к жизни, к людям, к родной земле сердца.

После пяти лет заключения и непрерывной опасности смерти поэт-патриот, преодолевший все тяготы неволи, вновь вышел на волю, чтобы так же, как прежде, чтобы еще более страстно, чем прежде, продолжать борьбу за то, чему он посвятил свою жизнь,— за свободу родного народа, за братство всех народов мира, за мир между людьми.

Осенью 1958 года, после знаменитой Ташкентской конференции писателей стран Азии и Африки, на которой Фаиз Ахмад Фаиз был одним из признанных лидеров, я познакомился впервые с поэтом, образ которого уже несколько лет носил в своем сердце.

Это были невеселые для Фаиза дни. Только что в Пакистане произошел военный переворот и к власти пришел генерал Айюб-Хан.

Мы сидели в одной из комнат правления Союза писателей в Москве. Читали друг другу стихи. Беседовали.

— Скажите, Фаиз, что вы в ближайшее время намереваетесь делать?

Он поднимает на меня глаза, на губах появляется намек на улыбку.

— Что же? Полечу в Лондон. Повидаю там кого-либо из знакомых, недавно приехавших из Пакистана, а после этого, конечно,— в Карачи, в Лахор, на родину.

— Но ведь там же...

Та же тень улыбки в уголках губ.

— Конечно... Значит, тем более мне надо скорее торопиться домой...

— Но ведь это же верная тюрьма.

— Возможно... Но если для блага большого дела надо сесть в тюрьму, значит надо...

— А если хуже, чем тюрьма?

Поэт глядит в окно, где среди сквера высится бронзовая статуя Льва Толстого, на холодноватое осеннее московское небо. Немного помедлив, он говорит тихо, без пафоса:

— Если хуже, чем тюрьма, это, конечно, нехорошо. Но, знаете, борьба есть борьба. И если для блага большого дела надо...

На своем жизненном пути я встречал много разных людей. И среди них мужественных. Бесстрашных. До конца преданных главной идее своей жизни, готовых, подобно Юлиусу Фучику или нашему славному земляку Мусе Джалилю, прямо взглянуть в глаза любому страданию и неотвратимой смерти.

Но это спокойствие, эта купленная ценой перенесенного страдания и близости смерти уверенность в неотвратимой обязательности для человека, посвятившего себя борьбе, прямо смотреть в глаза самой трудной участи потрясли меня до глубины души.

И когда я читал подстрочные переводы стихов Фаиз Ахмад Фаиза, когда переводил их, стараясь хотя бы отчасти сохранить в строках ритм биения его нежного, мужественного сердца, в моей душе звучали не только страстные переливы его не поддающегося переводу на иной язык стиха-песни, но и это спокойное, ясное мужество человека—борца—поэта, сделавшего свою прекрасную жизнь революционера песней, а свою песню—оружием в борьбе.

### БОЛЬ НЕСЛЫШНО ВОЙДЕТ...

Скоро буду искать для своей одинокой души  
 В человеческих душах приют и жилье.  
 Боль неслышно войдет, поднимет зажженный фонарь  
 И тоской обожжет обнаженное сердце мое.

Боли острый язык, пламенея, метнется ко мне,  
 Тени сердца запляшут на серой стене.  
 Губы милой почую, кудрей аромат,  
 И пустыню разлуки, и встреч наших сад,  
 Нежность слов, что любовным признаньем звучат.

Я скажу тогда сердцу: «О сердце, дотла  
 Одиночество сладкая боль не сожжет.  
 Это гостя на час, что придет и уйдет,  
 Но страданий твоих, уходя, не возьмет.  
 Тени вслед ей запляшут дикой гурьбой,  
 Боль уйдет, но останутся тени с тобой,  
 Будешь гнать их все ночи и дни напролет;  
 Будешь с ними сражаться опять и опять;  
 Будут тени-убийцы тебя осаждать...  
 Одиночество, тени и месяц и год —  
 Трудно в схватке, о сердце, стоять.

Угли гнева давай раскалим добела.  
 Над углями раздуем отмщения пламя.  
 Чтобы ненависть огненными цветами  
 В наших гневных, разящих сердцах расцвела.  
 Где-то войско друзей моих рядом со мной.  
 Может, сумрак ночной отделил их стеной?  
 Пусть сверкнет им души моей огненный след!  
 Ну, а если и ныне мне выручки нет,  
 Все равно они крикнули: «Близок рассвет!»

Тюрьма Монтгомери.  
 1 декабря 1954 г.

### НЕМАЛО СПОСОБОВ НА СВЕТЕ ЕСТЬ...

Немало способов на свете есть,  
 как мучить тех, кто шел к тебе в борьбе.  
 Нам суд сказал: виною можно счесть  
 взгляд на тебя и слово о тебе.

Путь верности — короткий, трудный путь,  
 лишь сильным можно по нему идти.  
 Избрав дорогу, мужественным будь —  
 ведь виселица на конце пути.

Тем, что безумны, кровожадны, злы,  
 цепями нынче не грозит тюрьма.  
 А мудрость заковали в кандалы,  
 чтобы она скорей сошла с ума.

Не глянь на меч убийцы своего —  
ведь палачу нет больше торжества,  
чем душу опоганить до того,  
как скатится с помоста голова.

Но пусть запомнят кедры и жасмин,  
смиряя свой спесиво-гордый нрав,  
что близок век простых цветов долин  
и полевых от века вечных трав.

Благоразумье мне твердит: «Молчи!»  
А сердце мне велит: «Кричи! Кричи!»  
Ну как избуду я беду мою?  
Как песне прикажу я: «Замолчи!»,  
и сердцу как скажу я: «Не стучи!»,  
когда я о тебе, отчизна, думаю?

Хайдерабадская тюрьма.  
17—22 мая 1954 г.

### УТРО СВОБОДЫ

Испещренное ранами утро, искусанный ночью рассвет.  
Не такого восхода мы ждали так долго с тобой.  
И зари, о которой мечтали так пламенно, нет.  
И с другой мы хотели в пути повстречаться судьбой.  
В мертвом небе пустынном, у кладбища звезд золотых,  
Ночи плещут о берег медлительной черной волной.  
Там швартуются лодки сердец одиноких, пустых,  
Растерявших таинственный юного пламени зной.

В час, когда выходили друзья в свой далекий поход,  
Сколько глаз их манило сквозь мгlistый туман покрывал,  
Сколько рук за одежду цеплялось тогда, но вперед,  
Зорям раннего утра навстречу, их долг призывал.  
Их богиня рассвета в сверкающих ризах ждала.  
Легконоги их были желанья, и усталъ еще не пришла.

Утро мир осветило, и мрак поредел, говорят.  
И всего, что в мечтах наших жило, достигнут предел, говорят.  
И любить нам, страдая, теперь не дано, говорят.  
И грустить нам отныне запрещено, говорят.

Но пылает душа, и из сердца желанья бьют,  
И лекарства от мук исцеленья душе не дают.  
Ветерок красоты налетел и исчез без следа.  
Даже тусклый фонарь не успел при дороге мигнуть.  
И глубокая темень черна, как ночная вода.  
Для ума и для сердца к свободе далек еще путь:  
Смело к цели, друзья! И низринется ночь навсегда.

### ВЕЧЕР В ТЮРЬМЕ

Шаг идущей по ступеням звезд  
 Синей ночи, слух души, лови.  
 Чуть-чуть слышно ветерок шепнул  
 Шелестом травы: «О ночь любви!»  
 Словно узники, тюремный двор  
 Дуб за дубом обступили вокруг.  
 Звездный плащ луны пестрит узор  
 Ветвями простертых черных рук.  
 С крыши блики лунные стекла.  
 Капли звезд вмерцались в пыль земли.

Темный свод небесного шатра  
 Высветил насквозь незримый свет.  
 Тлеет боль зеленым угольком —  
 Боль о том, что здесь любимой нет.  
 Свет наваял ласковую мысль:  
 Как прекрасно все ж на свете жить!  
 Тем, кто яд насилья нам несет,  
 Правду все равно не победить.  
 Пусть погасят факелы сполна —  
 Неподвластна воле их луна!

### МЫ УМИРАЕМ НА ТЕМНЫХ ДОРОГАХ

*Этель и Юлиусу Розенберг.*

Во имя печали твоих пламенеющих пук  
 И уст цветоносных, людей одаряющих раем,  
 Где призраком виселиц мертвый топорщится сук,  
 На темных дорогах мы, родина-мать, умираем.

В тени эшафота, где жизнь топоры сторожат,  
 Мы чуем дыханье твое и кудрей аромат.  
 Но в смертных мучениях нашим губам не достать  
 До алости губ твоих трепетных, родина-мать.

Когда полонили насильники небо родимой земли,  
 Мы шли по дорогам, затерянным в дымной дали,  
 В сердцах наших песни и факелы боли несли.  
 Той болью, что будет все ярче в сердцах полыхать,  
 Тебе присягнули бестрепетно, родина-мать,  
 Бойцы, что на темных дорогах пошли умирать.

Мы с бою не взяли победу — такая уж наша беда,  
 Но свято твой образ лелеяли в сердце своем.  
 До жалоб тебе не унизимся мы никогда  
 И молча на лобное место разлуки взойдем.

Но знамя погибших, об участи нашей скорбя,  
 Подхватят другие, влюбленные жарко в тебя.  
 Прямее и радостней будет поход молодых,  
 Страданьем и смертью мы путь сократили для них.  
 И будем мы гордо до смертной черты прославлять  
 Твой образ прекрасный, любимая родина-мать,  
 Бойцы, что на темных дорогах пошли умирать.

Тюрьма Монтгомери.

15 мая 1954 г.

## АВГУСТ-1955 ГОДА

Ни одного вольнолюба с распахнутой грудью на улице нет,  
Хотя о застегнутом вороте властью не издан декрет.  
Радуйся ты, что прекрасному перлу подобна: теперь  
Те, кто печален, тебе не раскроют сердца, полные боли и бед.  
Ночи тоскливой стал ныне подобен твой лик.  
Луны очей не блестят, и уста не румянит рассвет.  
Сердце уже не поет, не томится любовью душа —  
Сами виновны мы в том, что исчез нашей радости след.  
Пусть на пиру с наших факелов пламя собьет ураган,  
Солнце мы с неба сорвем и даруем пирующим свет.

Карачи.

14 августа 1955 г.

*Перевел с урду Ал. Сурков.*





---

---

В. КУКИНОВА

★

## ИСЧЕЗНУВШИЕ СЛОВА

**З**десь рассказано о словах, которые были и исчезли. Как леса у отстроенного здания: сооружалось здание — появлялись леса; выстраивалось — они исчезали.

Люди, которым сейчас за сорок, уже забыли эти слова. А те, которым нет двадцати, не знали их вовсе. Но и те и другие живут в том самом здании, которое воздвигалось с помощью этих лесов.

Может быть, иногда полезно вспомнить, как строился дом?

### Помгол

Было время, когда москвичи произносили это слово чаще, чем теперь произносят «кино» или «мороженое». Говорили: «Помгол выдал», «Помгол обещал», «приходили от Помгола».

Помголом в 1921 году называлась организация, специально созданная в помощь голодающим Поволжья. Но помогала она не только Поволжью, а и многим другим городам страны, в том числе и Москве. Правда, в Москве было не так тяжело, как в Поволжье. Здесь голодали по-другому. Нам, например, — мне, сестре и брату — все время, каждую минуту хотелось есть. Но нам еды не хватало, а в Поволжье ее совсем не было. Там к бедствиям войны и разрухи прибавился еще и страшный неурожай.

Мы, дети, не знали, что называемся голодающими. Не потому, что нам не хотелось есть. Есть очень хотелось. Просто мы думали, что так и должно быть. Ведь мы тогда не знали, что бывает по-другому, когда есть не хочется.

Мы, как и взрослые, тоже часто говорили про Помгол. Но мы думали, что это человек, что Помгол такое же имя, как, например, Пахом.

У нас в квартире было два соседа. Один — дедушка Пахом. Пахомыч, как его звали взрослые. Он работал сторожем в типографии «Мысль печатника» на Петровке. Другой — Василий Терентьич, бухгалтер. Он носил пенсне. Пахомыч про него говорил, что он молодец, хотя и в пенсне: всю зиму ходит в банк и считает один за всех саботажников, которые сбежали и не хотят работать на Советскую власть.

Василия Терентьича мы боялись. Пахомыча — любили. И он и Помгол были добрые. Пахомыч приносил из типографии для нашей печки «буржуйки» бумагу — всякие оборванные листы и испорченные газеты, а Помгол — еду. Только Пахомыч приносил сам, а к Помголу ходили — и он давал то муку, то пшено, то сладкую мороженую картошку, а один раз даже повидло.

Никаких грустных воспоминаний у меня это слово не оставило. Наоборот, какис-то все очень приятные и даже веселые воспоминания. И большинство связано именно с едой, а не с голодом.

То вспоминается выданная Помголом необыкновенно красивая саговая каша, похожая на разогретые бусы. Вкуса она не имела, но есть ее было весело и интересно. Никогда потом я не ела саговую кашу и нигде ее не встречала.

С Помголом связана и другая очень вкусная еда — облепиха. Ее готовили из ржаных высевок. Высевок давали мало. Их не хватало на хлеб. Вот и придумали облепиху. Муку заваривали кипятком, заправляли солью и половинкой таблетки драгоценного сахара, разведенного в воде. Все это размешивали, выливали на горячую сковороду и накрывали крышкой. Мука распаривалась и разбухала — получалось много и вкусно.

Василий Терентьич, когда мама угощала его облепихой, всегда называл себя дураком за то, что не ел раньше этого блюда.

— Ведь муки, — говорил он, — было сколько хочешь. Готовь хоть каждый день!

Мы тоже удивлялись: почему, в самом деле, если муки было много, Василий Терентьич не ел облепиху каждый день?

Но больше всего мне запомнились картофельные оладьи. В тот день мы, как всегда вчетвером — сестра, брат, я и наша больная бабушка, — сидели на кухне. Мы тогда и жили на кухне, а не в комнатах. Отопление не работало, и в комнатах стоял такой же мороз, как на улице. Мы иногда бегали туда играть и рисовали на заиндевевших стенах домики и рожицы.

Так мы сидели, разговаривали, и каждый старался быть поближе к сестре, потому что от нее шел жар, как от печки. Мы еще не знали, что у нее начинался тиф. Был уже вечер, и бабушка дремала. Всем хотелось есть, но есть было нечего. Мы прислушивались к шагам на лестнице — не идет ли мама, — а потом стали говорить про еду. Брат вспомнил, как приехавший с фронта отец привез две большие душистые буханки хлеба и четыре огромные, с поднос величиной, шляпки подсолнухов, сплошь утыканные черными сочными семечками.

А мать все не шла, нам уже нечего было вспоминать, и брат заплакал. Тогда бабушка, проснувшись, сказала, что можно пожевать ее табаку, — меньше будет хотеться есть. Только чтобы не рассыпали. Но в это время вошла мама. Она была усталая, замерзшая, но радостная и прямо с порога сказала, что Помгол выдал полмешка картошки и она сейчас приготовит нам оладьи. И вот она принялась их готовить, а мы замолчали и стали смотреть и ждать.

Мама отогрела пальцы и принялась развязывать мочалку, которой был стянут мешок. Потом взяла таз, наполнила его водой и высыпала в него картошку. Картошка смерзлась и звонко гремела; как деревянные шары. Когда картошка отошла, ее стали чистить. Это тоже было очень долго: мама чистила одна, она боялась, что мы будем срезать кожуру слишком толсто.

Очищенную картошку она складывала в кастрюлю, чтобы сварить завтра суп, а очистки оставляла в тазу.

Потом она промыла эти очистки сначала один раз, затем другой и третий. Наконец их начали пропускать через мясорубку. Когда жидкие серые змейки перестали выползать из решетки, мама велела нам разжечь «буржуйку» остатками Пахомычевой бумаги и поставить на огонь сковородку.

Но тут она схватилась за голову и сказала:

— Батюшки мои, все пропало!

Оказалось, что жарить не на чем. Пузырек с касторкой, которой обычно смазывали сковороду, был пуст...

Мы сидели и молчали. Мама устало опустилась на табуретку.

— Если бы,— сказала она,— это были не оладьи, а котлеты и если бы они были не картофельные, а мясные, то их можно было бы поджарить, не смазывая сковороды, на собственном соку. Но из картофельных очистков выйдет только вода.

Все приуныли, но выручила бабушка. Кряхтя и охая, она освободилась от старых пальто и одеял, которыми были укутаны ее распухшие ноги, и, никому ничего не объясняя, ушла из кухни. Она долго пропадала, и мы решили, что бабушка, расстроившись, легла спать. Оказывается, она искала в своем комодe сало для оладий. Она так и сказала, когда вернулась: «Вот вам и сало для оладий!» — и вынула из глубокого, как мешок, кармана толстую венчальную свечу, обвитую золотой спиралью, с большим муаровым бантом у основания. Бант вместе с заржавленной булавкой она отдала нам, а свечу — маме.

Пустая, раскаленная и злая сковорода, перестав чадить и злиться, уютно зашипела. Оладьи стали подрумяниваться, все повеселели.

— Никогда не надо унывать,— сказала бабушка.— Сейчас мы обедаем, как буржуи!

И мы стали есть замечательные горячие оладьи.

### Ликбез

В 1927 году мама записалась в кружок по ликвидации безграмотности — в ликбез. И сразу это слово стали повторять в нашей семье все: мать, отец, старшая сестра и мы с братом. Но все по-разному. Мать — то смущенно, то с вызовом. Отец — с раздражением, почти как ругательство. Приходил с работы и спрашивал:

— Где мать?

— У соседки!

— Не ври! Небось опять ликбезится-бесится. Постыдилась бы, дура старая!

Матери шел тогда тридцать девятый год, и она действительно очень стыдилась, что, несмотря на поседевшую голову и трех взрослых детей, взялась учить азбуку. Но отцу она не показывала, что стыдится, и воевала с ним, как могла.

Сестра с новым словом обращалась деловито и хвасталась этим перед нами. Прибегала вечером из школы и прямо с порога командовала:

— Ребята, чаю! Опаздываю в ликбез. Старушечки уже ждут!

Она на ходу пила чай, вытряхивала из школьной сумки книги и тетради, засовывала туда букварь, мел и огромную таблицу умножения, которую нарисовала сама на обороте старой географической карты. Потом, поплевав на бумажку, она оттирала чернильные кляксы на пальцах и, повязав голову красной косынкой, убежала на занятия. Сестра называлась культармейцем, как и все, кто преподавал в ликбезе.

Как только за ней захлопывалась дверь, мы мигом убирали посуду — рассовывали ее куда попало — и бежали смотреть ликбез.

К этому времени у подвальных окон бывшей прачечной, переделанной в красный уголок, уже собиралась толпа ребят. Ликбез стал любимым развлечением всего двора.

Как назойливые мухи, облепляли мы окна душного подвала и с интересом рассматривали наших матерей — так, будто никогда их не видели прежде.

Мы действительно такими их раньше не знали. Они не стирали белья, не мыли полов, не варили обеда. Не шили, не штопали, не брались друг с другом. Чинные, напряженные и, как нам казалось, поглупевшие, сидели они над раскрытыми книгами, с которыми обращались, как с дорогой стеклянной посудой.

Это не только уравнивало их с нами, но и делало в наших глазах смешными и беззащитными. Ведь никому из нас до этого и в голову не приходило, что они вообще чего-то не умеют. Мы твердо знали, что они умеют все. И вдруг мы увидели наших сильных и уверенных матерей неуверенными и неловкими. И в чем? В том, что сами и за дело не считали!

Нескладно и смешно, как левши, держали они перья, нескладно обращались с книгой: плевали на пальцы, прежде чем перевернуть страницу. Бестолково читали слоги, пропуская буквы: отдельно — «ма» и «ша» — читали верно, а вместе произносили «мша».

Как мы хохотали — стыдно вспомнить! Мы стреляли по раскрытым букварям жеваными бумажками, строили рожи. На разные лады подсказывали мы таблицу умножения, кричали, что дважды два — пять, семь, десять...

Мы безобразничали до тех пор, пока сестра, исправно изображавшая опытного педагога, не выходила из себя и не взрывалась. Одним прыжком, как кошка, она вскакивала на подоконник, оттуда — на улицу и смерчем обрушивалась на нас, раздавая всем подряд шлепки и подзатыльники.

Потом, опять же через окно, перелезала обратно, садилась за стол, переводя дыхание, и, подражая своей школьной учительнице, говорила ненатурально интеллигентным голосом:

— Итак, на чем мы остановились?

Тишина водворялась ненадолго. Проходило несколько минут, и в окно просовывалась голова.

— Пелагея, Витька плачет!

Потом врывается чей-нибудь муж.

— Моя здесь? Ужинать-то сегодня будем или сидеть не жрамши?

Самым же смешным для нас номером вечера была Сенькина шутка.

Сенька-водопроводчик — молодой мужик, глупый, лохматый и веселый, — развлекался пуще нас. Возвращаясь с работы в одни и те же часы, он всегда останавливался у ликбезовских окон. Крал на землю свою сумку с инструментами, подмигивал нам и, просунувшись до пояса в окно, кричал истошным голосом:

— Ученицы-ы-ы, молоко бежит!

Фокус заключался в том, что каждый раз он кричал одно и то же и каждый раз все женщины вскакивали от этого крика, как будто их дергали за ниточку.

Громче всех хохотал сам Сенька. Он просто заходился от смеха и под конец даже не хохотал, а стонал, не то икая, не то всхлипывая. Мы прямо пугались, глядя, как он, ослабев от смеха, валился набок, вытирая слезы рукавом рубашки.

Мы тоже смеялись — сначала над шуткой, а потом над тем, как чудно смеялся Сенька.

Никто из нас и не подозревал, как плохо кончится для Сеньки эта шутка.

Женщин она очень задевала. Они переживали ее как-то особенно болезненно. Вскочив от его крика, как по команде, они потом уже не садились, а потоптавшись на месте, расходились по домам, не глядя друг на друга.

И вот однажды они прорвались.

Когда Сенька в очередной раз просунулся в окно и собирался уже крикнуть насчет молока, две женщины, заранее подстергавшие его, навалились сзади, приподняли и протолкнули через окно в комнату.

Нам было не видно, как они его тузили. Сенька ругался и кричал все время одно и то же:

— Дуры бешеные!

Потом женщины разбежались, а Сенька все ругался, и мы долго не подходили к окнам — боялись, что он побьет нас.

Несколько дней занятий не было. Потом пришла незнакомая женщина с портфелем и провела большое собрание. Перед этим она велела нам обойти все квартиры и сказать, что завтра в семь часов вечера в красном уголке будет важное собрание, чтобы все, кто может, обязательно приходили. Она дала нам большой кусок розовых обоев и поручила написать плакаты и повесить их на видном месте в красном уголке.

Славкин старший брат очень красиво написал большими буквами с тенью два плаката: «Мы путь земле укажем новый!» и «Неграмотность — наш враг!»

Мы сами прибили эти плакаты: один над грифельной доской, а другой около входной двери.

Народу на собрание пришло очень много — и мужчин и женщин. Председателем выбрали нашу маму. Мы с братом из-за этого чувствовали себя очень плохо — стыдились и переживали, потому что видели, как мать волнуется. Она не умела проводить собрания и не знала, что надо делать, — сидела и молчала. Только расправляла на плечах платок. Но потом все обошлось. Она перестала смущаться, потому что все начали слушать выступавших. Она ведь не знала только, как открывать собрание, а все остальное делала хорошо — давала слово, строго следила за порядком, — и все ее слушались, а под конец даже выступила, и ей похлопали.

Через несколько дней занятия возобновились, и мы еще раза два ходили смотреть ликбез. Но потом совсем перестали. Не из-за того, что нас ругали на собрании, — просто стало неинтересно. Почти все женщины выучили таблицу умножения и громко читали по слогам: «Мы не рабы, рабы не мы». И никто не путал слогов.

### Торгсин

Когда на Сретенке открылся торгсиновский магазин, мы вчетвером сразу же после уроков побежали смотреть, что это такое. Повсюду только и говорили, что про торгсин. Будто бы там полно любых товаров — покунай что хочешь!

Народу в торгсине было полным-полно. Все ходили от прилавка к прилавку и рассматривали неправдоподобные товары: белую, как пудра, муку, нежно-розовую вареную колбасу, настоящие «эклеры» и «наполеоны», нарядные конфеты в золотых бумажках.

Люди забыли, как все это выглядит. Была карточная система, и продукты выдавались по карточкам. В магазинах просто так, то есть на деньги, можно было купить только спички, пуговицы и еще какую-то мелочь. Все же остальное выдавалось по карточкам и ордерам. Ты заранее подавал заявление в местком, и тебе выдавали ордер — на пальто, платье, обувь, а также на алюминиевые тазы и кастрюли. Объявление о полученных ордерах вывешивалось рядом со стеной газетой.

«Получены ордера:

Галоши мальчиковые . . . . .	6 пар
Трико дамское . . . . .	2 пары
Башмаки парусинов. н/резин. подм. . . . .	8 пар

Заявления подавать в местком».

Долгожданные башмаки, которые я получила по ордеру, были матерчатые, высокие, как для фигурного катания. Зашнуровывались они, как мужские штиблеты, на черные железные крючки. Башмаки были в общем-то ничего, довольно крепкие, но неудобного цвета — белые. Я покрасила их тушью, а сверху еще и гуталином. Потом подкоротила — получилось вполне прилично. Всю осень они меня спасали.

В торгсине башмаки и туфли были самых различных цветов и фасонов: коричневые с рантом, лакированные лодочки на французском каблуке рюмочкой, бежевые, резные — и все красивые, нарядные, сияющие мягкой, как шелк, кожей.

Из обувного отдела мы пошли в кондитерский и стали рассматривать сначала пирожные, выставленные на витрине, а потом симпатичного старичка в каракулевой шапке. Зажмурившись от удовольствия он ел тут же, у прилавка, необыкновенной красоты «корзиночку» с кремом.

— Вот как жили раньше, дети! — сказал он, доев пирожное и вытирая измазанные кремом усы. — Не то что сейчас. Сказка!

— Не сори на пол, сказочник! — зло сказала ему женщина, когда старичок, облизнув кружевную бумажную салфеточку, смял ее и бросил под ноги. — Твоя сказка известная: нам — корочку, а тебе — икорочку, — добавила она. — Буржуй недорезанный!

— И зачем только эти торгсины открыли? — вздохнула другая. — Только людей расстраивают!

— Правда, ребята, зачем их открыли? — возмутился Севка.

— Дурак ты, Севка, — строго сказала Юля. — Ведь сюда несут золото, а золото знаешь как нужно? Ведь мы строим — у нас же своих машин пока мало, мы их у иностранцев покупаем. А на что покупаем? На золото! Вот соберем побольше этого золота, накупим каких надо машин, потом построим свои заводы и фабрики и будем выпускать все, что захотим. Во всех магазинах будет тогда, как сейчас в торгсине. Что ж ты, не можешь потерпеть одну пятилетку?!

— Верно, Юлька! Я забыл, — сказал, смутившись, Севка. — Мы потерпим.

— А старик не сообразил, — сказала Юля. — «Наполеон»-то ведь больше «корзиночки». Я бы взяла «наполеон».

Мы стали каждый день играть в такую игру: приходили в торгсину и покупали себе кто что хочет. Сначала выбирали одежду, потом обувь, а под конец еду. У каждого были свои любимые джемперы, туфли, пирожные, и только Севка Плещеев не покупал ничего — ни башмаков, ни джемперов, ни пирожных. Все свои деньги он тратил на фотоаппарат в красивом кожаном футляре.

Он прямо бредил этим аппаратом день и ночь. Несколько раз, напустив на себя рассеянно-солидный вид, он приценивался, просил показать ему аппарат и даже трогал и вертел его, проверяя, как он говорил, фокус.

Севку в конце концов запомнили, и, как он ни изловчался, продавец перестал показывать ему аппарат и уже без церемоний говорил:

— Проходи, проходи, мальчик. Нечего баловаться — это тебе не игрушка!

И вдруг в один день все перевернулось. Нежданно-негаданно мы скачкообразно разбогатели! Теперь нам уже не надо будет больше играть и поку-

пать все это понарошку. Теперь мы сможем купить себе все, что захотим: и пирожные, и конфеты, и даже дорогой, как швейная машина, Севкин фотоаппарат!

Дело в том, что мы нашли золото. Самый настоящий клад, про которые пишут в газетах.

Что с нами творилось, невозможно передать! Мы просто потеряли голову.

Севка стал кричать, что теперь он покажет нахалу продавцу, какой он мальчишка! Он купит эту игрушку. Даже не один, а два фотоаппарата! Второй назло отдаст продавцу — пусть подавится!

Юля умоляла Севку не орать. Ведь еще не известно, действительно ли это золото. А вдруг не золото? Тогда нас поднимут на смех и раззвонят об этом по всей школе.

Она правильно говорила, что надо пойти к специалисту, узнать все точно, а до тех пор обо всем молчать.

Мы так и сделали. Завернули брусок в газету, положили в Юлин портфель и пошли в торгсин.

Но надо же рассказать, что это был за брусок и как мы его нашли.

Мы нашли его под полом в маленькой угловой комнате, где Сима, наша школьная нянечка, хранила свои щетки, ведра и тряпки. Эту комнату после долгих просьб нам отдали под пионерский уголок.

Вернее, нашли его не мы, а рабочие, которые летом, во время каникул, меняли прогнившие полы в классах и коридорах. Даже не так. Рабочие не нашли, а выбросили его. Подняли старые половицы и выбросили весь мусор, в том числе и валявшиеся там железные брусочки.

Сколько всего было этих брусочков — никто не помнил. Тот, что остался, был маленький, гладкий, серо-коричневого цвета, величиной с сургучную палочку. На этом бруске рабочие, пока шел ремонт, выпрямляли гвозди, потом он перешел по наследству к нам. Севка тоже распрямлял на нем гвозди, когда мы приводили в порядок пионерскую комнату.

Сначала никто не обращал на этот брусочек никакого внимания. Но с открытием торгсинов повсюду стали говорить про золото иклады, которые будто бы находят при прокладке водопроводов, сносе старых домов и, что особенно заинтересовало нас, в старых особняках и именно под полами, а также в каминах и печах.

Печей в нашей школе не было — их давно заменили батареями парового отопления, — а старинный паркет был. И именно под таким паркетом лежал раньше наш брусочек. Кто же мог поручиться, что он был не золотой?! Ведь в школе до 1920 года жила старуха Крымчадалова — не то княгиня, не то графиня. Ей и принадлежал этот старый двухэтажный особняк. У нее наверняка, раз она была эксплуататоршей, водилось много золота, и, когда произошла революция, она, конечно, скрыла его от Советской власти. Небось сгребла все свои серьги, кольца, брошки да и переплавил в слитки. А потом упрянула под пол, чтобы вернуться за ними, когда большевики прогонят, и опять понаделает себе брошек!

Севка уверял, что все это происходило именно так. На большой перемене он зазвал нас в пионерскую комнату, велел запереть дверь, залез на шкаф и достал оттуда запрятанный брусок. Севка, оказывается, как только ему втемяшилась эта мысль, отчистил брусок песком, и тот ослепительно засиял.

Юля некстати вспомнила, что дедушкина медная пепельница, когда ее начищали, тоже блестела почти так же, и, не сдержавшись, сказала об этом вслух. Севка обиделся, мы поссорились. Но, успокоившись и поразмыслив, пришли к выводу, что не бывает же таких совпадений: и старинный особняк, и графиня, и паркет, под которым бруски!

Мы решили идти.

По дороге все стали мечтать вслух, что купим на эти деньги. Мы не знали, сколько нам могут дать за брусок, но все надеялись, что на пирожные и шоколадные батончики хватит. Севка же был уверен, что хватит и на фотоаппарат. Ведь именно из-за этого разыгралась та же фантазия и он заболел «золотой лихорадкой».

Принимали золото, оказывается, не в магазине, а совсем в другом помещении — за углом торгсина.

Когда мы все четверо ввалились туда, то растерялись. Солидные люди — мужчины и женщины — стояли в очереди к окошечку, сделанному в стеклянной перегородке. За перегородкой сидели старичок с лупой и две женщины. Одна что-то писала, а другая считала на счетах. Неподалеку от входной двери стоял милиционер с револьвером на боку.

Когда мы вошли, все обернулись и принялись нас рассматривать. Нам стало очень неловко. Мы не думали, что здесь будет так много народу и что придется у всех на виду вынимать и показывать нашу находку.

Севка оправился быстрее всех. Он взял у Юли портфель и, подойдя к очереди, взрослым голосом спросил: «Кто последний?» Это сразу всех успокоило, и на нас перестали смотреть. Мы пришли в себя и принялись наблюдать, что делается вокруг.

Вокруг стояли владельцы золота. И сдавали они его по-разному. Те, кто протягивал в окошечко коронку от зуба, обручальное кольцо или крестик, с гордостью говорили старику с лупой:

— Это настоящее золото!

Те же, что отдавали десятирублевки или толстые браслеты, говорили по-другому:

— Тут вот кое-какое золотишко — прикиньте, пожалуйста.

Старик относился ко всему совершенно безразлично. Он брал в руки все эти вещи без всякого интереса, разглядывал и, повертев немного, клал на железный брусок размером чуть побольше нашего. Потом, безжалостно пикинув напильником по брошке или кольцу, доставал из небольшого пузырька стеклянную палочку и капал на зачищенное место какой-то жидкостью. Севка сказал нам шепотом, что это кислота, — если не золото, металл потемнеет. Рассмотрев смоченное место, старик бросал вещь на весы.

— Это придется убрать, — говорил он, бесчувственно тыча пинцетом в прекрасные, сверкающие разноцветными огнями камни большой брошки.

— Но это же рубины, а вон те, что в лепесточках, настоящий хризолит! — задыхаясь от возмущения, говорил толстый владелец брошки.

— А я разве говорю, что стекло? Возьмите. Мы принимаем без камней. Что у вас? — без паузы обращался он к следующему.

Гражданин соглашался и, трагически махнув рукой, отдавал брошь.

Через секунду брошку нельзя было узнать. Плоскогубцы старика безжалостно сплющивали выпуклую веточку — и рубиновые капельки драгоценных камней сыпались на стол, как простой горох. Оголенную и подурневшую брошку клали на весы, а гражданин переходил к следующему окошечку получать свои боны, то есть торгсиновские «деньги».

Все, оказывается, было очень просто: ты сдавал золото, его брали, взвешивали и — получай деньги!

И все-таки чем ближе подвигалась наша очередь, тем больше мы волновались. Сразу возникла масса проблем: куда, например, лучше положить деньги? Ведь у нас была не пятиграммовая коронка от зуба и даже не десятирублевки. В нашем бруске, наверно, граммов пятьсот, не меньше! В Юлин портфель класть рискованно. И потом — где продержать такую уйму денег до завтрашнего утра?



Мы стали совещаться и так увлеклись, что не сразу услышали, как старичок, приняв золото у стоявшей впереди нас тетеньки, нетерпеливо постучал пинцетом по прилавку, спрашивая, что у нас.

Севка замешкался и никак не мог открыть портфель, а открыв, долго вытаскивал завалившийся за книжки брусок. Наконец он извлек его, вытащил из газеты и, встав на цыпочки, протянул старику ярко блеснувший брусок.

Мы притихли, а в очереди, наоборот, зашумели. Кто-то, покинув свои места в очереди, подошел поближе, чтобы рассмотреть такой необычайный кусок золота, кто-то стал нас расспрашивать, ахать и охать, а кто-то сказал, что дуракам всегда счастье.

В этой суматохе нас совсем оттерли от окошка, и мы не увидели, как рассерженный старичок высунулся из него против обыкновения чуть ли не до половины груди.

— Чья это железка? — крикнул он. — Кто это безобразничает?!

...Но ведь мы не безобразничали. Мы и вправду думали, что она золотая.

### Станция имени Коминтерна

Мы недавно стали вспоминать, как впервые услышали радио. То самое радио, которое мы нынче так беззаботно и легко включаем и выключаем, не прилагая к этому никакого труда.

Разговор зашел из-за Вадика. Последнее время он стал нас изводить. Как только мы, завесив абажур, усаживаемся около нашего старенького «КВН», он заводит свою «пластинку»:

— Разве это телевизор? Это же старая шкатулка! Ничего не видно! Курам на смех!

И так далее, в том же духе... Это у него вступительная часть — так сказать артподготовка. Потом он переходит к основному и исполняет это уже другим голосом. Он начинает подъезжать к бабушке:

— Бабушк, а бабушк! Ну давай купим «Рубин». Или хотя бы «Темп». Ведь ты даже не знаешь, что такое настоящий телевизор!

Вадик обращается к бабушке потому, что она в нашей семье главная. Без нее не решается у нас ни одно важное дело. И еще потому, что Вадикова бабушка — наша мама — питает не женскую слабость ко всяким техническим новинкам и вообще к технике.

Она сама чинит электроутюги, плитки и пробки в квартире, когда они перегорают.

Техника — ее слабость. Если бы не надо было варить обед, ходить на рынок и штопать белье, мать целые дни возилась бы с каким-нибудь старым репродуктором, утюгом или счетчиком. Ничего она так не любит, как доходить до всего своим умом. Она часто повторяет: «Мне бы смолу учиться, я бы вам всем показала!»

Это правда. Мы никогда не перестаем жалеть, что матери не пришлось учиться, — из нее вышел бы толковый инженер.

В войну она всему дому чинила электричество, водопровод и даже канализацию; чуть где испортится — бегут к нам.

— Анна Яковлевна, вода из крана хлещет, всю кухню залило!

Мать платок накинет и бежит. Железным прутом прочистит раковину, вырежет из старой калоши резиновый кружочек, развинтит кран и заменит сносившийся присос новым. Ей скажут:

— Золотые у вас руки!

А она всегда поправляет, ничуть не боясь, что хвастается:

— Руки без головы — плети. Шариком надо варить!

Однажды она купила по случаю старую швейную машинку. Та и недели не прошила — испортилась. Отец пилил ее: купила старье, только деньги зря выбросила!

Мать вздыхала, задумчиво поглядывала на машинку. Потом решила: взяла свои отвертки, стамески, ключики и разобрала все машинные внутренности. Мы пришли, а машинки уже нет. Все колесики, гачки и винтики лежат на разостланной газете, а мать, забыв про все, с веселым отчаянием колдует над нею. Отец так и ахнул: совсем зарвалась старуха!

Дня три она возилась: подпиливала, подтачивала, смазывала и перетирала. Потом начала собирать. Собрала. Села шить — машинка, как параличная, вся трясется, вихляется, вот-вот рассыплется. Никто из нас над матерью не подтрунивал — очень она переживала. Закрывает машинку футляром и не подходит к ней. А потом взяла и опять все развинтила. Когда же наконец добилась своего, весь день хвасталась:

— Ай да баба! Ну и молодец! Своим умом доперла!..

И, не разгибаясь, строчила все подряд, что нужно и что не нужно.

А Вадик между тем все пристает:

— Бабушк, ну ладно. Ты не покупай «Рубин». Ты только сходи посмотри, что это такое. Ведь интересно же!

Вадик хорошо знает свою бабушку: главное — заставить ее увидеть новинку, а там и уговаривать не надо!

Но и бабушка знает свою слабость. Потому она и отбивается.

— Не жужжи и не мешай смотреть, — говорит она. — Никуда я не пойду, и так прекрасно видно.

— Прекрасно! — фырчит Вадик. — Эту старую коробку на помойку пора!

Бабушка начинает сердиться. Слова же про помойку окончательно выводят ее из терпения.

— Ишь ты, барон какой, разжирел больно — на помойку! Забыл, по-ди, как люди вовсе без радио жили!

Вадик издает такой протяжный свист: фью-ю-ю — вона, мол, какую древность вспомнили, — что мы затыкаем уши.

— Ты бы, — говорит он, — еще каменный век вспомнила или как люди по деревьям лазили и огонь из кремня высекали!

— Пустомеля ты, — осуждающе качает головой бабка. — Книжки читаешь, историю проходишь, а в голове каша. Что к чему не соображаешь. Что ж, по-твоему, мы с дедом по деревьям лазили?

— При чем тут вы с дедом! — сердится Вадик. — Вы же в двадцатом веке живете, а не в древности!

В голосе Вадика ни тени юмора. Он не сразу понимает, почему мы раздражаемся дружным хохотом. Он, конечно, знает, что радио изобрели сравнительно недавно. Но в его голове люди, ходившие в латах, и те, что жили без радио и электричества, свалены в одну кучу. Вещий Олег, хозары, Александр Невский, Иван Грозный — эти жили без радио. И это понятно. Но что его бабушка или родная мать, сидящие с ним вместе, за одним столом, жили когда-то тоже без радио — этого он себе представить не может.

Вадик прямо потрясен. Ему это никогда не приходило в голову. Он забывает про «Рубин» и «Темп» и засыпает нас кучей вопросов, один нелепее другого.

— Нет, мам, — говорит он, захлебываясь, — вы не разыгрываете? Правда, вы жили без радио? А как же вы жили? И «Последних известий» не было? И «погоду» не передавали?

— «Погоду» передавали, — смеется бабка. — Фоминишна передавала. Как ноги заломит, говорила — будет дождь!

— Бабушка,— обижается Вадик,— я же серьезно!

— Так ведь и я, дурачок, серьезно. Какая же тебе «погода», если никакого радио не было?

Бабушка теплеет. Она уже не сердится на Вадика, а с грустной нежностью радуется его удивлению. Она и сама удивляется. И мы все тоже.

Неужели и вправду мы жили без радио? И никто не говорил по утрам: «Здравствуйте, товарищи, начинаем урок гимнастики!», и не пел свои милые песенки озорник Буратино, и не били в полночь часы со Спасской башни?..

Но когда же это было? Когда появился в нашей квартире первый детекторный приемник — небольшая черная шкатулка с маленькой пружинкой-хоботком, которой мы в поисках волны часами благоговейно царапали по сверкавшему, как антрацит, кристаллу и умилялись, услышав в наушники тоненький, как мяуканье, человеческий голос?

Никто сразу не может назвать точную дату. Все путаются и сбиваются — время сместило события. Мы начинаем плутать по годам, спорим, сердимся и даже ссоримся. Сестра говорит, что в двадцать четвертом, а я — в тридцатом!

Лучше всех ориентируется бабушка. Как все старые люди, она помнит далекое лучше, чем близкое. Помнит, правда, по своим приметам и ориентирам. Ориентиры эти часто смешные, но всегда безошибочные. Смешные потому, что они у нее одинаковые и для домашних и для мировых событий. Всегда это какой-нибудь выбитый зуб у одного из нас, какие-то разбитые коленки и носы, чьи-нибудь первые длинные брюки или первая получка.

— Ну что ты мелешь! — говорит она мне.— В каком же тридцатом, когда в тридцатом Биржи труда уже не было!

— При чем тут биржа?

— А при том, что Сергей купил приемник за червонец из первой полочки. Стало быть, он уже работал! А на завод его послала биржа — он тогда был безработным.

— Вот видишь! — торжествует сестра.

— И ты врешь! — обрезает ее мать.— Ни в каком ни в двадцать четвертом. В двадцать четвертом Сережа еще учился.— Она начинает считать вслух: в двадцать четвертом учился. Год ходил безработный. В тридцатом биржи уже не было. Должно быть, в двадцать шестом? Она на минуту задумывается, а потом уже уверенно говорит: — Ну, конечно, в двадцать шестом! Ты ведь косу-то отрезала в двадцать шестом? — неожиданно спрашивает она сестру.

— Ну, уж про косу я не помню! — отмахивается сестра.

— Хороша партийная! — возмущается мать.— Не помнишь, когда в комсомол вступала!

Сестра обижается.

— При чем здесь партийная? Ты же про косу, а не про комсомол спрашиваешь! В огороде бузина...

— Бузина бузиной, а косу-то ты ведь отрезала, когда в комсомол записывалась!

— А ведь верно! — восхищенно удивляется сестра.

Вадик сейчас же встречается. Он не может отказать себе в удовольствии сострить, или, как говорит бабушка, «сумничать». Сложив ладони рупором, он объявляет голосом диктора:

— Историки, учитесь, как вытаскивать исторические факты за косу!

Он доволен, что срывает смех, но тут же спохватывается.

— Не буду, не буду! — поспешно говорит он, увидав, что бабушка, обиженно поджав губы, умолкает.— Честное слово, не буду! Что же было дальше? Как же вы все-таки слышали радио?

— Неинтересно это,— с напускным равнодушием говорит бабка,— да и поздно уже.

— Ну, бабушка, ну, пожалуйста! — молит Вадик.

— Не помню я,— упрямствует старуха.

— Неправда, неправда! Не может быть, чтобы ты не помнила! Ну что ты, например, чувствовала, когда впервые услышала в эфире голос? Что говорила?

В бабкиных глазах загорается вдруг озорная искорка — она рада случаю отомстить Вадиду.

— Что говорила — помню!

Вадик — весь внимание.

— Что же?

— Говорила, как сейчас помню: хорошо, что нет этого бузотера Вадика — никто не мешает слушать!

Вадик старательно смеется со всеми — лишь бы мы продолжали вспоминать.

И мы вспоминаем. Вспоминаем Москву с булыжной еще мостовой и громыхающими по ней извозчиками; с кишашей толкучкой Сухаревского рынка и колбасой, которую жарили на гудящих примусах тут же, под ногами у людей; с фонарщиком, гасящим в полночь уличные фонари длинным шестом; с птичьим базаром на Трубной площади, замусоренной овсом и птичьим пометом...

Еще вспоминаются невесты почему ходкие тогда папиросы «Ира», которые продавцы Моссельпрома носили на лотках, подвешенных к шее.

Наконец мы добираемся до радио. Не сговариваясь, все вспоминают сразу одно и то же. Не то, как выглядел первый приемник, и не программы передач, а тетю Полю — тетку, приехавшую к нам в гости из владимирской деревни Доратники. Как мы тогда ее усадили около новенького, только что купленного приемника, как надели наушники и велели слушать, как она сначала весело смеялась, думая, что мы с ней играем, и как потом испугалась, услышав в трубке голос, стала креститься — «Царица небесная! Что же это такое?» — и все озиралась, откуда говорят.

Мать первая перестает смеяться и с присущей ей страстью к справедливости говорит:

— Смеемся, а сами-то тогда были ничуть не лучше Поли — такие же дикари, только что не крестились, а удивлялись не меньше.

Правда, каких только разговоров, анекдотов, куплетов и частушек не пели, не рассказывали, не передавали из уст в уста, когда разнеслись первые вести о предстоящем «внедрении радио в быт трудящихся»!

Мысль о том, что с помощью какого-то провода можно будет, не выходя из дому, слушать человеческий голос, даже целые лекции, или, сидя у себя в комнате, «вызывать» по этому проводу музыку, не заводя при этом граммофона, казалась невероятной.

В клубе пищевиков синеглазники исполняли под веселый хохот зала такие частушки:

Мой миленок загрустил,  
Ему дана дистанция —  
Целоваться теперь надо  
По радиостанции!

У нас на кухне в связи с этим разыгрывался свой «спектакль». Потешали «публику» наши соседи — Василий Терентьич и Пахомыч. Выходя кипятить свой чайник, Василий Терентьич озабоченно спрашивал Пахомыча — владельца граммофона с зеленой трубой:

— Ну как, Пахом Савельич, еще не снес?

Давясь от смеха, Пахомыч говорил:

— Да поясница сегодня чевой-то сильно болела. Боялся — надорву: помойка-то в конце двора, а он, дьявол, тяжелый!

— И не раздумывай, Савельич, и не раздумывай! Граммофоны теперь абсолютно лишняя вещь — только комнату загромождают. Теперь музыка по проводам будет литься, как в водопроводе: краник отвернешь — и польется!

Оба, не выдержав, начинали так весело, так искренне и долго смеяться над этой чепухой, что примус прогорал, не успев разжечься.

И вдруг чепуха оказалась вовсе не чепухой. Никакого краника, правда, не было, и музыка не лилась, как из водопровода. Были наушники, которые мы надевали на голову, как радисты, и была тихая-тихая музыка, плохо слышная еще и потому, что мы поминутно вырывали друг у друга наушники: послушал и хватит — видишь, сколько еще ждут!

Теперь «про миленка» ходила совсем уже другая частушка. Повсюду пели:

Мой миленок очумел,  
Ничего не кушает:  
Трубки на уши надел,  
Радио все слушает!

Вся Москва сидела с наушниками и в иступлении царапала маленькой пружинкой угреватый кристаллик, ловя позывные и дожидаясь волнующих, как музыка, слов: «Говорит станция имени Коминтерна!..»

Мы слушали все подряд: музыку, песни, телеграммы РОСТА. И больше всего именно телеграммы РОСТА — они занимали тогда в программе передач очень большое место. Никого не смущало и не раздражало, что телеграммы передавались по буквам. «Иван, Зоя, Роман, Ольга, Семен, Татьяна, Ольга, Владимир, Анна...» — монотонно, как дьячок, читал диктор, а мы с восторгом детей, сложивших из отдельных кубиков целую картинку, радостно повторяли вслух: «Из Ростова сообщают!»

Горячась и перебивая друг друга, мы вспоминаем новые и новые подробности, а в это время наш неразговорчивый отец — дедушка Вадика — молча сидит у окна и читает газеты. Он читает газеты часа по три: все речи на ассамблеях, статьи «Решающий этап ухода за посевами» и «Политмассовую работу — на уровень новых задач!». Он не участвует в наших разговорах, но, как всегда, слышит все, что мы говорим. Когда мы начинаем спорить о дате, он идет к своей этажерке, сверху донизу забитой газетами и журналами, сложенными и увязанными по годам. Он роется, ищет что-то, находит нужный ему журнал, садится опять на диван и принимается сосредоточенно листать номер. Когда мы, устав от восклицаний, замолкаем, он снимает свои очки и говорит:

— Вот вы весь вечер проговорили, время потеряли. А про это уже давно написано. Н<sup>а</sup> вот, почитай, — говорит он Вадике. — А то так и будешь знать историю по бабкиному календарю!

Вадик берет журнал, вопросительно смотрит на бабушку, та коротко приказывает:

— Читай!

И Вадик читает нам вслух заметку «Первый радиоконцерт»:

«...17 сентября 1922 года в Москве, на Гороховом поле (ныне улица Радио), начала работать первая радиостанция Советского Союза, которой было присвоено имя Коминтерна. Двенадцатикиловаттная московская радиостанция (в то время самая мощная в мире) была спроек-

тирована по личному заданию Ленина известным ученым М. А. Бонч-Бруевичем. Первый транслировавшийся из Москвы радиоконцерт был посвящен русской музыке.

...7 ноября 1922 года,— продолжает читать Вадик,— на улицах Москвы появился необычный автомобиль. Из рупора, который возвышался над кузовом, гремела музыка, хотя музыкантов в машине не было. Это была первая радиопередвижка, сконструированная Наркомпочтелем к пятой годовщине Октябрьской революции. Аппаратура была, конечно, весьма примитивной: музыка и речь сопровождалась свистом и шумом. И все равно — восторгу москвичей не было предела.

...Регулярного радиовещания тогда, как известно, еще не было. Поэтому решили устраивать «радиопонедельники» в больших залах столицы. Первый такой понедельник состоялся в Большом театре 8 сентября 1924 года. Собравшиеся слушали концерт, который передавался по радио из студии станции имени Коминтерна. На сцене была установлена антенна. Здесь же, на маленьком столе, стояла радиоприемная установка, соединенная с мощным усилителем звуковой частоты, который питал рупорные громкоговорители, укрепленные в различных местах зала. Вечер открыл народный комиссар просвещения РСФСР А. В. Луначарский».

Заметка кончалась такими словами: «Как недавно и как давно все это было...»

Вадик задумался. Никто не стал мешать ему. Пусть подумает.

### Синеблузники

Мне позвонила Клава Балашова и вместо приветствия обругала:

— Когда в вашей редакции работают? Как ни позвонишь — все у вас «планерка»! Что вы там планируете? Как сделать свою газетку поскучнее? По-моему, уже хватит. Лично я засыпаю на второй странице...

— Какое совпадение! — говорю я Клаве.— То же самое сказал мне недавно наш общий знакомый: «Чуть, говорит, не заснул на второй странице...»

— Вот видишь! — торжествует Клава.— Пора выводы делать!

— Конечно, пора. «Заснул, говорит, когда читал статью «Музейное дело — на должную высоту!» нашего дорогого директора музея товарища Балашовой К. В.».

Клава добродушно смеется. Трубка весело хрипит от кашля старого курильщика.

— Ладно, ладно, вывернулась. Газетчик! А если говорить по-серьезному, то проезжаешься зря. Меня тема обязывала. Это вам не цирк!

Я охотно соглашаюсь: какой там цирк! Разве в цирке заснешь?

— Ты смотри у меня! — грозитя Клава.— Будешь так язвить — возьму и обижусь. Умолять станете — не напишу!

— Пиши, пиши. Все равно: не напишешь ты, другие напишут. И тоже «на высоком уровне» и «на должной высоте». И тоже будут уверять, что это не цирк.

— Слушай,— говорит Клава,— отвяжись ты со своей газетой. И шут меня дернул начать! У меня работы по горло: люди ждут, выставка горит и к тебе срочное дело. Переворачивай пластинку!

— А-а, переворачивай! Не надо ханжить! Ну говори, какое дело?

— Ладно, сдаюсь! — говорит Клава.— И, если хочешь знать начистоту, я с тобой согласна! Пишем больше для «галочки». Пора с этим кончать. Дело вот какое: ты ребят наших видишь или всех растеряла?

— Вижу, а что?

— А кого именно?

— Ну, Сашку Павлищева, Зяму, Симу Маслову, Катю с Рубинчиком...

— Так-так,— радуется Клава.— Очень хорошо. Ты можешь их обзвонить? Прямо сегодня?

— Могу. А что за пожар?

— Мне нужна блуза,— жалобно говорит Клава.— Обшарили, понимаешь, всю Москву. Искала я, искали мои сотрудники — того, что мне надо, нет! Вся надежда на ребят!

Я ничего не понимаю и сержусь: какая блуза? Почему мы должны заниматься Клавиными туалетами? Что за барство?

Клава сердится:

— Ты что, в своем уме? При чем тут мои туалеты? Мне же синяя блуза нужна. Для музея. Как экспонат — на выставку «Сорок лет комсомола»...

Вот тебе на! Оказывается, мы уже история! И Сашка Павлищев, и я, и сама Клава. А наши синие толстовки, наша форма участника комсомольской самостоятельности — музейные экспонаты! Как бивни мамонта!

— Сравнила! — возмущается Клава.— Да я бы эти клыки мешками грузила!

Да-а! Я от души сочувствую Клаве. Где теперь разыщешь эту злощастную синюю блузу? Никому и в голову не приходило, что наша сабиновая одежда понадобится истории.

— Ты все-таки обзвони ребят. Вдруг у кого-нибудь сохранилась. И у себя порыйся — может, какой-нибудь документ найдешь. Ты пойми, ведь кроме нас рассказать об этом некому. Умрем, так ничего толком и не будут знать. А ведь это целая эпоха! Ну идет, что ли?

Я рылась весь вечер в пожелтевших папках и заветных ящичках, вороша прошлое. Для музея вроде ничего не подходило. И вдруг я наткнулась на фотографию — вся наша «Синяя блуза». В полном составе и во всех своих боевых доспехах: в форме, с плакатами и лозунгами. Все какие-то очень стриженные, очень лупоглазые, с оголтело-самозабвенными лицами.

Некоторых я узнаю сразу: вот Сима Маслова, Катя Преснякова, Ефим Рубинчик. На девчатах красные косынки, у черноволосого курчавого Ефима веревочная борода от подбородка до живота. Ефим — дед-раешник. Их номер назывался «Работница и новый быт» и «Частушки курьезные, антирелигиозные». Сначала запевали девчата:

Раньше женщина была  
Рабой подначальной,  
А теперь вступила в бой  
С кухней и со спальнею...

Потом включался дед, который свой текст не пел, а декламировал:

Теперь я уже во всю глотку бухну:  
Долой частную кухню!  
Для нового быта —  
Долой примус и корыто!

Затем дед вскидывал висевшую у него на груди балалайку и, лихо ударив по струнам, спрашивал девчат под звуки «Камаринской»:

Что нам бог дал?

Девчата мотали головами и отвечали нараспев:

Ни-че-го!

Продолжая тренькать, дед спрашивал, подсказывая:

Надо, стало быть, его?..

Девчата с силой рублили воздух руками и в один голос гаркали:

Аннули-и-ровать! Аннули-и-ровать!

Взявшись за руки, все трое подбегали к рампе и кричали в публику: «Товарищи! Довольно пялить глаза на иконы и образа!..»

А это кто? Не узнаю. Худосочная большеротая девочка, на груди, от плеча к плечу, как пулеметная лента, плакат. Что такое на нем написано? Буквы вышли не все, разобрать трудно. Ага, кое-что видно: «Ж..щи..а! Не будь ..рой! ..ани..ся физ..ль..ур..й!» Я валюсь от смеха на стол. Вспомнила! Не разобрала, а именно вспомнила. Это же нынешний директор музея Клавдия Васильевна Балашова, Клавочка! А на груди у нее лозунг. Она выкрикивала его, становясь в позу идущего в бой гладиатора: «Женщина! Не будь дурой! Занимайся физкультурой!» И маршировала под музыку, не очень ловко делая на ходу вольные упражнения...

Вот еще двое: один в цилиндре, с моноклем в глазу, другой в кепке, с большим портфелем в руке. Это Пуанкаре и Чичерин — то есть Сашка Павлищев и Зяма Крейн, — гвоздевой номер одной из наших программ. Назывался он «Премьеры и два «Ч». Премьеров было четверо: Макдональд, Пуанкаре, Штреземан и Кулидж. Все четверо грозились заморить нас голодом, объявить блокаду, не дать займов. Мы же отвечали, что ничего этого не боимся. У нас есть теперь два «Ч»: червонец, который стал прочным, и наркоминдел Чичерин — мастер давать акулам империализма достойный ответ. И он его тут же давал. Когда зарвавшийся «Пуанкаре» пел на мотив «Пупсика»: «Вам заем необходим, а мы денег не дадим», — «Чичерин», не моргнув глазом, отвечал ему так:

Эй вы, паразиты! Охраняете богачей чертоги?

Довольно, попили нашей кровушки — прочь с дороги! —

и пускался отбивать чечетку, напевая под звуки популярной тогда песенки «По улицам ходила большая крокодила» следующие куплеты:

Буржуй, ты смотришь гордо?  
Смотри ж, не морщи лоб.  
Мы всем готовим лордам  
Хороший, крепкий гроб...

Я узнала всех и вспомнила все: кто кого изображал, кто как одевался, у кого какие были привычки, кто в кого был влюблен. Я вспомнила, как пахла подгоревшая пшенная каша, которую мы ели в столовой по три раза в день. Песни, которые пели: «Наш паровоз, вперед лети, в Коммуне остановка...» Дискуссии, на которых орали до хрипоты: «Этично или неэтично комсомольцу носить галстук, а комсомолке мазать губы?» и «Когда произойдет мировая революция?»...

Я смотрела на юного, милого, курчавого Ефима, похожего со своей веревочной бородой на веселого сумасшедшего, и вспоминала, как мы прорабатывали его на ячейке «за проявление гнилой, мелкобуржуазной



храбрости». Он тогда, как говорил Сашка, «хорошенький нам вышел кошелечек» — улегся, на спор, между рельсами железной дороги в Пушкино, куда мы поехали выступать у текстильщиков со своей «Синей блузой», и пролежал под составом товарного поезда, пересчитав, как и пообещал, все до одного вагона. Он мог бы и не считать. Та, которая по уговору должна была его контролировать, — жестокая и прекрасная Бекки Тэчер, то есть Катя Преснякова, — лежала ничком на насыпи и рыдала навзрыд... Это Сашка Павлищев, без памяти любивший Ефима, назвал его тогда «мелкобуржуазным, гнилым храбрецом». «Ты, — говорил он, — докатишься таким путем до того, что начнешь девицам букеты преподносить». За эту формулировку — «Объявить выговор за проявление гнилой, мелкобуржуазной храбрости» — мы и проголосовали тогда единогласно...

А сам Сашка — наш синемолочный вожь! Тоже был хорош! Его заносило еще почище Ефима! Какую вдохновенную чепуху нес он, бывало, когда мы уже за полночь возвращались после репетиции из клуба домой!

— Этот старый, пыльный балаган надо снести к чертовой бабушке! — гремел он, тыча не очень чистым пальцем в сторону безмятежно белеющих колонн прославленных театров. — Все эти шелка, бархаты, плащи и шпаги, козетки и пуфики (особенно он налегал почему-то именно на эти пуфики)! Кому нужно это отжившее барахло? «Синяя блуза» — вот театр будущего!..

Тут же, на площади, он начинал, а мы подхватывали наш знаменитый марш:

Знает дорогу «Синяя блуза»:  
С красными — в ногу, белого — в пузо!  
Мы синемолочники, мы профсоюзники,  
Мы не бояны-соловьи.  
Мы только гайки в великой спайке  
Одной трудящейся семьи!

Из таких вот двенадцати гаек — шести парней и шести девчат — и состояла наша фабричная «Синяя блуза» — самостоятельный народный театр двадцатых годов.

Никому, разумеется, и в голову не приходило принимать нас за боянов или соловьев. Мы и сами сознавали, что до боянов нам далеко. В первых, мы не умели как следует ходить по сцене — сильно мешали две, вернее, четыре детали: руки и ноги. Почему-то они не увязывались с туловищем, а все вместе — с музыкой. Получалось не совсем складно. Во вторых, мы очень конфузились на сцене. Из-за этого часто забывали текст, сбивались, толкали друг друга в бок или дергали за рукав. Зрители, правда, на нас не обижались, а даже подбадривали. Сколько раз, когда забыв свой текст, кто-нибудь из нас одеревенело стоял, не в силах произнести ни одного слова, нам добродушно кричали из зала: «Дочка (или сынок)! Не тушуйся, валяй дальше!»

Со временем мы, конечно, понаторели: забыли про руки и ноги и держались на сцене, как у себя в ячейке. Без запинки выдавали длинный стихотворный текст, ловко карабкались друг другу на плечи, сооружая замысловатые пирамиды, и все до одного лихо отбивали четкетку — знаменитый танец двадцатых годов.

Без нее не обходилась ни одна программа. Четкоткой сопровождалось всё: куплеты про «Антанты спесь», частушки «Пусть нэпач с досады дохнет» и лозунги про «Всероссийскую чистку»: «Вычистила я в момент ненадежный элемент, во!» (Сима, на груди у которой висела надпись «Я — Всероссийская чистка», после слова «во!» делала угрожающий вы-

пад ногой, как солдат на смотру, и колола воображаемым штыком воображаемый элемент.)

Плохо было с музыкой. Революционных песен не хватало, да и не каждую можно было приспособить к нашему тексту и нашим персонажам. Использовали всё: старинные русские песни, цыганские романсы, опереточные куплеты и даже шансонетки. Со временем за каждой группой героев закрепился свой мотив. Акулы империализма и буржуазные министры излагали свои ультиматумы под звуки «Камаринской» или «Разлука ты, разлука...». Попам, спецам, нэпманам полагалось «разоблачаться» под звуки оперетт или цыганских романсов.

...Эх, ребята, ребята! Грех не написать про вас. Чемберлена вы ненавидели больше собственной мачехи (как Сашка Павлищев). Резолюции о борьбе с мещанством подкрепляли отрезанными косами (роскошными косами Кати Пресняковой!). Имена детям придумывали сообща, всей ячейкой: ДА-ешь МИ-ровую Р-волюцию — Дамир Маслов... Молодец Клава, что расскажет обо всем этом в своем музее.

\* \* \*

В торжественном и строгом, как церковь, музейном зале, на элегантных алюминиевых распорках, под стеклом, висит старенькая синяя блуза. Несколько пятен — не то от масляной краски, не то от грима — и прожженный рукав (небось курил на репетиции!) придают ей романтический вид. Подпись, обрамленная рамкой, гласит: «В середине двадцатых годов в нашей стране возникла своеобразная форма самодеятельного народного творчества, так называемая «Синяя блуза» — театрализованные коллективы, создававшиеся из числа молодежи на фабриках, заводах, а также в учебных заведениях и получившие свое название от формы одежды: широкого покроя кофты типа толстовки. Коллективы «Синей блузы» несли в массы...»

Я морщусь, как от зубной боли, читая все это. А навстречу нам спешит Клава, узнав, что мы всей старой компанией ввалились в музей.

Ефим, у которого теперь уже не веревочная, а настоящая борода, смеется и кричит через весь зал:

— Привет товарищу Балашовой! Поднимем известное нам дело на известную высоту!

— Тихо ты,— говорит Клава,— это же все-таки музей!



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

М. ФОФАНОВА

★

## КАК РОЖДАЛСЯ ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ

**П**амятный выход Владимира Ильича из конспиративной квартиры...<sup>1</sup> Вернулся он с большим опозданием и весь в грязи — оказывается, у самого дома столкнулся с ночным патрулем. Проверка документов прошла благополучно, но Владимир Ильич, истинный конспиратор, не желая показать дом, куда он направлялся, прошел мимо и, намереваясь обойти подальше, забрел в болотистую низину, из которой насилиу выбрался. К тому же в ту ночь был сильный дождь. Наутро, за завтраком, Владимир Ильич возмущался, разносил Петроград: «Столица такого огромного Российского государства, и не имеет элементарнейшего благоустройства — хороших тротуаров».

Пришлось пожурить Владимира Ильича. Ведь мы ему в первый же день показывали из окна столовой проходящее рядом полотно Финляндской железной дороги и предостерегали, что в том направлении, влево от дома, местность значительно понижается, очень сыро — даже летом не просыхают по соседству канавы и лужи. Там раздолье для домашних уток, но людям ходить по обе стороны насыпи не рекомендуется: можно угодить в глубокую канаву или даже в трясицу.

Пришлось в тот же день спешно приобретать калоши.

Помню, за обедом Владимир Ильич, пересказывая газетные новости, сообщил мне, что новый министр земледелия Семен Маслов вносит во Временное правительство законопроект о передаче земель сельскохозяйственного значения в ведение земельных комитетов.

— Необходимо, Маргарита Васильевна, достать номер газеты «Известия Всероссийского совета крестьянских депутатов». Вышел он еще в августе. Там помещен «Примерный наказ» двухсот сорока двух крестьянских обществ, доставленный на Первый Крестьянский съезд.

Купила много номеров этой газеты, но газету с наказом смогла достать только дня через три-четыре...

После 10 октября наступили для Владимира Ильича трудные, полные забот и волнений дни. Поскольку не было среди членов ЦК нашей партии полного согласия по вопросу о вооруженном восстании, необходимо было пошире обсудить этот вопрос с петроградским партийным активом. Одновременно началось обсуждение масловского земельного законопроекта — и в Совете крестьянских депутатов, и в «предпарламенте», и во Временном правительстве, и в ЦИКе. Ко всем заботам добавилось раздражение, вызванное перепиской с Зиновьевым, который был настроен панически.

---

<sup>1</sup> Это был третий по счету выход — 10(23) октября 1917 года, на заседание ЦК. Заседание происходило на Карповке, д. 32, кв. 31. Там была принята по докладу Владимира Ильича первая резолюция о вооруженном восстании. В. И. Ленин, нелегально возвратившись в Петроград из Выборга, поселился на квартире автора публикуемой нами статьи — М. В. Фофановой.

Помню, как Владимир Ильич, прочитав принесенную ему в те дни от Зиновьева записку, швырнул ее прямо из коридора на стол в столовую со словами: «Расплакался, как слонявая баба!» — и, обернувшись ко мне, произнес: «Извините, Маргарита Васильевна».

Газета с «Примерным наказом» была принесена Владимиру Ильичу утром 16 или 17 октября. Вернувшись к обеду и отворяя еще первую входную дверь, я услышала пение в квартире, а когда открыла вторую дверь, пение Владимира Ильича послышалось уже в прихожей, подле самой двери.

Едва я вошла, Владимир Ильич, еще не дав мне снять пальто, спросил:

— Почему вы сегодня так долго? Я вас заждался.

Смотрю на часы: двадцать минут пятого, обычно я прихожу в половине пятого.

— А что? Случилось что-нибудь?

Так и не давая мне раздеться, Владимир Ильич за плечо тянет меня в столовую.

Что такое?! На столе в столовой полно газет. Это было необычное зрелище. Всегда Владимир Ильич занимался в своей комнате и только после завтрака ненадолго выходил с газетами в столовую, пока я прибирала его комнату.

Гляжу, сверху лежат «Известия крестьянских депутатов» № 88.

Владимир Ильич, восхищенно тыча пальцем в «Примерный наказ» — пункт за пунктом, — восклицает:

— Нет, вы только посмотрите, чего хотят мужички: конфискации всей помещичьей земли с живым и мертвым инвентарем без выкупа! А мы вот что сделаем: положим их наказ на основу декрета о земле и посмотрим тогда, как левые эсеры посмеют отказаться!

После обеда Владимир Ильич не ушел отдыхать к себе в комнату, как делал всегда, а заставил меня читать вслух «Примерный наказ». Он то и дело прерывал чтение, восторгаясь наиболее интересными пунктами.

Вот третий пункт: «Земельные участки с высокими культурными хозяйствами... не подлежат разделу, а превращаются в показательные и передаются в исключительное пользование государства или общин».

То же и в четвертом пункте: «Конские заводы, казенные и частные племенные скотоводства и птицеводства и проч. конфискуются, обращаются во всеародное достояние и переходят либо в исключительное пользование государства, либо общины, в зависимости от величины и значения их».

— Смотрите, какая это прекрасная вещь! Вот это и будет нашей лазейкой, через которую мы перекроим эсеровскую социализацию...

В тот вечер мы поздно разошлись по своим комнатам. Владимир Ильич был в приподнятом настроении, почти не сидел, много ходил, вставлял реплики, а под конец, ударяя рукой по газете, воскликнул:

— Нет, левые эсеры пойдут сейчас с нами!

Восемнадцатого октября, вернувшись к обеду, я застала у нас Надежду Константиновну. Она пришла, беспокоясь о том, как подействовало на Владимира Ильича повое штрейкбрехерство Зиновьева и Каменева, не слишком ли он переживает. Ведь они сегодня поместили свое предательское письмо в «Новой жизни».

Но, оказалось, Владимир Ильич так был поглощен законопроектом, опубликованным в тот же день в «Деле народа», что даже еще и не успел прочитать «Новую жизнь».

Читал он «Новую жизнь» уже после моего возвращения у себя в комнате. Как видно, обсуждали прочитанное с Надеждой Константиновной довольно возбужденно: шум доносился в столовую.

Выбежал из комнаты, быстро заходил по коридору и столовой, гневно кидая реплики: «Нет, это же измена», «Выболтали! И как? В непартийной газете!»

Долго не мог успокоиться, не слышал моих приглашений к обеду. Все же хотя и поздно, но пообедали.

Утром Надежда Константиновна сказала:

— Всю ночь не спал. Писал письмо большевикам.

Это было письмо, обсуждавшееся на заседании ЦК 20 октября 1917 года. Штрейкбрехеры были осуждены. Каменева вывели тогда из состава Центрального Комитета.

И все же бессонная ночь не помешала Владимиру Ильичу с утра 19 октября снова приняться за «Дело народа». Уже за завтраком он сообщил, что центральный комитет партии эсеров принял масловский законопроект и предлагает всем своим партийным организациям развернуть энергичную агитацию в пользу законопроекта, популяризируя его в массах.

Видно было, что Владимир Ильич сосредоточенно занят земельным вопросом. Все обдумывает: мимо нельзя проходить, надо действовать, надо разъяснять массам новый обман крестьян.

Двадцатого октября он пишет статью «Новый обман крестьян партией эсеров». Она появилась 24 октября в «Рабочем пути». В этот день типография газеты подверглась налету юнкеров, которые успели уничтожить значительную часть тиража «Рабочего пути», прежде чем подоспевшие революционные солдаты вышвырнули их из типографии. Таким образом, статья дошла лишь до малого количества читателей, и поэтому по просьбе Владимира Ильича ее напечатали в «Рабочем пути» снова — 25 октября.

В те дни газеты Временного правительства публиковали много туманных материалов по вопросу о земле. Впрочем, как ни были эти материалы туманны, читая их внимательно, несложно было понять, что эсеры не собираются посягать на помещичьи земли и включать их в так называемый «арендный фонд».

Как часто приходится испытывать сожаление по поводу того, что так мало сохранилось до наших дней подлинных рукописных материалов, отражающих бурные события Октябрьской революции. Приходится обращаться к комплектам газет, печатным листовкам, воззваниям, плакатам. Правда, это тоже, конечно, подлинные свидетели эпохи, но рукописный материал — совсем другое. Рукопись очень много дает: перед тобой как бы возникает и образ человека, писавшего эти строки...

В подмогу своей памяти я знакомилась недавно в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС с протокольной записью Второго съезда Советов.

Читая эту запись, я вспомнила весь день 25 октября (7 ноября) 1917 года...

С Выборгской стороны, из райкома, мы большой группой приехали на грузовой машине в Смольный и как раз попали на заседание Петроградского Совета. Выступал Ленин — выступал открыто, впервые после подполья.

После заседания — вернее, незадолго до окончания его — Женя Егорова (секретарь Выборгского райкома) дала мне поручение сменить товарища, который раздавал литературу солдатам и депутатам съезда. Потом я отправилась на первое заседание Второго съезда Советов.

Съезд открылся в десять часов сорок минут вечера.

Заседание происходило в то же время, когда длилась еще осада Зимнего дворца.

Все нервничали. Нам казалось, что слишком долго нет известия о взятии Зимнего. Было тревожно: все ли там ладно? Правые паниковали преувеличенно шумно, скандалили, уходили, снова возвращались, опять, что-то кричали. И в этой накаленной атмосфере раздался четкий голос представителя латышских стрелков товарища Петерсона:

— Латышские стрелки неоднократно мне заявляли: «Ни одной резолюции больше, нужны дела, нужно взять власть в свои руки». Пусть они уходят, — Петерсон протянул руку в сторону правых, — армия не с ними.

До перерыва успел выступить Камков с заявлением от имени левых эсеров:

— Правые эсеры ушли со съезда, но мы, левые, остались.

Предвидение Владимира Ильича оправдалось. До поры до времени левые эсеры солидаризировались с большевиками. Заседание возобновилось в три часа десять минут ночи. Объявили о взятии Зимнего, об аресте Временного правительства и о przeprowadении арестованных в Петропавловскую крепость. Что тут было!..

Заседание закрылось в шесть часов утра.

В своих воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевич упоминает, что после взятия Зимнего Владимир Ильич ушел к нему на квартиру. А Надежда Константиновна в своих воспоминаниях пишет: «... не мог заснуть, тихонько встал и стал составлять давно уже продуманный со всех сторон декрет о земле».

Мне вспоминается еще рассказ Владимира Павловича Милютина. На одном из заседаний коллегии Наркомзема в 1919 году он вспомнил о первом земельном декрете Советской власти и рассказал мне, как Владимир Ильич редактировал этот декрет в Смольном, в комнате № 18. Милютин присутствовал при этом. Он был назначен комиссаром земледелия 26 октября 1917 года. Вечером того же дня, в девять часов, открылось историческое заседание Второго съезда Советов, на котором был принят Декрет о земле.

Зал был переполнен — как говорится, некуда было яблоку упасть. Все с нетерпением ждали выступления Ленина.

Наконец председатель предоставил Владимиру Ильичу слово по докладу о мире. Грандиозная овация.

В это время товарищи сообщили мне, что меня разыскивает Мария Ильинична. Она ожидала в коридоре, у дверей зала. Насилу-насилу я туда выбралась, разыскала в толпе Марию Ильиничну — оказалось, Владимиру Ильичу срочно необходим для доклада о земельном декрете памятный 88-й номер «Известий крестьянских депутатов» с наказом. Меня долго не могли разыскать. Мария Ильинична с ключами, полученными от Владимира Ильича, уже ездила ко мне на квартиру, но газету не нашла.

Срочно вместе с ней снова поехали ко мне домой и вернулись с газетой в Смольный, когда Владимир Ильич уже начал делать доклад о земле. Помню, я с невероятным трудом протискивалась по забитому людьми проходу и только с помощью матросов и солдат наконец пробралась к трибуне. Помню, как, обойдя трибуну сзади, я поднялась и молча передала Владимиру Ильичу газету. Он взял ее у меня, продолжая говорить, и так и остался с газетой в правой руке. Потом он прочитал по газете второй раздел «Примерного наказа» о земле, состоящий из восьми параграфов. А затем огласил пятый пункт декрета.

Раздались голоса из зала:

— Да ведь это составлено эсерами!

Владимир Ильич, размахивая газетой, веско сказал:

— Пусть так. Не все ли равно, кем... Мы верим, что крестьянство само лучше нас сумеет правильно, так, как надо, разрешить вопрос. Суть в том, чтобы крестьянство получило твердую уверенность в том, что помещиков в деревне больше нет...

Двадцать шестого октября в два часа ночи Декрет о земле был принят всеми голосами против одного, при восьми воздержавшихся.

После голосования в президиум съезда поступил протест от исполнительного комитета Всероссийского совета крестьянских депутатов по поводу ареста двух членов исполкома — Маслова и Салазкина.

Когда протест был зачитан, из зала выступил крестьянин, который заявил:

— Не останавливаться, а арестовать весь исполнительный комитет Крестьянского совета, потому что там сидят не крестьянские представители, а кадеты. Они не защищают народные интересы, а предают их. И место им — в тюрьме!

Вот это был настоящий глас народа!

Вторую ночь в Смольном никто не спал. Не припомнишь всего, что приходилось делать. С утра 27 октября делегаты съезда стали разъезжаться на места, а мы с группой товарищей из Выборгского района хлопотали о литературе, газетах, чтобы успеть всех отъезжающих снабдить новыми декретами — о мире, о земле — и другой литературой.

Днем, часа в два-три, подошла ко мне Мария Ильинична, отвела в сторону и предложила поехать вместе с ней в магазин, чтобы срочно купить для Владимира Ильича шубу и шапку. Погода уже была холодная, а одет был Владимир Ильич не по сезону легко.

Сначала мы с ней поехали к Анне Ильиничне на Петроградскую сторону, чтобы взять деньги, а потом в «Деловой двор» на Мойке. Это был большой магазин муж-

ского платья и одежды. Выбрали мы там недорогую шубу с каракулевым воротником-шалью (большого-то выбора по нашим деньгам не было) и такую же каракулевою шапку-ушанку. Немного денег осталось, и Мария Ильинична предложила купить еще шапку-ушанку для Надежды Константиновны. Я не согласилась, считая, что, не посоветовавшись с нею самой, шапку покупать не стоит. Выбрала вязаный шерстяной жилет с рукавами и предложила Марии Ильиничне купить его Владимиру Ильичу. Мария Ильинична усомнилась:

— Володя все равно такие вещи носить не будет, рассердится только.

Я убедила ее — жилет был куплен и очень пригодился осенью 1918 года, после ранения.

Домой я попала только днем 28 октября. Квартира не топлена, не убрана. Три ночи прошли без сна.

Двадцать девятого октября пораньше утром приготовила обед, с тем чтобы отнести еду в Смольный — для Владимира Ильича и Надежды Константиновны.

Итак, новая работа, новые обязанности — в Смольном, по всяким поручениям Владимира Ильича.

А общая обстановка — напряженная, тревожная.

Для партии большевиков вопрос о преодолении влияния эсеровщины на широкие крестьянские массы был решающим. Обеспечение союза рабочего класса и беднейшего крестьянства являлось программным для победы пролетарской революции. После Октябрьского переворота декреты, принятые Вторым съездом Советов, должны были стать достоянием широких масс рабочих и крестьян. Владимир Ильич сам составил брошюру под заглавием: «Как обманули народ социалисты-революционеры и что дало народу новое правительство большевиков». Брошюра эта состояла из специально написанного Владимиром Ильичем предисловия, в котором крестьянам предлагалось самим сопоставить и сравнить земельные законопроекты эсеров и Декрет о земле нового рабоче-крестьянского правительства. Текст эсеровского законопроекта «Об урегулировании земельными комитетами земельных и сельскохозяйственных отношений», опубликованный в газете «Дело народа» 18 октября 1917 года, был приведен в брошюре полностью. Затем шла статья Владимира Ильича «Новый обман крестьян партией эсеров», написанная 20 октября 1917 года и, как было сказано выше, дважды напечатанная в «Рабочем пути» — 24 и 25 октября.

В заключение под заголовком «А вот что дало народу правительство большевиков» в брошюре был дан Декрет о земле, принятый на Втором съезде Советов рабочих и солдатских депутатов.

Брошюра эта была издана в серии «Солдатской и крестьянской библиотеки».

В XXXVI Ленинском сборнике, вышедшем в конце 1959 года, на странице 15 помещен план приложений к листовке, написанный Владимиром Ильичем по случаю внесения во Временное правительство министром земледелия Масловым законопроекта «Об урегулировании земельными комитетами земельных и сельскохозяйственных отношений». Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС пометил этот документ 20 октября 1917 года, то есть отождествил дату работы над листовкой с датой написания статьи «Новый обман крестьян партией эсеров».

Я полагаю, что дату работы над листовкой было бы правильнее обозначить 18—20 октября. В течение нескольких дней Владимир Ильич изучал и обдумывал весь материал по эсеровскому законопроекту. Начиная с 16—17 октября он изучал «Примерный наказ», 18 октября читал в газете «Дело народа» законопроект Маслова, а 20 октября писал статью.

Придавая огромное значение крестьянскому вопросу в целом, Владимир Ильич всегда считал необходимым давать разъяснения массам в доходчивой форме, о чем и свидетельствует план листовки без заглавия в четырех разделах:

«I. Чего хотят крестьяне?»

Полный текст «примерного наказа» из № 88 «Известий Крестьянских Депутатов» от 19 августа.

## II. Как обманула крестьян партия эсеров?

Полный текст той части проекта эсеров, их министра Маслова, которая напечатана в «Деле Народа» от 18 октября (страница 4-ая).

## III. Чего требуют большевики для крестьян?

Полный текст резолюции Апрельской конференции РСДРП, большевиков, об аграрном вопросе.

IV. «Помещики снюхались с кадетшками» — ценное признание «Дела Народа» (прилагаемая статейка).

Только Ленин, глубочайший пропагандист, мог в такое время, как самые первые дни после взятия власти, заниматься составлением пропагандистских листовок для деревни.

Вспоминается его изумительное по силе убеждения выступление на VIII съезде партии 23 марта 1919 года. Указав на громадное агитационно-пропагандистское и организационное значение советских декретов, он сказал: «..если бы мы отказались от того, чтобы в декретах наметить путь, мы были бы изменниками социализму. Эти декреты, которые практически не могли быть проведены сразу и полностью, играли большую роль для пропаганды. Если в прежнее время мы пропагандировали общими истинами, то теперь мы пропагандируем работой... Наш декрет есть призыв, но не призыв в прежнем духе: «Рабочие, поднимайтесь, свергайте буржуазию!» Нет, это — призыв к массам, призыв их к практическому делу. Декреты, это — инструкции, зовущие к массовому практическому делу. Вот что важно».

## К. ЗЛИНЧЕНКО

★

## ЛЕНИН И РАБОТНИКИ ПЕЧАТИ

В 1918 году организовался Союз советских журналистов — самый молодой профсоюз в молодой Советской республике. Он объединил в своих рядах газетных и издательских работников. К нему примкнули — поскольку в то время не было соответствующих профсоюзов — писатели, поэты, критики, художники и ученые, стоявшие, как тогда говорили, на платформе Советской власти.

Одним из первых членов Союза советских журналистов был В. И. Ленин. Письмо его о желании вступить в союз, насколько помнится, было кратким, оно содержало в себе приветствие союзу как одному из первых огрядов интеллигенции, ставших целиком и полностью на службу рабочему классу<sup>1</sup>.

Для вступления в Союз журналистов требовалось заполнить анкету; кроме того, была отдельная анкета литературно-художественной секции. Возник вопрос: послать ли Владимиру Ильичу для заполнения анкету? Решили, что члены комитета Антонов и Злинченко лично обратятся с этой просьбой к В. И. Ленину.

Заседания ВЦИКа проходили тогда в малом зале гостиницы «Метрополь». Чтобы встретить Владимира Ильича, пока он не занял своего места в президиуме, мы

Злинченко Кирилл Павлович (1870—1947) — публицист, сотрудник дореволюционных партийных изданий, в 1905—1917 годах живший в эмиграции. Вернувшись на родину после Октябрьской революции, стал одним из активных организаторов советской печати.

Воспоминания написаны в 1940 году и взяты из личного фонда автора (ЦГАЛИ, ф. 217, ед. хр. 17, лл. 1—9). Публикуются в сокращенном виде. Публикация подготовлена Н. Родионовым.

<sup>1</sup> Заявление В. И. Ленина в Союз советских журналистов опубликовано в газете «Правда» от 24 октября 1918 года. Анкета, о которой говорится дальше в воспоминаниях, не сохранилась.



расположились у двух входных дверей Владимир Ильич вошел через дверь, около которой ждал Антонов. На просьбу заполнить анкету Владимир Ильич, улыбаясь, ответил:

— А без анкеты нельзя?

Все же вынул перо и тут же, поставив ногу на стул и положив папку с анкетой на колено, начал писать. Анкета состояла из вопросов о годе и месте рождения, происхождении, образовании, месте работы, журналистском стаже и проч. Припоминаю некоторые из ответов Ленина. На вопрос о журналистском стаже до Октябрьской революции Владимир Ильич написал: «25 лет». На вопрос: «В каком органе печати работаете в настоящее время?» — «В «Правде». На вопрос об отношении к Советской власти Владимир Ильич написал: «Большевистско» и пояснил в скобках. «(Диктатура пролетариата)».

Кончив заполнение анкеты, Владимир Ильич прошел через весь зал и вышел в другую дверь. Тут я его встретил и попросил заполнить анкету писательской секции союза. Владимир Ильич с комическим ужасом замахал руками.

— Опять анкета! Но ведь я только что заполнил.

Я не стал объяснять, что это другая анкета, и предпочел не настаивать на ее заполнении.

Владимир Ильич очень тепло относился к работникам печати. Вспоминается такой эпизод.

Обычно редакции газет заканчивали свою работу в субботу, в воскресенье они не работали, и газеты по понедельникам не выходили. Начало левозсеровского мятежа — 6 июля — совпало с субботой. В этот день, около шести часов вечера, Владимир Ильич лично позвонил в «Правду» и «Известия», предложив установить ночное дежурство и обеспечить выход газет и в понедельник.

Было два часа ночи, очередной номер «Известий» спущен в машину. Неожиданно в редакцию вошел Ленин. Приветливо здороваясь с дежурными сотрудниками, он спросил:

— Ну, какие у нас сведения о ликвидации восстания? К утру с авантурой будет покончено!

Владимир Ильич провел в редакции около получаса. В разговоре он объяснил, как левоэсеровская борьба против Брестской передышки привела «левых» фразеров к логическому концу — преступной аванюре.

Когда Владимир Ильич собрался уезжать, Антонов попросил разрешения записать эту беседу и напечатать ее экстренным приложением к «Известиям» днем 7 июля. Мысль Владимиру Ильичу понравилась.

— Экстренное приложение? Да, да! — воскликнул он с живостью — Надо держать народ в курсе событий, немедленно опубликовать сообщение о ликвидации левозсеровской авантюры! Можно будет поместить и беседу.

Через час Антонов позвонил в Кремль, чтобы согласовать написанную беседу.

— Владимир Ильич извиняется, что не может подойти к телефону, — сказала Л. А. Фотиева. — Он разрешает печатать без согласования с ним.

Запись беседы была опубликована в газете 8 июля.

Еще характерный штрих. Утром 7 июля мотоциклист привез в редакцию корзинку с продуктами. Передавая корзинку, он сказал:

— От товарища Ленина сотрудникам «Известий».

В такой серьезный момент, как ликвидация контрреволюционного мятежа, Владимир Ильич нашел время трогательно позаботиться о дежуривших всю ночь рядовых сотрудниках газеты.

Комитет Союза журналистов и литературно-художественная секция держали постоянную связь с В. И. Лениным, получая от него непосредственные указания.

В октябре 1918 года комитет союза решил обратиться к передовым писателям всех стран с просьбой принять участие в составлении сборника мнений о русской революции.

В. И. Ленин одобрил эту идею и попросил ознакомить его с вопросами и ~~текстом~~ обращення.

Три вопроса из десяти по указанию Ленина были исключены как несущественные. Владимир Ильич советовал сделать вопросник возможно кратким. В оставшихся вопросах припоминую две его поправки.

Вопрос второй в проекте читался так: «Считаете ли вы возможным, что мировой империализм может закончить войну, не потеряв своей власти, или вы думаете, что империалистическая война перерастет в гражданскую».

Владимир Ильич продолжил фразу: «...которая закончится победой пролетариата».

Вопрос шестой в проекте читался так: «Что вы считаете особенно положительным в деятельности Советской власти».

Владимиру Ильичу вопрос не понравился.

— Могут понять, что мы напрашиваемся на похвалы,— сказал Владимир Ильич.— Нет, нет! Если спрашивать, так не бояться критики.

По его указанию шестой вопрос был переработан следующим образом: «Что вы считаете особенно положительным в деятельности Советской власти и какие ее мероприятия считаете ошибочными».

Возможно, что Владимиром Ильичем были внесены и другие поправки, но их не помню.

Обращение к знаменитому швейцарскому психиатру, энтомологу и общественному деятелю Августу Форелю было послано мною от собственного имени. В нем говорилось:

«Вместе с этим вы получите воззвание к представителям коммунистических и революционно-социалистических партий и групп, а также писателям, ученым и философам, к ним примыкающим».

Я не сомневаюсь, что вы сделаете все возможное для успеха этого дела в интересах Великой Российской Социальной Революции, которая должна зажечь огнем весь мир...»

Ответ был получен в конце ноября. Форель выражал глубокие симпатии к Советской республике, но в то же время предупреждал о нежелательности, с его точки зрения, применения красного террора против контрреволюции. Как типичный представитель радикальной интеллигенции, Форель стоял на позициях «гуманной революции».

Об этом письме известили В. И. Ленина. А через пару дней мы узнали, что по указанию Владимира Ильича письмо Августа Фореля будет полностью напечатано в «Правде».

— Без всяких сокращений?

— Да.

— И о красном терроре?

— Да.

Статья действительно была напечатана в «Правде».

А ответ Форелю В. И. Ленин дал на собрании партийных работников Москвы 27 ноября 1918 года, где он заявил:

— Как бы люди с различных точек зрения ни осуждали этого терроризма (а это осуждение мы слышали от всех колеблющихся социал-демократов), для нас ясно, что террор был вызван обостренной гражданской войной. Он был вызван тем, что вся мелкобуржуазная демократия повернула против нас. Они вели с нами войну различными приемами — путем гражданской войны, подкупом, саботажем. Вот такие условия создали необходимость террора. Поэтому расканиваться в нем, отрезаться от него мы не должны.

## Н. СЕМАШКО

МНОГОГРАННОСТЬ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ  
ИЛЬИЧА

..В своем кратком выступлении я хочу поделиться некоторыми воспоминаниями о личности Владимира Ильича. Я, конечно, не буду говорить о его политической деятельности, ибо она всем здесь присутствующим известна...

Что основное в личности Владимира Ильича? Основное — величайшая многогранность. В отношении к Владимиру Ильичу это слово приобретает особое значение. Он действительно, в самом строгом и прямом смысле этого слова, был многогранен.

Сейчас в специальном институте изучается мозг Владимира Ильича. В мозгу находят большое количество так называемых пирамидальных клеток, причем очень крупного размера, превышающего средний размер, наблюдаемый у человека. Эти пирамидальные клетки являются центрами мозговой деятельности. Между этими пирамидальными клетками находят исключительно богатую сеть соединений и разветвлений. Владимир Ильич обладал, судя по этой материальной базе, по этому материальному субстрату, громадной силой мышления и громадными ассоциативными способностями. Личность его была действительно многогранной, и в то же время это был на редкость цельный человек. Целеустремленность его определялась тем, что Владимир Ильич жил только революцией...

Все знают, что Владимир Ильич был чрезвычайно темпераментным человеком, страстным человеком. Это верно. Но в первых изображениях Владимира Ильича на сцене и в кино эта страстность, темпераментность передана, по моему мнению, в некоторой суетливости. Между тем, что ненавидел Владимир Ильич, так это суетливость, безалаберщину... Все его слова и движения были строго рассчитаны.

Я помню такой факт. Как-то Владимир Ильич делал доклад в Большом театре. По обыкновению он расхаживал перед столом президиума, а сюда были протянуты многочисленные шнуры рефлекторов осветительных приборов, страшно слепивших; спереди барьер, довольно высокий, который затемнял эти шнуры. Владимир Ильич на сдлин глаз плохо видел, и я очень волновался — не зацепился бы он как-нибудь за эти шнуры. Ничего подобного! Владимир Ильич ходил осторожно, ступал там, где надо. Несмотря на свою темпераментность, он был собранным человеком, никакой суетливости у него никогда не было, беспорядочных движений никогда не делал...

Каждую личность прежде всего характеризует такая черта: добрый это человек или злой. А что сказать про Владимира Ильича? Безусловно, он был добрый человек. Он чрезвычайно внимательно относился к людям, проявлял о них постоянную заботу...

Один раз я получил от него следующее письмо. «Николай Александрович, у меня сидит товарищ Иван Афанасьевич Чекунов, очень интересный трудовой крестьянин, по-своему пропагандирующий основы коммунизма. Он потерял очки. Нельзя ли ему помочь достать хорошие очки? Очень прошу помочь и попросить секретаря вашего сообщить мне, удалось ли».

Впервые Владимир Ильич увидел Чекунова, заметил, что у него веревочкой завязаны очки, и тотчас же позаботился о том, чтобы оказать ему соответствующее содействие в приобретении хороших очков.

Подобного рода обращений Владимира Ильича ко мне было много, так как я тогда ведал делами здравоохранения. Например, он просит помочь сестре милосердия, кото-

---

Семашко Николай Александрович (1874—1949) — член КПСС с 1893 года, первый народный комиссар здравоохранения в Советской республике, действительный член Академии медицинских наук СССР и Академии педагогических наук РСФСР.

Здесь впервые публикуются отрывки из его выступления на научно-творческой конференции, созванной в июне 1939 года Всероссийским театральным обществом по вопросу «Образ В. И. Ленина в театре, драматургии, кино» (ЦГАЛИ, ф. 2182, оп. 1, ед. хр. 627, лл. 70—74). Публикация подготовлена Н. Родионовым.

рую первый раз увидел в Боткинской больнице, отправить ее дочку в санаторий; помочь товарищу, который только что приехал из-за границы и ему надо устроиться где-то жить; помочь нуждающемуся в усиленном питании, и так далее.

Да, несомненно Владимир Ильич был добрый человек. Прекрасное у него было сердце, он проявлял действительную заботу о людях. Но в то же время Мартова, с которым он вместе начинал революционную работу, с которым был когда-то на «ты», — когда Мартов изменил делу рабочего класса, стал вредить революционному движению, Владимир Ильич политически бил и политически добил беспощадно. Мне пришлось наблюдать, с каким большим уважением Владимир Ильич относился к Г. В. Плеханову. Но когда Плеханов, в особенности во время империалистической войны, пошел прямо по пути, вредному для рабочего класса и революции, Владимир Ильич бил Плеханова беспощадным политическим боем и сорвал с него политический авторитет.

Попробуйте-ка утрированно изобразить его доброту — получится какой-то сентиментальный добряк, но это не Ленин. Попробуйте-ка утрированно изобразить эту его жестокость и твердость в политическом бою — получится просто жестокий человек, и это опять-таки не Владимир Ильич. Нет, Владимир Ильич был многогранен, и эта целеустремленность, любовь к революции и жизнь для революции — вот это и соединяло различные грани, увязывало их воедино...

Владимир Ильич был прост в самом хорошем смысле этого слова. Вспоминаешь, как он, бывало, приходит в собрание, где его встречают бурными овациями, и по нему было ясно видно, что в этот момент он чувствовал себя определенно скверно, он как-то поднимал плечи, как бы пряча в них голову, поправлял галстук, кидался к столу, чтобы скорее все это прекратить. Он не любил никакой напыщенности, терпеть не мог пустой фразы, фразеров презирал...

Этот человек всегда жил скромно. Я его помню в эмиграции — сама скромность. Помню живущим здесь — сама скромность. Помню его властителем шестой части земного шара — образец скромности...



---

Академик И. МАЙСКИЙ

★

## НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ В КОПЕНГАГЕНЕ

Э то было осенью 1910 года. Я жил тогда в Мюнхене на положении эмигранта из царской России, изучая экономические науки в местном университете и скандинавское рабочее движение вне университета. Я знал, что в конце августа в Копенгагене должен был собраться восьмой Международный социалистический конгресс. Мне очень хотелось собственными глазами посмотреть на мировой съезд социалистов, и я твердо решил попасть в Копенгаген. Но как? В кармане у меня лежало несколько корреспондентских карточек от русских газет и журналов, в которых я тогда сотрудничал, и это представляло известный выход из положения. Мобилизовав свои скромные денежные ресурсы, я отправился на конгресс в качестве журналиста. Перо еще раз выручило меня, как оно неоднократно выручало меня в жизни — до Копенгагена и после Копенгагена.

Быстро проскочив Германию с юга на север, 27 августа днем я прибыл в датскую столицу и устроился в мансарде какой-то третьеразрядной гостиницы поблизости от вокзала.

Открытие конгресса состоялось на следующий день — в воскресенье 28 августа. Праздничный день должен был облегчить местным рабочим участие в массовой демонстрации, которой датская социал-демократия встречала товарищей из других стран. Для заседаний был отведен большой и красивый «Дворец концертов», стены которого теперь были украшены социалистическими лозунгами и плакатами. В обширном зале дворца собралось девятьсот делегатов и свыше сотни представителей печати. Просторные хоры ломились от публики.

Сидя на балконе среди разноплеменной и разноязычной толпы журналистов, я пожирал глазами открывшееся зрелище. Отсюда мне прекрасно была видна вся картина. Здесь были: Каутский, Ледебур, Эберт, Легин, Бемельбург, Клара Цеткин — от Германии; Виктор Адлер, Отто Бауэр, Карл Реннер, Пернерсторфер — от Австрии; Жорес, Гэд, Вальян — от Франции; Кейр-Гарди, Макдональд, Бен Тиллет, Квелч — от Англии; Вандервельде, Де-Брукер, Гюнсманс — от Бельгии; Трульстра, Вибо — от Голландии; Хилквит — от США; Брантинг — от Швеции; Иглезнас — от Испании; Роза Люксембург, Карский, Дашинский — от Польши. Делегация России, насчитывавшая тридцать девять человек, включала не только большевиков и меньшевиков, но также социалистов-революционеров и представителей профсоюзов<sup>1</sup>. Среди российских делегатов я видел В. И. Ленина, несколько дальше — Плеханова, Луначарского, Коллонтай. Присутствовали также Мартов, Маслов, Чернов и другие. Впрочем, имелись на скамьях конгресса и пустые места, на которые все обращали сугубое внимание.

---

<sup>1</sup> Независимо от количества делегатов, каждая страна имела на конгрессе вполне определенное, заранее установленное количество голосов, а именно: Англия, Франция, Германия, Австрия, Россия — по 20 голосов, Италия — 15, США — 14, Швеция и Бельгия — по 12 и т. д. Двадцать русских голосов распределились в Копенгагене так: социал-демократы всех направлений — 10, социалисты-революционеры — 7, профсоюзы — 3.

Отсутствовал Бебель, который был не совсем здоров. Отсутствовал также Катаяма, которого на международный съезд не пустило японское правительство. Телеграфное приветствие, полученное от Катаямы, было встречено на конгрессе бурными аплодисментами. Раздались громкие крики: «Долой японских милитаристов!»

Но вот зазвучала музыка. Оркестр копенгагенской оперы играл приветственную кантату, специально сочиненную для конгресса социалистическим поэтом и депутатом Мейером. Потом выступил датский рабочий хор в пятьсот человек, который прекрасно исполнил несколько социалистических и народных песен. Потом появились артисты копенгагенской оперы. После всего этого на трибуну поднялся Вандервельде и громко провозгласил:

— От имени Международного социалистического бюро объявляю восьмой Международный социалистический конгресс открытым!<sup>1</sup>

Начались приветственные речи. Первым выступил Стаунинг — от датской социал-демократии. Он перечислял успехи своей партии за тридцать лет ее существования и не без гордости указывал, что партия располагает сейчас тридцатью тремя газетами, имеет двадцать восемь депутатов (из ста сорока четырех) в парламенте и половину городских советников в муниципалитете Копенгагена, число же профессионально организованных датских рабочих доходит до ста двадцати тысяч. Закончил Стаунинг свою речь возгласом:

— Капитализм — это рабство и война, социализм — это свобода и мир!

Конгресс бурно аплодировал речи Стаунинга. Я смотрел на этого высокого, грузного, уравновешенного датчанина с длинной, закрывавшей грудь бородой и невольно чувствовал какую-то неловкость. Революционные слова оратора и его сугубо мещанская внешность как-то плохо вязались друг с другом. Мое тогдашнее ощущение было не совсем беспочвенным. В последующие десятилетия Стаунинг выявился как один из самых оппортунистических социал-демократов Европы.

Потом говорил Вандервельде — один из златоустов Второго Интернационала — и приветствовал конгресс от имени последнего. В своей вступительной речи Вандервельде щедро рассыпал комплименты по адресу различных секций Интернационала и в конце заявил, что сейчас к мировой организации социалистов примыкают тридцать три страны и восемь миллионов человек. В наши дни, когда число членов Всемирной федерации профсоюзов доходит почти до ста миллионов, а число членов всех коммунистических партий мира превышает тридцать три миллиона человек, цифры 1910 года могут показаться более чем скромными. Но тогда, полвека назад, они казались очень внушительными.

Далее слово взял секретарь Интернационала бельгиец Гюнсманс и сделал целый ряд организационно-административных предложений. Без прений был утвержден порядок дня конгресса из восьми пунктов, намечены пять комиссий и решено, что председательствовать на конгрессе будут поочередно представители Швеции (Брантинг), Норвегии (Иепсен) и Дании (Клаузен). Собравшись в Копенгагене, конгресс хотел этим выразить свою благодарность скандинавским товарищам.

Так закончилось первое заседание конгресса, и все торопливо разошлись по ресторанам и кафе для подкрепления сил.

В четыре часа дня началась массовая демонстрация. Огромный кортеж рабочих выстроился на Западном бульваре, недалеко от вокзала. Лес красных знамен. Красные гвоздики в петлицах у мужчин, красные бутоньерки у женщин на груди. Тысячи молодых девушек в красных шапочках. На огромных плакатах горделивые лозунги: «Да здравствует международный пролетариат!», «Да здравствует международное братство трудящихся в борьбе против капитализма!»

Вот загремели пятнадцать больших оркестров, и гигантская демонстрация пришла в движение. Во главе ее — два социал-демократических бургомистра датской столи-

<sup>1</sup> При писании этих воспоминаний я пользовался — в подкрепление памяти — официальным отчетом о конгрессе, опубликованным в 1910 году Международным социалистическим бюро в Брюсселе.

ны Кнудсен и Иенсен,— зрелище, в те годы не мыслимое ни в какой другой столице! Еще более поразительно, что в рядах кортежа много солдат. Опять-таки сейчас, в наши дни, когда могущественные армии стоят под красным знаменем социализма, участие военных в народных демонстрациях кажется чем-то естественным, само собой разумеющимся. Но тогда, полвека назад, нигде в Европе нельзя было бы увидеть что-либо подобное. Не удивительно, что иностранные делегаты встречали каждую группу солдат шумными рукоплесканиями. По дороге тысячи голов высывались из попутных домов, тысячи рук слали демонстрантам приветы.

Больше часа дробный топот рабочих батальонов оглашает улицы Копенгагена, и наконец весь кортеж вступает в большой пригородный ларк Зондермаркен. Здесь демонстрантов уже ожидает громадная толпа. Все смешивается и сливается в исполинское море голов. Народу не меньше ста тысяч. С четырех высоких трибун к нему обращаются известнейшие лидеры международного социализма. Гремит музыка, бурные рукоплескания и крики несутся к далекому голубому небу. Все взволнованы, все радостны и торжественны.

Наконец официальная часть демонстрации закончена. Начинается большой, веселый народный праздник: все пьют, пляшут, бросают конфетты, пускают вверх разноцветные шары. Везде много смеха, много шума, много какого-то яркого, чисто юношеского подъема...

Когда поздно вечером я вернулся домой, в свою крохотную мансарду, сердце мое было переполнено бурным энтузиазмом и глубокой верой в будущее. Казалось, я увидел отблеск нового, грядущего мира...

\* \* \*

На следующий день, 29 августа, начались деловые заседания конгресса. Сначала заседали рабочие комиссии, а затем — с 1 по 3 сентября — проходили пленарные заседания конгресса.

Я уже упоминал, что конгресс принял порядок дня из восьми пунктов. По существу внимание конгресса было сосредоточено на трех основных группах вопросов:

1. Укрепление сил международного пролетариата;
2. Борьба с опасностью войны;
3. Борьба с международной политической реакцией.

Теперь, много лет спустя, совершенно очевидно, что самой важной проблемой тех дней, воистину решающей проблемой был вопрос о быстро надвигавшейся опасности войны. Однако в Копенгагене проблема войны как-то странно отошла на второй план. Не то чтобы ее формально недооценивали — нет! В принципиальных речах ей отводилось должное место. Однако вот что было примечательно: обсуждение проблемы войны заняло на конгрессе меньше времени и сопровождалось гораздо меньшим накалом страстей, чем дискуссия по такому сравнительно второстепенному вопросу, как единство профессионального движения в Австрии. Я отнюдь не преувеличиваю. Вот факты.

В то время в чешской социал-демократии<sup>1</sup> произошел раскол на «централистов» и «сепаратистов». Централисты во главе с Тусаром считали, что в борьбе с австрийским объединенным капиталом австрийские рабочие также должны быть едины, и потому чешским рабочим полагается быть членами межнациональных профсоюзов, еще в конце прошлого века созданных австрийской социал-демократией. Наоборот, сепаратисты во главе с Немцем полагали, что, поскольку в Австрии существует особая чешская социал-демократия, должны существовать и особые чешские профсоюзы — иначе как же может быть осуществлен тесный контакт между партией и профессиональным движением, которого требовала резолюция Штутгартского международного конгресса 1907 года? Таково было формальное оправдание. По существу же дело обстояло

<sup>1</sup> В те годы в Австрии социал-демократические партии строились по национальному признаку — немецкая социал-демократическая партия, чешская социал-демократическая партия и т. д.

так: чешской социал-демократии для работы нужны были деньги; деньги они надеялись получать от профессиональных союзов; но это можно было устроить лишь в том случае, если в Австрии будут существовать особые чешские профсоюзы. Сепаратисты не ограничились словами. Они на деле приступили к созданию национально-чешских профессиональных союзов и утверждали, что к моменту созыва конгресса в них насчитывалось сорок пять тысяч членов.

Противники сепаратистов — немецкая социал-демократия Австрии плюс чешские централисты — не без основания доказывали, что политика Немеца вносит раскол в профессиональные организации и что она противоречит штутгартской резолюции, требующей соблюдения единства в профессиональном движении. Противники Немеца утверждали при этом, что на их стороне находится большинство чешских рабочих, и в доказательство приводили тот факт, что, несмотря на раскольническую деятельность сепаратистов, в межнациональных профессиональных союзах Австрии все-таки насчитывалось сто восемнадцать тысяч чешских рабочих.

Эта борьба внутри австрийского профессионального движения в конце концов приняла столь острый характер, что немецкая социал-демократия Австрии решила вынести ее на арену международного социализма. В Копенгагене австрийская ситуация была рассмотрена со всех точек зрения. Комиссия по вопросам профессионального движения посвятила ей четыре длинных заседания. Выступили двадцать три оратора, представлявших тринадцать стран. Были горячие дебаты. Были резкие слова. В итоге группа Немеца оказалась полностью изолированной.

Членом комиссии по чешским профсоюзам от русской делегации был Г. В. Плеханов. Он проявлял большую активность, выступал сам, задавал вопросы другим выступающим, подсказывал пункты подготавливаемой резолюции. Плеханов находился в резкой оппозиции к Немецу, и это вызвало особое одобрение со стороны большинства комиссии, поскольку Плеханов был славянином, чешским сепаратистам трудно было объяснять его отрицательное отношение к их позиции националистическими мотивами, что они неизменно делали, когда речь шла об их противниках из числа немцев, французов или англичан. В конечном счете именно поэтому комиссия поручила Г. В. Плеханову сделать доклад по чешскому вопросу на пленуме конгресса.

Доклад Г. В. Плеханова явился одним из очень ярких моментов Копенгагенского съезда. На прекрасном французском языке он произнес сильную речь, в которой заявил, что последовательное проведение принципа, который защищает Немец, означало бы «самосубийство профессионального движения». В качестве иллюстрации он указал на тот факт, что в Австрии имеется восемь различных наций и что если бы каждая из этих восьми наций стала создавать собственные профессиональные союзы, то австрийский пролетариат оказался бы совершенно безоружным перед объединенной мощью австрийского капитала. Еще хуже было бы положение в России, ибо при проведении принципа чешских сепаратистов здесь пришлось бы строить не восемь различных профессиональных движений, как в Австрии, а несколько десятков. Поэтому Плеханов от имени всей комиссии, за исключением Немеца, предлагал безоговорочно высказаться за единство австрийского профессионального движения и тем самым дать общую руководящую установку для всего Интернационала.

Немецу был предоставлен содоклад, и он, не жалея сил и времени, тщетно пытался убедить конгресс в справедливости своей концепции. Затем последовали дебаты. Было много ораторов, много страсти, много острых столкновений.

Наконец перешли к резолюции, выдержанной в стиле доклада Г. В. Плеханова. Напряжение дошло до высшей точки. Даже на журналистской трибуне стало жарко. Голосовали по нациям. Потом объявили результат: за резолюцию было подано двести двадцать два голоса, против резолюции — пять, воздержались — семь. Пять отрицательных голосов принадлежали группе Немеца, а среди семи воздержавшихся были пять финнов и два представителя турецких армян. Зал огласился шумными аплодисментами. Острый вопрос был решен, и решен правильно и принципиально. Но какой огромной затраты страсти и энергии это стоило конгрессу!..



\* \* \*

А вопрос о войне?

Здесь картина была совсем иная. Вопрос о войне тоже был передан в комиссию, но эта комиссия имела всего лишь два кратких и формальных заседания, потом была избрана подкомиссия для выработки проекта резолюции, который затем почти без прений был принят третьим и последним заседанием комиссии. На пленуме конгресса по вопросу о войне выступили восемь ораторов, но в их речах не чувствовалось той страсти и того возбуждения, которыми сопровождалось обсуждение чешского вопроса.

Чем объяснялось такое поведение конгресса?

Оно вытекало из тогдашнего соотношения сил на конгрессе, в котором явно (хотя и не вполне заметно для глаза современника) брало перевес оппортунистическое крыло социализма.

В самом деле, каково было положение?

Две отчетливые линии по этому вопросу обнаружилось на конгрессе, две линии, которые в тогдашнем прсторечии именовались: «немецко-австрийская» и «англо-французская».

Тактика немцев и австрийцев состояла в том, чтобы, ссылаясь на резолюцию Штутгартского конгресса 1907 года о милитаризме и войне, доказывать, что нет никаких оснований идти дальше принятых там решений.

Наоборот, англо-французы (от имени которых главными ораторами выступали лидер Независимой рабочей партии Кейр-Гарди и француз Вальян) утверждали, что ввиду возросшей со времени Штутгарта опасности войны надо сделать дальнейшие шаги вперед. Но, в сущности, оппортунисты Кейр-Гарди и Вальян дальше пустозвонства не шли.

А в кулуарах конгресса шли горячие дискуссии среди делегатов, и немало было таких — особенно из числа реформистов, — которые доказывали, что большая война теперь вообще невозможна. В подтверждение приводились два главных довода: во-первых, то, что ткань мировых экономических связей слишком плотна и не может потерпеть разрыва, вызываемого войной; во-вторых, то, что психика современного человека слишком утончена и не в состоянии вынести ужасов войны.

Когда вспоминаешь, что такие рассуждения велись накануне первой мировой войны, они кажутся предательскими.

Когда прения по вопросу о войне пришли к концу, перешли к решению. И что же оказалось?

Вандервельде от имени Бельгии внес предложение: «Конгресс постановляет передать дополнение Кейр-Гарди — Вальяна Международному социалистическому бюро для изучения и поручает ему составить отчет о содержащихся в этом дополнении предложениях следующему Международному социалистическому конгрессу».

Бельгию поддержали Германия, Голландия, Австрия, США, Польша. К ней в конце концов присоединились и англичане. Конгресс приветствовал формулу Вандервельде. Единение, таким образом, было достигнуто, но за счет чего? За счет отказа что-либо решить.

Это было знаменательно. Четыре года спустя окончательно созрели плоды копенгагенских настроений. Пред лицом великой исторической прозорки, пришедшей в 1914 году, представители обеих линий — «немецко-австрийской» и «англо-французской» — оказались одинаково банкротами. В частности, Вальян в годы первой мировой войны стал одним из самых ярых социал-шовинистов.

\* \* \*

Случайно у меня сохранилось письмо, которое я спустя несколько дней после окончания конгресса отправил своему брату, находившемуся в Москве. В нем я нахожу такие строки.

«Очень поразил меня метод работы конгресса. Раньше я себе представлял, что все делается на пленарных заседаниях конгресса. Я знал, конечно, что в ходе работы таких конгрессов создаются комиссии и подкомиссии, но мне казалось, что они являются

лишь подсобными техническими органами. Теперь я увидел, что сильно ошибался. На самом деле вся основная работа конгресса проделывается в комиссиях, здесь именно разыгрывается настоящая борьба мнений (если на очереди стоит спорный вопрос) и здесь определяется характер принимаемых решений.. А пленум? Пленум, как правило, лишь утверждает выводы комиссий да служит ареной для состязания различных златоустов в красноречии.

Из этого метода работы вытекали и некоторые практические последствия. Я заметил, что все более активные люди среди делегатов, все те, кто хотел оказать действительное влияние на решения конгресса, а не только блеснуть красноречием перед международной аудиторией,— все такие люди шли в комиссии, выбирая для себя ту комиссию или те комиссии, которые они считали особенно важными. Не удивительно поэтому, что В. И. Ленин в Копенгагене сосредоточил свое главное внимание на работе в кооперативной комиссии. Почему именно в кооперативной? Да просто потому, что в тот момент данный вопрос представлял большую важность для дальнейших судеб международного рабочего движения как в теоретическом, так и в практическом отношении. Это было ясно для всякого, кто знаком был с тогдашним положением внутри социалистического Интернационала. Это было ясно также из характера той комиссии, которую конгресс избрал для подготовки резолюции по вопросу о кооперации как одного из существеннейших элементов укрепления сил международного пролетариата. В комиссию входили семьдесят пять человек, представлявших двадцать различных стран, и в их числе Жорес и Гэд от Франции, Вандервельде и Анселе от Бельгии, Эльм и Вурм от Германии, Грейлих и Гримм от Швейцарии, Роза Люксембург от Польши, Карпелес от Австрии, Балабанова от Италии, Вибо от Голландии. Россия была представлена здесь В. И. Лениным и А. В. Луначарским, выступавшим под именем Воинова. Впрочем, имелся еще Виктор Чернов от эсеров, но он оставался совершенно в тени.

Очень бросалось в глаза, что Англия — родина кооперации и страна, где уже в те времена существовало мощное кооперативное движение,— играла очень скромную роль в обсуждении вопроса. Ее главный представитель Уайтли выступил в дебатах только один раз и притом весьма бледно. Это, видимо, объяснялось тем, что английские делегаты в комиссии относились к типу кооперативных «business men» («деловых людей»), не любили принципиально-теоретических дискуссий, да и были плохо подготовлены для участия в них. А между тем именно вопросы принципиально-теоретические доминировали в дискуссии по данной проблеме.

Рассмотрение вопроса о кооперации концентрировалось на двух основных моментах:

1. О роли кооперации в классовой борьбе пролетариата;
2. Об отношениях между кооперацией и партией.

В комиссии сразу обнаружили два главных течения, которые сокращенно именовались, как «бельгийское» и «немецкое». Бельгийцы, от имени которых выступал глава бельгийской кооперации Анселе, доказывали, что рабочие должны быть социалистами-кооператорами, а не кооператорами-социалистами, то есть что они не должны рассматривать кооперацию как некое самостоятельное средство разрешения социального вопроса, а видеть в ней лишь один из видов оружия, который при надлежащем использовании может принести пролетариату значительные выгоды в его классовой борьбе (улучшение положения рабочих, выработка у них организационно-хозяйственных навыков и т. д.). Бельгийцы поэтому считали, что, всемерно поддерживая кооперацию, социалисты должны изнутри пропитывать ее духом своего учения и что, с другой стороны, кооперация должна устанавливать возможно более тесные отношения с социалистическими партиями. Речам бельгийцев порой не хватало достаточной ясности и теоретической продуманности, но чувствовалось, что в данном вопросе «внутри» у них вполне здоровое и что стоят они на правильном пути.

Немцы, главным оратором которых был лидер германского кооперативного движения Эльм и которых с самого начала поддерживали французские реформисты во главе с Жоресом, заняли совсем иную позицию. Уклоняясь от четкого определения

роли кооперации как одного из видов оружия пролетариата в его классовой борьбе (и притом более подсобного, чем профсоюзы), Эльм—Жорес пускали в ход туманно-подозрительные формулы, вроде того, что кооперация является «средством для демократизации и социализации общества». Одновременно они высказывались против тесной связи между кооперацией и партией, так как, по словам Эльма, кооперация заинтересована объединять в своих рядах «всех потребителей без различия их политических, экономических и религиозных взглядов». Было совершенно очевидно, что воззрения Эльма—Жореса являются чистейшим оппортунизмом и средни теориям разных буржуазных «реформаторов», мечтающих о спасении человечества с помощью мирной, кооперативной самопомощи.

Между этими двумя течениями — бельгийским и немецким — разгорелась борьба в комиссии и вообще на конгрессе. Все более левые, революционные элементы (Гэд от французского меньшинства, Вурм от немецкого меньшинства, Вибо от голландских марксистов, Роза Люксембург от Польши и другие) поддерживали бельгийцев. Все более правые, реформистские элементы (Тома — от французского большинства, Спарго — от американцев, Модрачек — от чешских сепаратистов, Сестрем — от шведов, Чернов — от эсеров и другие) поддерживали немцев. В качестве примирителя выступал австриец Карпелес. Жаркие прения шли в течение трех дней, страсти накалялись в такой же степени, как в комиссии по вопросу о чешских сепаратистах, и позиции различных наций и течений в конечном счете определились с абсолютной ясностью.

Положение большевиков на конгрессе было очень трудное. Наибольший вес в Копенгагене, естественно, имели страны с сильно развитым рабочим движением — Германия, Англия, Бельгия, Австрия, Франция. Россия в то время к числу таких стран не принадлежала. Революция 1905—1907 годов была только что подавлена царизмом. Тысячи революционеров были казнены, сосланы, брошены в тюрьмы. Партийные организации ушли в подполье. Профсоюзные организации, сильно обескровленные, находились на полулегальном положении. Деревня, задавленная репрессиями, молчала. Царизм временно торжествовал свою победу. Правда, то была его последняя победа, но в 1910 году трудно было предвидеть, что семь лет спустя над Невой взвонят знамя Октября. Обстоятельства времени осложняли позиции русской социал-демократической делегации в Копенгагене, в том числе и ее позиции в кооперативной комиссии. А так как В. И. Ленин твердо отстаивал последовательно-революционную точку зрения в отношении кооперативного движения, то это создавало для него дополнительные трудности, ибо сталкивало не только с правыми реформистами, которых было много в комиссии, но и с колеблющимися центристами, которые слишком охотно шли на уступки Эльму—Жоресу. Однако В. И. Ленин был не такой человек, чтобы отступать перед препятствиями. Великий политический стратег, он с изумительным искусством маневрировал в этой сложной обстановке.

В. И. Ленин начал с того, что четко определил свою принципиальную позицию, внося в комиссию собственный проект резолюции, излагавшей точку зрения большевиков. В нем доказывалось, что хотя пролетарские потребительские товарищества «улучшают положение рабочего класса» и «могут получить большое значение для экономической и политической массовой борьбы пролетариата, поддерживая рабочих во время стачек, локаутов, политических преследований и проч.», однако их роль при господстве капитализма может быть только ограниченной. Улучшения, достигаемые кооперацией, лишь «весьма незначительны». Вместе с тем, не будучи «организациями непосредственной борьбы с капиталом», кооперативы способны порождать иллюзии, будто бы они являются средством, при помощи которого социальный вопрос может быть решен «без классовой борьбы и экспроприации буржуазии». Исходя из этой принципиальной установки, резолюция призывала рабочих всех стран всячески содействовать развитию пролетарской потребительской кооперации, вести в кооперативных организациях пропаганду «идей классовой борьбы и социализма» и стремиться к «возможно более полному сближению всех форм рабочего движения». Особо отмечалось, что производительные товарищества полезны для рабочего класса только в том случае, если они являются «составной частью товариществ потребительных».

Конечно, для В. И. Ленина с самого начала было ясно, что при сложившемся в комиссии соотношении сил его резолюция не имеет шансов быть принятой. Он, однако, считал (и я слышал, как он это объяснял в кулуарах нашим товарищам), что для оказания максимального воздействия на комиссию мы должны не приспосабливаться к ее настроениям, а, наоборот, возможно острее выявлять свою собственную точку зрения. Только в этом случае нам удастся привлечь на свою сторону колеблющихся и вырвать уступки у оппортунистов.

Далее В. И. Ленин стал искать себе союзников. Делал он это замечательно. Сидя за столом комиссии, Ленин внимательно следил за ходом прений. От него не ускользала ни одна существенная деталь, ни один оттенок в высказываниях ораторов. Иногда он перегибался через стол и, приставив ладонь к уху, ловил каждое слово особо заинтересовавшего его выступления. Иногда с едкой усмешкой на лице он делал быструю запись в лежавшем перед ним блокноте. Вид его при этом был такой, точно он хотел сказать: «Ага, попался! Теперь уж не уйдешь!» И действительно, противнику трудно было уйти от ленинского удара. Ленин обладал редким умением найти слабое место в вооружении оппонента и, открыв его, уже бил сюда стремительно и беспощадно. В ходе прений в комиссии он узнавал своих врагов и друзей.

С друзьями или хотя бы с потенциальными единомышленниками В. И. Ленин поддерживал тесный контакт. Он вдохновлял и подталкивал на различные выступления Гэда, Розу Люксембург, Вибо, Вурма и других. Маленькие беленькие записочки все время летали от Ленина к ним и обратно. Нередко можно было видеть, как где-нибудь в углу зала Владимир Ильич, энергично жестикулируя или заложив большие пальцы рук за жилет, в чем-то горячо убеждал кого-либо из левых представителей европейского социализма.

Вся эта работа не была бесплодной. В. И. Ленину удалось создать прочный блок с делегатами польской социал-демократии и получить дружескую поддержку со стороны гэдистов и голландских марксистов. Хуже обстояло дело с Вурмом, который в то время считался одним из левых или, во всяком случае, лево-центристских марксистов в рядах германской социал-демократии. Под влиянием Ленина он пытался устроить оппозицию против Эльма—Жореса, но проявил при этом так много бесхребетности, что полностью оправдал свое имя («Wigtm» по-немецки значит «червь»).

Основная борьба в комиссии сосредоточилась вокруг принципиального вопроса о роли и значении кооперации. Эльм категорически возражал против содержащегося в резолюции Ленина утверждения, что социальный вопрос не может быть разрешен без «экспроприации буржуазии», и доказывал, что это вопрос «спорный» и что в программе германской социал-демократии говорится не об «экспроприации», а о «преодолении капитализма» без точного указания с помощью каких средств.

В свою очередь Жорес ультимативно настаивал на формуле о том, что кооперация подготавливает «демократизацию и социализацию средств производства и обмена». В. И. Ленин решительно выступил против этих оппортунистических теорий, обрушившись, в частности, на Жореса.

— Что такое,— говорил Ленин,— «демократизация средств производства и обмена»? Крестьянское производство «демократичнее», чем крупное капиталистическое. Значит ли это, что мы, социалисты, хотим создания мелкого производства? Что такое «социализация»? Под этим можно понимать превращение в собственность всего общества, но можно также понимать какие угодно частичные меры, какие угодно реформы в рамках капитализма, начиная от крестьянских товариществ и кончая муниципальными банями и писсуарами.

Вурм, которому тоже не нравилась «социализация», беспомощно метался между правыми и левыми. Он сделал попытку несколько ослабить значение данной формулы путем перестановки абзацев в резолюции, но Эльм немедленно пригрозил отказом от всякого компромисса. Вурм до смерти перепугался и поспешил взять свою поправку назад.

Затем была избрана подкомиссия из десяти человек, которая должна была составить проект резолюции. В этой подкомиссии В. И. Ленин, поддерживаемый Вибо, вел упорную борьбу за улучшение текста резолюции и достиг в этом значительного успеха. В частности, в окончательной редакции было резко подчеркнуто, что кооперация сама по себе «бессильна осуществить цель, преследуемую социализмом, то есть завоевание общественной власти в целях коллективного овладения средствами труда». Сверх того, резолюция специально предостерегала рабочих против влияния «тех, кто считает, что кооперация достаточна сама по себе». Тем не менее Эльму—Жоресу все-таки удалось проташить свою «социализацию», а по вопросу о взаимоотношениях между партией и кооперативами было решено, что хотя пролетариат кровно заинтересован в гармоничном сотрудничестве всех трех форм рабочего движения (партия, профсоюзы, кооперативы), однако «каждая страна сама решает, в какой мере кооперативы будут оказывать прямую помощь своими средствами партии и профессиональным союзам».

В. И. Ленин не ограничился результатами, достигнутыми подкомиссией. Когда проект резолюции был внесен в комиссию, он вновь с необыкновенной энергией стал атаковать позиции оппортунистов. Делал он это весьма искусно, не от имени одной лишь русской социал-демократии, а все время стараясь сплотить вокруг своих требований возможно больше сторонников из других наций. Вместе с Гэдом он внес две поправки: по вопросу о «социализации» и по вопросу об отношениях между партией и кооперативами. Эти поправки, как и следовало ожидать, были отвергнуты большинством комиссий. Но Ленин не сложил оружия. Он поговорил с Вурмом, и последний предложил новую формулу, более завуалированно рекомендовавшую тесный контакт между партией и кооперативным движением. Эльм и Жорес категорически выступили против Вурма. Вурм смешался и снял свое предложение. Тогда Ленин перекинулся несколькими словами с Вибо. Голландец немедленно подхватил поправку Вурма и внес ее уже от своего имени. Большинство комиссии отвергло и эту поправку. Формулы о «социализации» и о связи между партией и кооперативами остались в том виде, как это было предложено оппортунистами. Тем не менее огромное политическое значение борьбы, проведенной Лениным, не подлежало ни малейшему сомнению.

Далее встал вопрос о том, как держаться на пленуме конгресса. В. И. Ленин имел по этому поводу совещание с Гэдом, и оба пришли к выводу, что хотя резолюция имеет известные недостатки, но в общем и целом она дает пролетариату правильную линию в вопросе о кооперации. Поэтому нет смысла на пленуме развязывать большой бой по частным вопросам. В результате как большевики, так и гэдисты голосовали за резолюцию, и все решение о кооперативном движении было принято конгрессом единогласно.

Борьба около вопроса о кооперации целиком захватила меня. Я бывал на всех заседаниях комиссии и подкомиссии, следил за всеми ее этапами, внимательно прислушивался ко всем разговорам и дискуссиям, происходившим в кулуарах. И для меня не подлежало ни малейшему сомнению, что если в конечном счете резолюция о кооперации оказалась неплохой, то это далеко не в последней степени являлось заслугой Ленина. И это несмотря на все трудности положения российской делегации на Копенгагенском конгрессе! А резолюция для того времени была действительно неплохой. В статье «Вопрос о кооперативах на Международном социалистическом конгрессе в Копенгагене» В. И. Ленин писал: «Подводя итог работам конгресса по вопросу о кооперативах, мы должны сказать,—не скрывая ни от себя, ни от рабочих недостатков резолюции,— что Интернационал дал правильное в основных чертах определение задач пролетарских кооперативов».

Тут же, на Копенгагенском социалистическом конгрессе, я впервые близко увидел Г. В. Плеханова. Ему в то время было пятьдесят четыре года, и он находился еще в расцвете своих сил. Имя Плеханова было широко известно в Интернационале, и для большинства европейских социалистов он являлся тогда лицом, олицетворяющим российской социал-демократии. Внутри нашей партии авторитет Плеханова был уже далеко не так бесспорен, как на международной арене. Борьба между большевиками и мень-

шевниками не прошла бесследно для его престижа. Однако в описываемый период Плеханов возглавлял группу меньшевиков-партийцев и потому нередко блокировался с Лениным в борьбе против «ликвидаторов» типа Дана и Потресова. Действительно, в Копенгагене между ними существовал довольно тесный контакт, и известно, что как раз во время Копенгагенского конгресса Ленин обратился с письмом в Международное социалистическое бюро, в котором просил наряду с ним ввести в Бюро от российской социал-демократии также Плеханова. Самые тяжелые политические ошибки Плеханов совершил позднее — в эпоху первой мировой войны и в 1917 году.

Я уже упоминал, что Плеханов принимал активное участие в обсуждении вопроса о профсоюзном единстве в Австрии. Интересно было в это время наблюдать за ним. За столом комиссии Плеханов обычно сидел спокойно, неподвижно. В нем не было той живости, того неумемного динамизма, который так поражал в Ленине. В нем не было также и подкупающей простоты и демократизма. Чувствовалось, что Плеханов смотрит несколько свысока на окружающих. Даже когда Плеханов хотел быть очаровательным (а он умел быть очаровательным), это невольно выходило у него так, точно он оказывал честь своему собеседнику.

Говорил Плеханов прекрасно, чуть-чуть во французском стиле. Может быть потому, что лучше всего знал французский язык и часто выступал по-французски. Однако и на трибуне он держался так, что между ним и аудиторией всегда чувствовалось известное расстояние. Плеханов любил поразить слушателя эрудицией, остроумием, красноречием, которые у него действительно были, и принимал как должное шумные аплодисменты.

В противоположность В. И. Ленину, который в борьбе на конгрессе проявлял огромную инициативность, сам тормозил своих возможных единомышленников, сам искал и находил союзников, Плеханов отличался известной пассивностью и обычно выжидал, когда друзья сами придут к нему.

\* \* \*

Еще одно яркое воспоминание осталось у меня от прений, происходивших на Копенгагенском конгрессе: оно было связано с вопросом о роли царской России в международных делах.

В те дни самодержавный режим стоял у порога своей гибели. Но именно поэтому он искал спасения в оргиях зверств и в империалистических авантюрах. Революция 1905 года только что была затоплена в крови. Страна превратилась в царство висельниц. Генерал-губернатор Бобриков усмирлял Финляндию. Полковник Ляхов громил освободительное движение в Персии. Посланник Чарыков в Константинополе интриговал против младотурецкого переворота в Османской империи. Щупальца царизма протягивались к Германии, Франции, Швейцарии: петербургское правительство добивалось выдачи нашедших там убежище революционеров, и не совсем безуспешно. М. М. Литвинов в 1908 году был выслан из Франции, но, к счастью, нашел убежище в Англии; несколько большевиков было посажено под замок в Баварии; кое-кто был выдан царскому правительству из Швейцарии. В свою очередь реакционные силы Европы оказывали всемерную поддержку николаевскому правительству, снабжая его золотом, кредитами, оружием, продажными апологетами в мировой печати. Мрачная тень царской России падала через всю европейскую сцену, и Копенгагенский конгресс не мог пройти мимо этого угрожающего фактора тогдашней ситуации.

Действительно, конгресс уделял много внимания данной теме. Были внесены четыре резолюции, касавшиеся царизма, — о Персии и Турции, о Финляндии, о смертной казни и о праве убежища. Больше всего делегатов захватили вопросы о Финляндии и о смертной казни.

По первому вопросу выступил молодой финский социал-демократ Винк. Худенький, скромный, он произнес сильную речь, в которой горячо протестовал против разгрома финской конституции, учиненного царским правительством.

— Царизм, — закончил он, — это подавление всех трудящихся, думающих и чувствующих людей. Царизм — это тюрьма, подземный карцер, Сибирь. Каждая победа

царизма — это поражение цивилизации... Царизм — это смерть. И потому мы, борцы за жизнь, должны сопротивляться царизму до конца.

Конгресс бурно аплодировал Винку, а затем единогласно принял резолюцию протеста против царского правительства, в которой обязывал все социалистические партии во всех странах всеми доступными им средствами отстаивать свободу Финляндии.

Двадцать лет спустя судьба вновь свела меня с Винком, когда я был полпредом в Хельсинки (1929—1932), а Винк редактировал центральный орган своей партии «Суомен сенсиаль-демократи». Мы часто виделись с ним, много беседовали, вспоминали Копенгаген. Положение Винка было очень трудное: в те годы у власти в Финляндии стояла черная реакция, а внутри социал-демократической партии все сильнее становился Таннер. Тем не менее Винк вел упорную борьбу против черных сил в партии и в стране<sup>1</sup>.

По второму вопросу — о смертной казни — в качестве главного оратора выступил руководитель венского пролетариата Элленбоген. Назвав царскую Россию «классической страной смертной казни», Элленбоген обрушился всей силой своего негодования на петербургское правительство.

— Если в настоящее время, — продолжал Элленбоген, — в любом уголке мира встретятся три приличных человека, они не смогут воздержаться от того, чтобы по крайней мере внутренне не протестовать против проклятого царизма. Пусть с этого конгресса, который стремится к освобождению и подъему всего человечества, повсюду разнесется дух глубокой, непримиримой, священной ненависти к русскому царизму!

Буря рукоплесканий прервала оратора, точно мощная волна вдруг всплеснулась из зала к трибуне и затем упала.

— Пусть отсюда, — еще более вдохновенно воскликнул Элленбоген, — прозвучит боевой клич не только к пролетариям всех стран, но и ко всем честным и приличным людям, призывающий их принять участие в борьбе против этого проклятого режима, вернейшей опоры самой черной реакции во всех других странах!

Новый взрыв рукоплесканий огласил зал. Потом весь конгресс единогласно принял резолюцию, резко клеймившую действия царизма. А дальше, по докладу Кейр-Гарди, конгресс решительно подтвердил незыблемость права убежища для политических эмигрантов в западных странах...

\* \* \*

Впрочем, конгресс не все время был занят серьезной работой. Датчане позаботились и о более «легкой» стороне жизни для делегатов: театры, концерты, цирковые представления, выставки, художественные галереи, экскурсии, прогулки в окрестности столицы — все было предоставлено к их услугам. И делегаты широко пользовались всеми этими возможностями.

Две картины особенно запечатлелись у меня в памяти.

В середине «социалистической недели» конгресс совершил поездку в фешенебельный датский курорт Клампенборг. Были сняты два больших парохода, на которых с трудом разместились делегаты и их датские хозяева. Во время пути все было необыкновенно веселось, приподнято, разговорчиво. Буфет работал на славу: хлопали пробки, звенела посуда, бегали официанты. Немцы подымали большие кружки черного пива и провозглашали: «За здоровье!» Французы и итальянцы чокались стаканами бургундского и кианти. Англичане медленно пили эль и виски с содой. Нашлась даже водка для русских товарищей. Везде было шумно, тесно, немного угарно. Потом пошли песни и пляски. Каждая делегация старалась показать все лучшее. Происходило соревнование наций. Мы, русские, заняли тут далеко не последнее место. Особенным успехом пользовалась А. М. Коллонтай.

<sup>1</sup> В дни второй мировой войны Винк оказался в рядах той части финской социал-демократии, которая нашла в себе достаточно смелости и принципиальности, чтобы поднять знамя борьбы против фашистских приспешников Германии. Винк был заключен в тюрьму, и только советско-финское перемирие 1944 года вернуло ему свободу.

В Клампенборге пестрая толпа делегатов разбрелась по улицам, паркам, набережным, кафе, ресторанам. Немцы немедленно накопили горы открыток с видами Дании и, вытащив из кармана «вечные ручки», начали писать бесконечные «Grüss von Denmark» («Привет из Дании») — по десятку каждый. Представители других наций купались, катались на лодках, слушали музыку, обозревали окрестности. Поздно вечером члены конгресса — усталые, размоленные, довольные проведенным днем — тем же путем вернулись в Копенгаген.

Другая картина связана уже с самым концом конгресса. В субботу, 3 сентября, конгресс завершил свою работу. На последнем заседании, как и на первом, опять зазвучали фанфары. Виктор Адлер предложил устроить следующий конгресс в 1913 году и созвать его в Вене. С радостными возгласами это предложение было единогласно принято делегатами. Затем говорил Жорес. Касаясь франко-прусской войны, он громовым голосом воскликнул:

— В тысяча восемьсот семидесятом году оба народа потерпели поражение, ибо демократия в обеих странах не справилась со своими задачами. Мы, французы, были побеждены, а вы, немцы, до сих пор страдаете от последствий победы тысяча восемьсот семидесятого года, установившей в Германии власть солдатского сапога.

Конгресс бурно реагировал на эти слова. Особенно шумно аплодировали немцы и французы.

Потом с заключительными речами выступили Молькенбург (Германия), Хилквит (США), Брантинг (Швеция), Клаузен (Дания), Вандервельде (Международное социалистическое бюро). В шесть часов вечера Вандервельде громко провозгласил:

— Объявляю восьмой Международный социалистический конгресс закрытым!

А два часа спустя все делегаты собрались на большой прощальный вечер в здании копенгагенской ратуши. По тем временам это было так необычно, так вдохновляюще! Где, в какой другой стране представители мирового пролетариата могли встретиться на торжественном банкете в официальном помещении городских властей? Нигде! Ни в Лондоне, ни в Париже, ни тем более в Берлине! Но здесь, в столице Дании, рабочий класс уже завоевал муниципалитет и мог принимать своих гостей в залах, которые до того видели лишь королей да нотаблей из аристократических и буржуазных кругов.

Датские хозяева постарались на славу. Все помещение ратуши было залито ослепительными огнями, все залы широко раскрыты для гостей. Длинные столы ломились от аппетитно пахнувших яств и знаменитых скандинавских «закусок». Батареи бутылок предвещали веселье и непринужденность. Действительно, уже к десяти часам вечера вся пестрая, разноплеменная толпа делегатов чувствовала себя в здании ратуши как дома. Пили, плясали, разговаривали, подводили итоги, делились впечатлениями, клялись в дружбе и солидарности.

Я случайно зашел в тронный зал ратуши. Здесь в особо торжественных случаях король встречался с муниципальными советниками столицы. Около раззолоченного королевского трона шумела группа сильно подвыпивших немецких делегатов. Среди них я заметил известного в то время антирелигиозника Адольфа Гофмана, опубликовавшего популярную книжку «Zehn Gebote» («Десять заповедей»). В партийном просторечии его поэтому звали «Гофман десяти заповедей». Он был сильно на взводе, много смеялся, размашисто жестикулировал. Вдруг Гофман оторвался от своей группы, быстро взбежал по ступенькам трона и с размаху плюхнулся в кресло короля. Приняв затем самый «монархический» вид и надменно вздернув голову, Гофман во всю полноту легких воскликнул:

— Адольф Первый!

Этого ему, видимо, показалось мало, и он быстро поправился:

— Адольф Великий!

Все расхохотались. В следующую минуту, однако, немецким товарищам Гофмана, воспитанным в строгости монархических нравов Германии, стало как-то не по себе. Они торопливо пошептались между собой и поспешили увести Гофмана из тронного зала.



В другом помещении, недалеко от входа в ратушу, происходило нечто вроде перманентного текущего митинга. В середине стояла небольшая импровизированная трибуна, а около нее все время двигалась и шумела разноплеменная и разноязычная толпа. Одни приходили, другие уходили, но на месте всегда была сотня-другая людей, готовых послушать и поаплодировать оратору. Недостатка в ораторах не было. Говорили англичане, французы, немцы, русские, шведы, болгары, итальянцы. У всех души были полны, у всех чувства рвались наружу, и каждый старался сказать своим коллегам по конгрессу, как счастлив он видеть рост международного социализма и как рад он быть сегодня здесь, среди друзей и товарищей.

Помню, как на трибуне появился А. В. Луначарский. Веселый, задорный, оживленный окружающей атмосферой, он обратился с речью к собравшимся делегатам. Говорил Луначарский на французском языке, говорил горячо, энергично, с красноречивой жестикуляцией. Слова его имели шумный успех. Потом выступала А. М. Коллонтай. Интересная, живая, талантливая, она пользовалась большой популярностью среди членов конгресса и теперь совершенно потрясла веселый митинг, произнеся подряд три речи на трех языках — английском, немецком и французском. Коллонтай была устроена настоящая овация.

Но самая эффектная сцена разыгралась, когда на трибуну поднялся Жорес. Сначала он говорил на родном языке, а потом перешел на немецкий язык. Он говорил по-немецки хорошо, но все-таки это был для него чужой язык. Проговорив несколько минут по-немецки, он вдруг остановился, широкое лицо его расплылось в самую очаровательную улыбку, и, став страшно похожим на ребенка, он весело воскликнул:

— Дорогие друзья! Сердце мое еще полно, но мой немецкий словарь уже истощился...

Здесь Жорес сделал такой жест, точно он прижимает к груди всех собравшихся, и с громким возгласом: «Да здравствует международный социализм!» — соскочил с трибуны. Делегаты устроили Жоресу овацию...

\* \* \*

С тех пор прошло полвека самых замечательных полвека в истории человечества. Полвека бесконечно тяжелых и бесконечно прекрасных, глубоко разрушительных и глубоко созидательных. На протяжении этого полувека через 1917 год прошел великий водораздел между двумя формациями — капиталистической и социалистической.

И когда сейчас я пробую ретроспективно осознать ход развития после Копенгагена, когда я пытаюсь определить то самое главное, самое основное, что совершилось за протекший с того момента период, предо мной встает величавая фигура Ленина. Да, минувшие полвека по праву могут быть названы ленинской эпохой!

Но на этом дело не кончается. Наоборот, с каждым новым годом знамя Ленина, как солнце, будет подниматься все выше, сплавивая вокруг себя все передовое человечество.



---

М. ИНЮШИН

Герой Социалистического Труда

★

## ПО ВЕЛИКОМУ ПЛАНУ

В этом году наш народ отметит знаменательную дату — сорокалетие ГОЭЛРО, ленинского перспективного плана развития народного хозяйства Советской республики на основе электрификации страны.

В наитруднейшее время гражданской войны и хозяйственной разрухи В. И. Ленин выдвинул смелый, строго научный и практически обоснованный план. Осуществив этот план, говорил он, «мы Россию всю, и промышленную и земледельческую, сделаем электрической». Составленный по заданию Ленина Государственной комиссией по электрификации России план предусматривал строительство тридцати электростанций и доведение в течение пятнадцати лет суммарной годовой выработки электроэнергии до 8,8 миллиарда киловатт-часов (в 1913 году в России было произведено 1,9 миллиарда киловатт-часов). Второй программой партии назвал Владимир Ильич план ГОЭЛРО, подчеркнув тем самым его политическое и экономическое значение.

Наша партия, правительство, весь наш народ последовательно претворяют в жизнь ленинские заветы об электрификации страны. В истекшем, 1959 году у нас было произведено 264 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, к концу семилетки ее выработка достигнет свыше 500 миллиардов, а по перспективному плану сплошной электрификации страны намечено производить в 1980 году около 2,300 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Взрывом аплодисментов встретило проведенное недавно Всесоюзное совещание энергостроителей слова Н. С. Хрущева: «...Перспективный план электрификации страны на пятнадцать—двадцать лет, перспективный план развития народного хозяйства на тот же срок должны стать главным стержнем нашей программы коммунистического строительства».

Строители, сказал Никита Сергеевич, — это люди, которые прокладывают путь новому в жизни, а «строители гидроэлектростанций — это передовые из передовых». Одним из ветеранов этой славной когорты является Герой Социалистического Труда, ныне начальник строительства Бухтарминской ГЭС, М. В. Инюшин, записи которого мы публикуем ниже. В них рассказывается о том, как советские люди на своих рабочих местах выполняли великую программу строительства коммунизма — план ГОЭЛРО, пятилетние планы, а теперь задания нашей семилетки.

Заметки эти были напечатаны во второй и третьей книжках журнала «Советский Казахстан» за 1959 год в литературной записи Н. Кузьмина. Здесь текст публикуется в переработанном и дополненном автором виде.

### Часть первая

1

**А**прель 1930 года. Мы окончили инженерно-строительный факультет Ленинградского политехнического института. Теперь мы инженеры, специалисты по строительству гидроэлектростанций. Теперь скорее на стройки, где претворяется в жизнь ленинский план электрификации России!

Мы торопились — уже вступили в строй Волховская и Кондопожская ГЭС, разворачивались работы на Днепре и Свири. Везде были нужны молодые инженеры.

Возникло неожиданное препятствие: совет института решил оставить меня аспирантом. Сообщил мне об этом заведующий кафедрой механизации строительных работ, высокий, величественно седой профессор Николай Николаевич Лукницкий, один из крупных представителей старой технической интеллигенции, ставший на службу делу народа с первых лет Советской власти.

Н. Н. Лукницкий, видимо, был уверен, что сообщает мне приятную весть: ведь предлагалась аспирантура при его кафедре.

— Николай Николаевич, я рассчитывал работать на строительстве, что я буду делать по вашей кафедре, не имея практики?

По розовому лицу профессора пробежала тень. Он спросил:

— И куда же вы намерены проситься?

— На Днепрострой. Там как раз начинаются основные работы.

Лукницкий подумал, потом сказал:

— Я на вашем месте, пожалуй, тоже не усидел бы в институте... Но зачем вам Днепр? На Свири интереснее. Здесь и механизация более совершенная, а основные работы тоже скоро развернутся. Лучше попасть на стройку в самом начале.

Слова профессора заставили задуматься. Привлекало и то, что главным инженером Свирыстроя был Генрих Осипович Графтио, один из авторов ГОЭЛРО, руководитель строительства недавно законченной Волховской ГЭС, человек, имя которого золотыми буквами вписано в историю советского гидроэнергостроительства. Работать с Графтио было лестно не только для начинающего инженера, но и для крупных специалистов.

Решил ехать на Свирь.

В несчастный ленинградский апрельский вечер сел я в жесткий вагон мурманского поезда. Поплыл назад перрон, за сеткой дождя провожающие махали руками из-под зонтов и плащей. В вагоне тускло светилась лампочка, одна на два купе.

Пожилые соседи сразу улеглись. От волнения спать не хотелось. Читать при таком свете нельзя, за окном — темнота.

Стал вспоминать пройденный путь. Годы учебы на Тульском вечернем рабфаке и одновременно работа на заводе. Потом годы студенчества.

Когда же я впервые решил посвятить себя делу электрификации? Это случилось давно, задолго до поступления в институт, даже раньше поступления на рабфак.

После утверждения плана ГОЭЛРО партия и правительство организовали широкую пропаганду электрификации народного хозяйства. Печатались статьи, брошюры и плакаты, читалось множество лекций. Молодежь, особенно имевшая отношение к промышленности, была увлечена этой великой идеей. Мы все рвались выполнять план ГОЭЛРО.

Быстро летело время. Вот уже и институт за плечами. Впереди начало новой жизни. Хотелось ни в чем не уступать инженерам старой школы, стать на уровень самых образованных, самых квалифицированных из них. Эта мысль не давала покоя, побуждала скорее взяться за работу — молодость нетерпелива.

...Завтра встречусь с опытными инженерами, завтра встану рядом с такими же, как я, молодыми. Выполнил ли я свою роль? Достаточно ли знаний накоплено?..

От жарких дум заснуть удалось только под утро.

В семь часов утра поезд подошел к стройке.

## 2

Все, кто знал Г. О. Графтио, в один голос отмечают в нем талант организатора и ученого, большое человеческое сердце. Высокого мнения о нем был В. И. Ленин, знавший его по работе над планом ГОЭЛРО и в период строительства Волховской гидроэлектростанции. Академик Кржижановский назвал жизнь Графтио «огромным трудовым подвигом».

Генрих Осипович Графтио принадлежал к числу лучшей части старой интеллигенции, увидевшей в победе Великого Октября желанную возможность без помех и оглядок претворить в жизнь свои творческие мечты.

Морозной зимой 1918 года по поручению Ленина Дзержинский собрал большую группу инженеров и познакомил их с ленинской идеей электрификации страны. Старые, мастиные инженеры сидели, кутаясь в шубы, в промерзшем зале, и пар от дыхания инеем оседал на бобровых воротниках. Выдавалось по сто граммов хлеба на человека, и то не каждый день. Республика была окружена кольцом фронтов. Дикой, немислимой затеей показалось многим собравшимся решение большевиков приступить к строительству гидроэлектростанции на Волхове. Ждали всего — крестового похода белых войск на Москву, падения республики, конца света, — но только не начала больших созидательных работ.

Феликс Эдмундович спросил, кто желает участвовать в сооружении первой советской гидроэлектростанции на Волхове или Свири.

Все молчали.

Дзержинский ждал.

Отводились глаза, зябко поеживались плечи.

— Кто хочет взять на себя руководство стройкой?

Дзержинский встал, нетерпеливо постукивал карандашом по столу. Тогда поднялся Графтио, и в притихшем зале прозвучало уверенное:

— Я возьмусь за это.

Инженеру Графтио было в ту пору сорок девять лет. Его имя известно в научном мире. Мысль об использовании энергии реки Волхов Графтио высказывал уже давно. В начале девятисотых годов он разработал варианты проекта Волховской гидроэлектростанции, которые так и не осуществились. И вот теперь Советское правительство предлагало взяться за претворение в жизнь его старого замысла.

Г. О. Графтио был назначен главным инженером Волховской ГЭС.

Чтобы оценить полной мерой героизм строителей этой станции, надо представить себе страшную хозяйственную разруху в стране, недостаток оборудования, отсутствие специалистов. А главное, возводить гидроэлектростанцию приходилось, не имея абсолютно никакого опыта в этом деле. В таких невероятных условиях и была организована передовая для своего времени, первая в России механизированная стройка.

После Волхова настала очередь Днепра и Свири.

### 3

В середине апреля 1930 года я с легким студенческим чемоданчиком прибыл на Свирьстрой. Жилья на стройке не хватало, и заведующая Домом для приезжающих М. Я. Зелягер не знала, куда меня поселить, — двухэтажное здание было набито до отказа.

Марина Яковлевна предложила мне выбор: или шестым жильцом в четырехместную комнату или же на балкон. Четырехместная комната была когда-то двухместной, а сейчас втиснуть туда шестую койку не было никакой возможности. Невзирая на холод, я выбрал балкон. Мне выдали тулуп, и я поселился на балконе, как в отдельной квартире. Впрочем, одиночество мое было недолгим — соблазненные удачным призером и пользуясь весенним потеплением, через несколько дней ко мне подселились еще человек десять.

Приехал я на Свирь как раз в то время, когда решался вопрос об устойчивости плотины.

По характеру природных условий сооружение Нижне-Свирской ГЭС в то время с полным правом называли уникальным.

В отличие от Волховской и Днепровской станций, которые строились на крепком скальном основании, на Свири пришлось столкнуться с крайне ненадежным грунтом — девонскими глинами. Сооружение предстояло возводить на своеобразном «слоеном пироге»: слой глины, слой мелкого песка, насыщенного водой, опять слой глины и так далее. Вода служила как бы смазкой между слоями, и нетрудно догадаться, что со временем вся бетонная громада станции, испытывающая напор реки, могла, как по маслу, съехать в нижний бьеф.

Нужно было найти какой-то новый, еще не известный и не очень дорогой способ, обеспечивающий устойчивость сооружения. Такого способа тогда не было и в мировой практике.

Сначала запросили мнение главного американского консультанта Днепростроя Хью Купера. Американец, глава крупной гидротехнической фирмы, приехал на Свирь. Изучал условия, советовался со своими помощниками и наконец изрек:

— Предпринимать такое строительство едва ли разумно.

Но станция была нужна как воздух. Ленинград буквально задыхался от недостатка электроэнергии. Надежды всех ленинградских предприятий возлагались только на Свирь. Здесь еще в 1927 году побывал М. И. Калинин. Он и заложил гидроэлектростанцию.

Куперу задали вопрос:

— А вы взяли бы строить эту станцию?

— Пожалуй, да. Но без всяких материальных гарантий. Гарантией будет только доброе имя моей фирмы.

Центральный электротехнический совет (ЦЭС) решил проконсультироваться с известной американской строительной фирмой «Уайт». Одновременно по настоянию Графтио запросили мнение шведской организации «Ваттенбюро», являвшейся своего рода международным консультантом по гидротехническим сооружениям. Эксперты прибыли, начались исследования. В результате всего в руках Графтио оказалось двадцать два варианта проекта будущей свирской плотины.

Какой из них выбрать? Этот вопрос без конца дебатировался в наркомате и Госплане.

Наконец остались два конкурирующих проекта. Один из них принадлежал американской фирме «Уайт», другой — коллективу Свирьстроя во главе с Графтио.

Американцы предложили основать плотину на кессонах, опускаемых на глубину одиннадцати метров ниже дна реки с помощью сжатого воздуха. Вариант был надежен, но дорог. Пожалуй, тогда во всей стране не нашлось бы достаточно кессонного оборудования для возведения нашей плотины. Проект же Свирьстроя привлекателен простотой и оригинальностью. Генрих Осипович так объяснял его: «Плотине, как даме, мы наступим на шлейф». «Шлейфом» в данном случае служила железобетонная плита с напорной стороны, соединяющаяся с телом плотины. Толстый слой грунта, наваленного на «шлейф», должен был прочно удерживать плотину от сползания в нижний бьеф.

Впоследствии «свирский вариант» плотины стал типовым. Однако в то время, чтобы отстаивать свою идею, строителям пришлось приложить немало сил.

Первые месяцы на Свирьстрое я работал в отделе рационализации. Мы все в то время с нетерпением ждали исхода борьбы: чей же проект возьмет верх — американский или наш, советский? Этот вопрос решался в Ленинграде и Москве, поэтому до нас доходили только отголоски событий. Мы знали, что ЦЭС не утвердил свирский проект и поддерживал американский. Но мы также знали, что не так-то легко заставить Графтио отступить от собственных убеждений.

Управление Свирьстроя находилось тогда в Ленинграде. Непосредственно на Свири работами руководили Н. Н. Босенко и его заместитель А. В. Бакулин.

Помню, однажды нам передали приказ Босенко: всем инженерам собраться в его кабинете. Мы встрепнулись — неужели какие-нибудь известия из Москвы? По дороге кто-то сообщил, что получена телеграмма от Графтио. Интересно, добился ли он своего?

Собралось нас человек тридцать. Сидим, ждем.

Вошел вялый, чем-то огорченный Босенко. Кашлянув, он покрутил светлые усы и глухо произнес:

— Я вам прочитаю телеграмму. — Развернул узенький листок. — «В трехнедельный срок построить контору...» — Голос его дрогнул. Справившись с волнением, он закончил: — «...контору для представителей американской фирмы, которые будут руководить работами. Шестьдесят человек персонала. Графтио».

Все замерли. Неужели все-таки победил американский вариант?

Больше всех, казалось, был растерян сам Босенко.

— Господа,— сказал он и даже не поправился.— Ведь это же все равно, что плюнуть нам всем в лицо...

Инженеры уныло расходились из кабинета. Было горько от мысли, что где-то все еще живет проклятый дух преклонения перед зарубежными авторитетами, неверие в собственные силы, в возможности своих ученых и инженеров.

Делать было нечего, постройка конторы для американцев началась. Но прошло десять дней — и новая телеграмма: «Прекратить строить контору».

Вскоре Генрих Осипович вернулся из Москвы преисполненный радужных надежд, но через некоторое время снова поползли слухи о том, что технической руководство строительством Свирской ГЭС передается на концессию американской фирме.

Неужели ЦЭС не видит явных выгод советского варианта?

В обострившейся борьбе за право на творческое дерзание большую роль сыграла опубликованная в «Комсомольской правде» статья Г. О. Графтио. Написанная в божьём, решительном тоне, статья обращалась к общественности с призывом отстоять оригинальный замысел наших инженеров, не допустить напрасного расходования нужных в других местах средств.

Опять появилась надежда. Стало известно, что по решению правительства на Свирь приглашен для консультации профессор Венского политехнического института Терцаги — основоположник инженерной геологии, первый ученый, сформулировавший законы действия сооружения на грунт и грунта на сооружение.

Приглашения Терцаги добился Генрих Осипович, надеявшийся на беспристрастное суждение ученого мировой величины.

Терцаги приехал на Свирь. Невысокий, худенький, он прожил на строительстве что-то около двенадцати дней. Он почти ни с кем не разговаривал, лазил в исследовательские шахты, устроенные на берегах Свири для осмотра грунтов в натуре, часами сидел в лаборатории.

Напряжение в коллективе строителей достигло предела. Все взоры были обращены на мировую знаменитость — что-то она скажет? Но знаменитость помалкивала и не торопилась.

Наконец профессор согласился сообщить коллективу свои мысли. И вот в один из вечеров зал клуба инженерно-технической секции заполнился до отказа. Все ждали Терцаги. Он предупредил, что будет говорить по-английски. Кто-то из наших инженеров взялся быть переводчиком.

Терцаги взошел на трибуну. Зал напряженно молчал.

Доклад начался несколько необычно.

— Мы часто,— сказал ученый,— находимся в плену наших привычных понятий...

Все переглянулись, не понимая, что сулит такое начало. Профессор говорил о привычке общества придерживаться раз навсегда заученных истин, невзирая на то, что со временем эти истины стареют и, естественно, отмирают.

— Мы на Западе,— продолжал Терцаги,— имеем привычное понятие: если отменить частную собственность, то неминуемы анархия и экономический упадок. Но вот случай забрасывает нас в Советский Союз. Здесь такая форма собственности отменена, а никакого упадка нет — наоборот, мы видим гигантское строительство. И мы поневоле начинаем сомневаться: а верны ли наши привычные понятия? Можно ли подходить к Советскому Союзу с той же меркой, с какой мы подходим к странам с обычной для нас экономической системой?.. В науке и технике, когда мы изучаем новое явление, нужно прежде всего проверить: а не старая ли у нас в руках мерка? Годится ли она для этого явления?

И, сделав столь неожиданное вступление, ученый перешел к тому, что больше всего нас интересовало,— разобрал оба проекта, осветив их положительные и отрицательные стороны. Он доказал, что и тот и другой одинаково хорошо обеспечивают устойчивость плотин. Но какой же принять?

— Смотрите, какой вариант дешевле и проще в постройке,— закончил Терцаги.

Зал разразился аплодисментами. Последние слова ученого были одобрением нашего, советского проекта.

## 4

Условия, при которых строились первые советские гидроэлектростанции, в наши дни даже трудно себе представить. Например, транспорт. Тогда на всем строительстве Свирской ГЭС не было ни одного грузовика, не говоря уже о самосвалах. Мощная система механизации, экскаваторы, краны обслуживались исключительно при помощи железных дорог.

Рельсы буквально переплели всю территорию стройки; к каждому объекту, к каждой мастерской тянулась железнодорожная ветка. Свыше ста километров путей было проложено на площадке Свирьстроя. Даже на дно котлована по хитроумной и запутанной системе, имевшей целых три тупика, спускался паровоз с одним вагоном. Сколько же было хлопот, неудобств и труда от постоянной переноски и укладки всего этого хозяйства!

Трудно приходилось бетонщикам. О вибраторах тогда и не слышали, и рабочим надо было уминать бетон ногами. Для этого они обувались в тяжелые, подкованные железом сапоги и кучками ходили, как бы приплясывая, по вязкой массе, уплотняя ее. Такая «пляска» продолжалась изо дня в день. Тяжелый, изнурительный это был труд.

Продовольствием строительство снабжалось с большими перебоями. Нередко в столовой вывешивалось меню, где указывалось единственное блюдо — суп из соленых огурцов.

Однажды мы с В. П. Заводчиковым пришли пообедать и увидели на дверях замок и крупно написанное объявление: «Ввиду аварии плиты столовая закрыта».

Володя Заводчиков был по должности заместителем редактора многотиражки, а по призванию — поэтом. Он сочинял поэму «Свирь».

— Ничего,— сказал он,— это пригодится мне в поэму, а пока пойдем искупаемся.

Неподалеку, на берегу Свири, старый повар со своими помощниками чистил песком огромные кастрюли.

— Что за авария с плитой? — спросили мы.

— А в том авария, ребяжки, что нечего на нее поставить. Продуктов нету... Вот и чистимся.

— Пойдем ко мне,— заявил Володя.— Жена, уезжая в отпуск, оставила про запас где-то банку консервов. Найдем, разогреем и пообедаем.

Пока длилась «дуэль» между авторами советского варианта плотины и сторонниками американского проекта, земляные работы в котловане были прекращены.

Ушло лето. Когда наконец приступили к выемке грунта, произошел ряд оползней, один из экскаваторов в котловане завалило так, что торчал только кончик трубы.

Подошла осень, а еще не было уложено ни одного кубометра бетона.

Надвигалась долгая северная зима.

И поныне в мировой строительной практике спорят о возможности работать с бетоном в зимнее время. А тогда об этом никто даже и не задумывался. Считалось непреложным правилом: с наступлением холодов бетонные работы прекращаются до весны. Так было всегда за границей, так поступали и наши строители, в частности на Днепрострое.

Значит, следуя традициям, и нам предстояло отложить начало бетонирования на шесть-семь месяцев.

Теперь уж не вспомнить, кому первому пришла в голову эта дерзновенная в то время мысль — укладывать бетон и зимой,— но постепенно она находила все больше и больше сторонников.

Молодые инженеры, приехавшие на Свирь в последние месяцы, громко подали голос за новое дело. Темпы пятилетки требовали, чтобы бетонные работы велись круглогодично. Подняв это, как знамя, молодежь Свирьстроя ринулась ломать упрямство и осторожность старых специалистов.

Самым упорным и сильным противником оказался Е. Н. Лавров, заменивший Босенко на посту руководителя работ. Старый инженер, он не хотел ни на йоту отступить от своих привычных понятий.

Возражения Лаврова не лишены были здравого смысла, он справедливо указывал на отсутствие опыта зимнего бетонирования, опасался, что прочность бетона будет низкой. Доводов он приводил немало, и все довольно веские.

Партийная группа инженерно-технической секции устроила в клубе доклад Лаврова на тему, можно или нельзя укладывать бетон зимой. Произошел горячий спор. На все аргументы руководителя работ молодежь отвечала в основном, так сказать, энтузиазмом. Бетонщиков нет? Обучим!.. Производства зимнего бетона нет? Наладим!.. Опыта не хватает? Будет опыт!..

Лавров сошел с трибуны, не убедив нас, но уверенный в своей правоте.

Генрих Осипович Графтио, когда спор докатился до него, поддержал рискованное, но заманчивое предложение молодых инженеров. Он категорически возражал только против цифры «75».

Дело в том, что сгоряча молодежь дала слово уложить за зимние месяцы семьдесят пять тысяч кубических метров бетона, что позволяло досрочно пустить станцию — на целый год раньше! Этой цифре хотелось верить, а в то же время она была обоснована только нашим желанием, потому что, повторяю, зимняя укладка бетона не практиковалась нигде — ни за границей, ни у нас.

Но слово дано, работа закипела. Вездесущая печать подхватила этот почин на свои страницы. Поперек главной улицы поселка протянулся лозунг: «Даешь Свирьстрой в четыре года!»

В это время меня послали на бетонный завод с заданием наладить производство бетона и бесперебойную подачу его на участки работ.

Не буду подробно описывать, как нам тяжело пришлось в эту зиму. Скажу только, что обещанная цифра — семьдесят пять тысяч кубометров, — к сожалению, не была достигнута.

За зиму удалось уложить лишь сорок две тысячи кубометров бетона. Но и это было огромным достижением. Опираясь на приобретенный опыт, мы в следующую зиму уложили сто двадцать пять тысяч кубометров. Из всего объема бетонных работ около сорока процентов было выполнено в зимние месяцы. Судите сами, насколько это помогло сократить сроки пуска гидроэлектростанции.

Предсказывавший провал нового начинания Лавров вынужден был отойти от руководства работами. Его заменил инициативный инженер Николай Александрович Филимонов, приехавший к нам с Днепростроя. Размах работ требовал много энергии, самостоятельности, смелости, и постепенно молодежь стала теснить тех старых специалистов, которые отставали.

Почти все молодые инженеры Свирьстроя, энтузиасты зимней укладки бетона и участники других работ, создавших Свирьстрой славу передовой стройки, впоследствии стали крупными руководителями. Так, Г. И. Строков — начальник строительства Кременчугской ГЭС, Д. М. Юринов строил Горьковскую гидроэлектростанцию, а сейчас заместитель начальника Главка, С. А. Левшин — главный инженер строительства Каунасской ГЭС, В. А. Нейман и К. Я. Бородин — управляющие трестами, Е. Г. Вайнруб — начальник Алма-Атагэсстроя, Э. Г. Яшунский — главный инженер завода «Электрощит». Я назвал далеко не всех товарищей.

В условиях поставщика было указано, что при отклонении оси турбины от вертикали более чем на десять миллиметров не гарантируется исправная работа агрегата. Вот тут-то девонская глина доставила строителям немало неприятных переживаний.



Здание станции, как уже говорилось, должно было возводиться на мягком и упругом основании; под напором воды оно, естественно, даст какой-то крен. Тогда ось турбины, этого огромного, тысячетонного механизма, висящего на одном только верхнем подшипнике, тоже наклонится. Как же выйти из положения?

Начались сложнейшие расчеты. Ломали голову наши, думали шведы, вычисляли в Вене. Наконец выяснилось, что крен здания составит примерно тридцать миллиметров, причем напор воды будет сильнее действовать на здание не с верхнего бьефа, а с нижнего. Значит, станцию необходимо строить с наклоном вниз по течению реки.

Построили. Затопили котлован. Подняли напор воды.

И вдруг здание начало еще дальше крениться в нижний бьеф. Все были потрясены. Крен не в ту сторону продолжался на второй день, на третий и на четвертый. Телеграммы полетели во все концы. Десятки людей вповь сели за расчеты. Все было как будто бы правильно. Наш главный геотехник Н. Н. Маслов не находил себе места.

Легко представить себе тоскливое состояние людей, с отчаянием смотрящих, как, вопреки всем расчетам, пропадает результат многолетнего труда. Отклонение от вертикали уже смонтированных турбин достигало ужасающей цифры.

Однажды утром я направлялся к зданию станции. Шестой день продолжался крен.

И, пожалуй, никогда в жизни я не испытывал большего удивления, чем в то памятное утро, увидев смеющееся лицо Маслова, бежавшего мне навстречу.

— Михаил Васильевич! — закричал он. — Ведь оказывается — все просто!

— Что просто?

— Да со зданием! Смотрите..

Он выхватил из кармана блокнот и только начал набрасывать цифры, как я сразу же понял. Все объяснилось действительно просто. Схваченные и придавленные бетонной подушкой, девонские глины крайне медленно пропускали воду. Для того чтобы со стороны нижнего бьефа создался достаточный подземный напор, нужно было время, только время. А пока на здание действовала одна сила — напор реки на верховую грань.

— Через два дня, — предсказал Николай Николаевич, — все пойдет обратно. Уже остановилось! — крикнул он, убегая. — Скорее нужно обрадовать всех!

В самом деле, через два дня здание начало возвращаться в исходное положение. Через две недели оно остановилось так, как было предусмотрено проектом. У всех отлегло от сердца.

Можно было готовить агрегаты к пуску.

Из основных работ на Нижне-Свирской ГЭС оставалось лишь перекрытие реки. Первая очередь — часть плотины и здание станции — была уже готова.

Остановку реки сначала предполагалось провести старым способом: ставить ряжи и пространства между ними закрывать деревянными щитами или железобетонными плитами. Так, в частности, перекрыли Днепр. Это было сложно, требовало много ручного труда.

К тому времени только что вышла в свет книга молодого профессора Избаша о новом способе перекрытия рек — посредством наброски камня в текущую воду. Этот способ — кстати сказать, теперь принятый повсеместно — тогда представлялся необычным, но инженер Н. Н. Крашенинников внес предложение попробовать его у нас, на Свирч. Выгода заключалась в возможности широкой механизации всех работ по перекрытию реки.

Графтию заинтересовался предложением и вызвал нас к себе.

Тонкий и умный инженер, Генрих Осипович проявлял большую осторожность в любых начинаниях. Он терпеливо выслушивал возражения и, если его убеждали расчеты, решительно шел навстречу. Но расчеты должны были быть без малейшего изъяна.

Мы собрались в резиденции начальника строительства на Нижней Свири — большим двухэтажным рубленом доме, превращенном в своего рода штаб-квартиру. В нем было шестнадцать комнат для приезжающих, на первом этаже — столовая, где

одновременно могли разместиться человек сорок. Над столовой помещался такой же просторный зал — здесь и принимал инженеров Графтио. Личная квартира его самого состояла из двух комнат.

Я с интересом осмотрелся. Зал был очень удобен для совещаний. Во всю его длину тянулись столы, на которых складывались чертежи.

Докладывал Крашенинников. Я посмотрел на Графтио. Суровое лицо начальника строительства было непроницаемо. Его крупная, тяжелая рука почти на весу держала карандаш — он делал записи во время любой беседы, а блокноты с ними бережно хранились. Бывали случаи, когда во время разговора Генрих Осипович доставал какой-либо из блокнотов и, найдя запись, сделанную несколько месяцев назад, уличал спорщика в том, что прошлый раз он говорил совсем иное.

Выслушав доклад, Генрих Осипович тронул свои коротко подстриженные усики.

— Очень заманчиво, очень, — сказал он. — Но вопрос разработан недостаточно. Не все рассчитано, не все случайности предусмотрены; доработайте, потом покажите еще раз. Тогда и решим...

После многократных переделок и перерасчетов предложение было принято. Приступили к перекрытию реки новым способом.

Отсутствие автотранспорта во многом усложняло эту работу. Пришлось довольствоваться такой громоздкой системой: на мосту, поперек реки, был проложен железнодорожный путь, паровоз тянул вагоны с камнем, пятнадцатитонные краны-деррики, установленные на каждой опоре моста, неторопливо сваливали камень в бурлящую воду.

Свирь была первой рекой, перекрытой согласно теории Избаша, и здесь была доказана практическая применимость и ценность этой теории.

В Генрихе Осиповиче поражало изумительное постоянство привычек. Отчасти это объяснялось его огромной занятостью: он всегда находился на работе. Если, например, звонила его секретарша и передавала, что Генрих Осипович просит зайти к нему в час, то необходимо было уточнить — дня или ночи. Сам он ложился спать в пятом часу утра.

Человек должен уметь ограничивать себя и не разбрасываться; чем меньше бытовых интересов и вопросов, тем больше будет результатов в работе, говаривал Графтио. В Москве он всегда останавливался в гостинице «Савой», в одном и том же номере — сто шестнадцатом. «Мне некогда знакомиться с новым номером».

Графтио не умел и не любил отдыхать. Это было его недостатком, иногда довольно тяжелым для окружающих.

Всю страну облетела радостная весть: 1 мая 1932 года пущен первый агрегат Днепровской ГЭС. В то памятное время часто приходилось слышать победные вести о пуске Уральского завода тяжелого машиностроения, Мариупольской домны, Челябинского тракторного завода и многих других предприятий. Мечты Ленина о России индустриальной становились явью.

Вместе с днепростроевцами радовались и мы. Стройки на Днестре и Свири являлись для того времени классическими образцами гидротехнических сооружений: Днепровская — на скалистом грунте, Свирская — на мягком.

О Днепрострое был прочитан доклад в нашем клубе. Тогда было широко принято: если узнавали, что приезжал на стройку какой-либо специалист, его обязательно просили сделать сообщение, провести беседу. Это было своего рода учебой — слушали, записывали, перенимали опыт.

В конце вечера огласили сообщение: начальник Днепростроя А. В. Винтер, главный инженер Б. Е. Веденев, а также начальник и главный инженер Свирьстроя Г. О. Графтио избраны в действительные члены Академии наук СССР. Страна воздавала строителям должное за их поистине выдающиеся заслуги.

Аплодисменты. Все встали. Кто-то крикнул басом:

— Правильно!

И снова аплодисменты.

Внезапно за своей спиной я услышал брющающий голос:

— Смотрите, прорабы-то как радуются, что их брат в академики попер.

Я обернулся — седой боролатый профессор из приезжих, лениво похлопывая ладонью о ладонь, беседовал со своим соседом. Я знал обоих. Они никогда не были и не умели быть «прорабами». Они пытались лишь поучать других, как надо строить.

В декабре 1933 года Нижне-Свирская ГЭС дала первый промышленный ток Ленинграду.

Пора было подумать и о Верхней Свири.

Группе инженеров под руководством Н. Н. Крашенинникова поручили заняться разработкой ряда вопросов, связанных с началом строительства на второй Свири. В эту группу попал и я.

Когда сооружали Нижне-Свирскую гидроэлектростанцию, то пользовались механизмами, большая часть которых была закуплена в США. На строительстве Верхне-Свирской ГЭС предстояло впервые показать, что теперь можно обойтись без ввоза иностранного оборудования. Как агрегаты станции, так и строительные механизмы должны быть советского производства.

## 6

После окончания строительства Днепровской ГЭС имени В. И. Ленина в Наркомате тяжелой промышленности образовался новый главк — Главгидроэнергострой. Ему стали подчиняться все строительства гидроэлектростанций, в том числе и Свирь-строй. Начальником этого главка был назначен А. В. Винтер, главным инженером — Б. Е. Веденеев.

Академик Борис Евгеньевич Веденеев, выдающийся и блестяще образованный инженер, обладал к тому же на редкость привлекательной внешностью. Очень высокого роста, стройный, несмотря на свои пятьдесят с лишком лет, с немного выпуклыми серыми глазами на красном лице, вежливый и приветливый, он сразу располагал к себе людей. Мягкий и душевный человек, он всегда боялся кого-нибудь напрасно обидеть. За это его часто упрекали многие ретивые администраторы, и Борис Евгеньевич несколько стыдился своей мягкости, считал ее недостатком. Поэтому любил иногда показать себя грозным и сердитым начальником.

Графтию, когда ехал в Москву по важному вопросу, всегда брал с собой два невероятных размеров портфеля с чертежами и записями. Как правило, его сопровождали несколько инженеров, занимавшихся разработкой данного вопроса.

В 1935 году я впервые приехал в Москву в составе такой группы. Нужно было доложить Веденееву проект Верхне-Свирской ГЭС.

Мне пришлось докладывать в числе первых. Я волновался, с трудом преодолевая вполне понятную робость... Вдруг Борис Евгеньевич постучал пальцем по чертежу и, нахмурившись, грозно спросил:

— А это что здесь такое?

Я похолодел. Неужели ошибка?

Борис Евгеньевич раздраженным тоном стал меня разносить. Я уже сообразил, что ошибки, которую в чем-то усмотрел Веденеев, на самом-то деле нет, и попытался сказать это, но Борис Евгеньевич не хотел ничего слушать и сердился еще больше.

— Он сделал работу недобросовестно! — крикнул Борис Евгеньевич в сторону Графтию — Пусть сейчас же уезжает из Москвы!

Генрих Осипович искренне считал, что лучше свирских строителей нет на свете. Он вскипел.

— Нет, работа сделана добросовестно! Я сам ее смотрел. Извольте взять свои слова обратно. Иначе я уйду. И скажу своим, чтобы они тоже ушли!

Он медленно, но решительно направился к двери. Мы растерялись — оставаться нам или уходить?

Веденеев бросился следом за Графтию. Взял его за руку.

— Генрих Осипович...

— Нет, я требую!

— Да беру, беру, бог с вами.

Академики, уладив конфликт, разошлись по своим местам.

Доклад продолжался.

Так и кончился этот забавный и по существу незначительный эпизод. Вообще же у Б. Е. Веденева был редкий дар глубоко вникать в суть вопроса, терпеливо выслушивать возражения, трезво оценивать их и всегда принимать во внимание при решении.

В 1938 году развернулись работы на Верхней Свирь.

Г. О. Графтио перевели в наркомат. Начальником Свирьстроя стал И. Г. Демидов.

К нам приехала комиссия наркомата с заданием найти пути удешевления строительства Верхне-Свирской ГЭС. Комиссия осмотрела работы, ознакомилась с материалами проекта и предложила вместо двух судоходных шлюзов строить пока один; второй мог подождать. Таким образом уменьшался объем работ, сокращалась их стоимость.

Но вот остальные изменения, необходимые по мнению комиссии, заставили строителей насторожиться. Комиссия предлагала перекомпоновку всего узла. Это грозило большими осложнениями. Пропадал труд, затраченный с самого начала строительства, а только одни земляные работы выражались в нескольких миллионах кубометров.

Мы запротестовали. Комиссия уехала ни с чем, заявив, что вопрос будет перенесен в высокие инстанции.

Предвидя большой спор, наши инженеры тотчас засели за расчеты. Мне было поручено срочно подготовить встречный проект, для чего передал в мое распоряжение нескольких инженеров, техников и чертежников.

Хотелось найти такое решение, чтобы оно было эффективнее предложения комиссии, которое разрабатывал «Ленгидэп» — одна из сильнейших проектных организаций. В то же время требовалось спасти уже проделанные на стройке работы.

Вместе с заместителем нашего главного инженера А. В. Бакулным я выехал в Москву. Времени и сил нам не хватило, и везли мы только наброски да вычерченные в карандаше схемы. «Противники» же наши представили настоящий эскизный проект, составленный по всем правилам.

Ровно в двенадцать часов в кабинете Веденева началось рассмотрение.

Проект «Ленгидэпа» давил аргументацией, детально разработанными вариантами. Мнения постепенно склонялись в его пользу.

Вскоре из упорствующих остался один только я. Борис Евгеньевич сердился.

— Признавайте,— уговаривал он.

Я продолжал отстаивать наши позиции:

— Дайте время, и мы представим самый обстоятельный проект, не хуже, чем это сделала комиссия, но зато с сохранением всех произведенных работ.

Веденев устал и раздраженно взглянул на часы — была уже полночь. Спор продолжался половину суток.

— Ну, хватит.— Он встал.— Никакого времени я вам не дам. Завтра этот вариант утвердит руководство наркомата. Вам надлежит по приезде на Свирь прекратить прежние работы. Котлованы забросить, экскаваторы вывести. Ждите телеграммы.

С тем мы и уехали.

Ожидали, что следом придет распоряжение о перестройке работ. Прошло три дня, но телеграммы не было. Я решил сделать еще одну попытку. Собрал опять свою группу, и мы десять дней, не разгибаясь, сидели в Ленинграде над проектом. Долго ничего не выходило, получалось слабее, чем у комиссии. И вот, когда, кажется, наступило полное истощение сил и уже ни одной сколько-нибудь дельной мысли не приходило в голову, вдруг как будто выскочило откуда-то простое и очень удачное решение. Гидроузел «скомпоновался».

Я побежал звонить Веденееву. На работе его не оказалось. Попросил помощника передать, что нами сделан нужный проект. Пусть разрешат приехать в Москву.

На следующий день помощник Веденеева позвонил мне.

— Я доложил Борису Евгеньевичу. Он долго ходил из угла в угол, потом сказал: «Передайте, что завтра приеду в Ленинград, но если опять окажутся такие же листочки...»

— Пусть едет! — прервал я с озорным задором.

Однако на душе стало тревожно. Ночь прошла в лихорадочной работе.

Назавтра появился Веденеев, и началось обсуждение нашего варианта, превратившееся в яростный спор.

После моего сообщения, очень коротенького, все склонились над огромным столом с чертежами. Я отошел в сторону и опустился в глубокое кожаное кресло. Спины моих противников и союзников загородили меня, голоса за столом слились в неясный гул...

— Пора бы проснуться, спишь уже около часа.

Я открыл глаза. Наш парторг В. А. Андреев тряс меня за плечо.

— Что же ты не разбудил меня сразу?

— Не было надобности. Смотри, как работает за тебя Веденеев!

В зале было шумно. Сторонники «Ленгидэпа» горячились, нападая на наш вариант, а Борис Евгеньевич спокойно его отстаивал.

Спор в Ленинграде продолжался два дня. Веденеев не принимал никакого решения. Понять его было нетрудно: ведь речь шла о громадных средствах.

— Поедем на Свирь, там, на месте, яснее будет, — сказал он наконец.

И мы все прибыли на строительство.

Еще один день пререканий. И снова решение не принято.

Наступил вечер. Все разошлись. Мы с Н. Н. Масловым взяли шахматы и спустились в столовую (все совещания, как и прежде, проходили в бывшем доме Г. О. Графтио). Сели, расставили фигуры.

Наверху, в зале, слышались чьи-то размеренные шаги.

Не успели сделать несколько ходов, как нас позвали на второй этаж, к Веденееву.

Заложив руки в карманы, он ходил по знакомому залу. Это было его привычкой: когда думает — ходит. На столах лежали чертежи нашего проекта.

Веденеев задал Маслову несколько вопросов. Тот отвечал решительно и веско.

Мы ждали. Борис Евгеньевич прошелся еще раз и, видимо отбрасывая последние сомнения, приблизился к чертежам.

— Черт возьми, — произнес он ворчливо, — приходится утверждать этот проект.

Но лицо его просветлело. Он неторопливо достал авторучку и в углу каждого листа броско написал: «Утверждаю. Веденеев».

Это был первый крупный вопрос по Свири, решенный без иностранной консультации.

— Видно, научились сами решать не хуже, — заметил Маслов, когда мы все трое спустились вниз по лестнице.

— Научились, давно уже научились, — подхватил Борис Евгеньевич и, обращаясь ко мне, воскликнул с шутливой угрозой: — А вам мы подберем другую работу!

— Какую?

— Вот увидите, — засмеялся он и исчез за дверью своей комнаты.

Подошла осень 1938 года. В один из вечеров у дверей моей ленинградской квартиры раздался звонок. Почтальон протянул телеграмму.

«Немедленно сегодня выезжайте Москву. Веденеев».

Я взглянул на часы. Половина двенадцатого. Еще можно собраться и успеть на «Красную стрелу».

На другой день утром я вошел в кабинет Веденеева.

— Для вас нашлось подходящее место. На днях принято постановление ЦК партии и Совнаркома о развитии цветной металлургии на Алтае. На Иртыше намечено

построить мощную гидроэлектростанцию около города Усть-Каменогорска. Вы назначаетесь главным инженером. Что скажете?

Мысли разбегались. Такого разговора я совсем не ожидал. Я не был знаком даже с проектными наметками этой ГЭС. Да, признаюсь, и о городе Усть-Каменогорске слышал впервые.

— Это Днепрострой Казахстана,— объяснял Веденеев.— Эта электростанция для Востока будет тем же, чем Днепр был для электрификации страны. Первым, но большим и решительным шагом.

Он оживился, поднялся из-за стола и прошелся по кабинету, засунув руки в карманы и чуть сгорбившись. Встал и я.

— Не раздумывайте,— улыбнулся он, смотря на меня с высоты своего роста.— Поверьте мне, что, построив такую станцию, вы не забудете об этом всю жизнь! Не забываются эти годы на стройке...

Мы постояли минуту друг против друга, оба одинаково взволнованные: он — воспоминаниями о прошлых славных делах, я — необходимостью немедленно, прямо вот сейчас, решать свое будущее.

— Отправляйтесь в гостиницу, подумайте два дня, а на третий приходите с согласием. До свидания!

Определенный мне срок прошел в глубоких раздумьях. Ехать в такую даль, на большое трудное дело было и заманчиво и страшно. Несколько раз позвонил в Ленинград, советовался с женой. Решили, что поедем.

## 7

В начале марта 1939 года я выехал в Усть-Каменогорск. Пока один.

От Москвы до Новосибирска — на дальневосточном экспрессе. От Новосибирска до Рубцовки — на почтовом поезде с долгими стоянками на каждом разъезде. А затем рабочий поезд ощупью идет по новой, еще не достроенной ветке Рубцовка—Риддер до станции Защита. Таков путь до Усть-Каменогорска. Сам город был так мал, что не смог дать своего имени даже железнодорожной станции, находившейся тогда от него в девяти километрах.

Зима затянулась. В середине марта морозы доходили по утрам до сорока градусов. Город рассыпался по берегам Иртыша и Ульбы утонувшими в сугробах деревянными домиками. В утреннем воздухе тянуло кизячным дымком, слышался визг санных полозьев.

Усть-Каменогорская ГЭС будет строиться недалеко от города. Раздобыв пару лошадей и сани, я выехал к месту будущих работ. Молодой веселый кучер рассказывал о здешних делах. Спустился на лед Иртыша. Дул ветер, поперек дороги с шипением ползли тонкие змейки сухого снега. Прибрежные скалы становились все выше, все ближе подступали к реке, сжимая ее, пока долина не превратилась в тесный скальный каньон.

Приехали. На льду стояло несколько буровых станков, стучали нефтяные двигатели — работала геологическая группа. Образцы породы вынимались очень хорошие: скала прочнее любого бетона. Тут не будет тех затруднений с основанием, что были на Свири. Но зато ожидаются другие осложнения — ведь здесь нужно построить самую высокую в СССР плотину, смонтировать самый мощный гидросиловой агрегат. Предстоит преодолеть злой алтайский мороз, справиться с бурной рекой.

Спотыкаясь о камни и проваливаясь в снег, я стал подниматься на ближайшую гору, чтобы посмотреть сверху на место работ. Альпинист я был никудышный, подъем занял много времени; пока добрался до нужной точки, солнце уже зашло. Лишь вершины гор на востоке светились снежно-розовым светом. Передо мной расстилалась горная страна, безлесная, покрытая глубоким снегом. Только отвесные скалы угрюмо чернели среди синих и фиолетовых теней на снегу. Я сел на камень и осмотрелся вокруг.

Там, на западе, где зашло солнце, за тысячи километров отсюда лежала шумная Москва, тянулись строгие улицы Ленинграда, были наука, культура, тепло и уют.

На востоке громоздились горы — туда нет никакой дороги, даже санный след, по которому я приехал, кончался здесь.

И вот в этой каменно-снежной пустыне нужно создать строительный коллектив по своей крепости и сплоченности посильнее свирского. Как это лучше сделать? Откуда возьмутся, пойдут ли сюда умелые рабочие, инженеры? С чего начать?..

Насмотревшись «довольно» на мощь и безмолвие Алтая, я начал спускаться. Внизу, недалеко от землянки геологов, остановился. Зажглись звезды. С темно-хрустального неба, с гор катился в долину реки неодолимый, проникающий до костей, «какой-то железный холод.

Скорее побежал к землянке, рванул дверь. В лицо ударила волна жарко нагретого воздуха, нос почуял вкусные запахи. Геолог Угнивенко — добровольный шеф-кулинар экспедиции — священнодействовал над какой-то рыбой.

Весело пообедали. Геологи были рады, что начинается строительство, — надоело скитаться по реке в поисках лучших створов.

Обратный путь. Лошади бодро бегут домой. Ветер утих. Темно. Дорога хорошо видна при свете звезд.

«Покуда тут не поселишь людей, не сделаешь их коренными жителями, ничего не получится, — думал я. — Надо превратить этот «дикий берег» Иртыша в людное, жилое место. Вот тогда и образуется нужный коллектив... А как много на это уйдет времени? Не знаю, наверное не один год. И все же? Семь, восемь лет? Или еще больше?..»

И вдруг стало ясно, что это займет уйму времени. Я понял: наиболее успешно задачу можно решить только в том случае, если сам поселишься здесь... Поселиться здесь! Прожить полжизни в этом суровом краю. Здесь растить и учить своих детей... Конечно, трудно, очень трудно это будет сделать, но нужно! Для пользы дела нужно...

Вспомнились обычные доводы против жизни в «глуши»: там, мол, опустишься, отупеешь, отстанешь от жизни, отвыкнешь от культуры. А ведь с юных лет наука, знания были моей страстью. Еще мальчишкой я прочитал у ревнителя российского самообразования Н. А. Рубакина определение образованного человека: «Знать все о чем-нибудь и что-нибудь обо всем». Мне очень нравилось это определение.

И вот теперь придется строить электростанцию в необычных условиях. Это даст мне новые знания по специальности. Если не сумею получить таких знаний — значит, не справлюсь с этой работой.

А знать «что-нибудь обо всем»? Вот тут дело посложнее. Ну да ничего, справлюсь. Да и долго ли Усть-Каменогорск будет «глушью»? Видимо, не очень долго.

...Ехали уже по городу. Справа и слева бежали низенькие домишки. Сквозь промерзшие окна тускло светились огоньки керосиновых ламп.

Где, где раньше встречал я это — думы о большой энергетике и занесенные снегом избушки?.. «Кремлевский мечтатель»... ГОЭЛРО... Нелегко давшиеся победы на Днепре и Свири...

И здесь будет победа, может быть не скорая, еще более трудная. Будет!

## 8

Естественный режим Иртыша неудобен для энергетики — зимой в нем мало воды, а энергия в это время всего нужнее. Плотина Усть-Каменогорской гидроэлектростанции не создавала достаточного водохранилища.

Где же запастись водой? Не запрудить ли озеро Зайсан временной плотиной, которая потом утонет в верхнем бьефе Бухтарминской ГЭС?

В середине марта пришла телеграмма: «Немедленно посетите Зайсан, сообщите свои соображения относительно организации там работ. Веденеев».

Вместе с только что приехавшим начальником строительства П. И. Зиминим мы начали обсуждать, как выполнить это поручение. Бурно наступала весна. Ехать на лошадах по льду Иртыша через несколько дней будет нельзя. Мы не успеем вернуться, ведь озеро находится в четырехстах километрах к югу от Усть-Каменогорска.

Петр Иванович был человеком отчаянной храбрости и страшно любил всякие необычайные приключения. Он предложил лететь. Невзирая на капризную мартовскую

погоду, отправиться на самолете, поставленном на лыжи,—и скорее, пока еще не растаяли последние пятна снега. Дозвонились до Семипалатинска, посоветовались с летчиками.

В одно прекрасное утро, весь сотрясаясь от работы своего маленького мотора, стоял на скованном морозом снегу открытый двухместный самолет-биплан. Казалось, вся машина составлена из деревяшек, проволоки и тряпочек. Мне впервые приходилось влезать в такой самолет. Но это был знаменитый по тому времени «У-2», имевший отличные летные качества, способность садиться чуть ли не на крышу дома, высокую прочность и превосходную маневренность в воздухе.

Машину вел Тупчий — один из лучших пилотов Семипалатинского аэропорта. Перелетели Калбинский хребет. Стало тепло. Далеко на юге показался Зайсан, покрытый темным весенним льдом. На берегах кое-где белели редкие пятачки снега. На один из них пилот ловко посадил машину. До талой земли остался всего лишь какой-нибудь десяток метров.

Пробыв до вечера на озере, мы убедились, что организация здесь работ будет связана с превеликими трудностями из-за отдаленности, малярии и слабого грунта основания.

Ночевать полетели в село Кокпекты, где была посадочная площадка и можно было пополнить запас бензина.

На другой день возвращение наше задержалось: Усть-Каменогорск не давал сведений о погоде. Пилот нервничал.

— Здесь погода отличная,— говорил он,— но кто знает, что там, за хребтом? И оставаться нельзя — растает снег, а мы на лыжах.

Подождав еще час, он решил лететь без сводки о погоде.

К северу от Калбинского хребта оказалась сплошная облачность. Мы поднялись на высоту полутора тысяч метров. Над нами яркое солнце, внизу расстилалась бело-снежная равнина облаков. И ни малейшего просвета. Я взглянул на часы: время давно прошло, а Усть-Каменогорска не было. Сидя на переднем сиденье, спиной к пилоту, я смотрел на горизонт. Вдруг горизонт вместе с солнцем полетел куда-то в пропасть, все тело сделалось жутко легким, завыл, засвистел ветер в снастях самолета. Я ничего не видел, кроме вопросительно-тревожного лица П. И. Зимина.

— Не беспокойтесь, это я беру понижее,— раздался у моего уха голос пилота.

Свинцовая тяжесть навалилась на плечи, прижала к сиденью. Самолет выпрямился. Оказалось, что пилот заметил «окно» в облаках над селом Новой Александровкой и поспешил пикировать в него, боясь, что оно закроется.

Полетели над Иртышом. Вошли в узкий извилистый каньон. Облачность становилась все ниже, все больше прижимала нас ко льду. Вершины прибрежных скал терялись в косматых облаках. Самолет изворачивался, чуть не задевая лыжами за скалы и крылом за лед. Нас прижало совсем. Потемневшая санная дорога внизу и скалы сбоку не наплывали спокойно, как это бывает обычно, а мчались бешено навстречу, как будто мы неслись по льду на автомобиле.

Я понял — терпим бедствие! Развернуться и полететь назад нельзя, а впереди облака все ниже. Стало тоскливо — казалось, нет конца этому полету.

Спустя некоторое время я с облегчением увидел, что самолет воцарился в прямой скальный коридор с низко нависшим облачным потолком.

«До створа сооружений остались пустяки, несколько километров»,— подумал я. И вдруг вспомнил: там у нас протянут поперек реки гидрометрический трос, на берегах — высокие мачты. Обязательно наткнемся!.. Как же сообщить пилоту? Потрясти за плечо, чтобы обернулся, нельзя,— он весь поглощен управлением самолетом, несущимся в своеобразном туннеле.

Выхватываю записную книжку, быстро пишу: «На створе трос», изображаю схему мачт и троса. Пилот на мгновение повернул бледное от напряжения лицо и понимающе кивнул. Самолет рванулся вверх и ушел в сырые, липкие облака.

Через несколько минут этого слепого полета среди невидимых, но близких гор внизу проглянули улицы Усть-Каменогорска. Пестрая «колбаса» аэродрома. Посадка. Подрулить к избушке, изображавшей вокзал, самолет не смог: бензин кончился.



Мы вылезли и побрели в своих тяжелых тулупах, проваливаясь по пояс в мокрый снег. Вдали голубел в тумане наш автобус.

Весной я приехал в Ленинград.

— Ну, Кира Владимировна,— сказал я жене,— собирайся, едем на Иртыш.

Мы долго беседовали на эту тему, сознавая, что это не просто длительная командировка, а переселение. Мы были молоды, полны сил, трудности нас не страшили. И все же, когда наступил день отъезда, не обошлось без слез. Кто думает, что переселение из Ленинграда на Иртыш простое и легкое дело, ошибается. Люди едут работать на далекие новостройки не потому, что это просто и приятно, а совсем из других побуждений.

Восточно-Казахстанский Алтай встретил нас ярким и горячим весенним солнцем, ароматом молодой полыни и дикого жасмина, буйной травой, цветочными коврами на лугах. Горы теперь казались теплыми и приветливыми. Воздух был такой же прозрачный, как и зимой.

Здесь можно будет недурно жить людям.

Усть-Каменогорской гидроэлектростанции вначале не повезло. Нападение гитлеровских захватчиков на долгие годы отсрочило строительство на Иртыше, заставило заняться делами, непосредственно связанными с нуждами военного времени.

## Часть вторая

### 1

1949 год. Конец февраля. Деревянный рубленый двухэтажный дом на берегу Иртыша — Управление строительства Усть-Каменогорской ГЭС. За окнами бушует во всей своей красе алтайская пурга. Она бросает в стекла комья снега, срывает с крыш доски, рвет провода. Телефонная связь с городом и с аэропортом прервана.

А. В. Бакулин и я сидим у меня в кабинете. Я теперь начальник строительства, а Андрей Владимирович — главный инженер.

Мы ждем, томясь от нетерпения, и не можем ничем заняться. Сейчас должен прилететь из Москвы В. Ю. Стеклов — заместитель главного инженера. Смогут ли принять самолет в такую погоду?

— Примут,— убежденно говорит Бакулин.— Владимир Юрьевич, сами знаете, везде пробьется! Он заставит их лететь в какую угодно погоду... Особенно с таким документом.

Стеклов должен привезти с собой приказ министра электростанций, изданный в развитие постановления Совета Министров СССР «О мерах помощи строительству Усть-Каменогорской ГЭС». Стройка только что начала выходить из состояния консервации военных и послевоенных лет.

А пока что я поглядываю — в который раз! — на свою «правую руку». Бакулин происходил из старой инженерии, ему без малого шестьдесят лет. Отец был генералом инженерных войск, прадед в 1814 году вступал в Париж во главе русской пехотной дивизии. Андрей Владимирович — блестяще образованный человек. Надежный запас глубоких знаний по своей специальности, хорошо владеет математикой, всегда в курсе всех новостей физики, химии, биологии и медицины. Свободно говорит по-немецки, отлично знает французский, английский и итальянский языки. Его огромная — бездонная какая-то! — память поражала всех. Он мог наизусть, сотнями строк, читать отрывки из Шиллера на немецком и русском или Байрона на английском и русском. Эти стихи он выучил еще в реальном училище.

Его заместитель — В. Ю. Стеклов — появился на строительстве сравнительно недавно. Будучи лет на двадцать моложе своего начальника, он мало уступал ему по части эрудиции. Но если у Бакулина знания чинно лежали по полкам, как книги

в образцовой библиотеке, то у Стеклова они как бы варились в кипящем котле, всегда готовые для немедленного практического применения...

— Едет! — воскликнул Бакулин, глядя в окно. — Я же говорил, что пробьется.

Быстрые шаги длинных ног по коридору. Открывается дверь, и в кабинет врывается Владимир Юрьевич.

— Вот он, здесь! — Он потряхивает огромным портфелем. — Сейчас увидите!

Вытирая на ходу запотевшие очки, подбегает к телефону, вызывает жену.

— Соня, здравствуй! Я приехал. Сейчас, только расскажу главную новость и приду домой.

Все трое садимся в кружок, жадно читаем приказ, излагающий постановление правительства.

С этого дня и началось по-настоящему строительство Усть-Каменогорской ГЭС.

Правительственные сроки пуска гидроэлектростанции были предельно сжаты. Бурно развивающаяся промышленность Рудного Алтая требовала небывалого количества дешевой энергии. Ее ждали новые цехи Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината, растущий город горняков Зырянск, на нас рассчитывали предприятия Лениногорска, рудники Березовки и Белоусовки.

Теперь задача строителей несколько облегчалась. Во-первых, отпадала необходимость сооружать Зайсанскую плотину (прежде она предусматривалась для создания промежуточного водохранилища; ведь ожидалось, что к строительству Бухтарминской ГЭС можно приступить не раньше чем через пятнадцать лет после пуска Усть-Каменогорской). Во-вторых, за годы, прошедшие со времени работ на Свири, советское машиностроение сделало огромный скачок вперед, и теперь стройка была оснащена первоклассными механизмами. На Усть-Каменогорскую ГЭС прибыли с Ново-Краматорского завода одни из первых в стране шагающих экскаваторов. Нам сразу же выделили более двухсот автомобилей, из них сто тридцать самосвалов. В дальнейшем, до самого пуска гидроэлектростанции, мы получали мощные краны, современное строительное и энергетическое оборудование.

Комсомол Казахстана объявил Усть-Каменогорскую ГЭС молодежной стройкой. На Иртыш приехали тысячи юношей и девушек. До сих пор верхняя часть поселка строителей носит название «Комсомольского района» — там некогда стояли палатки молодых строителей, явившихся первыми на суровые берега Иртыша.

Все это помогло создать с начальных же дней тот боевой строительный ритм, который не ослабевал до последних дней стройки.

Академик Б. Е. Веденев неспроста назвал Усть-Каменогорскую ГЭС «Днепростроем Казахстана». Помимо сходства в конструкциях и размерах сооружений, стройка на Иртыше имела для будущего завоевания рек Сибири такое же значение, как и сооружение первой мощной гидростанции на Днепре для развивающегося советского гидроэнергостроения. Нам довелось стать пионерами существовавшего тогда пока еще в планах великого наступления на энергетические ресурсы востока страны.

Многие вопросы, возникшие в совершенно новых для строителей климатических и природных условиях, пришлось решать, не имея перед собой примеров; тем полезнее это было для коллектива, подготовившего немало замечательных специалистов, получивших боевое крещение на берегах Иртыша.

Вот некоторые страницы поучительной истории одного из многих славных дел нашего народа, каким была эта стройка.

Прибытия шагающих экскаваторов ждали, как праздника. Слава о них облетела всю страну. Эти мощные мобильные снаряды уже работали на Волго-Доне, опрокидывая все существовавшие доселе рекорды земляных работ.

Три такие машины были отправлены и в адрес строительства Усть-Каменогорской ГЭС.

Однако тем, кто буквально сгорал от нетерпения посмотреть на диковину, пришлось испытать горечь разочарования: шагающие прибыли в разобранном виде.

Иначе не могло и быть — нет на свете платформы, на которой улеллась бы эта машина.

Собрать экскаваторы пришлось на стройке. Представитель завода, доставивший машины к нам, заявил, что сборка их потребует не меньше четырех месяцев на кажльй.

— Сколько?!

— Каждому четыре месяца,— невозмутимо повторил шеф-монтер.

— Ну, друзья, с такими темпами далеко не уйдешь.

— Ничего не поделаешь,— вздохнул представитель.

Все прунуыли — неужели придется ждать целый год, пока «встанут на ноги» эти так необходимые нам помощники?

Спасение пришло оттуда, откуда его никто не ждал. Пока мы судили и рядили, как найти выход из положения, недавний выпускник нашей школы ФЗО механик Тохтар Слямов организовал комсомольско-молодежную бригаду монтажников и вызвался смонтировать экскаватор за два месяца. Этому, признаться, мало кто поверил. Представитель завода только разводил руками; ему предстояло помочь в монтаже.

Ребята горячо принялись за дело. Все переживали за них: справятся ли? И на этот раз комсомольцы не подвели. Через два месяца первый экскаватор «зашагал на работу».

— Второй будет легче,— сказал Тохтар.

— А третий?

— Третий совсем легко.

И действительно, если второй шагающий комсомольцы собрали за один месяц, то сборка третьего заняла у монтажников всего лишь восемнадцать дней.

Своими славными делами бригада Слямова отличалась и в дальнейшем — на сборке порталных кранов, насосов. Словом, комсомольцы Слямова были у нас своего рода «палочкой-выручалочкой», когда дело касалось сложных, не терпящих отлагательства монтажных работ.

Котлован первой очереди был откачан в том же 1949 году.

Партийная организация стройки бросила клич: «Все коммунисты — на бетонные работы!» Укладка бетона стала самым боевым участком, передовой линией строительства.

Тогда впервые взошла звезда нашей лучшей бригады, руководимой коммунистом Жанадилем Каримбаевым. В соревнование с ней включились бетонщики Афанасьева, Овечкина, Латыпова.

На переднем крае стройки стояли коммунисты.

## 2

Худой, нервный человек в поношенном пальто, с воротником шалью и в круглой черной шапке, с силой налегая на палку, проковылял к моему столу и утомленно опустился на стул.

По виду не строитель и на демобилизованного не похож — те обычно донашивали защитные куртки и гимнастерки. Но оказалось, что вошедший был и строителем и демобилизованным. У нас он очутился случайно — сюда во время войны была эвакуирована его семья.

— Демобилизовался, а куда деваться? Вот и приехал...

На фронте потерял ногу. До сих пор еще не может привыкнуть — и он показал на палку.

Таким я впервые увидел Ивана Дмитриевича Гончарова, впоследствии одного из лучших людей стройки, боевого руководителя ее самых ответственных участков.

Из разговора с Гончаровым я вынес убеждение, что человек потерял не только ногу, — у него исчез интерес к работе, к жизни. «Калека, пенсионер — какая уж теперь жизнь!» Поставили его руководить жилищным строительством. Работал без всякого энтузиазма — лишь бы числиться, — медленно и трудно втягивался в жизнь коллектива.

Война многим исклелчила жизнь.

Выздоровление Гончарову, как и следовало ожидать, принес труд.

Помнится, прислали нам типовой проект средней школы. Развернули мы его, посмотрели и только головами покачали: ну и накручено! По фасаду какие-то аляповатые фигуры, внутренняя планировка никудышная. Ну как можно своим собственным ребятишкам строить такое чепелое сооружение?!

Исправить проект вызвался Иван Дмитриевич Гончаров. У себя в конторке он поставил чертежный стол и засел на много вечеров. Читал до рассвета архитектурные книги и журналы, до конца использовал помощь В. Ю. Стеклова, оказавшегося очень сведущим в этих вопросах, и через три недели принес коренным образом переделанный проект школы — она стала удобной и красивой. Позднее, в 1951 году, снимок этой школы как одного из лучших школьных зданий был напечатан в «Правде».

Перспектива, масштабы строительных работ целиком захватили Гончарова. В короткий срок, месяца за два, он сумел в семь-восемь раз увеличить объем жилищного строительства, поселок стал расти на глазах. Тогда все увидели, что в коллективе вырос человек с большой судьбой строителя.

Изменился Иван Дмитриевич и внешне — уж и на палку налегал не столь усердно, и одежду свою переменял, и вообще стал какой-то подобранный, я бы сказал: устремленный вперед.

Он приобрел мотоцикл и носился на нем по своему участку, раскинувшемуся на несколько километров, радуясь, что, оказывается, может искусно владеть машиной.

Меня давно беспокоил ход работ в котловане. Откачать мы его откачали, но выемка грунта шла из рук вон плохо. Руководители участка оказались слабоватыми. А нужно было еще вести скальные работы, скорее приступить к бетону. Эх, туда бы энергичного умного организатора!

Гончаров на первых порах запротестовал:

— Что вы, Михаил Васильевич, куда мне на такой объект! Не справлюсь. Страшно вато все-таки...

— Да вы посмотрите сначала, что за работа, — уговаривал я. — Пойдите, побудьте там дня два-три, присмотритесь, и я уверен, что во вкус войдете.

Гончаров согласился.

— Ладно, посмотрю.

Ему дали какое-то партийное поручение, и он три дня провел в котловане. Ходил, приглядывался, что-то соображал. Наконец явился ко мне такой необычный, будто светящийся изнутри.

— Ну что, Иван Дмитриевич?

— Посылайте, Михаил Васильевич.

— Понравилось?

Гончаров только улыбнулся.

— Попробую.

Гончаров принял котлован в морозные дни февраля 1950 года. Попутно, пока велись скальные работы, он взялся заканчивать бетонный завод. В апреле началась укладка бетона.

Я с интересом следил за первыми шагами молодого руководителя. Поражало в нем какое-то самой природой данное организаторское искусство. Говорю это не ради красного словца. В отличие от других гидроэлектростанций страны — скажем, волжских, где работы разворачиваются в ширину, — иртышские станции сооружаются на небольшой площадке и имеют тенденцию развиваться в высоту. Вот здесь-то и показал Гончаров свои способности. На малом оперативном пространстве он сосредоточил предельные силы, причем организовал труд так, чтобы не было излишней толчеи, неразберихи, чтобы дать людям и машинам, так сказать, жизненный простор.

Гончаров стал настоящим командиром нашего самого ответственного участка. Постепенно он забрал в свои руки все основные работы — сооружение плотины, станции, шлюза. О Гончарове еще придется упомянуть не один раз. Сейчас скажу только, что после того, как Усть-Каменогорская ГЭС вступила в строй действующих предприятий, Гончаров ушел от нас учиться в энергетическую академию. Мы не ошиблись в нем. Работа на Иртыше выковала у него отличные качества. Иван Дмитриевич работает теперь главным инженером на строительстве крупной гидроэлектростанции в Дагестане.

## 3

В разгар рабочего дня ко мне в кабинет ввалился улыбающийся Гончаров, следом степенно, с чувством собственного достоинства, выступал бородастый крепкий старичина. У порога застенчиво переминались, комкая в руках шапки, двое помоложе. Один из них, успев я заметить, в гимнастерке. Не иначе как демобилизованный.

— Вот, Михаил Васильевич,— представил незнакомцев Гончаров,— пополнение привел. Хорошие специалисты. Потомственные плотники. Приехали всей семьей. Вижу, на берегу стоят и не знают, что дальше делать.

Пригласили гостей садиться. Говорил за всех старик Федор Васильевич, глава семейства.

— Мы, Хлапцевы, плотники. Село наше вон там, вверх по течению Бухтармы. Далеко, конечно. Приехали вот, принимайте.

Всю жизнь династия Хлапцевых плотничала здесь, в Алтайском крае. Старика подбили ехать сыновья — Николай и Яков. Они демобилизовались, проехали по стране, кое-что посмотрели, и тесен показался отцовский кров в лесной глуши на берегу Бухтармы. А тут как раз узнали, что на Иртыше разворачивается большое строительство. Старик сдался, но напоследок настоял, чтобы предварительно кто-нибудь из сыновей съездил на стройку и разузнал все как следует. Отправился Яков. Вернулся и заверил, что ехать можно. Тогда на общем семейном совете решили трогаться. Срубили два десятка деревьев, разобрали свой дом, связали плот. Он был такой, что поднял все — домашний скарб, жен, детишек. Поплыли по бурной, порожиистой Бухтарме, потом по Иртышу. Так, на плоту, Хлапцевы и прибыли на стройку.

— Мы ведь не как вербованные.— не торопясь, доказывал Федор Васильевич.— Мы если уж порешили, значит поселимся здесь. Насовсем. Жителями здешними станем.

— Ну что ж, будем очень рады.

— Опять же нам интересно посмотреть, как это Иртыш станут запруживать. Да и самим лестно поучаствовать в этом...— Старик немного замаялся, видно, подошел к самой шекотливой части разговора.— Ты бы нас, товарищ начальник, пока куда-нибудь под крышу сунул. Да ненадолго, ненадолго. Нам ребятшек с бабами лишь бы определить. А там, дай бог, дом построим. Не на день ехали — на всю жизнь.

Я и сам понимал, что такая семья — клад для строительства. Но о квартирах нечего и думать — их пока не было. Знал об этом и Гончаров.

— Я думаю,— сказал он,— этих новоселов в свою контору поселить.

— Помилуйте, Иван Дмитриевич, где уж у вас там! — удивился я. Вся контора Гончарова состояла из двух маленьких комнат.

— Ну, потеснимся. Я пока перейду на одну половину.

Хлапцевы, вежливо поблагодарив, удалились.

Настоящая слава к плотникам Хлапцевым пришла с началом бетонных работ. Они оказались отличными мастерами опалубки. Тот, кто представляет себе, что такое опалубка, знает, что она требует от человека подлинного искусства, большой физической подготовки и незаурядной технической грамотности. Плотник-опалубщик должен уметь читать чертежи; он первый возводит контур будущего сооружения, ему нужно мысленно видеть объект уже в готовом виде.

Помимо всех прочих достоинств, Хлапцевы показали себя хорошими воспитателями. Совсем зеленые парнишки, попадавшие к ним в бригаду и приобщившиеся к этой нелегкой профессии, уже ни за что не хотели с ней расстаться. У нас на стройке выросла целая плеяда учеников Хлапцевых.

В скором времени поднялись рядышком, один возле другого, три скромных дома. Так в поселке появился переулочек плотников Хлапцевых.

## 4

В телефонной трубке послышался взволнованный голос главного инженера:

— Я на продольной перемычке. Очень быстро поднимается уровень воды. Боюсь, что у нас верхний слой перемычки не проморожен. Если вода будет так прибывать — как бы не просочилась. Уже есть признаки...

Я знал, что без веских причин Бакулин звонить не стал бы. Правда, я утром сам был на перемышке, можно сказать — только что оттуда. И вот ведь как все изменилось.

— Приезжайте сюда, — попросил Бакулин.

Я зашел к секретарю партийной организации А. З. Белявскому, пригласил с собой.

— Скорей на перемышку! Кажется, воевать придется.

Абрам Зиновьевич всего две недели назад прибыл на стройку в качестве парторга ЦК партии. Он имел уже большой опыт партийной работы от первичных парторганизаций до аппарата ЦК КП Казахстана. В 1941 году ушел на фронт в составе знаменитой Панфиловской дивизии, проделал поход от Сталинграда до Вены. После войны вернулся в родную Алма-Ату.

Пережив трудную зиму, первую зиму после постановления правительства о развертывании работ на Иртыше, мы настолько продвинулись в земляных и скальных работах, что смогли начать бетонирование. И тут нам стал угрожать огромный паводок. А при очень высоких горизонтах перемышка, ограждающая котлован, может оказаться ненадежной.

Дело в том, что она была поставлена в виде стенки из деревянных ряжей, заполненных грунтом, на толстый слой русловых отложений Иртыша. Эти отложения состояли из смеси песка с галькой и очень сильно пропускали воду. Чтобы сделать их водонепроницаемыми и получить возможность откачать котлован, мы эти отложения искусственно заморозили вместе с ряжевой стенкой, используя для этого весьма мощную холодильную установку.

Понятно, что грунт, засыпанный в ряжевую стенку, замерз только в тех местах, где он был промочен водой, а во время замораживания в прошлом, 1949 году очень высоких горизонтов в реке не было и верх стенки оставался сухим — значит, не превратился в водонепроницаемый ледяной бетон. Мы опасались за этот верхний слой, и не напрасно.

Паводок в эту весну шел небывалый. Стесненный перемышкой, Иртыш подбирался к верхнему краю ледяной завесы. Уровень воды продолжал нарастать.

Все трое — Бакулин, Белявский и я — стоим на перемышке. Вот открылась сначала одна течь, потом сразу в нескольких местах. Через некоторое время, размыв отверстия, вода хлестала из них водопадом внутрь котлована.

Я взглянул на водомерную рейку — вода прибывала. По реке плыли кусты, ветки, сухая трава — типичная картина разрывающегося паводка.

В такой угрожающей обстановке мы отменили все работы. Строители бросились на борьбу с прорвавшейся стихией.

Первой мерой было не дать реке размывать отверстия дальше. В стенку стали накачивать цементный расбор. Размыв, кажется, приостановился. Но поступление воды в котлован было столь велико, что все установленные насосы не успевали откачивать. Водоотлив достиг двадцати пяти кубических метров в час.

Уровень воды повышался и в Иртыше и в котловане. Стали бояться, что вода скоро подойдет к месту бетонных работ. Так продолжалось два дня.

Двадцатого мая паводок достиг предельной силы.

Мы с А. В. Бакулиным установили посменное дежурство: полсуток он, полсуток я.

Кончалась ночь моего дежурства. На рассвете я взглянул на Иртыш — река представляла ужасное зрелище. Слово обозлившись на людей, она все набирала и набирала ярость.

Внезапно с одного отверстия слетело цементное крепление. В расширившуюся брешь устремился поток. Вода размывала внутренний откос перемышки. Я увидел, что деревянный ряж, поставленный как опора под насос, стал медленно крениться набок. Вода помогала ему. Вот он сорвался и полетел в котлован. Бревна, комья, брызги — устрашающая картина разрушения! В довершение всего один за другим стали выходить из строя насосы — это наделала насыщенная песком и илом вода.

В шесть часов утра к котловану подлетело несколько грузовиков с рабочими. Они спрыгивали на ходу. Впереди стоял невысокий кренкий человек, он уверенно отдавал приказания. Это был Белявский.

Ночью он объехал все участки, оповестил о беде коммунистов, а те созвали всех свободных от работы людей на прорыв. Теперь все они присоединились к сражавшейся в котловане смене. Их было больше тысячи. Рабочие построились в цепочку и по конвейеру, из рук в руки, стали передавать камни. Они забрасывали мощную струю воды, чтобы погасить ее энергию, не дать размыть внутренний откос перемычки.

Я взглянул на часы. Стрелки подходили к цифре «8». Пойду посмотрю на водомерную рейку.

Оказывается, горизонт за два часа не изменился. «Значит, сейчас начнется резкий спад»,— обрадовался я, зная нрав Иртыша.

Победили, победили, победили! Удержали котлован!

Вскоре вода стала быстро падать. К двум часам дня уровень в Иртыше упал на тридцать сантиметров. К вечеру понизился более чем на метр. Откачка пошла успешнее. Воде так и не дали добраться к месту бетонных работ.

Иртыш отступил.

##### 5

В октябре 1950 года мы закончили гребенку плотины. Теперь можно было убирать ненужную перемычку, пустить Иртыш через гребенку и приступать к осушению котлована левого берега.

Способ перекрытия рек по теории С. В. Избаша хорошо запомнился мне еще по Свири. Только тогда отсыпка банкета производилась из камня «подручных» размеров с моста на опорах. В наше время все это устарело.

Вместе с А. В. Бакулиным, с начальником технического отдела И. Е. Подруцким и инженером А. Л. Филаховым мы коренным образом усовершенствовали свирский вариант перекрытия реки. На этот раз в основу расчетов была положена неизмеримо возросшая с тех пор техническая оснащенность. На нашей стройке, например, главным транспортным средством уже стали пятитонные дизельные автомобили-самосвалы, а не узкоколейные железнодорожные платформы, как на Свири.

Для постройки моста решили отказаться от опор. Самосвалам нужно широкое полотно, и, вздумай мы строить такой мост на опорах, он обошелся бы очень дорого, да и времени потребовалось бы значительно больше. Вместо опор мы использовали металлические баржи. Это сильно облегчало сборку и наведение моста, он отлично держал самосвалы.

Двадцать восьмого октября перемычка была взорвана. Иртыш затопил котлован и частично пошел через гребенку плотины.

На другой день строители приступили к отсыпке банкета. Мост на семи баржах лег поперек реки, колонны самосвалов с камнем двинулись на шаткое полотно.

Впервые в истории человек усмирал бурный Иртыш. Река сопротивлялась, но не отступала и люди. Второе и третье ноября были объявлены авральными днями. Весь коллектив строителей боролся с непокорной рекой.

Геодезисты вели непрерывное наблюдение за Иртышом. Огметили, что уровень воды в верхнем бьефе поднялся на сто восемьдесят сантиметров. Течение через банкет усилилось. Мелкие камни стало сносить, сыпать их бесполезно. Тогда самосвалы начали опрокидывать в реку пятитонные каменные глыбы. Борьба с ними Иртышу было нелегко, и геодезисты наконец засекли, что поток теряет силу. Иртыш поворачивает целиком на гребенку плотины. Исход борьбы был предрешен, и пятого ноября из воды показалась верхняя часть банкета.

Иртыш сдался.

Победа строителей над Иртышом была хорошим подарком к тридцать третьей годовщине Великого Октября, хотя радостные минуты праздника река все-таки несколько отравила нам.

В клубе поселка шло торжественное заседание. И вдруг в зале раздастся громкий крик:

— Товарищи, мост ломает!

Поспешили в котлован. Мост действительно лежал почти на боку. Оказалось, что виной всему был начавшийся ледостав. Лед, шуга образовали у барж затоп,

левую сторону моста приподняло, грозя опрокинуть совсем; в этом случае Иртыш мог разрушить банкет и вернуться в старое русло. Но, к счастью, все обошлось благополучно, затор пронесло в пролеты гребенки, мост выправился.

Мы постояли на берегу, слушая, как в ночной тишине шуршит густеющий на морозе лед; было похоже, что усмиренная река, обиженно ворча, утомленно укладывается на долгий зимний сон. Морозило, высоко над заснеженными, мутно белеющими горами сверкали звезды. Мы вернулись в клуб.

Перекрытие реки с наплавного моста было проведено впервые. Все чертежи вскоре затребовали на Верхнюю Свирь, где наш опыт помог строителям еще раз обуздать знакомую мне реку. Потом уже такой метод широко применялся почти на всех реках; им воспользовались, например, когда перекрывали Ангару у Иркутска, Каму, а также Волгу у Куйбышева и Горького.

Зимние месяцы 1950—1951 годов явились для нас своего рода «разведкой боем» — я имею в виду попытку вести бетонные работы в жгучие алтайские морозы. Бетона тогда уложили не столь уж много, но цели достигли: эксперимент показал, что можно укладывать бетон и в жестокие сибирские зимы.

Нелегки были условия, в которых приходилось работать бетонщикам: сорокаградусные морозы, ледящий ветер по реке. В блокн подавали для подогрева горячий пар, к тому же еще нужно учесть влагу от бетонной массы; таким образом, внутри опалубки постоянно стоял густой туман. И если кому-либо из бетонщиков случилось хоть на минуту выйти наружу, мокрая спецовка моментально твердела на морозе, и человек, очутившись как бы в латах, терял способность двигаться.

Но как бы ни было трудно, ни разу не приходилось слышать жалоб. Молча, с необычайным упорством люди одолевали и зиму и все тяготы. Слава им!

С перекрытием Иртыша прекратилось сообщение по реке. Правда, зимой пароходы и без того отставались в Семипалатинском затоне, но чем ближе подходила весна, тем настойчивее начинали тревожить нас речники. В конце концов нам установили жесткий срок — шлюзование судов должно начаться не позднее тридцатого апреля.

Иртыш свободно шел через гребенку, и уровень воды в верхнем бьефе был невысок. Поднимать суда предстояло всего на несколько метров. Мы готовили, если так можно сказать, первую очередь шлюза. Полностью это уникальное сооружение (усть-каменогорский шлюз — самый высокий в мире, перепад его сорок метров, и состоит он из одной камеры) было готово только в 1953 году, после пуска станции.

Подготовку шлюза к навигации объявили задачей первостепенной важности. Партийная организация включила в эту работу лучших производственников-коммунистов. Дело, как всегда водится при спешке, не обошлось без осложнений.

С секретарем парткома Белявским мы стояли на мосту и, наблюдая, как идет выемка грунта в нижнем канале шлюза, считали по пальцам, когда экскаваторщики смогут закончить работу. Получалось, что срок выдержим. Беспokoило только отсутствие лебедек для верхних ворот шлюза, хотя было известно, что они погружены и вагон прицеплен к пассажирскому поезду.

И вдруг видим, что шагающий экскаватор, работавший внизу, окутался ядовитым зеленоватым дымом и остановился. Что это с ним случилось?

Побежали к экскаватору. О ужас! Оказалось, что машина надолго вышла из строя — сгорело распределительное устройство. И это в самые напряженные дни!

Кляня на чем свет стоит коварную машину, мы ломали голову — как же ее быстрее починить?

А в это время где-то на пути к шлюзу «шагал» второй экскаватор. «Идти» ему оставалось еще много — дня три. Решили снять с него распределительное устройство. И вот громоздкая машина остановилась на самой дороге, посреди поселка, разделив поток непрерывно спущающих взад и вперед грузовиков.

Двадцать шестого апреля прибыли долгожданные лебедки. До пуска шлюза оставалось три дня.



Стали опускать в камеру верхние ворота. Лебедки поставили на тормоза.  
— Майна!

Но едва только убрали подпорки, как стонная плита ворот, раскручивая лебедки, рухнула вниз — тормоза не сработали. К счастью, ворота заклинило в пазах, и они не разбились. А вот с лебедками нужно было что-то делать, тормоза никуда не годились.

Неудача на строительстве наделала много шума. В эти дни меня замучили телефонные звонки. Позвонил даже профессор кафедры подъемных машин Алма-Атинского горно-металлургического института — чем можно помочь? Мы обещали управиться сами.

Изыян в лебедках обнаружился случайно — виной всему была халатность заводских сборщиков, поставивших тормозные ленты навыворот.

Теперь, когда все помехи были устранены, можно приступать и к опробованию шлюзов. Мы рассчитывали, что это сделает пароход «Первое мая», находящийся у строительства в аренде.

Наступило тридцатое апреля — дата, назначенная нам для начала шлюзования. Утром в конторке участка шлюза собрались руководители стройки и речники. Приехал и секретарь Восточно-Казахстанского обкома партии Х. М. Пазиков. Случай предстоял небывалый: должен пойти первый пароход через первый шлюз на Иртыше.

Когда все, казалось, было уже оговорено, к нам подошел капитан «Первого мая». Поздоровавшись со всеми, он сказал:

— Интересно, а чей же пароход пойдет в шлюз?

— Как это чей? Ваш, конечно!

— Ну, нет! Свой я не поведу.

— Почему не поведете?

— Первым я в шлюз не пойду, — уперся капитан.

Растерянность была всеобщей — ждали мы, ждали этого торжественного момента, и вот все летит кувырком из-за какой-то непонятной строптивости речника. Вызвать другой пароход — значит потерять еще несколько дней. Тем более завтра праздник.

Тогда заговорил Х. М. Пазиков.

— По-видимому, придется вас на сегодня отстранить от работы, а пароход поведет ваш помощник.

Вперед вышел помощник и категорически заявил:

— А я тоже не поведу.

— Да вы что, в своем уме? Вам же честь оказана — первыми пройти шлюз!

— Не пойдем, — дружно мотали головами речники.

Секретарь обкома поднялся с места и спокойно сказал:

— Мы сейчас пойдем осматривать шлюз, а вы оставайтесь здесь и думайте. Если что — найдем и без вас, кто поведет судно.

Мы сходили на шлюз, вернулись.

— Ну что, надумали?

— Ладно, — мрачно буркнул капитан.

Пазиков рассмеялся.

— Эх, вы... Ну хорошо, если уж так боитесь шлюзоваться первыми, я тоже с вами **пойду**. Да что я — все мы будем на пароходе!

В десять часов вечера пароход «Первое мая» осторожно вошел в нижний канал. Видно, от волнения капитана судно, как слепой щенок, тыкалось в стенки, поминутно останавливалось. Пока пробрался в камеру, поднялись, прошло немало времени.

Только во втором часу ночи пароход выбрался в верхний бьеф. Я высказал досаду, что все же мы не выдержали указанного срока — ведь уже было первое мая. Пазиков подумал и поправил меня:

— Первое мая — это у нас, а в Москве-то еще тридцатое апреля и только одиннадцатый час. Успеем до двенадцати часов сообщить.

Мы сели в машину и помчались на телеграф. В двадцать три часа по московскому времени полетели телеграммы в Алма-Ату и Москву: первый пароход прошел через иртышский шлюз.

Стоял теплый августовский день. На церемонию закладки станции собрались все строители. Люди стояли на перемычке, на эстакаде.

Теплый ветер тянул с верховьев реки. Над котлованом воцарилась тишина. Большая трехкубовая бадья с бетоном проплыла над нашими головами. Все проводили ее глазами.

На долю знатного бригадира бетонщиков Жанадила Керимбасва выпала большая честь — уложить первый бетон в здание гидроэлектростанции. Торжественный и взволнованный, Жанадил поднял к опускающейся бадье руки, словно желая принять ее от крановщика.

Серая мокрая масса бетона легла на подготовленную площадку.

Здание Усть-Каменогорской ГЭС заложено. Не за горами было время, когда над Иртышом вспыхнут первые огни.

Однако в оставшийся до пуска год с небольшим нам пришлось пережить еще немало трудных, по-настоящему драматических минут.

## 6

Неожиданно много осложнений доставил нам ледоход 1952 года.

В Иртыше в ту весну был небывало высокий уровень. Вешние воды, стиснутые береговыми скалами, грозили разметать все, что встретится на пути.

Правая половина реки была прочно закрыта перемычкой, для Иртыша оставались лишь три отверстия в плотине между «зубьями» бетонной гребенки левого берега. Вода быстро прибывала. В довершение всего в нижнем бьефе образовался затор, и мутная пенная вода стала подступать к нам и сверху и снизу.

Я безотлучно находился на перемычке.

В котловане, как обычно, велись бетонные работы, поднималось здание станции. «Хозяин» правого и левого берегов И. Д. Гончаров со своей неизменной палкой поспевал всюду. Бетонщики старались, нисколько не думая о том, что творится за надежной, из стали и камня, стеной перемычки.

Внезапно моим глазам представилось страшное зрелище. Дверь инструментальной мастерской — небольшого деревянного сарайчика на дне котлована — затрещала, замок отлетел в сторону, и мощный поток с шумом хлынул в котлован. Вместе с водой неслись доски, ящики.

Опомнившись, Гончаров бросился вниз. За ним побежали механик Кондрашов, слесарь Малютин.

Это неожиданное происшествие на первый взгляд ничем серьезным не грозило. Отверстие, куда ворвался поток, размыть больше не могло — в перемычке был стальной шпунт, а высокий уровень воды при ледоходе держится, как правило, недолго. Однако события мало-помалу стали принимать нежелательный оборот.

Наша насосная станция находилась на самом дне котлована. Вода устремилась туда. Если захлебнутся моторы насосов, она неизбежно подступит к бетонным блокам.

Малютин вызвал свою бригаду.

Вода стала заливать насосную. Валы уже вращались в воде. Приходилось только удивляться, как не перегорели моторы. Механики лихорадочно монтировали запасной насос. Тем временем Гончаров с рабочими пытался остановить поток все прибывающей воды.

Три часа продолжалась борьба с ворвавшейся рекой. В критический момент сгорели моторы насосов, но буквально в тот же миг механики пустили в действие запасной.

Уровень воды в Иртыше стал понижаться, кризис миновал. Вскоре напор потока в котловане ослабел, и Гончарову удалось заделать промону.

Промокший до нитки, посиневший — целых два часа в ледяной воде! — Иван Дмитриевич поднялся вверх.

— Что там произошло? — спрашиваю.

— Руки кому-то надо отрубить за это, вот что! — сердито ответил он, дуя на заочевенные пальцы.

Оказалось, что кто-то из монтажников, чтобы укрепить трос, прорезал большое окно в стальной стене шпунта, уложил бревно, а заварить поленился. Просто засыпал землей. В этом месте река и прорвала стену.

Я невольно вспомнил слова, которые любил повторять Генрих Осипович Графтно:  
— В нашем деле нельзя допускать никаких «коекаков»!

Летом приступили к работам, непосредственно связанным с предстоящим пуском первого агрегата.

Бычки плотины выросли уже до своей проектной высоты. Начался монтаж двух мостовых кранов машинного зала, каждый из которых имел грузоподъемность свыше трехсот тонн. Взяться за сборку рабочего колеса турбины и ротора генератора.

Днем и ночью не прекращался гул механизмов, не гасли молнии электросварки. Сооружение росло на глазах. Мощь коллектива стала еще более ощутимой, зримой для каждого.

Здесь, на суровой земле Алтая, в местах, для которых еще недавно классическим определением было слово «глухомань», мы строим самую высокую в стране бетонную плотину и монтируем самый мощный гидроагрегат. Скептики говорили, что, мол, куда там — в этом году не выйдет. Нет, вышло!

По всему миру разнеслась весть о предстоящем созыве XIX съезда партии. Партийного съезда не было уже тринадцать лет. И когда в проекте директив мы прочли: ввести в действие крупные гидроэлектростанции, в том числе Усть-Каменогорскую, и начать в числе других строительство Бухтарминской ГЭС на Иртыше, почувствовалось с особой силой, как внимательно следит за нашей работой здесь партия и что нам, энергостроителям, оказана огромная честь быть названными в важнейшем для страны документе. На строительстве поднялась новая волна трудового энтузиазма, которая росла все выше до самого пуска первых агрегатов.

Пятого октября 1952 года в качестве делегата съезда я впервые в жизни вошел в Большой кремлевский дворец. Начались заседания. Подводились итоги борьбы и побед советского народа за тринадцать лет.

В конце октября я вернулся из Москвы к себе на стройку. Меньше чем через два месяца должен вступить в строй действующих первый агрегат.

Приближалась очередная зима. Коллектив строителей трудился с предельным напряжением. Исчезла грань между днем и ночью. Многие рабочие, техники, инженеры работали по шестнадцати—восемнадцати часов в сутки, неизвестно, когда отдыхали, когда спали. А всему виной было опоздание с поставкой некоторых видов оборудования, особенно мостовых кранов и кабелей.

Основное внимание теперь было приковано к машинному залу, где готовилась святая святых гидроэлектростанция — силовой агрегат. Работой монтажников интересовалась вся страна, область, республика.

В эти быстролетные дни мы как-то забыли об Иртыше, а он напоследок все же напомнил о себе.

До пуска станции оставались считанные дни. В машинном зале спешно заканчивался монтаж первого агрегата. Со дня на день должны были приступить к подъему воды. Бетонщики вели последние работы.

Стало съезжаться начальство, представители, корреспонденты. Торонили бетонщиков.

Все четыре пролета плотины уже закрыты и забетонированы. Для пропуска Иртыша в третьем пролете у самого дна реки оставлены в бетоне два узких туннеля, так называемые донные отверстия. Общее сечение двух отверстий рассчитано так, чтобы в зимнее время, когда воды в реке сравнительно мало, Иртыш мог проходить в них свободно, без заметного подъема горизонта воды в верхнем бьефе.

В присутствии гостей закрыли первое из донных отверстий. Массивный щит отрезал струю воды и стал намертво. Теперь оставалось последнее отверстие, через которое Иртыш прорывался со злобной силой, словно предчувствуя последние дни своего здесь хозяйствования. Когда закроется и этот туннель, вся сила реки будет направлена на лопасти турбин.

Вода в верхнем бьефе начала подниматься, но медленно. Нам это не понравилось, захотелось ускорить, кое у кого появилось опасение, что если так будем медлить, то «былетим» из пусковых строек 1952 года. Было уже тридцатое ноября.

Собрали совещание. После жарких дебатов я дал команду закрыть три четверти сечения второго отверстия, оставив для прохода воды только одну четвертую часть. Закрыли. Рев воды в туннеле заметно стих, а уровень стал подниматься быстрее.

А потом уже, как говорится, на холодную голову, я рассчитал работу отверстия, и цифры подсказали, что закрыли многовато, надо бы только наполовину. «Не успеем уйти с бетоном от поднимающейся воды», — подумал я.

Несмотря на крайнюю занятость множеством неотложных дел, смутное чувство сделанной ошибки не покидало меня весь вечер.

В ночь на первое декабря, часа в четыре утра, в моей спальне раздался долгий звонок. Я схватил телефонную трубку. Звонил инженер-монтажник Б. Е. Бителев.

— Михаил Васильевич, вода прибывает! Уже подошла к свежему бетону. Яблоков (это прораб бетонных работ) не успевает, требует поднять щит.

— Поднимите, оставьте три четверти отверстия свободными.

Через полчаса снова позвонил Бителев.

— Стали поднимать щит, но штанги не выдержали, порвались. Щит упал и полностью закрыл отверстие. Вода поднимается очень быстро!

Много раз приходилось мне слышать сообщения о разных происшествиях, неизбежных в нашем тревожном деле, можно сказать привык к ним, но, признаюсь, от этого ночного рапорта мне стало не по себе. Закрыть Иртыш! Как раз в тот момент, когда нужно было его открыть. А у нас еще нет щитов на водоприемных отверстиях машинного зала. Скоро вода поднимется до этих отверстий, хлынет в зал, залет почти готовый агрегат, сорвет монтаж...

Не помню, как оделся, выскочил на крыльцо. Вчера был буран, а сейчас стояла звездная, морозная тишина. Зажег спичку, взглянул на термометр — сорок четыре градуса ниже нуля. Через минуту в сугроб у крыльца врезался «газик»: шофер П. М. Григорьев дал зарок до пуска ГЭС спать ночью, не раздеваясь, и подавал машину моментально. Помчались, прыгая по снежным переметам, к гидроузлу.

Крепко вцепившись в поручень, я пытался прикинуть в уме расчеты.

Сколько метров до порогов машинного зала? Около десятка. Сколько часов понадобится Иртышу, чтобы подняться туда и залить зал? Ага, сорок часов. За сорок часов много можно сделать! Не ошибся ли? Может, не сорок, а четыре? Пересчитал еще раз. Нет, слава богу, сорок!

Ничего, за это время мы развеернем такой аврал, что, если даже не поднимем щит, все равно от катастрофы спасемся.

Автомашина влетела на эстакаду плотины. В морозной ночи при свете лампочек бегали люди. Пар от воды висел плотной туманной завесой. Причина аварии была непонятна, она выяснилась позднее: штанги, удерживающие щит, были сделаны заводом из хладноломкого металла. При натяжении, когда пытались поднять щит, от мороза они рассыпались, как стеклянные. Тяжелый щит скользнул вниз и закрыл путь воде.

Я нагнулся вниз и осветил лампочкой — концы оборвавшихся штанг торчали над водой, левый конец поднимался всего лишь на полметра. Пока он не скрылся под водой, нужно успеть чем-нибудь зацепить его. Как же это сделать?

Положение создавалось тревожное. Нельзя терять ни минуты! Туман над рекой быстро сгушался, уже не было видно концов штанги на льду.

— Кому-то нужно слазить туда.— Бителев показал вниз.— Наверное, тебе, Антон, — обратился он к бригадиру монтажников Цоневу.

— Я тоже так думаю, давайте веревки! — ответил тот.

Он обвязался веревкой, взял в руку конец другой и исчез в морозном тумане.

Обратно отважный бригадир взобрался по концам арматуры, торчавшим из вертикальной грани плотины. Все это происходило ночью, в сорокаградусный мороз, на высоте примерно пятого этажа!

Наступило утро, день... Мороз крепчал. Наконец подогнали краны, и такелажный мастер Миронов подал команду:

— Вира помалу!

Осторожно натянулись канаты. Щит тронулся с места.

Открыли затвор, вода ринулась в отверстие — триста кубометров в секунду. Мощный водопад ударил в сухое дно Иртыша.

Через несколько секунд повалил густой снег. Мы удивились: морозный день, ясное небо, солнце — и вдруг огромные хлопья, настоящий буран. Потом только догадались, что снегопад случился от быстрого увлажнения морозного воздуха водой, вырвавшейся из туннеля.

Турбины для Усть-Каменогорской ГЭС поставил Ленинградский металлический завод. Для наблюдения за правильностью монтажа приехал его представитель — инженер В. Д. Клименченко.

Вместе с ним спустились вниз, на крышку турбины. Как будто все в порядке.

— Что ж, — сказал Владимир Дмитриевич, — идемте пускать машину.

По узким железным лестницам поднялись к регулятору, умнейшему прибору, автоматически поддерживающему постоянное число оборотов. Клименченко встал к штурвалу.

Волнующий миг каждого строительства — первый оборот, первый результат, первая проба. Мы невольно уставились на тысячетонную громаду турбины. Сейчас, сейчас... И вот она мягко и плавно тронулась, не спеша обернулась раз, другой — и пошла набирать обороты. Кажется, все!..

Двадцатого декабря 1952 года Усть-Каменогорская гидроэлектростанция дала первый промышленный ток предприятиям Рудного Алтая.

Митинг, речи, поздравления. Праздничное настроение и вполне объяснимое сожаление, когда обо всем, что пережито, что когда-то волновало, теперь думается в прошедшем времени. Но было и другое — знакомое каждому строителю волнение от ожидания будущих, еще больших дел.

А больше всего и сильнее всего было чувство благодарности тысячам так называемых «простых» людей, которые, беззаветно трудясь здесь, рядом, создали это сооружение. «Казахстанский Днепрострой» закончен.

## Часть третья

### 1

Не успел первый энергетический агрегат принять на свои могучие плечи нагрузку Рудного Алтая, как началось переселение старой иртышской гвардии на новую стройку — Бухтарминскую ГЭС.

Моему заместителю К. Д. Савиных было поручено собрать первую группу строителей и выехать в январе 1953 года на новые места. Здесь ничего нет, всего-навсего засыпанная снегом маленькая, в двадцать дворов, деревенька Новая Александровка. Она расположилась на берегу Иртыша, там, где в него впадает речка Пихтсвка.

Еще не прошел первый поезд по строящейся железной дороге Усть-Каменогорск — Зырянск. только еще строилась будущая железнодорожная станция Серебрянка. названная так по имени протекающей неподалеку речушки. Но среди столь нетерпеливой людской породы, как строители, много есть таких, кто любит прийти на место

первым, вжиться в суровую природу, облагородить ее, подчинить себе. Вот и у нас — сразу же составился передовой отряд зачинателей.

Пятнадцатого января, пользуясь установившейся сравнительно тихой погодой, они сели на грузовые автомобили и в сопровождении тракторов и бульдозеров отбыли по занесенной буранами горной дороге строить Бухтарминскую ГЭС — за девяносто километров от «обжитых» мест, понимая под этим выражением те самые места, которые они же и осваивали всего несколько лет назад, перенеся такие же трудности и лишения, на что бесстрашно шли и теперь. Их семьи остались на строительстве Усть-Каменогорской ГЭС до тех пор, пока на новом месте не появятся первые, наспех сколоченные домишки.

Вот так и происходит «обживание» доселе не известных уголков. Ну как это получается, что все еще нет у нас хороших передвижных домов, в которых такие авангардные партии могли бы сразу же, с первого дня, иметь хотя бы минимум-минимум культурных удобств? Надо сказать, что вопросы «пионерного» градостроения совсем не разработаны. Этим не занимается ни Академия строительства и архитектуры, ни проектные организации, и поэтому до сих пор не существует стандартного технологического процесса сооружения такого города. Проблема очень сложная, и нужно, чтобы ею занялись опытные, высококвалифицированные специалисты. А у дилетантов рецепты всегда готовы. «Начинать надо с дорог и улиц», — слышишь от одних; «с водопровода и канализации», — советуют другие; врачи считают, что раньше всего нужно построить больницу, а культработники — клуб.

А где же и как будут жить те люди, которые должны построить эти «первичные» сооружения? На это часто отвечают: в соседних населенных пунктах. А если по соседству ничего нет, тогда как?

Нужно, очень нужно решить поскорее эту задачу. Миллионы советских строителей ждут этого решения.

Итак, наш передовой отряд, преодолев десятки километров зимней пустынной горной дороги, прибыл на место назначения и «закрепился на местности».

Настала весна, стали прибывать новые люди. Стройка начала жить.

Понятно, что этих первых строителей привлекала не столько экзотика и романтика первооткрывательства, а главным образом сама идея строительства Бухтарминской ГЭС, являющейся во многих отношениях выдающимся сооружением.

Она будет возведена там, где кончается подпор Усть-Каменогорской ГЭС, в семидесяти километрах вверх по Иртышу. Место, где расположены основные сооружения, носило очень меткое название — Непопадиха. Туда нельзя было проехать никаким транспортом, можно добраться, только карабаясь по каменной тропке на прибрежные, отвесно спадающие в Иртыш скалы.

Одна из особенностей станции — высокая бетонная плотина, высотой около девяноста метров. Она — вторая по высоте в Советском Союзе из строящихся в настоящее время. Плотина создает огромное водохранилище объемом в пятьдесят с лишним миллиардов кубометров с общей площадью зеркала свыше пяти тысяч квадратных километров. Сюда войдет и озеро Зайсан, уровень которого поднимется на шесть-семь метров.

После наполнения водохранилища мощность Бухтарминской и Усть-Каменогорской гидроэлектростанций окажется полностью, как говорят энергетики, зарегулированной. Это значит, что исчезнут не только резкие сезонные колебания мощности (зимой меньше, чем летом), как это происходит сейчас на Усть-Каменогорской ГЭС, но даже в самые маловодные годы мощность обеих станций будет такой же, как и в многоводные.

Второй особенностью Бухтарминской ГЭС является высокая экономическая выгода. Ее собственная выработка составит два с половиной миллиарда киловатт-часов в год; кроме того, в результате зарегулирования стока выработка Усть-Каменогорской ГЭС увеличится на пятьсот миллионов киловатт-часов в год. Таким образом, после ввода в действие Бухтарминской ГЭС общая выработка Иртышского каскада увеличится на три миллиарда киловатт-часов.

Бухтарминская ГЭС очень похожа по конструкции сооружения на будущие гигантские гидроэлектростанции на Ангаре и Енисее. Сходны и климатические условия: зимой у нас нередки морозы в сорок градусов и ниже, сопровождаемые ветром, а летом температура достигает плюс сорок в тени. В этих условиях столь высокая плотина строится впервые. Таким образом, опыт коллектива строителей приобретает особое значение: на нашей стройке должны быть проверены и решены многие технические вопросы, связанные со строительством еще более крупных электростанций Востока.

Мощность Бухтарминской ГЭС была определена первоначально в 434 тысячи киловатт. Эта неправильная, очень заниженная цифра исправлена только в 1957 году на 525 тысяч киловатт (в проект введен седьмой агрегат). На мой взгляд, и это недостаточно. По-видимому, подходящей установленной мощностью для Бухтарминской ГЭС было бы 650—700 тысяч киловатт с увеличением мощности Усть-Каменогорской ГЭС.

Думается, что мощности иртышских гидроэлектростанций занижаются в проектах потому, что проектирующие организации рассматривают их как самостоятельно работающие станции, то есть без учета включения в крупные энергосистемы Казахстана, Алтайского края и Западной Сибири. Кстати сказать, и самые эти энергосистемы проектируются с занижением их мощности и развития. В результате на иртышских гидроэлектростанциях устанавливаются агрегаты меньших, чем следовало бы, мощностей и не используется ценнейшее качество гидроэлектростанций — способность легко снимать любые пики нагрузки. А ведь по мере развития энергосистем это придется исправлять с большими капитальными затратами.

Капиталовложения в Бухтарминскую ГЭС сравнительно невелики, они лишь немногим больше, чем вложения в тепловую станцию равной мощности. Такое же положение и с «сестрами» нашей ГЭС — Усть-Каменогорской, Иркутской, Братской, Красноярской. Распространенное мнение, что гидравлические станции обходятся гораздо дороже, чем тепловые, правильно по отношению к тем из них, которые расположены на равнинных реках, как, например, в Европейской части СССР.

Представляется, что следовало бы пересмотреть составленную «Ленгидэпом» схему энергетического использования участка Иртыша ниже Семипалатинска. Здесь намечено построить (ниже Шульбинской) девять гидроэлектростанций: Семипалатинскую, Белокаменскую, Известковскую, Акжарскую, Подпускковскую, Ямышевскую, Павлодарскую, Бобровскую и Омскую.

Во-первых, у всех этих станций, кроме Семипалатинской, будут довольно низкие энергоэкономические показатели, а во-вторых, постройка их вызовет большие затопления и практически ликвидирует все сельское и лесное хозяйство в пойме Иртыша. Поэтому вопрос о сооружении здесь гидроэлектростанций нужно решать, лишь сообразуясь с пользой для сельского хозяйства или каких-нибудь других целей, а получаемую от них электроэнергию будет правильным рассматривать как попутный продукт. Таков далеко не полный перечень вопросов, вызванных к жизни строительством Бухтарминской ГЭС.

## 2

В конце 1953 года на новой стройке работало более тысячи рабочих. Основной коллектив был еще занят на достройке Усть-Каменогорской ГЭС, и генеральную переброску людей предполагалось начать с весны. Но этого не произошло — начался великий всенародный поход за освоение целинных земель. Строители Бухтарминской ГЭС также приняли в нем участие и на два года рассеялись по неоглядным просторам Казахстана и Алтайского края.

На выборах в Верховный Совет СССР в марте 1954 года ирудящиеся Восточно-Казахстанской области оказали мне огромную честь и доверие, назвав своим кандидатом в депутаты. Весь коллектив стройки воспринял это как высокую оценку нашего труда, обязывающую нас работать еще лучше.

Я отправился в двухнедельную предвыборную поездку по своему избирательному округу. Посещение заводов и рудников дало мне не много нового, я знал их и раньше, а вот село, колхозы, сельскохозяйственное производство предстали передо мной з

новом свете. Мудрые решения ЦК партии о подъеме сельского хозяйства приобрели осязаемость, текст документа превращался в реальный факт.

Зима в том году выдалась снежная и морозная. От колхоза к колхозу приходилось ехать в санях, запряженных цугом, или, как говорят в Сибири, «гусевкой». В иные дни одолевали до ста километров пустынного алтайского бездорожья.

Однажды к вечеру мы с трудом добрались до большого села, где находился колхоз имени Чапаева. Смеркалось. «Гусевка» остановилась у правления. Нас повели греться в один из домов. Аккуратный, расчищенный от снега двор, с любовью выстроенные хозяйственные постройки. В комнатах шепетильная опрятность и чистота, по стенам развешаны надписи о правилах поведения на различные случаи жизни. В колхозе, куда мы приехали, жили немецкие переселенцы.

Но даже и здесь сквозь трудолюбивую аккуратность проглядывала запущенность: артельное хозяйство велось неправильно. Автомобили стояли без запчастей, маленькая гидроэлектростанция, оборудованная силами колхозных умельцев, работала с перебоями из-за разных пустяков — то не доставало приводного ремня для генератора, то нечем было заменить разбившийся изолятор.

— Всё толкуют нас на зерновые, — жаловались колхозники, — а у нас земля как раз для сахарной свеклы, и сами мы коренные свекловоды.

Все дальше и дальше пробирался я в глубинные районы округа. Глиняные мазанки, вросшие в землю, сугробы и ветер на голом пространстве степи — таким предстал поселок Уланской машинно-тракторной станции. Мастерские помещались в развалившейся старой сыроварне, принадлежавшей ранее казахскому баю. В длинный глиняный барак втиснулись и школа, и библиотека, и аулсовет. Старинное название поселка Шамгура в какой-то степени было верно и теперь: в переводе на русский язык это означало «Земляные домики».

В плане хозяйственной деятельности нашей Бухтарминской ГЭС предусматривалась перестройка Уланской МТС, поэтому на собрании избирателей я смело развернул перед жителями поселка картину их будущей жизни. В самое ближайшее время, говорил я, здесь будут построены мастерские заводского типа, вместо землянок появятся новые светлые дома с водопроводом и центральным отоплением. Шамгура превратится в нормальный промышленный поселок...

Забегу немного вперед. Едва голько установилась дорога после весенней распутицы, мы перебросили в Уланскую МТС большую группу строителей во главе с А. А. Ереминым, известным способностью быстро разворачивать работы на пустом месте. На глазах стали подниматься стальной каркас и кирпичные стены здания мастерских — настоящий цех. Росли дома. Из окрестных аулов съезжались верхом на лошадях казахи и подолгу наблюдали, как рождается здесь новое.

...Как-то к крыльцу нашего управления подкатил запыленный «газик». Приезжие не сразу пошли в дом, а сперва довольно долго разминались и чистились после дальней дороги.

— Никитин Иван Григорьевич, директор Курьинского совхоза, — наконец представился мне один из них.

— Курьинский? Это где же такой совхоз?

— Пока еще вот здесь. — Он постучал пальцем по лбу.

Все засмеялись.

— Что ж, недурное место, — сказал я. — Давайте думать, как его оттуда посадить на землю.

Иван Григорьевич рассказал, как несколько дней назад был основан совхоз.

Однажды вечером к берегу степной речушки подкатили две грузовые автомашинны, заполненные людьми и разным походным имуществом. Дул довольно холодный ветер, по красно-желтому от заката небу ползли темные облака.

— Вот тут будет наш совхоз, — сказал Никитин. — Давайте начинать здесь жить.

Я хорошо представил себе настроение людей. Вокруг не было ничего жлого, несомненно человеком овладевает чувство неприютности, заброшенности, как бывает всегда, когда останавливаешься на ночевку в степи не очень погожим вечером.



— Надо скорее начать строительство жилья,— закончил свой рассказ Иван Григорьевич,— чтобы все уверовали в то, что действительно к зиме тут будет совхоз. Пока мы живем в палатках и шалашах, но уже сеем. План — двенадцать тысяч гектаров, мы его выполним.

Начальником строительства совхозных построек наметили послать Н. М. Бондаренко. Наум Матвеевич, старый днепростроевец, жил в уютном особнячке, вокруг которого успел вырастить красивый сад. Его дом и усадьба являли собой картину «полной чаши». Но никто не сомневался, что он все это бросит и поедет в степь, за триста километров от дома, раз это нужно. Так оно и вышло: Бондаренко согласился сразу. Не стал даже просить дать срок, для того чтобы подумать. А недели через две на месте будущего совхоза уже кипела строительная работа.

Переключение сил и ресурсов энергостроителей на освоение целины было целесообразным государственным делом. Все мы понимали это и вкладывали душу в новые для нас задачи подъема сельского хозяйства.

Но скоро стали выявляться и трудности. Наш коллектив привык работать на таком строительстве, где все работы сконцентрированы на одном месте. В этом случае нужна транспортировка материалов на короткие расстояния, и у нас был свой автомобиль, достаточный для этой цели. Но вот мы разбросались с работами по Восточному Казахстану и Алтайскому краю. Расстояние подвозки материалов от железных дорог и строительных баз увеличилось уже до пятидесяти, ста и даже двухсот километров. Автотранспортных средств, разумеется, не хватало, и это задерживало темп строительства на целине.

И вторая трудность. Уже в августе стало ясно, что мы не сможем до осени построить столько жилья, чтобы в нем зимовали и строители и работники совхоза. А ведь кроме жилых домов нужно было еще построить зерносклад, столовую, баню, пекарню, амбулаторию, насосную и разные хозяйственные сооружения. Вот если бы все строительные работы, намеченные на этот год в совхозе, удалось закончить в октябре, то наши рабочие возвратились бы на свои базы, оставив всю жилую площадь под зимовку работникам совхоза.

Проблема начального градостроения на вновь осваиваемых местах, о которой уже упоминалось, снова встала перед нами во весь рост. На этот раз выручила чистая случайность.

В один из августовских дней я проезжал недалеко от села Курье. Кругом раскинулись необозримые пшеничные поля на поднятой целине. Густая, как щетка, пшеница сгибалась под тяжестью колосьев.

Но вот открылся лужок, на котором стояли рядами новенькие грузовые автомобили, их было очень много. Подъехали, расспросили. Оказалось, что это уже прибыли специальные автоколонны, предназначенные для перевозки урожая. Однако до начала массовой уборки оставалось еще дней двадцать — лето было влажное и довольно прохладное, созревание хлебов задержалось.

— Вот бы дали вы нам на две-три недели сотню грузовиков,— обратился я к руководителю колонны,— тогда можно досрочно выполнить годовой план строительства совхоза.

— Нами командует Барнаул, туда обращайтесь,— ответил он,— а мы-то с удовольствием, ведь сколько еще предстоит стоять здесь и ждать — надоест!

Я позвонил в крайком партии, объяснил нашу проблему зимовки, попросил помочь получить эти автомашины. Нам обещали оказать содействие.

В совхозе на собрании строителей обсуждался вопрос, как закончить к первому ноября годовой план строительных работ. Все получалось подходяще, заминка только из-за транспорта. Настроение у рабочих было неважное, чувствовалась усталость от усиленной работы и бытового неустройства.

В самый разгар собрания меня вдруг вызвали к телефону «по очень срочному делу».

— Имею указание направить в ваше распоряжение сто автомобилей,— раздался

знакомый голос руководителя автоколонны.— Сейчас начнем отправлять, приготовьте задания, не задержите погрузку.

Не помня себя от радости, я объявил собравшимся:

— Сейчас будут сто автомашин, давайте готовиться загрузить их как следует!

— Вот это здорово! — откликнулось сразу несколько голосов. Собрание мгновенно превратилось в коллективное распределение обязанностей на сегодня. Все стало ясным, все намерения осуществимыми, пониженное настроение сменилось бодрым оживлением. Не успели рассудить, кому что делать, как стали подходить грузовики.

Много раз я замечал, что лучше всего вдохновляет людей правильное понимание их нужды и быстрая помощь.

Годовой план по строительству совхоза был выполнен первого ноября. Все вернулись домой зимовать, а на месте осталось всего двадцать плотников для достройки некоторых домов. Работники совхоза могли, хоть и в тесноте, но не в обиде сносно перезимовать до весны.

### 3

В 1955 году наш коллектив разбросался по целине еще больше. К строительным делам в Уланской МТС и Курьинском совхозе прибавились такие же заботы по двум машинно-тракторным станциям в Восточно-Казахстанской области и в совхозе «Передовой» в Уланской степи. В Алтайском крае мы начали строить еще один совхоз — «Поспелихинский». Ресурсы наши напряглись почти до предела, особенно в части транспортных средств.

В конце мая мы получили дополнительное задание: построить в Алтайском крае шестнадцать зерноскладов и сдать их все под загрузку зерном к началу уборки, то есть к середине августа. Это уже превышало наши возможности. Я вылетел в Москву, в министерство, чтобы как можно быстрее решить вопрос о доставке нам таких материалов, с которыми гидростроители обычно не имеют дела, — асфальта, кровельного железа, — а также кое-какого оборудования для механизации работ.

Министр строительства электростанций Ф. Г. Логинов принял меня немедленно — Нужно успеть сдать зерносклады во что бы то ни стало, — несколько раз повторил он. — Эти склады стране сейчас нужны больше, чем что-либо!

Я попросил:

— Федор Георгиевич, пусть аппарат министерства поработает для нас неделю — и все зерносклады будут сданы в срок. Остановка за материалами.

— Хорошо. Задержек не будет.

И в самом деле, все, что мы требовали, было отпущено в ближайшие дни.

Чтобы подчеркнуть масштабы преобразования сельского хозяйства в те годы, приведу четыре цифры.

Мы строили у села Харлова склады на два миллиона пудов зерна, тогда как существовавший здесь ранее склад вмещал шестьдесят тысяч пудов. В Курье мы строили на полтора миллиона пудов, а старая емкость была лишь пятнадцать тысяч. Таким образом, наша работа увеличивала емкость зернохранилищ в Харлове в тридцать с лишним раз, а в Курье — в сто раз.

Летом к нам на целину приехал заместитель министра строительства электростанций Н. Я. Тарасов.

Мы встретились в Курьинском райкоме партии. Николай Яковлевич, здороваясь, сказал:

— Хочу почувствовать, что такое целина, какие трудности. А то вы в прошлый раз застрашали нас. Вот и приехал посмотреть своими глазами, ну и, конечно, помочь вам.

Влезать в шкуру новосела заместителю министра пришлось в первый же вечер. Когда зашел разговор о ночлеге, секретарь райкома признался:

— Николай Яковлевич, я не знаю даже, где вас устроить. Гостиниц у нас нет... Придется в моем кабинете.

Тарасов бросил на меня быстрый взгляд.

— А вы где ночуете?

— Мы заняли курьинский «гранд-отель». Хотите с нами?

— Хочу,— сказал Тарасов.— Для того и приехал, чтобы понять, как живут здесь!

Местный «гранд-отель» представлял собой маленький домик для приезжающих. В двух комнатах мы поставили двадцать коек. Больше там, как ни планируй, нельзя было поместить ни одного человека. И когда Тарасов вынужден был разделить наш ночлег, мы уговорили прораба Н. В. Лисина уступить ему свою раскладушку, а самому уйти ночевать в землянку, служившую ему конторой.

Электричества в Курье не было, и, посидев в потемках, мы стали укладываться. Николай Яковлевич беспокоился:

— Как бы завтра не проспять. Нужно встать часов в пять и пораньше выехать в Краснощеково.

Мы со смехом заверили его, что проспять ему не удастся никак.

— У нас здесь есть такой автомат — разбудит ровно в пол пятого.

— Какой автомат?

— А вот увидите сами.

«Автомат» сработал безупречно: в половине пятого, едва только начало светать, Тарасов сел в постели — его допекли мухи.

— Да-а... условница! — только и сказал он.

Мы умылись, приготовились пить чай.

Тарасов от чая отказался.

— Врачи запретили, требуют пить вот это.— Он открыл чемоданчик, где лежало несколько бутылок минеральной воды.— Я уже привык, так с собой и вожу.

Тронулись в путь на восходе.

Солнце быстро накалило степь, и жара стала основательно мучить нас, к тому же одолевала густая черноземная пыль. Изнывая от жажды, измученные, мы подъехали к переправе через реку Чарыш, за селом Краснощековым.

Паром подогнали к берегу не плотно, остался зазор с полметра. Впереди пошла пароконная грузовая бричка и еще две лошади, припряженные к оглоблям. Все четыре лошади провалились задними ногами в зазор между паромом и припаромком. Возчик беспомощно засуетился вокруг них. Мы с Тарасовым и шофером ухватились за лошадиные хвосты. Вскоре мы убедились, что втаскивание на паром одной лошади занимает примерно полчаса. А их у нас четыре!

— Эх, жаль, нет фотографа,— сказал Николай Яковлевич, вытираясь платком,— показать бы в Москве, что такое целина и как тут нужно все вовремя делать.

Возле Харлова наше управление строило группу складов. В просторной землянке начальника строительства Наума Матвеевича Бондаренко было прохладно, стоял огромный чайник с горячим чаем.

— Ой, пить хочу,— хрипло произнес Тарасов и открыл свой заветный чемоданчик. Но, увы, на тряских степных дорогах от бутылок осталось мелкое стеклянное крошево.

Тарасов махнул рукой на запреты врачей и подсел к нам, поближе к чайнику.

— Не больше двух,— сказал он, взяв стакан.

За чаем Николай Яковлевич завел разговор с Бондаренко и с интересом расспрашивал его о трудностях, о жите-бытье и работе. В быстро пустевший стакан московского гостя то и дело подливали чай. Беседуя, он машинально отхлебывал из стакана.

Прошло полчаса. Я вмешался в разговор:

— Николай Яковлевич, вы уже десятый стакан пьете.

— Ну-у!..— удивился он, посмотрел на стакан, пожал плечами.— Неужели? Хотя, впрочем, ничего... Налейте-ка еще стаканчик!

После долгих и изнурительных переездов по степи мы наконец приехали на станцию Поспелиха. Тарасов направлялся в Барнаул, а оттуда в Москву. В ожидании поезда зашли в столовую. Она только что закрылась. Заведующая столовой обескураженно развела руками

— Все съели. Ничего не осталось. Если минут двадцать подождете, я скажу, чтобы приготовили отбивные. Как раз свежее мясо принимаем.

Мы сели на табуретки за грубо сколоченный, без скатерти, стол и стали ждать. В столовой стоял душливый запах гексахлорана.

«Что лучше — гексахлоран или мухи?» — подумал я. Мух тоже было немало. Взглянул на Тарасова. Он спал, опершись головой на руку. Покрытое пылью измученное лицо было в капельках пота, они падали на лацканы светло-серого габардинового пиджака. Как же это никто не догадался предложить вымыться? Облиться водой — нет ничего сейчас лучше на свете. Я сделал движение, чтобы подняться...

— ...Да проснитесь же, все давно готово, — слышался у самого моего уха звонкий голос заведующей.

Мы вскочили. Оказывается, заснули и проспали полчаса. На столе шипела сковорода с отбивными бараньими котлетами и жареной картошкой. Приветливая хозяйка столовой держала в руках тарелку с ломтями теплого пшеничного хлеба и заразительно смеялась.

Сбегали умыться, принялись за еду. Повеселели.

Подошел наш целинный коммунальщик, энергичный казах В. И. Набиев. Говорили, что у него есть особый талант: если в поселке нет ни одного свободного квадратного метра жилплощади и вдруг придет сто человек — все будут ночевать под крышей.

— У меня тут рядом снята комната, — сказал он, — там живут грузчики. Сейчас груз пришел, они на работу ушли. И мне сказали, чтобы пригласил вас отдохнуть у них, — обратился он к Тарасову, — до поезда еще три часа... Там даже зеркало есть, — прибавил он, видимо желая подчеркнуть особую комфортабельность комнаты.

Оказалось, что шесть грузчиков роскошествовали на двенадцати квадратных метрах.

Сбросив пиджак, Николай Яковлевич растянулся на койке. Я простился с ним и поехал на «газике» по жарким, пыльным дорогам в Курье. Туда было недалеко — всего семьдесят пять километров.

В том же 1955 году Курьинский совхоз, который мы строили, посетили премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди. Они провели в Курье несколько часов, посмотрели, как живут новоселы, заинтересовались тем, как обучались дети в прошлую зиму, когда не было готово здание школы. Несмотря на недостаток жилой площади, в первую же зиму существования совхоза под временную школу мы отвели двухэтажный жилой дом; такой выход из положения, как было по всему заметно, произвел хорошее впечатление на высоких гостей. Затем они проехали по борозде на тракторе, посетили квартиру тракториста.

Дж. Неру понравилось все, что он видел. Даже ветер, который в этот день дул с особой силой и очень надоедал, и тот удостоился похвалы: Неру сказал, что этот ветер освежил его, а то он чувствовал себя неважно после длительного путешествия на самолете.

#### 4

Несмотря на переключение значительной части коллектива на работы, связанные с освоением целины, все же сооружение Бухтарминской ГЭС не прекратилось. Производились главным образом такие операции, где требовалось применение средств тяжелой механизации, которые не могли быть использованы на строительстве совхозов и колхозов, — крупные экскаваторы, краны большой грузоподъемности, буровые станки, мощные компрессоры. Зато, естественно, медленно двигалось вперед строительство жилья, производственной базы и дорог. В июле 1955 года закончили сооружение перемычки, ограждающей котлован плотины, и вода из котлована была успешно откачана.

Правда, успех этот не пришлось использовать для немедленного развертывания работ по основным сооружениям — не была готова производственная база; выходило, что перемычку мы сделали как бы впрок, она должна проявить себя в будущем. В поселке построили всего несколько десятков двухэтажных домов, стоявших посреди разрытых траншеями пустырей, конм суждено в ближайшее время превращаться в улицы. Некуда было принимать и селить новых рабочих.

В августе строительство Бухтарминской ГЭС посетил Л. И. Брежнев, работавший тогда Первым секретарем ЦК КП Казахстана. Поехали прежде всего на основные сооружения. Автомобиль с трудом пробирался по камням недавно взорванной выемки.

— Что, котлован уже откачали? — спросил Леонид Ильич. — Почему так: дороги настоящей нет, производственная база не подготовлена, а в реке уже идут работы?

Мы объяснили, что строители производственной базы заняты на целине, автотранспорт тоже весь там, на стройке осталось только двадцать восемь автомашин, поэтому в откачанном котловане никаких работ не производится, без мощного автотранспорта и начинать не стоит.

Постояв на перемычке и посмотрев на пустой и тихий котлован, Леонид Ильич задал еще несколько вопросов, показавших, что он хорошо знает процесс строительства крупной гидроэлектростанции. Потом, подумав немного, сказал:

— Все ясно. В министерстве увлеклись строительством Куйбышевской ГЭС, а мы здесь — целиной. Надо напомнить министерству, что у него есть Бухтарминская стройка, которой требуется помощь.

Дня через три Л. И. Брежнев позвонил мне по телефону и сообщил, что уже есть договоренность с руководством Совета Министров СССР о выделении строительству Бухтарминской ГЭС семидесяти пяти тяжелых самосвалов за счет перевыполнения плана автомобильной промышленности. Деловая внимательность Леонида Ильича вселяла в нас уверенность, что близко время резкого оживления строительства нашей станции.

Вскоре стали поступать самосвалы Минского автозавода. Большая грузоподъемность машин — а среди них были и двадцатипятитонные — позволила быстро развернуть работы в котловане, а впоследствии перекрыть Иртыш новым способом.

С радостным нетерпением ждали строители известий из Москвы в феврале 1956 года. XX съезд КПСС обсудил и принял директивы по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР. Одной из первоочередных задач в области промышленности съезд признал «обеспечение опережающих темпов строительства электростанций». По Бухтарминской ГЭС в директивах съезда было записано: ввести в действие.

Решение съезда вызвало на нашей стройке огромный трудовой подъем. С весны 1956 года начался решительный поворот в строительстве. Потребовались новые рабочие, забелели палатки на высоком берегу Иртыша.

Опять палатки! Целый палаточный городок. Триста молодых патриотов — посланцев комсомола Украины — поселились здесь, начали вращать в коллектив строителей. Вскоре к ним присоединилось еще триста комсомольцев нашей Восточно-Казахстанской области.

И снова наболевший вопрос: когда же будет решена проблема «пионерного» градостроения? Когда не нужно будет таких мобилизаций, а каждый рабочий — одинокий или семейный — сможет, приехав на стройку, немедленно получить культурное жилье?

Пришли к выводу, что надо самим создать такой тип дома, который можно было бы изготовить на собственной базе и собрать за восемь, максимум двенадцать часов, чтобы вновь приехавший к ночи уже был под крышей. А пока суть да дело, хорошо будет, если хотя бы к зиме сумеем расквартировать жителей палаточного городка.

К счастью, это удалось сделать раньше: в сентябре сняли последнюю палатку.

Возведение перемычки — одна из важнейших операций всей стройки; она постоянно вызывает много споров и хлопот. Так было и на Свири, и на Усть-Каменогорской ГЭС, так случилось и на Бухтарме.

Я еще в Аблакетке вел наблюдения за ледоходами и паводками на Иртыше, записывая все показатели реки. Эти записи очень пригодились мне на новой стройке. Составляя со всеми наблюдениями проект перемычки Бухтарминской ГЭС, разработанный «Ленгидэпом», мы увидели, что высота ее явно завышена. Я еще и еще раз проверял свои записи и расчеты. Да, стенки перемычки можно понизить на сто семьдесят сантиметров. Так и решили.

Не буду говорить, сколько нам пришлось выслушать возражений и упреков. Окончательно вопрос разбирался в Москве. Наша поправка к проекту была принята. Как мы

и рассчитывали, возведение перемычки обошлось в одиннадцать миллионов рублей вместо шестнадцати по проекту.

Скептики предсказывали: Иртыш опрокинет все ваши расчеты при первом же ледоходе. Волнениям не было конца — а вдруг и на самом деле... Едва лишь начался движение льда, мы стремглав бросились к перемычке и пробыли там безотлучно, пока не миновал кризис. Иртыш заставил-таки нас пережить острые моменты!

Положение осложнилось из-за затора в нижнем бьефе. Река в месте створа и без того стиснута берегами, а тут еще половина ее отхвачена перемычкой. Ясно, что при малейшей задержке вода стала бы быстро подниматься. Но в своих расчетах мы учли и такой вариант, Иртыш ни в коем случае не должен был перехлестнуть через край перемычки.

Белесые, изъеденные водой льдины рушились, налетая на темную скалу левого берега. Шум, треск стоял над всей рекой. Мутная ледяная вода стремительно прорывалась в узкую горловину. Иногда льдины, ткнувшись в насыпь перемычки, громоздились по ней вверх, словно пытаясь заглянуть в пустой котлован — огромную чашу из стали и камня. Величественную картину представлял собой этот ледоход. Мне кажется, что такого я еще не видел, а ведь я прожил на Иртыше не одну весну.

К полудню уровень воды поднялся до того, что, нагнувшись, ее можно было достать рукой. Всегда решительно поддерживавший наш проект секретарь парткома Л. М. Катков (А. З. Белявский к тому времени перешел на работу в обком партии) забеспокоился:

— Может, не будем больше ждать? Вызовем людей и машины, подсыпать землю начнем.

День был воскресный, но большинство строителей собралось на берегу, с тревогой наблюдая, как река подбирается к гребню перемычки.

Вода плескалась у самых ног. И все же я ответил Каткову:

— Не имеет он права залить. Рассчитано правильно.

— Но вода кое-где уже дошла до верха!

Мы прошли по всей насыпи; в некоторых местах вода вот-вот перельется. Оказалось, что здесь просела стена перемычки ниже, чем это было предусмотрено нашим проектом.

— Сюда действительно стоит подсыпать, — согласился я.

Все было наготове, десять самосвалов прикатили немедленно. В опасных местах мы подсыпали перемычку суглинком.

Высокий уровень воды в Иртыше держался до следующего утра, но река так и не смогла одолеть перемычку. Расчеты вновь оказались сильнее стихии.

В хлопотных буднях незаметно проскочило время. И вот пришел торжественный час...

В конце теплого сентябрьского дня 1957 года тысячи строителей собрались на берегу Иртыша, расселись по скалам, чтобы последний раз взглянуть на нижнюю часть плотины, которая сегодня навеки уйдет под воду.

Затопление котлована... Теперь эти слова уже потеряли свой страшный смысл; хозяевами положения была не стихия, а люди.

Воздух упруго покачнулся от мощного взрыва, метнулись к небу черные облака земли и фонтаны воды.

Перемычка взорвана!

Просвистали последние, высоко залетевшие камни, рассеялась пыль, стало видно, как вода, хлынув потоком в пробойну, растекается многими ручейками по дну котлована. Шагающие экскаваторы осторожно двинулись по перемычке к месту взрыва — помогать воде расширять проход.

Настало время перекрывать Иртыш в створе Бухтарминской ГЭС.

Мы снова критически пересмотрели существующий опыт применительно к новым условиям. На нашей стройке главной транспортной силой являлись дизельные автомобили-самосвалы грузоподъемностью десять и двадцать пять тонн. Наплавной мост под эти машины получался очень тяжелым и дорогим, изготовление и наводка его заняли бы много времени. Снять самосвалы с работы по отсыпке банкета было нельзя, это

привело бы к потере времени и могло затянуть отсыпку до зимы, когда с появлением в потоке шуги возникнут большие затруднения.

И снова на выручку пришла рабочая смекалка.

На строительстве было много крупных камней весом до двадцати с лишним тонн. Экскаваторный машинист П. И. Токарев еще раньше придумал способ погрузки таких камней на автомобили трехкубовым ковшом экскаватора, без применения каких-либо особых приспособлений. Поэтому мы решили перекрывать Иртыш посредством отсыпки.

Петр Иванович Токарев работал у нас уже три года и за это время отлично овладел искусством управления крупными экскаваторами. Он работал ковшом так, будто это не часть огромной машины, а его собственная рука. Когда Токарев сидел за рычагами управления, трудно было отделаться от впечатления, что экскаватор — это живое и разумное существо. И вот сейчас он откопал из отвала камень весом тонн в пятнадцать и точными плавными движениями уложил его в кузов самосвала. Затем так же ловко положил другой, поменьше.

К перекрытию приступили седьмого октября. Самосвалы начали отсыпать поперек реки дамбу из крупного камня, постепенно продвигаясь по направлению к левому берегу и «заклиная» реку. Вскоре Иртыш превратился здесь в будущий поток с перепадом почти в два метра.

С напорной стороны поднялся уровень воды. Большая часть реки пошла через плотину. Самосвалы, лязгая металлическими бортами, продолжали валить камень. Отсыпка банкета продолжалась днем и ночью.

Выяснилось, что мелкие камни река сносит. На этот случай у нас были приготовлены глыбы в десять и более тонн. Однако, когда до левобережной скалы осталось метров тридцать, перестали помогать и такие камни. Иртыш отшвыривал их и уносил. Тогда-то и показал свое мастерство машинист Токарев. Трехкубовым экскаватором он бережно поднял каменную громаду в двадцать пять тонн и осторожно опустил в кузов сразу осевшего самосвала. Машина, набирая ход, тронулась на перемышку.

По накатанному полотну банкета самосвал двигался задним ходом. Вот он остановился у самого обрыва насыпи. Мы боялись, как бы не опрокинуло машину. Шофер открыл дверцу кабины и стал осторожно поднимать кузов. Из другой дверцы показалось худое напряженное лицо Токарева, он сам приехал посмотреть, как ляжет в реку первая глыба. Кузов поднимался. Вот глыба покачнулась и скользнула в реку. Огромная машина подпрыгнула, как игрушечная, на всех своих четырех колесах. Целая скала рухнула в реку и остановилась намертво в бушующих струях потока.

Утром десятого октября от Иртыша осталась небольшая шумливая речка шириной пять-шесть метров; она быстро суживалась, теряя свою силу.

В два часа дня комсомольцы взяли красное знамя, разбежавшись, перепрыгнули «бывший» Иртыш и укрепили знамя на скале левого берега.

Так впервые в СССР перекрытие крупной реки было произведено без предварительной наводки. Опыт показал, что этим способом можно перекрывать любую реку, имеющую неразмываемый берег и не очень толстый слой наносов над скальным дном. Такими являются многие реки Сибири.

## 5

Я уже говорил, что зимняя укладка бетона со дня первых работ на Нижней Свирли до сих пор остается животрепещущей проблемой любого крупного строительства. Дело в том, что бетон имеет одно неприятное свойство — при отвердении выделяет много тепла. Обязан он этим цементу: высчитано, что каждый килограмм цемента повышает температуру бетона на одну девятую градуса. Охлаждается бетон очень медленно, процесс остывания большого сооружения длится несколько лет; в конце концов оно принимает среднегодовую температуру той местности, где построено.

Представим себе какое-нибудь крупное сооружение из бетона — скажем, плотину. Ясно, что остывать она будет неравномерно, — значит, неизбежны трещины, причем бывают случаи, когда они пронизывают все сооружение насквозь. Под действием просачивающейся воды со временем плотина будет разрушаться все больше и потребует крупных затрат на ремонт.

Можно ли избежать этих нежелательных явлений? Да, конечно. Для этого прибегают к различным способам бетонных работ. У нас принята разрезка массива на блоки; все сооружение строится как бы из огромных кирпичей в перевязку. Но и в этом случае на месте стыка блоков остаются швы, которые так же нежелательны, как и трещины.

Как же выйти из этого заколдованного круга?

Сотрудники Научно-исследовательского института гидротехники имени Веденеева (ВНИИГ) профессора А. В. Белов, А. З. Басевич и инженер П. И. Васильев после долгих поисков нашли теоретическое условие, при котором можно избежать трещин. Правило это таково: нужно, чтобы массив при бетонировании не разогревался больше чем на двадцать градусов против среднегодовой температуры местности.

Но все это приемлемо для тех объектов, которые строятся в мягком, умеренном климате. А что, например, делать строителям Бухтарминской ГЭС, если среднегодовая температура на Алтае всего три градуса тепла? Для Алтая характерны резкие колебания температуры: летом жарко, зимой очень холодно. Допустим, в один из летних дней жара достигнет тридцати градусов — значит, температура бетона будет выше среднегодовой уже на двадцать семь градусов. Правило ВНИИГа, таким образом, окажется нарушенным. Нужно искать какой-то другой выход.

Меня, в частности, все время занимала мысль: как бы избавиться от необходимости разрезки массива на блоки? Сколько можно сэкономить опалубки, значительно быстрее пойдут бетонные работы!

Вот если бы создать климат искусственный, то есть обеспечить требуемые условия непосредственно на месте бетонных работ!

Обычно бетон, который мы подвозим к блокам, имеет температуру в зимнее время плюс десять градусов. Снижать ее не рекомендуется. Однако надо учитывать, что в нашем бетоне содержится двести шестьдесят килограммов цемента на кубометр. Следовательно, хочешь не хочешь, а температура при отвердении поднимется на двадцать девять градусов, да десять градусов имеет бетонная масса. Много!

Как же все-таки понизить температуру? По-видимому, за счет уменьшения цемента.

Надо сказать, что прочность бетона зависит не от количества цемента, а от соотношения между цементом и водой. Если в жидко-пластичном бетоне уменьшить вдвое количество воды, то можно уменьшить вдвое и количество цемента, а прочность бетона останется прежней. Но бетон перестанет быть пластичным, он станет «жестким», примет вид чуть влажной смеси, неудобной и трудной для обработки. В жестком бетоне количество цемента без какого-либо ущерба для его прочности снижено до ста восьмидесяти килограммов на кубический метр. Теперь мы почти приблизились к тем условиям, которые вывели сотрудники ВНИИГа. Оставалось лишь избавиться от каких-нибудь пяти-шести градусов.

Совершенно неожиданно желаемое решение было найдено. Случилось это в Италии, когда в июне 1957 года я и еще два советских специалиста, будучи гостями итальянского комитета по бетону для больших плотин, разъезжали по стране и знакомились с гидростройками.

Италия — страна древнейшей в Европе строительной культуры. Римские сооружения до сих пор поражают и своими размерами и высоким качеством работ. Оказалось, что итальянцы широко применяют в практике жесткий бетон. Система бетонных работ, принятая в Италии, и подсказала правильный путь в моих поисках.

Наблюдая за итальянскими бетонщиками, я обратил внимание, что бетон они укладывают тонким слоем — меньше метра толщиной (у нас — три-четыре метра). Уложив слой, рабочие поливали его водой — охлаждали. Итальянцы боролись с жарой, а я в этом увидел решение для зимней укладки бетона. В самом деле, если мы тоже применим тонкослойную укладку, то при поливке бетон отдаст как раз те лишние для нас пять-шесть градусов. А для того чтобы в блоке зимой всегда была ровная температура, надо приспособить какое-нибудь укрытие, поднимающееся вместе с поверхностью бетонизируемого блока.

Возвращаясь из Италии, я много думал о неожиданно пришедшем выходе из положения и все больше убеждался, что он сулит нам огромные выгоды.



У себя на Бухтарме мы создали специальную научно-исследовательскую группу под руководством В. М. Ерахтина. В нее вошли инженеры, имеющие солидный опыт работы. Они сделали главное — разработали чертежи конструкций шатра, который получился легким, очень удобным. Установка шатра над местом бетонных работ, переноска его занимали мало времени.

Так, при помощи жесткого бетона, тонкослойной укладки и удачной конструкции шатра, заменившего тепляки, мы сумели создать в резко континентальных условиях Алтая необходимый для зимних бетонных работ мягкий и прохладный искусственный климат. Конечно, нельзя сказать, что мы заимствовали свою систему зимних бетонных работ в Италии. Это было бы все равно, что привезти к нам легкую итальянскую девичью блузку и сшить из нее шубу.

В зиму 1957/58 года для опытной укладки бетона по новому методу был отведен большой блок, площадью в четыреста пятьдесят квадратных метров. В него уложили около семи тысяч кубометров бетона.

Работами этими руководил старший прораб Геннадий Павлович Чудновский. Он вырос на иртышских стройках. Когда-то давно, еще мальчиком, его привезли на строительство Усть-Каменогорской гидроэлектростанции, там он окончил школу и уехал учиться в Ташкентский строительный техникум. В 1954 году он вернулся с дипломом техника и начал работать на строительстве Бухтарминской ГЭС. Это был энергичный, инициативный человек.

В один из погожих весенних дней начали распалубку опытного массива. В зимние холода его держали в опалубке — боялись «застудить» бока, вызвать образование трещин.

На эстакаде плотины встречаю Чудновского.

— Ну как идут дела? — спрашиваю.

— Да вот... распалубили... — Он как будто бы смущен и огорчен. Вдруг делает вид, что вспомнил о чем-то неотложном, и, метнувшись в сторону, убегает.

По узкой лесенке иду на самый верх опытного массива. Здесь стоят бригадиры-бетонщики — Николай Иванович Байрак и Василий Акимович Лымарев. Они не замечают меня, стараются заглянуть вниз и, видно, тоже чем-то расстроены.

— Что это там высматриваете?

— Плохо, Михаил Васильевич, раковины оказались в бетоне.

Раковины в бетоне не такая уж страшная штука, их можно исправить, заделать. Но что же это за новый материал — жесткий бетон, который нужно ремонтировать сразу после укладки? Видимо, не пойдет дело. Неужели зря потеряли время и труд стольких людей?

— Как вам не стыдно! — набрасываюсь я на бетонщиков. — Вас поставили на новое дело как самых надежных бригадиров, а вы?.. Раковины наделали. Не смогли провибрировать как следует!

Пожилой Лымарев смущенно разводит руками и не знает, что ответить. Байрак тоже растерян, но он значительно моложе, задорнее и сейчас пытается что-то сообразить.

— Смотрите, — говорит он, — раковины только в нижней части массива, а в верхней их нет. Низ клали зимой, в мороз, а верх — весной. Выходит, будто раковины возникли от холода, бетонировали же мы все время под шатром, то есть при постоянной температуре.

Действительно получилось так. Но почему?

— Старались мы изо всех сил, — вступает в разговор Василий Акимович Лымарев, — прорабатывали бетон вибраторами как следует. Правда, иногда попадали замесы какие-то, вроде как песка в них было маловато.

На массив поднимаются главный инженер Елецкий, Ерахтин, Соболев и другие. Обсуждаем проклятые раковины, ищем объяснения и не находим.

Неудача!..

Может быть, организовать новый опытный участок? Но какой опыт на нем ставить? Бетон получался с дефектами зимой, а она прошла. Не ждать же следующей зимы?..

В самом мрачном настроении разошлись мы с опытного массива. Теперь поднимут крик проектировщики, преувеличат во много раз эту неудачу.

Наши опасения оправдались. Проектная организация «Ленгидэп» и особенно руководитель проекта М. А. Миронов давно заявили и куда нужно написали, что они против всяких изменений в технологии бетона. Отрицательное отношение проектировщиков к попыткам усовершенствования технологии объясняется созданным в проектных организациях положением. Они слабо связаны с жизнью строек. Среди руководителей крупных проектов редко встречаются люди, имеющие солидный строительный опыт. Обычно это так называемые «чистые» проектировщики, работающие в проектных организациях со школьной скамьи; отсутствие производственного опыта ведет к полному отсутствию технологичности в проектах. На машиностроительном заводе, если конструктор запроектирует хорошую деталь, но окажется, что она не технологична и может нарушить ритм производственного процесса, конструкцию переделывают, а при проектировании крупнейших гидросооружений на подобные обстоятельства часто не обращают никакого внимания.

С другой стороны, строители, работая на стройке, постепенно теряют связь с проектированием, перестают следить за новинками в этой области и превращаются в стопроцентных «прорабов».

Надо бы коренным образом перестроить руководство проектированием, преодолеть разобщение строителей с проектировщиками. Полезно было бы все крупные проекты, перед рассмотрением их в министерстве, рассылать на несколько строек для обсуждения, а затем созывать совещание их представителей. Это поможет преодолеть известную обособленность и замкнутость наших строек, даст возможность широкого обмена опытом между строителями и проектными организациями.

Здесь нужно сказать несколько слов о проверке результатов работы проектных организаций. Сейчас делается так: проект рассматривается в вышестоящих инстанциях, утверждается и затем выполняется в натуре. Гидроэлектростанции — сооружения, так сказать, индивидуальные, а иногда просто уникальные, сравнивать их не с чем, и труды проектировщиков по существу остаются бесконтрольными. А ведь можно проверять проекты задолго до их выполнения в натуре.

Посетив в 1957 году Институт испытаний моделей и конструкций в городе Бергамо (Италия), мы были поражены огромной выгодой, которую дает работа этого небольшого учреждения, имеющего всего пятьдесят пять работников. В этот институт поступают проекты всех плотин и других крупных инженерных сооружений. По этим проектам изготавливаются из специально подобранного бетона модели сооружений в масштабе 1 : 100 — 1 : 40. В модель закладываются контрольно-измерительные приборы, после чего она подвергается постепенно возрастающим нагрузкам, доводящим ее до разрушения. Это позволяет выявить слабые места конструкции, требующие усиления, и одновременно те места, где имеются излишества в объемах бетона и арматуры. Институт снимает эти излишества, не меняя конструкции, усиливает слабые места, изготавливает откорректированную модель, испытывает ее и выдает проектировщикам для составления по ней рабочих чертежей. Ведется учет объемов работ, сокращенных в результате изучения моделей.

Если в нашем гидростроительстве сократить проектные объемы бетона на пять-шесть процентов, то это будет означать десятки миллионов рублей ежегодной экономии. Следовало бы и у нас организовать подобный институт, сделав его независимым от проектных организаций.

## 6

В июле 1958 года меня вызвали в Москву на совещание по энергетике, созванное Госпланом СССР.

Совещание протекало довольно сумбурно. Докладчик, заместитель начальника отдела электрификации Русаковский, поразил всех заявлением, что будто бы широкое строительство гидроэлектростанций, проведенное в СССР за сорок лет, было ошибкой и нанесло ущерб темпам развития советской энергетике. Выводы Русаковского для меня были совершенно неожиданными, но он оперировал цифрами. Закладывалось подозре-

ние, что сравниваются показатели наименее удачных из построенных гидроэлектростанций с наиболее удачными проектами тепловых электростанций. Руководство министерства электростанций растерялось и готово было сдать позиции.

В этой обстановке всеобщее внимание привлек к себе начальник строительства Кременчугской гидроэлектростанции И. Т. Новиков. Он твердо стоял за рациональную энергетику, основательно доказывал, что только реальные интересы быстрого развития народного хозяйства должны определять состав энергетических объектов семилетнего плана. К нему начали присоединяться многие участники совещания, особенно из строителей, и как-то произошло само собой, что он возглавил «движение» за рациональную энергетическую семилетку. Работникам Госплана на этом совещании не удалось договориться с представителями строительной практики.

На стройке меня ждали хорошие известия. Жесткий бетон на втором опытном участке получается хорошего качества. Работы успешно развертываются. Идет к концу разработка котлована электростанции. Начинают расти бетонные массивы.

В первых числах августа, находясь на верхней эстакаде, я внезапно почувствовал сильную боль в сердце. Раньше ничего подобного не было. «Пройдет,— подумал я,— ничего». Но боль не прекращалась, а на другой день усилилась до того, что понадобилась срочная медицинская помощь.

— Инфаркт миокарда,— сказали врачи,— придется полежать несколько месяцев.

Лежать?! До разреза нужно было заниматься целой кучей неотложных дел, а тут, извольте,— несколько месяцев лежать сложа руки!

В самый острый момент заболевания телеграф принес радостную весть: мне присвоено звание Героя Социалистического Труда, а большая группа наших инженеров и рабочих награждена орденами и медалями. Высокая оценка нашей работы вызвала небывалый подъем сил. Я вдруг почувствовал, что совсем здоров, и так неудержимо потянуло к своим товарищам по работе, захотелось как можно скорее, немедленно опять встать рядом с ними, плечом к плечу. А тут очень кстати подоспела кардиограмма: инфаркт не подтвердился! «Золотая звездочка вылечила»,— шутили врачи.

Близилась новая зима. Стали готовиться к кладке жесткого бетона. Слетал в Москву, доложил в министерстве результаты наших опытных работ. Договорились о том, чтобы созвать у нас, в Серебрянке, совещание представителей гидротехнических строек для обсуждения нашего способа укладки жесткого бетона и распространения его на другие строительства.

Весной прошлого года в Серебрянку стали съезжаться инженеры из Братска, Кременчуга, Днепродзержинска, Воткинска и других крупнейших гидростроительств страны. Даже из далекой Литвы, с Немана, приехал главный инженер С. А. Левшин, старый свирьстроевец.

Совещание проходило необычно. Несколько часов в день делегаты проводили на сооружениях, наблюдали укладку жесткого бетона по нашей технологии. Вечером собирались в Доме культуры, обсуждали увиденное, слушали сообщения с других строек.

Покритиковали делегаты нашу технологию, отметили отдельные недостатки и записали в постановлении: «Совещание отмечает, что коллективом строителей Бухтарминской ГЭС проделана большая и серьезная работа по разработке и практическому осуществлению новой технологии бетонных работ при возведении массивных сооружений в суровых климатических условиях».

Несмотря на отдельные устранимые недостатки, такие, как не всегда удовлетворительное качество материалов для приготовления бетона, отсутствие или недостаточных мощных вибраторов и некоторые другие, в целом разработанная технология представляет собой продуманную и увязанную схему, доведенную до практического освоения несомненно прогрессивную и заслуживающую распространения на других строительствах».

Вскоре был издан приказ министра строительства электростанций, утвердивший решение совещания.

...1959 год. Исторический XXI съезд нашей партии.

Великие победы советского народа; главные задачи семилетнего плана развития

нашего народного хозяйства; решающий этап экономического соревнования социализма с капитализмом; вопросы марксистско-ленинской теории...— все это нашло отражение в решениях съезда КПСС. Контрольными цифрами предусмотрено завершить в течение семилетия строительство ставшей мне бесконечно близкой Бухтарминской гидроэлектростанции.

С мыслями о том, как быстрее, лучше выполнить это задание партии, ехал я в ноябре на созываемое впервые Всесоюзное совещание по энергетическому строительству.

Колонный зал Дома союзов заполнили свыше тысячи передовиков — строителей электрических станций и линий электропередач, ученые, специалисты, конструкторы, работники совнархозов, Госплана и Госстроя СССР, машиностроительных предприятий. Люди прибыли сюда с Ангары и Волги, с Украины и Прибалтики, из Казахстана и Средней Азии. Два дня шел большой, откровенный разговор о путях нашего энергостроительства.

Совещание близится к концу. На трибуне — Никита Сергеевич Хрущев.

Слушаю его живую, образную речь, сосредоточиваю все внимание, хочу, чтобы каждое слово запечатлелось в памяти. И в то же время ловлю себя на том, что исподволь, неприметно, само собой, накапливаю общее впечатление от услышанного, мысленно подвожу итог всех впитанных слов: какой поучительный пример марксистского осмысления явлений и фактов, какая глубина их анализа!

Много раз я слышал выступления Никиты Сергеевича, и всегда поражает одно: как он с первых же слов вступает в полный контакт с аудиторией. Отодвигается куда-то в сторону огромный зал, кажется, что он беседует именно с тобой, угадывает твои мысли, рассеивает твои сомнения, тебе говорит истины, иногда горькие, тебя одобряет и зовет на большие дела...

Невольно вспоминаются начальные годы советской жизни. Тогда Ленин выдвинул идею электрификации как основу хозяйственного переустройства России. И в наши дни Коммунистическая партия, верная заветам Ильича, видит в электрификации страны верный путь к победе коммунизма.

«Наша страна,— сказал на совещании энергостроителей Н. С. Хрущев,— достигла такого высокого уровня в развитии экономики, науки и техники, что мы можем приступить и в ближайшие пятнадцать—двадцать лет осуществить выдвинутую великим Лениным задачу сплошной электрификации. Это великая, благородная задача!»

Восточный Казахстан,  
пос. Серебрянка.  
Декабрь 1959 года.



распоряжение специальный кредит в двадцать миллионов (20.000.000) рублей»<sup>1</sup>.

Даже в это трудное время Советское правительство не скупилось на средства для организа-

ции дела, без которого немисливо создание материально-технической базы коммунизма. Возглавить ГОЭЛРО было поручено одному из испытанных коммунистов, талантливому энергетикку страны Глебу Максимовичу Кржижановскому.

С самого начала работ в области электрификации страны Ленин искал людей, как он говорил, «с размахом», «с загадом» не только для составления планов, грандиозность которых удивляла очень многих, но и для пропаганды этих планов.

В. И. Ленин страстно желал «доказать или хотя бы иллюстрировать

а) громадную выгодность

б) необходимость электрификации»<sup>2</sup>.

По его указанию и под его руководством написал в 1920 году Г. М. Кржижановский свою брошюру «Основные задачи электрификации России». А когда эта брошюра была издана, Владимир Ильич предложил переделать ее «в ряд более популярных очерков для обучения в школе и чтения крестьянам»<sup>3</sup>. Ему хотелось, чтобы было создано «пособие для школ» — книга, где бы научно и популярно рассказывалось о той большой задаче, на решение которой партия поднимала советский народ.

Наиболее подходящим автором такой книги оказался Иван Иванович Скворцов-Степанов, участник российского революционного движения с 1891 года, видный партийный и государственный деятель, литератор-марксист, экономист и историк. Ему и поручил В. И. Ленин написать книгу об электрификации России.

Переписка В. И. Ленина и И. И. Скворцова-Степанова, записи поручений Владимира Ильича, сделанные в 1921 году Л. А. Фотиевой, секретарем СНК и СТО и одновременно секретарем В. И. Ленина, — наглядное свидетельство того, как пристально, день за днем, контролировал и

## ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСИ

(По документам Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС)

«Дорогому тов. В. И. Ленину-Ульянову автор, засажженный за работу в порядке беспощадного «принуждения» и неожиданно нашедший в ней свое «призвание». Да здравствует такое «принуждение!»

Это — надпись на книге И. И. Скворцова-Степанова «Электрификация РСФСР в связи с переходной фазой мирового хозяйства» (1922 год), хранящейся в кремлевской квартире В. И. Ленина.

Публикуемые ниже документы рассказывают о том, как родилась эта книга, помогают лучше понять чувства ее автора, сделавшего столь необычайную дарственную надпись.

1921 — начало 1922 года. Молодая Советская республика, героически отразившая натиск многочисленных врагов, еще только что приступила к восстановлению своего хозяйства. Руководимые Владимиром Ильичем Лениным Совет Народных Комиссаров и Совет Труда и Оборонь ежедневно решают вопросы подъема экономики, ищут пути скорейшей ликвидации нехватки продовольствия, топлива, промышленного сырья. Но уже исполнилось почти два года с тех пор, как на заседании Совнаркома, происходившем 23 марта 1920 года, был утвержден проект положения о Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО). Эта комиссия была призвана разрабатывать, детализировать план хозяйственного возрождения страны, выдвинутый В. И. Лениным почти в самые первые дни после победы Великой Октябрьской социалистической революции.

Принимая решение об учреждении ГОЭЛРО, Совнарком постановил: «Ассигновать на расходы по выполнению данного Государственной Комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО) поручения в ее

<sup>1</sup> ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 1, ед. хр. 357, л. 86.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 35, стр. 375.

<sup>3</sup> Там же, стр. 400.

помогая В. И. Ленин выполнению этого почетного и очень важного для партии и народа задания.

17 июля 1921 года в телефонограмме, переданной из Горок, В. И. Ленин запрашивал И. И. Скворцова-Степанова о его работе над книгой «Электрификация РСФСР в связи с переходной фазой мирового хозяйства».

«Прошу Вас сообщить мне, как двигается и когда закончится обещанная Вами работа, о которой мы последний раз говорили».

(Ленинский сборник XX, стр. 221)

21 июля 1921 года И. И. Скворцов-Степанов ответил на это В. И. Ленину письмом:

«Дорогой Владимир Ильич,

Я уже говорил Вам, что в настоящем моем положении нечего и думать о серьезных литературных работах, — между прочим и об электрификации. Я — один в Госиздате: Мещеряков в 1½-месячном отпуске, Полонский — тоже (да он к тому же и не вполне утвержден Ц.К. Р.К.П.: произошла путаница), Покровский и Ярославский не могут вести текущую работу: не до того им.

А тут еще лезут аферисты вроде Гржебина.

Я уже говорил Вам, что очень хотел бы получить отпуск для литературных работ на 2—3 месяца: без этого я мертв. И Вы согласились с моими соображениями.

Ах, как хорошо было бы, если бы с первых чисел августа составили коллегию Госиздата и дали мне отпуск. Тогда первой работой будет электрификация.

С комм. прив. И. Скворцов».

На этом письме В. И. Ленин, желая его сохранить, собственноручно написал: «в архив».

(ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 19957. Частично опубликовано в журнале «Пролетарская революция», № 10 (93), 1929; стр. 121).

Заботясь о том, чтобы у автора было все необходимое для работы над книгой, чтобы его не отвлекали никакие другие дела, 20 сентября 1921 года В. И. Ленин послал управляющему делами Совета Народных Комиссаров Н. П. Горбунову записку:

«г. Горбунов!

Прошу Вас распорядиться о том, чтобы собрали следующую литературу:

1) все по русски по электрификации сверх книги «План электрификации».

Доклады Кржиж[ановского] и Рамзина в Питере. — Брошюра Кушнера. — Другие брошюры об электрификации — издание Владим[ирского] Губисполкома об электрификации и другие местные издания.

2) По немецки новую литературу (1915—1921) о состоянии электрификации в разных странах и задачах ее и т. д. (через Кржиж[ановского] и т. д.).

Достаньте мне в 1—2 недели все сие сроком на 2 месяца для Ив. Ив. Скворцова (Степанова).

С к. пр. Ленин».

(Ленинский сборник XXIII, стр. 12).

Все, о чем просил В. И. Ленин, было послано И. И. Скворцову-Степанову. Но работа подвигалась медленно. 19 октября 1921 года Л. А. Фотнева сделала следующую запись — видимо, по поручению В. И. Ленина:

«10 ч. 45 м. 19/X-21 г. Скворцову-Степанову.

10 ч. 50 м. Письменно подтвердить срок отъезда, обязательство написать брошюру об электрификации и вернуть книги, кот[орые] ему будут даны.

12 ч. Письмо получено от Скворцова и передано В. И.».

(ЦПА ИМЛ, ф. №1, ед. хр. 44690, л. 5).

Вот что писал В. И. Ленину 19 октября 1921 года автор будущей книги:

«Дорогой Владимир Ильич,

Оргбюро, разрешив мне командировку, через 2—3 дня отменило ее, предписав заниматься с Красной Профессурой. И только 17/X дело уладилось, и я объявлен свободным.

Но за это время МК возложил сложное поручение, которое выполню только дня через три (выработка программы лекций по религии). Кроме того, необходимо перед отъездом закончить некоторые дела в Госиздате. Словом, выезжаю между 25—28 октября.

Однако вообще-то поездка — не необходимое условие написания работы об электрификации. Необходимое условие — осво-

бождение от ерунды (поручения МК, Главполитпросвета, лекции и семинары), которая, если бы я остался в Москве, облепила бы меня со всех сторон.

Обязуюсь полностью по миновании надобности, т. е. не позже чем к 1 января 1922 г., возвратить всю литературу, какая будет выдана мне в качестве материалов к работе по электрификации.

Обязуюсь представить в законченном виде работу по электрификации не позже 1 января 1922 г., в чем и подписуюсь.

Ваш И. Скворцов.

Р. С. Пожалуйста, примите меня как-нибудь до моего отъезда».

На письме — пометка Л. А. Фотиевой:

«И. И. Скворцов взялся самостоятельно получить книги.

19/X Л. Ф.».

(ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 9335).

После этого работа ускорилаь. Выполняя свои обязательства, уже на следующий день или через день — 20 или 21 октября 1921 года — И. И. Скворцов-Степанов писал В. И. Ленину:

«Электрифицирую» с остервенением. Обрисовывается общий план работы\*). Литературы мало. Пожалуйста, дайте Respondek. Elektroindustrie.

Надеюсь, к январю книжка будет готова.

Ц К дал отпуск 1½ мес. Значит, высылка из Москвы излишня.

Ваш И. Скворцов.

\*) Если есть 5 ми[нут], хотел бы рассказать его».

(ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 9335. Опубликовано в журнале «Пролетарская революция», № 10 (93), 1929, стр. 122)

После этого сообщения В. И. Ленин 21 октября 1921 года направил письмо в Оргбюро ЦК РКП(б):

«Ввиду просьбы Ив. Ив. Скворцова (Степанова), прошу отменить его командировку и сослать его вместо этой командировки в один из подмосковных совхозов, на молоко, чтобы он в 1—1½ месяца, не отвлекаясь другими делами, кончил предпринятую им литературную работу. (Совхоз найти через соответствующий московский орган).

Ленин».

(Ленинский сборник XXXV, стр. 284).

В этот же день Л. А. Фотиева, видимо во исполнение поручения Владимира Ильича, к которому адресовался И. И. Скворцов-Степанов с просьбой о дополнительной присылке литературы, записала:

«I

14 ч. 10 м. 21/X Рабчинскому к 21/X  
зав. научн. изд. отд. ВСНХ

Просьба прислать...<sup>1</sup> научн. тех. словарь для передачи Скворцову.

исп. Ульрих

Получ. 22/X послан Скворцову

II

21/X В. И. Ленину к 22/X  
(напомнить)

Книжку Респондека послать Скворцову

исп. Фотиева

Исполнено».

(ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 44690.  
лл. 21, 25).

Работа над книгой близилась к окончанию. 20 января 1922 года автор ее сообщил В. И. Ленину:

«Дорогой Владимир Ильич, по-прежнему яростно электрифицирую. Вполне определился уклон от Вас к Кржижановскому: не брошюра из разряда пресловутой «производственной пропаганды», а более обстоятельная работа, захватывающая и вопросы «экономики переходного времени», и «новый курс экономической политики» и т. д. Зато получите действительное руководство для совпартшкол и для наших лекторов.

Устаю. Дней пять даже валялся (ревматизм, ишиас — и, несомненно, сказалось утомление от дьявольской работы). Тем не менее к партсъезду книга выйдет из печати.

Не присылать ли Вам сверстаные листы или оттиски? Не дадите ли предисловие хотя бы в две странички? Было бы очень полезно.

По окончании работы отпустите (с женой) для отдыха... Простите, но без Вас не знаю, как начать хлопоты об этом.

Надо увидеть Вас, когда будете в Москве, по обыкновению на пять минут, чтобы подвинтить себя. Вы, как умный эксплуататор, превосходно повышаете работоспособность.

<sup>1</sup> Слово не разобрано.

Крепко жму Вашу руку. Спасибо Вам за то, что засадили за такую работу.

И. Скворцов».

На письме запись, сделанная Л. А. Фотневой, вероятно, по распоряжению В. И. Ленина из Горок:

«Ответить:

1) Вперед советует не писать о Кунове, а спрашивать В. И. о работе, имеющ[ей] отношение к жизни.

2) До окончания книги никаких разговоров об отпуске».

(ЦПА ИМЛ. ф. 461, ед. хр. 9690, частично опубликовано в журнале «Пролетарская революция», № 10 (93), 1929, стр. 122).

И наконец книга готова. Автор послал ее Владимиру Ильичу. 19 марта 1922 года В. И. Ленин написал И. И. Скворцову-Степанову:

«Тов. Степанов!

Сейчас кончил просмотр 160 страниц Вашей книги.

Насколько бешено (вплоть до цензурности) я Вас ругал за то, что Вы способны теперь сидеть месяцы за опровержением Кунова, настолько от этой книги я в восторге. Вот это дело! Вот это — образец того, как надо русского дикаря учить с а з о в, но учить не «полунауке», а всей науке.

Напишите еще (отдохнув сначала, как следует) такой же томик по истории религии и против всякой религии (в том числе кантапанской и другой утонченно-идеалистической или утонченно-агностической), с обзором материалов по истории атеизма и по связи церкви с буржуазией.

Еще раз: привет и поздравление с великолепным успехом.

Ваш Ленин.

Р. С. На странице 97 нехорошо. Респондек напутал Советую взять первоисточник и заказать проверку. Прилагаю письмо к Полову (можете отправить через мою секретаршу).

Р. Р. С. Предисловие посылаю секретарше».

(В. И. Ленин Сочинения, т. 36, стр. 523).

Предисловие это было написано В. И. Лениным 18 марта 1922 года, несмотря на огромную занятость и участвовавшие приступы болезни. В нем Владимир Ильич дает высокую оценку этому труду. В предисловии содержатся также серьезные упреки В. И. Ленина литераторам и требование больше и лучше писать для народного просвещения (см. В. И. Ленин. Сочинения, т. 33, стр. 217—218).

В. И. Ленин сам заботится о широком распространении важной и полезной книги И. И. Скворцова-Степанова. 17 мая 1922 года он пишет народному комиссару просвещения:

«Я получаю ряд сведений, что дороговизна книг при наших «увлечениях» и преувеличениях не па лишает народ полезных книг.

Мне казалось бы, необходимо установить какое-либо правило или провести закон такого примерно рода: насчет местных налогов известные суммы установить, кои должны быть вносимы в центр для составления фонда, на счет коего покупаются несколько тысяч (скажем, Скворцов: «Электрификация» и т. п.) для рассылки во все учебные библиотекам.

Прошу обсудить это и сообщить мне ваше заключение.

Председатель СНК  
В. Ульянов (Ленин)».

(Ленинский сборник XXXV, стр. 349).

\* \* \*

Такова история одной дарственной надписи, рассказанная документами Центрального партийного архива. Эти документы о многом говорят читателям и писателям. И прежде всего они говорят о том, как высоко и почетно в нашей стране звание популяризатора, пропагандиста и какая это благородная задача — писать для народа.

Кандидат исторических наук  
Е. Подвигина.





# ОТКАЛКИ И КОММЕНТАРИИ

*По страницам иностранных литературных журналов*

## ПОЭТЫ БЕЗ ЧИТАТЕЛЕЙ, КРИТИКИ БЕЗ ВЗГЛЯДОВ...

*Англия*

«Отор» («Автор»), еже-  
квартальный журнал.  
№№ 3, 4. 1959. Год изда-  
ния 69-й. Лондон. Изда-  
тель: «Соснайти оф  
оторз».

★

Сколько в Англии любителей поэзии? Этот вопрос задал английский литератор Герберт Рид на страницах журнала «Отор». Ему же принадлежит красноречивый ответ: «Я не вполне уверен в том, что среди 55 миллионов человек, населяющих Англию, найдется более двух тысяч, которые без специальной необходимости, в силу своей принадлежности к какому-либо учебному заведению, регулярно читали бы стихи, и более трехсот или четырехсот человек, которые регулярно покупали бы томики поэзии».

Эти любопытные, хотя и не отличающиеся, вероятно, точностью, подсчеты приводятся на страницах журнала, адресующегося к писателям, издателям и книготорговцам. «Отор» (о нем нам уже доводилось писать<sup>1</sup>) — один из старейших в Англии журналов, занимающийся преимущественно вопросами авторского права, взаимоотношений издателей с писателями и т. п. Время от времени, однако, он предоставляет свои страницы для дискуссий на литературные темы.

Одна из таких дискуссий была, например, посвящена судьбам романа. Затем темой дискуссии журнал избрал проблему критики, а следующий номер содержал дискуссию о поэзии.

Характерно, что участники дискуссий «Отора», останавливаясь на любопытных, порой заслуживающих серьезного внимания частностях, упорно воздерживаются от сколько-нибудь глубокого анализа рассматриваемых явлений. Редко отваживаются они на постановку вопросов, выходящих за рамки «профессионального разговора». Вопросы мировоззрения, идейных и эстетических ценностей в широком смысле слова, судя по всему, в эти рамки не вмещаются. Читателей, которые рассчитывают, что журнал поможет им разобраться в явлениях литературной жизни Англии, естественно, ждет разочарование. Но нельзя отказать журналу в известной смелости: время от времени он заводит разговор на темы, кажущиеся щекотливыми другим «чисто литературным» органам.

В дискуссиях «Отора» так или иначе прступает немало характерных штрихов, свидетельствующих об истинном положении современного английского романа, поэзии, критики. Именно это и привлекло наше внимание к последним дискуссиям журнала.

Как же характеризуется в этом споре состояние английской поэзии?

Уже упомянутый Герберт Рид считает, что «качество поэзии в Англии пало до уровня буколической версификации». Искусство стихотворчества, по его словам, лишилось «всякой жизненности языка и ритма» и «не имеет никакого контакта с социальной реальностью или метафизическими проблемами». Поэзия стала чисто «академическим упражнением».

Издатель Роберт Ластин отмечает, правда, что в 1959 году поэтических книг вышло на девятнадцать названий больше, чем в предыдущем. Но тиражи по-прежнему мизерны. Он называет тиражи четырех поэтических сборников: 359, 899, 562, 237 экземпляров.

<sup>1</sup> См. «Новый мир» № 7 за 1956 г. и № 11 за 1958 г.

Работодатель издатель не без ехидства замечает, что едва ли нужны глубокие познания в бухгалтерии, чтобы убедиться в убыточности издания стихов. «Это унылое занятие», — говорит он о печатании таких книг, хотя и обещает включать их в свои списки, «правда, довольно редко».

Известный поэт Рой Фуллер также считает издание стихов убыточным. «Мой последний сборник стихов, — пишет он, — имевший много довольно благоприятных откликов в прессе, разошелся всего в четырехстах экземплярах». Фуллер приходит к выводу, что поэзии необходим «корпоративный патрон» помимо «солидных литературных ежеквартальников», каковых нет, и радиовещательной компании.

Свои надежды на радио возлагает и другой крупный поэт, Сесиль Дэй Льюис, хотя он и сожалеет о том, что Британская радиовещательная корпорация «не принимает усилий, чтобы обеспечить постоянный приток поэзии в эфир».

Но в чем же все-таки причины того, что на родине Байрона и Шелли читатель, мягко говоря, равнодушен к поэзии?

Издатель Ластн высказывает свое мнение на этот счет без обиняков: «С моей точки зрения, поэзия продается плохо потому, что в истекшие двадцать или тридцать лет появился поток дурных стихов, которые средний, разумный читатель находит трудными для понимания».

А вот поэт Рой Фуллер ограничивает свои высказывания о поэзии только исключительно издательскими соображениями, считая, что «всякие другие соображения могут завести лишь в область социальных и политических размышлений, совершенно неуместных на этих страницах». Другие участники дискуссии не ограничивают себя, подобно Фуллеру, но — увы! — их рассуждения не становятся от этого убедительнее. Так, например, Ричард Чёрч признает, что на одного поэта, которому посчастливится привлечь к себе хотя бы умеренный интерес читателей, приходится сотни поэтов, «вопиющих в пустыне». Он объясняет это тем, что, дескать, «как и всегда, господствует материализм, а политика и стремление к благосостоянию и безопасности гораздо больше импонируют большинству людей, нежели улады религии и поэзии». Малоубедительный довод для читателей, по-настоящему обеспокоенных судьбами английской поэзии!

В самом деле, существует ли истинная поэзия, противостоящая миру реальных земных людей и витающая в облаках? Не правильнее ли предположить, что поэзия, демонстративно отворачивающаяся от людских забот и тревожений, обедняет себя и утрачивает всякий контакт с читателем? Но такой точки зрения не высказал здесь никто.

Поэт Томас Блекберн, например, видит в поэзии «воплощение внутреннего царства», он противопоставляет ее «царству вещей», «породившему лишь водородные бомбы и достижения науки». Он пространно рассуждает о поэзии как о выразительнице «таинственной энергии», призывает к «психологическому направлению» поэзии. В туманных разглагольствованиях Блекберна звучат страх и растерянность перед мировыми событиями и вместе с тем призыв укрыться в «тайниках духа» от власти «царства вещей». Трудно предположить, чтобы его советы могли вывести поэзию из того тупика, в который, по его мнению, она зашла.

Но из каких бы ложных предпосылок ни исходили отдельные участники дискуссии, все же, как мы видим, они сходятся на одном: современная английская поэзия обречена на прозябание и все большее снижение читательского интереса к ней, несмотря на то, что в последние годы писали такие одаренные поэты, как недавно умерший Дайлан Томас. Единственный участник дискуссии, чье высказывание звучит диссонансом в общем хоре, это редактор журнала «Лондон мэгэзин» Джон Леман. Он считает, что сейчас поэзия переживает отнюдь не худшие времена. «Талантливому поэту всегда было трудно существовать одной поэзией... Сейчас зарабатывать деньги, сочиняя стихи, не труднее, чем когда бы то ни было за последние тридцать лет». В обоснование своих относительно оптимистических взглядов Леман ссылается на факт присуждения денежных премий двум молодым поэтам, а также на получение некоторыми молодыми жрецами муз стипендий на путешествия и т. д. «Время от времени молодому поэту

и сейчас удается прорваться сквозь сопротивление, которое оказывает поэзии современная публика».

Если бы участники дискуссии поглубже проанализировали причины «безучастности» читающей публики к поэзии, то они, вероятно, пришли бы к выводу, что тут дело не просто в «изменении вкусов» или утрате интереса к стихам. По-видимому, речь идет о серьезных кризисных явлениях в творчестве многих поэтов, потерявших всякий контакт с реальной действительностью или никогда не имевших его. Некоторые поэты откровенно и без сожаления признают свою оторванность от мира.

Поэт Филипп Оакс в стихотворении с характерным заглавием «Нейтральные» писал:

Родившись между войнами,  
Я пропустил тот золотой век,  
Когда искусство и действие сливались  
И говорили голосом одним.

Но разве в наши дни нет условий для того, чтобы искусство и действие сливались воедино? К сожалению, многие английские поэты не видят путей к такому единству и продолжают замыкаться в рамках отвлеченной поэзии, лишенной общественных мотивов и отличающейся заумной, косноязычной формой.

Не без основания молодой английский поэт Кристофер Лоуг пишет, что после тридцатых годов, характеризовавшихся широким проникновением в английскую поэзию социальных мотивов (хотя и смутно выраженных), многие поэты «потеряли веру в себя и в свое искусство». Он говорит об отсутствии у английских читателей интереса к стихам Холлоуэя, Киркапа, Конкеста и других современных поэтов, отмечая при этом характерный для многих произведений современных английских поэтов «отказ от элементов повествования, от сюжета, от образов, являющихся открытиями нашей поэзии».

На многих стихах, печатающихся в журналах, сказывается мелкоотемье, оторванность от жизни, смакование разорванных, раздвоенных чувств, претенциозность и надуванность. Джон Силкин в стихотворении «Свет» («Лондон мэгэзин», 1958) намеренно отстраняет поэта от ответственности за то, что происходит в мире, ссылаясь на собственную греховность поэта:

У меня нет чистоты,  
Потребной для того, чтобы судить:  
Царьки Африки продавали людей,  
Пленных ими в войнах,  
Англичанам в рабство. Но кто обладает  
Чистотой, чтобы их осудить?

Другие поэты впадают в глубокомысленные тривиальные рассуждения о бренности жизни. Известный поэт Энрайт в стихотворении «Насекомые» сокрушается о том, что

под улыбающуюся лампу  
живая масса ложится умирать...  
Мотыльки, образчики одного вида, одной  
чеканки...  
...Единым спазмом кончается мастерство  
эпохи.

Правда, в самой Англии есть поэты и критики, чувствующие неполноценность такой поэзии, начинающие понимать, что поэт должен быть связан с настоящим и озарен будущим.

Рой Фуллер (участвующий в дискуссии «Отора») в одной из своих статей писал: «Мы живем в политическую эпоху, но поэт... чувствует себя вне политики; важнейшие переживания человечества возникают из событий политических и социальных, но поэт часто чувствует себя вне общества». В своих стихах он с тревогой пишет о том, что

окрестные земли  
покрыты скользящей тенью  
от крыльев бомбовозов.

Уже упомянутый поэт Кристофер Лоуг пишет стихи об ответственности поэта за судьбы мира, призывая дополнить слова действием.

К сожалению, таких стихов пока еще очень мало в Англии, а те сложные глубинные процессы, которые происходят в английской поэзии, так и остались вне поля зрения участников дискуссии. И это, естественно, в известной мере и обесценило ее.

В дискуссии, посвященной современной критике, как ни странно, сами критики оказались не столько активными участниками, сколько... объектом критики со стороны поэтов и издателей.

Правда, обсуждение почти не коснулось каких-либо определенных работ критиков, избегались и обобщения, касающиеся места и роли критики в современной английской литературе и журналистике. Однако в большей или меньшей степени все согласилось на том, что нынешнее состояние критики в Англии мало кого удовлетворяет. Красноречивы в этом отношении даже заголовки выступлений: «Разрушители», «Увеселители публики», «Законы джунглей». Критиков упрекали в том, что они становятся безответственными разрушителями писательского творчества, вместо того чтобы выступать в качестве союзников писателя в условиях, когда кино, радио и телевидение наряду с дешевыми журналами и обозрениями «стараятся отвлечь внимание публики от серьезных авторов». Осуждали «критиков-развлекателей», которые нередко с «преднамеренной безответственностью» выступали преимущественно в газетах.

В нынешних условиях критик, по мнению писательницы Памелы Франкау, «должен изворачиваться». Сейчас, считает она, в мире литературы и критики господствуют «законы джунглей». В ходу приемы, позволяющие критикам «сбергать время», а также наборы спасительных штампов. Памела Франкау с серьезным видом призывает критиков соблюдать элементарнейшие правила литературной порядочности. По-видимому, ее вынуждает к этому повседневная практика многих критиков и рецензентов.

В выступлении критика Алана Дента можно обнаружить изрядную дозу цинизма, естественного или напускного, что, впрочем, не меняет дела. «Критик, достойный этого имени, — пишет он, — должен отвечать требованиям быть самим собой, уметь выразиться красноречиво и обладать, если возможно, какими-то взглядами, какие он мог бы выразить...» Наименее важным он считает последний пункт. «Самое существенное — уметь показать себя. Ведь вы в конце концов всего лишь своего рода манипулятор, так же как и те, кого вы хвалите или ругаете, а если это так, то следует обладать достаточным количеством шаров для жонглирования».

Алан Дент смеется над пышными и риторическими фразами о высоком назначении профессии критика, профанируемой изо дня в день. Главное, дает понять Дент, — это суметь обратить на себя внимание, растолкать локтями конкурентов, завоевать постоянную рубрику в газете или журнале, а что касается мыслей и взглядов, то это уже дело второстепенное. За парадоксами Дента скрывается немало горьких истин.

Нетрудно заметить, что участники и этой дискуссии, высказываясь по отдельным частностям, говорят вещи более или менее правильные. Но, говоря о неблагоприятии в английской критике, никто из них даже не пытается сколько-нибудь серьезно разобратся в его причинах. Пожалуй, только один Алан Дент упоминает о необходимости «обладать какими-то взглядами». Многие английские критики и печатающие их журналы — увы! — считают «обладание взглядами» отнюдь не обязательным и, более того, даже нежелательным, особенно если эти взгляды приходят в противоречие с «традиционными» канонами буржуазной журналистики.

В дискуссии было уделено слишком мало места и такому характерному явлению, как превращение немалого числа газетных и журнальных рецензий в замаскированные рекламные аннотации издательств — аннотации, главная цель которых возбудить путем недомолвок и намеков любопытство читателя, заставить его раскошелиться. Не привлекла внимания выступавших в «Оторе» литераторов и явная необъективность, предвзятость мнений, безапелляционный тон критиков и рецензентов, берущихся судить о тех или иных явлениях литературной жизни за рубежами Англии.

Короче говоря, в своих суждениях о поэзии участники дискуссии в большинстве своем прошли мимо основного порока — оторванности поэзии от жизни, ее заумности, абстрактности, недоступности широкому читателю. А критика критиков обошла вопрос о мелочности критических высказываний, отсутствии в них подлинной заботы о судьбах литературы.

Вл. РУБИН.

## В ПОИСКАХ ЗНАМЕНИ

Перелистывая американские литературные журналы последних месяцев, нельзя не заметить одну общую тенденцию, которую условно можно обозначить так: поиски идей, которые могли бы быть противопоставлены идеям коммунизма, — словом, поиски знамени.

В этой связи не только специальные, но и литературные журналы усиленно занимают вопросы воспитания. Статьи, посвященные этим вопросам, охватывают и общие философские проблемы, обсуждая цели и задачи воспитания в наш век, и более узкие, специальные области — учебные программы, соотношение гуманитарных, технических и естественных наук, методы преподавания и т. д.

Известный литературный критик Дональд Адамс пишет в «Нью-Йорк таймс бук ревью» о круге чтения подростков и о том, как поставлено преподавание литературы в школах. А журнал «Сэтэрдей ревью» посвящает проблемам образования один за другим два специальных номера. В одном из них привлекает внимание статья критика Клифтона Фэдимена, выразительно названная «Сегодняшнее потерянное поколение». В другом эти проблемы рассматриваются в связи со столетием со дня рождения Джона Дьюи — крупнейшего американского философа, социолога и педагога.

В новогодних номерах этого, да и других журналов, в статьях, посвященных концу года и концу десятилетия, в рассуждениях о пятидесятых и шестидесятых годах авторы вновь и вновь возвращаются к вопросам образования.

В чем же дело? Почему наиболее влиятельные в кругах интеллигенции органы американской печати занялись так дружно вопросами педагогики, школы?

В литературных журналах, особенно в «Сэтэрдей ревью», и раньше писали о соотношении технического и гуманитарного образования, о роли искусства в «век атома». После запуска первого советского спутника со страниц журналов буквально хлынул поток статей, в которых подвергалась резкой критике система подготовки инженеров, физиков, химиков в США и выдвигались требования — изменить систему образования, чтобы догнать Советский Союз в освоении космоса.

Статьи, публикуемые в последнее время, носят иной характер, да и объясняются иными причинами. Редактор журнала «Сэтэрдей ревью» Норман Казинс (побывавший летом минувшего года в СССР) в своей статье «Мир без паники» (номер от 14 ноября 1959 года) пишет о том брожении умов, которое характеризует настроения американской общественности в последние месяцы. Многих американцев угнетает вопрос: «...Можем ли мы позволить себе мир?» «...Никто из людей, находящихся в здравом рассудке, — продолжает Казинс, — не хочет войны. Однако все большему и большему количеству людей кажется, что мы нуждаемся в угрозе войны». Сам Казинс резко возражает против такой точки зрения, но при этом объясняет, что, слишком долго живя в атмосфере «холодной войны», американцы, худо ли, хорошо ли, приспособились к этой атмосфере не только в отношении экономическом и политическом, но и психологически, и теперь, чтобы приспособиться к иной атмосфере, необходима серьезная ломка; необходима также большая творческая программа мирного строительства, опять же не только экономическая и политическая: необходимо поставить задачи, которые могли бы увлечь народ. В той или иной форме эти мысли после поездки Н. С. Хрущева высказываются в газетах и журналах США многими серьезными обозревателями.

## США

«Сэтэрдей ревью» («Субботное обозрение»), литературно-критический еженедельник. №№ от 12 сентября, 7, 14 и 21 ноября 1959 г. и от 2 января 1960 г. Год издания 37-й. Нью-Йорк. Главный редактор Норман Казинс.

★

Все большее число американцев начинает понимать, что дело, к счастью, идет к длительному периоду мирного сосуществования, и это влечет за собой необходимость действительно серьезной перестройки, в том числе и перестройки идеологического фронта, так как мирное сосуществование означает усложнение форм борьбы идеологической.

В течение пятнадцати лет все усилия американской пропаганды, всего аппарата воздействия на читателя, слушателя, зрителя были направлены к тому, чтобы воспитать солдата третьей мировой войны. Этому же способствовала вся атмосфера жизни в Америке.

Какой тип человека в наилучшей степени соответствовал бы этой задаче? Послушный, автоматически выполняющий приказы, пренебрегающий всеми моральными нормами человек, глубоко чуждый культуре и искусству, как можно менее осведомленный о действительном положении дел в мире, — словом, робот, неизбежный продукт века, как утверждают некоторые идеологи буржуазии?

Но сегодня подобный тип человека больше не соответствует условиям и задачам идеологической борьбы; какой она представляется правящим кругам США. Более того, он может помешать этой борьбе. Следовательно, назрела необходимость изменений, срочных изменений, и прежде всего в области воспитания молодежи.

Критик Фэдимен в упомянутой статье «Сегодняшнее потерянное поколение» утверждает, что переживаемый период — это период глубокого кризиса, характеризующегося отсутствием всеобщих духовных ценностей. Он справедливо указывает, что концепция образования неразрывно связана с философской концепцией. Какой тип человека имеется в виду как цель и объект образования? Человек, в котором преобладает животное начало и который может лишь приспособляться, или человек, в котором преобладает начало духовное, человек, способный к творчеству?

Говоря о том, что границы знаний человека об окружающем мире постоянно расширяются, а комплекс этих знаний усложняется — что необычайно затрудняет составление программ средней школы, — Фэдимен утверждает, что все области знания можно разделить на две большие группы:

знания, которые никуда дальше не ведут и требуют лишь формального запоминания, и

знания, обладающие творческими возможностями, «воспроизводящей силой». Только второй вид знаний непосредственно связан с системой моральных ценностей.

Говоря о самом себе, критик считает, что именно эти знания «помешали тому, чтобы я стал потерянным». Современные юноши и девушки обладают и стремятся обладать главным образом знаниями первого типа, прикладными, для которых нужна лишь память. По мнению Фэдимена, передача в школе только этих знаний и приводит к возникновению «потерянного поколения». «Я имею в виду, что человек, воспитанный таким образом, ощущает очень слабую связь с современным миром и лишь чисто формальную принадлежность к своей стране. Он может преуспевать, он может стать хорошим, законопослушным гражданином, может произвести на свет других хороших и законопослушных граждан, он может прожить приятную — то есть лишенную неприятностей жизнь, но на склоне лет он непременно почувствует себя потерянным, поймет, что жил осколочной, а не полной жизнью. «Если на первых ступенях образования он не убедился в том, что Ньютон, Шекспир и Линкольн интереснее и больше заслуживают преклонения, чем Фрэнк Синатра<sup>1</sup>, Джерри Льюис<sup>2</sup> и Пэт Бун<sup>3</sup>, он будет искать ответы на свои вопросы у Буна, Льюиса и Синатры, а не у Шекспира, Ньютона и Линкольна... И, если мы допустим, чтобы число этих потерянных бесконечно увеличивалось, мы в конце концов добьемся того, что потеряем и нашу страну».

Фэдимен выступает против установившейся в США за последние десятилетия системы воспитания очень узких специалистов, людей дельных, но ограниченных в духовном и моральном отношении.

Эта тенденция присуща Америке давно. Еще Маяковский писал о специалистах

<sup>1</sup> Эстрадный певец и киноактер.

<sup>2</sup> Киноактер-комик.

<sup>3</sup> Телезвезда.

по игольным ушкам, не занимающихся острем, но именно события последнего пятнадцатилетия способствовали ускорению и в известном смысле слова завершению этого процесса.

Да, людям такого типа действительно нет никакого дела до Баха и Блока, они просто не знают об их существовании.

Инженеру Полетаеву и защитникам его взглядов, высказавшимся в дискуссии, прошедшей на страницах «Комсомольской правды», чтобы понять, к чему ведет их точка зрения, было бы весьма полезно прислушаться к спорам, которые идут на эти же темы в Америке. Ведь многие из американских юношей и девушек — дельные специалисты в своей узкой сфере, вполне, казалось бы, соответствующие «веку атома», тем не менее их духовный облик начинает не на шутку волновать всех, кому дорога не только американская культура, но и судьба страны.

Весьма встревоженно выступил и критик Дональд Адамс, заявив, что проблема юношеского чтения «имеет в настоящий момент огромное значение». Адамс называет многочисленные пороки интеллектуальной жизни в современной Америке и говорит, что эти пороки для США «более опасны, чем русские атомные бомбы и ракеты...» Он резко возражает, в частности, против того, чтобы подросткам предлагали разжеванную литературу облегченного типа, не требующую никаких мыслительных усилий и ничего не дающую ни уму, ни сердцу.

Эта литература тоже один из источников воспитания безразличных ко всему, не желающих и не умеющих мыслить людей; такие, по мнению Адамса, не могут победить в соревновании с Россией.

В литературном приложении к «Нью-Йорк таймс» приводятся весьма выразительные и печальные цифры: в сорока двух процентах американских домов нет книжных полок. Жаль, что у нас нет точной статистики по этому вопросу, но элементарное наблюдение, подтвержденное даже и американцами, доказывает, что по количеству книжных полок мы давно перегнали Америку. Только тринадцать процентов американцев берут книги из публичных библиотек, причем, по сведениям принятой в США своеобразной статистики, 88 процентов взятых из библиотек книг — это литература низкосортная, засоряющее мозги, отупляющее чтиво.

Адамс получил много писем от молодых людей после опубликования своей статьи. Одно из них он приводит: «Мы вовсе не свихнулись на автомобилях, не украшаем свои комнаты запасными частями и не молимся великому богу «Импала»<sup>1</sup>. Напротив, многие из нас очень серьезно озабочены положением дел в мире и самими собой. Мы ищущее поколение, и мы ищем руководителей, которые повели бы нас по этой трудной дороге к зрелости».

Адамс весьма критически отзывается о том, как преподается литература в школе, об учителях-педагогах, способных лишь навсегда отбить у ребят стремление к хорошей книге, и говорит по этому поводу: «Сегодня нам крайне необходимо больше преподавателей, которые способны передать радость чтения настоящих книг, и поменьше нудных учителей, раскладывающих все по полочкам и не способных связать литературу с жизнью».

Сколько раз пронизывали коллеги Адамса по профессии над стремлением советских писателей связывать литературу с жизнью! Тем более знаменательно его высказывание по этому вопросу.

Те, кто занимается в США вопросами идеологии, понимают прекрасно, что находить недостатки, подвергать критике существующее положение вещей — это лишь часть дела. Гораздо важнее — и труднее — выработать программу позитивную «Америка нуждается в идеологии» — так называлась изданная несколько лет назад книга Кэмпбелла и Говарда, таков, пожалуй, главный лозунг настоящего периода. Большой интерес в этой связи представляет опубликованный в «Сэтэрдей ревью» документ — коллективный манифест, названный «Дьюи и творческое образование». Авторы этого манифеста, профессора педагогики крупнейших университетов Америки: Бернет, Бернс, Чэмплин, Крэш, Нефф, Виллемейн. В Америке, как известно, не очень принято писать коллективные документы. Недаром в редакционной врезке к этому

<sup>1</sup> Автомобильная фирма.

манифесту специально оговорено (счевидно, чтобы не обвинили в конформизме!), что авторы вообще-то придерживаются разных взглядов.

Авторы манифеста пытаются ответить все на те же вопросы: какой должна и может быть положительная идеологическая программа, что противопоставить коммунистической идеологии в области духовного развития подрастающего поколения. Они обращаются к наследству Дьюи лишь в той мере, в какой оно помогает разрешить насущные проблемы современности, и назвать этот манифест можно было бы и так: «Дьюи и наши задачи».

Главная мысль, пронизывающая манифест: в мире существуют две непримиримо враждебные системы с двумя непримиримо враждебными моральными кодексами, между которыми происходит борьба. Коммунистическая система изображается в духе «холодной войны». Впрочем, и в других статьях, упоминаемых раньше, все еще присутствует крайне упрощенное или полностью искаженное представление о нас. В то же время читатели перестраиваются гораздо быстрее, чем идеологи; вот свидетельства, приведенные в другом номере «Сэтэрдей ревью»: в публичной библиотеке Филадельфии пришлось заменять экземпляры Большой Советской Энциклопедии, ибо многие тома за последнее время брали с полок так часто, что книги пришли в полную негодность. В штате Пенсильвания еще до начала нового учебного года раскупили все имевшиеся в магазинах учебники русского языка.

Однако вернемся к манифесту «Дьюи и творческое образование». В первом же его разделе утверждается неразрывная связь образования с состоянием общества. «Содержание, методы и цели образования могут быть определены с полной ответственностью только тогда, когда дана социальная характеристика настоящему моменту и можно будет представить себе будущее, ради которого стоит бороться». Школа — орудие общества, цель школы — не просто дать образование отдельным личностям, цель школы — достижение «идеалов, разделяемых всеми». Советскому читателю все это может показаться азбучной истиной: его этому учили с первого класса. Но надо ясно представить себе, что для американской общественной мысли это вовсе не так азбучно, так же как далеко не азбучна высказанная Адамсом мысль о связи школы с жизнью.

Цель образования в демократическом обществе, продолжают профессора педагогики, — это воспитание творческой личности, воспитание человека, способного разбираться в сложных общественных проблемах современности и активно участвовать в общественной жизни.

Творческое образование, отличающееся, между прочим, и неукротимым исследовательским и критическим духом, должно противостоять «самодовольству, цинизму, апатии, истерии и отчаянию».

Авторы полагают, что с самого раннего детства необходимо воспитывать в ребенке стремление узнать, исследовать, усомниться, подвергнуть испытанию. Испытанию должно подвергаться все, в том числе и самые основы общественного строя. Если строй достаточно прочен, он должен выдержать эти испытания. Для выполнения этой цели школа должна «воспитывать привычку к исследованию, чувство критики и способность к творческим поступкам». «Расцвет индивидуальности — такова цель и средства демократического общества; достижение этой цели требует, чтобы творческое отношение к жизни было возведено в общественный закон».

Нет нужды говорить о том, что авторы, мягко говоря, приукрашивают современную буржуазную демократию: ведь в этом и заключается их задача. Но весьма интересно, какие основные позитивные идеи при этом выдвигаются, какие практические задачи ставятся перед школой.

Чтобы выдержать соревнование с миром социализма, необходим совершенно иной тип человека — вот что можно прочитать в манифесте американских профессоров педагогики. Нужна творческая личность, нужен человек, умеющий самостоятельно принимать решения, личность, не отделенная от мира и своей родины, а осознающая неразрывную связь с обществом. Недаром рядом с манифестом публикуются цитаты из книг Дьюи, в которых подчеркивается социальная функция образования. «Потерян-



ные». юноши и девушки, те, о которых с горечью писал Фэдимен, или «битники»<sup>1</sup>, уже занявшие определенное место в американской жизни, явно не годятся для этой цели.

И авторы рассматриваемого манифеста и другие ведущие представители американской идеологии хотят, чтобы молодежь была искренне и глубоко предана общественному строю своей страны — капиталистическому строю, а с другой стороны, критиковала бы этот строй, видела его недостатки, стремилась к лучшему, умела бороться за лучшее. Об этом противоречии прямо говорят авторы манифеста. Это противоречие, хотя и неразрешимое в условиях капитализма, продиктовано самой жизнью.

Полное развитие индивидуальности — и вместе с тем органическая связь личности с обществом — такую задачу ставят авторы манифеста перед школой. Что ж, такая цель не может вызвать спора. И мы стремимся к воспитанию всесторонне развитой личности, осознающей свою связь с обществом. Все дело в том, как к этой цели прийти, какой строй в большей степени способствует ее достижению, какую общественную систему будет эта личность защищать и отстаивать. Манифест выявляет еще одну очень важную и новую черту современной американской идеологии — необходимость доказывать а т ь. В период «холодной войны» достаточно было громогласно заявлять, что Америка лучшая, самая передовая страна мира. Доказательствами можно было себя и не утруждать. Однако период, когда главными аргументами были военные базы и «охота за ведьмами», подходит к концу, и очень наглядно выявляется несовременность догматического мышления. Сейчас нельзя уже любую истину считать известной заранее, ее необходимо обосновывать. В период «холодной войны» можно было не очень заботиться о том, слушают ли тебя даже сами американцы, — не говоря уже о противнике. Сейчас вещание вместо убеждения все менее и менее удовлетворяет. Начался небывалый еще в истории мирный спор идеологий — спор многоголосый, открытый, — непрерывное сравнение и сопоставление и по общим и по частным проблемам. Да и спорят американские идеологи с советскими не с глазу на глаз. За этим спором следят миллионы не пассивных зрителей, а людей, весьма и весьма заинтересованных и избирающих путь, как народы Азии и Африки. В этой сложной обстановке у «мозгового треста» США поистине огромная работа: необходимо пересмотреть весь идеологический арсенал, обновить, почистить оружие и думать, думать напряженно, творчески.

Пересмотр неизбежно назревает во всех областях идеологии, в том числе и в области литературы. Стремление поставить литературу на службу задачам «холодной войны» не дало в США особо осязаемых художественных результатов. Сейчас и здесь меняются задачи, меняются методы.

В наш век специализированных знаний и все более ветвящихся наук именно в искусстве сохраняется общий взгляд на мир. Именно в искусстве и прежде всего в искусстве можно обнаружить общие идеи. Но, оценивая американскую литературу пятидесятых годов, американская критика устанавливает как раз отсутствие общих идей, говорит об отделенности человека — героя этой литературы от окружающих его людей. Одни критики относятся к этому отрицательно, другие положительно, но самый факт отмечается почти единодушно.

Характерна в этом отношении оценка критикой изданной совсем недавно в США антологии рассказов «Литература пятидесятых годов».

Критик Гренвил Хикс в журнале «Сэтэрдей ревью» утверждает, что в пятидесятых годах (в отличие от начала века, от двадцатых, от тридцатых) у писателей не было общего врага. У них «отсутствует простое объяснение причин зла в нашем обществе и уж, конечно, нет сразу излечивающих лекарств». Большинство писателей уходит в глубь своего «я». «Наше время — явно не время больших утверждений, однако также и не время больших отрицаний», — говорит он в конце статьи.

Другой критик, Джон Олдридж, устанавливая эту же тенденцию, относится к ней гораздо менее снисходительно. «У каждого из нас есть только опыт или воспоминания, видения и кошмары, или просто писатель — частное лицо — рассказывает

<sup>1</sup> «Битники» — представители послевоенной американской литературной молодежи, именующие себя «разбитым поколением».

нам о своем опыте или чаще всего о том, как он пытался что-то пережить, но ему это не удалось. Пожалуй, только осознание этой истины и придает нашим романам ту небольшую общность тематических интересов, которой они располагают. Все так или иначе озабочены дилеммами, стоящими перед индивидом, изолированной личностью, которая ищет самоопределения в условиях той культуры, главные устремления которой безразличны к требованиям морали.

То, о чем рассказы написаны, не имеет никакого значения, ибо темы их гораздо менее важны, чем борьба автора, стремящегося наделить их каким-либо значением. Создается впечатление, будто мы приближаемся к идеалу Флобера: написать прекрасное произведение искусства абсолютно ни о чем».

В новогоднем номере «Сэтэрдей ревью» тот же Хикс пишет, что романисты пятидесятых годов «заняты проблемами личными, а не проблемами общества...».

Совершенно ясно, что и ухода в глубь своего «я» и опыта отдельных, изолированных, частных лиц — как бы прекрасно, тонко, высокохудожественно ни был запечатлен этот опыт — недостаточно для создания большой литературы. Главное же, этого опыта недостаточно для решения тех насущных проблем человеческого общежития, которые настойчиво ставит жизнь, требующая именно «больших утверждений», требующая, как никогда раньше, коллективного опыта, требующая знамени.

Понски знамени свидетельствуют о крушении многих старых иллюзий, о подготовке к длительному мирному соревнованию, в том числе и к борьбе в области идей.

К такой борьбе мы готовы.

Р. ОРЛОВА.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

## Обсуждаем проблемы современного романа

С. БАБЕНЫШЕВА

★

### СОЛДАТЫ ИДУТ НА ПРОВЕРКУ

«**Ж**изненная вещь», — говорит сервант Двоглазов в послевоенной повести Г. Березко «Ночь полководца» о наивном, юношески угловатом, но искреннем стихотворении Николая Уланова.

«Дай почитать что-нибудь... Что-нибудь жизненное», — просит Надежда Павловна своего мужа, генерала Парусова, в новом романе Г. Березко «Сильнее атома».

Случайное совпадение? Быть может. Даже, наверное, так. Но оно не лишено содержательности: жизненность — тот критерий, которым писатель проверяет себя и своих «товарищей по оружию».

«Сильнее атома» — роман жизненный, это роман о современниках, герои его — наши «служилки, товарищи по цели», мы живем с ними под одной крышей, в одно время, на одной земле.

Кто же они, эти герои? Это солдаты-первогодки и их командиры.

Все события, происходящие в романе, уместаются в небольшой срок. Это одна из характерных примет прозы Березко. И событий в романе немного, да они и не столь значительны. Дивизия во главе с генералом Парусовым готовится к инспекторской проверке. Проверка, разумеется, выявляет и воинское умение солдат и их человеческие качества — гражданское мужество, готовность к подвигу, отношение к людям.

Но главное, ради чего Березко повел своих героев на проверку, — это желание выяснить для себя и рассказать читателям, какие новые черты появились в характере молодого человека нашего времени, будь он человеком в военном мундире, студентом или рабочим.

Есть какая-то связь между всем, что Березко написал. Кажется, что писатель

продолжает начатый им в годы войны первых его произведениях разговор «о подвигах, о доблести, о славе», о любви И в новую книгу, как в новое путешествие, он берет с собой старых, полюбившихся ему друзей — героев прежних книг.

Так появляется в новом романе наш старый знакомый полковник Горбунов.

У актеров бывает роль без слов. Горбунов в романе — герой без поступков. Однако он не зря сопровождает писателя от книги к книге, он сросся с ним, стал прямым выразителем его взглядов и идей. Порою чересчур ревностным. Досадно, что то, что дано в романе в подтексте, в его «подводном течении», Горбунов иной раз поднимает на поверхность, объясняет, находит для этого почти точную формулу. Так он обнажает, например, авторский замысел «Я ненавижу ее (войну.— С. Б.)», — говорит он своему другу, начальнику политотдела дивизии Лесуну, вспоминая погибших друзей. И, думая о современниках, он произносит: негуманен, ненормален «взгляд на солдата как на нерассуждающий придаток к оружию».

Каким должен быть солдат, молодой человек нашего времени — вокруг этого завязываются все узлы произведения, здесь центр проверки, по этому поводу герои спорят, вступают в противоречия. Наиболее действенное и острое противоречие возникает между командующим корпусом Меркуловым, возглавляющим инспекторскую комиссию, и генералом Парусовым.

Первый день проверки. Торжественный марш. Парусов, знаток строя, удовлетворен: все шагают «в строчечку». Но в движении одной из рот он обнаруживает что-то неумовимо отличающее ее от остальных, —

естественность и непринужденность шага. Парусов обеспокоен. А Меркулов в восхищении. «Отлично прошла рота, с достоинством!» — говорит он. И тут же вслед: «Красавцы! Гордо прошли!»

Смысл этой оценки так и остался Парусову неясным, сообщает автор.

«Гордость», «достоинство» — слова из чуждого Парусову словаря, он не воспринимает их сути. С первого дня проверки наступает для него пора неудач. Характерно, что этот храбрый генерал верит в судьбу с ее везеньем и невезеньем. «Баловень жизни», он так и не научился понимать закономерность событий и ищет за их извилистыми поворотами рок, случай.

Парусов боится проверки. Он охотно берет себе в союзники ветер, дождь; ему кажется, что все препятствует выброске парашютного десанта. Поначалу, читая роман, недоверчиво относишься к расстановке сил, она не убеждает. Почему храбрый и равнодушный к людям Парусов не хочет вести солдат на риск, а Меркулов, который любитесь людьми и говорит столь близкие нам слова «гордость», «достоинство», решает проводить проверку, не глядя на опасность — ветер и ливень? Потому что доверие к человеку, как объясняет начальник политотдела дивизии Лесун, — это вера в его возможности? А значит, и требовательность? Конечно, так. Но авторская мысль шире. Храбрость Парусова стихийна, он по натуре не знает страха. Гражданское мужество требует осмысления событий, широты их понимания. Вот почему в поединке Парусов — Меркулов побеждает Меркулов.

Меркулову, как Лесуну и Горбунову, ясно: лиши человека инициативы — и он «своей слепотой подведет»; не только мужество, «но и ясное сознание» необходимо герою нашего времени.

У Парусова иные измерения. «Рефлекс повинования — вот действительная основа воинской доблести», — говорит он. — «...Сознательность, чувство долга — все вещи превосходные. Но, как говорится, на сознательность надейся, а спуска не давай!»

И «он не дает спуска». Если коротко рассказать обо всех сценах, в которых действует Парусов, то понадобится одна ремарка: Парусов бранится. Для Березко это уже почти обвинительное заключение. Не случайно же в «Ночи полковника» сержант Двоеглазов, мечтая о мирной жизни, гово-

рил: «Надо, чтобы грубости этой было поменьше». В новом своем романе писатель словами Лесуна как бы отвечает Двоеглазову: «Э, не беда, если и сорвется когда слово! Конечно, лучше бы без него... Беда, когда человек чувствует, что его ни во что не ставят...»

Неуважение к человеку опасно, оно невольно передается от одного к другому, как корь, прилипчивое заболевание.

«Вам не ротой десантников командовать!.. Какого дьявола вы у нас в войсках?! Идите в писаря...» — кричит Парусов на тихого Борща, командира той самой девятой роты, которая шагала естественно и непринужденно. И вслед за этим один из полковников, подчиненных Парусова, говорит Борщу: «Для вас осень наступила уже». И командир батальона уже перенял этот стиль. «Старсете, старшина!» — говорит и он исполнителю, стоящему на страже устава Елистратову. И Борщу и Елистратову и впрямь начинает казаться, что осень пришла — пора в отставку. И только меркуловское восхищение возвращает им веру в себя.

Но как ни убедительны сцены, в которых Парусов показан как человек грубый и самовластный, только этого для раскрытия человеческого характера недостаточно: в том, что он только бранится, — слабость образа и односторонность его художественного раскрытия. Парусов саморазоблачается с первых же фраз. Кажется, что автор заставил своего героя играть в поддавки: что ни слово, то шашка для битья. Но куда же исчезли его ум и талант? «Умный... да, умный, талантливый!» — говорит о нем Лесун. Да и остальные герои беспрерывно твердят о таланте Парусова. А таланта-то нет. Парусов в романе сер и бесцветен. Может быть, автор так наказал своего героя за нелюбовь к людям? Возможно, но нет ли в этом решении елистратовского желания, чтобы в мире царствовала справедливость и добро мгновенно было бы тут же вознаграждено, а зло — наказано?

Парусова растолковывают, объясняют все герои романа. Особенно точно находит истоки его бед и заблуждений все тот же наш знакомый Горбунов. «Не машина, как бы она ни была грозна, но человек, владеющий этой грозной, сложной машиной, победит в будущих сражениях. И чтобы управлять ею, нужны не только знания —

необходима высшая духовная стойкость... Чем совершеннее оружие, тем в большей зависимости от человека оно находится.

Все это верно. Все это так. Но толкование — не способ раскрытия характера. И хотя история Парусова достоверна, но в романе этот образ так и не зажил своей самостоятельной, отдельной от автора жизнью.

Кто же в романе олицетворяет человека «высшей духовной стойкости»? Андрей Воронков, вчерашний школьник, сегоднешний солдат.

Андрей — любимый герой Березко. Он в центре повествования. Автору по душе его молодость. Андрей захлебывается жизнью; все приходит к нему впервые — и любовь и дружба. Ему кажется, что впереди вечность и что будущее — это что-то «вроде нескончаемого пиршественного стола, за которым люди только наслаждались, не насыщаясь». Автору по душе его интеллигентность, душевная тонкость и стремление понять все, что происходит на земле.

Чего только не случается с Андреем в дни, предшествующие проверке! В выходной в городе он спасает от хулиганов официантку Варю из кафе «Чайка». Он спаситель — и лишь за это готов полюбить Варю, ибо пока что он больше всего любит себя, а значит, и свои добрые поступки.

Но если бы в романе было рассказано только о том, как эгоист прощается с эгоизмом, как приходит к нему чувство долга, понимание, что давать людям, быть может, еще радостнее, чем брать, то мы бы, наверное, ничего нового не узнали о молодом человеке нашего времени. Подобный характер, как и подобная коллизия, давно уже знакомы нашей прозе. И даже не умение заглянуть внутрь себя и безжалостно обнажить истинную сущность своих поступков отличает Андрея от его сверстников, героев произведений последних лет.

Кстати, эта честность наедине с собой характерна вообще для любимых героев Березко. Писатель верит, что без этого невозможен рост человека, движение характера. Парусову кажутся виновными все вокруг, в собственных глазах он непогрешим. Николай Уланов с ожесточением понимает, что он трусит, и это помогает преодолеть страх. «Трус и хвастун», — зло говорит о себе Андрей Воронков; внутренняя честность и есть то качество, благодаря которому он может стать сильнее самого себя.

Но отличает Андрея не безжалостная правдивость, а широта и смелость мысли; это пленяет Варю больше, чем его познания.

«Настоящее занятие для мужчины — быть летчиком-испытателем», — говорит Андрей. И тут же: «Интересно еще быть физиком. И знаете, какую область физики я бы выбрал? Даже не расщепление атомного ядра. Я выбрал бы сверхвысокие энергии». Он немного рисуется. Ну что ж, он молод, и он искренен. Он романтик. «Они похожи на высохших майских жуков, от которых остались одни скорлупки», — говорит Андрей о рыцарях в их рыцарских доспехах, стоящих у дверей краеведческого музея. «Современный рыцарь мчится не на арабском скакуне, а в машине, самой быстрой из всех. Почти такой же быстрой, как молния... Он мчится на поединок, как раньше, но только не по земле, а в стратосфере».

В Андрее есть черты «современного рыцаря», романтизм в нем сочетается со зречностью, с ощущением сегодняшнего темпа событий, с потребностью осмыслить все, что происходит на земле, в мире.

Пусть эти черты еще не развернулись в его характере, они даны в проекции, но и самый характер героя — это проекция на будущее.

Часто сетуют, что молодежь стала чрезмерно практичной. Иронично говорит об этих сетованиях Березко. «Девушки тоже больше материалистки», — жалуется командующему Меркулову его адъютант.

Но вряд ли эти опасения справедливы. В любое время в общем человеческом потоке встречались люди расчетливые, практичные. Но разве они представители поколения? Без романтизма не взлететь бы ракете, не появиться бы спутнику. Но они не могли бы появиться и без трезвого расчета, без знания бесконечно малых величин. «Современный рыцарь», которому знакомы поединки и на земле, и в стратосфере, и в технике, и в искусстве, должен обладать точным, реальным представлением о явлении, без плена иллюзий. Поэтому он иначе ощущает движение времени — вернее, его темп.

М. Кузнецов в статье «О путях развития современного романа» пишет: «Где же проходит главная линия развития сегодняшнего советского романа о современности? ...Она, эта линия, в произведениях, дающих и ответ на вопрос: каков стал советский человек сегодня?» Споры нет, это верно. Но,

расширяя этот вывод, М. Кузнецов говорит, что современному герою присуща психология творческой, создающей личности и что в этом сказалась «давняя традиция нашей литературы — создание образа героя активного, наступательного, полного исторического оптимизма, гражданского мужества, пытливого дерзания».

Все это так. Но ведь совершенно такими же словами можно было бы сказать о герое тридцатых — сороковых годов. А время — понятие не отвлеченное: меняются события, иными становятся и люди. «Современный рыцарь» мчится действительно не на арабском скакуне, а на машине, быстрой, как молния. И счет времени стал иным. Хорошо сказано об этом в стихотворении Владимира Британишского «Выходной за городом».

Я потерял в лесу весь день сегодняшний,  
Но мы зато с весной снова свиделись.  
— День потерял. А ты людей догонишь ли?  
— Я догоню! Ты не сердись,

действительности!

В наше время потерять день — это действительно отстать от жизни. И поди знай, быть может этот день повернет наши мысли в ином направлении, если это, скажем, день запуска ракеты. А в статье М. Кузнецова не дни, а целые годы оказываются неотличимыми друг от друга. И если говорить о герое современного романа, то, кроме тех качеств, которые перечислил М. Кузнецов и которые, думается мне, характерны для советского человека вообще, вне какого-то определенного времени, герой произведений 1959 года запоминается тем, что романтизм у него сочетается со стремлением к широкому видению и с точным расчетом.

Вот эта особенность нашей современности и проявилась, хотя еще не всегда достаточно сильно и выразительно, в романах последнего года. Таков герой романа В. Тендрякова «За бегущим днем», таков и Андрей Воронков у Г. Березко.

Но для того, чтобы Андрей был подлинным представителем молодого человека нашего времени, Березко «отдает» его на выучку старшине Елистратову. И это важно.

С первой же страницы романа мы узнаем о глубокой нелюбви Андрея Воронкова к Елистратову, об их яростной внутренней вражде. И вначале сочувствуешь Андрею — действительно, тягостна зависимость от

«сумрачного, неутомимого в своем недоверии человека». Широкое, малоподвижное, будто закаменевшее лицо старшины не возбуждает симпатии.

И Елистратов злой ненавистью платит Андрею за нелюбовь — он для него один из «образованных», из «краснобаев» и «белоручек».

«Додон — тупица классический, это видно невооруженным глазом; двух слов связать не умеет» — таким видит Елистратова Андрей. А Андрей, если не краснобай, каким считает его старшина, то щеголь, слово он любит броское, яркое, как воздушный шар, но столь же невесомое, как детский шар, и пущенное на потеху.

Писатель хорошо слышит своих героев, Андрея в особенности. «Невредный предок...» — говорит Андрей о дед-революционере. «Какие новости на фронте общественного питания?» — спрашивает он Варю.

Андрей пуше всего боится растроганности, «предок», кажется ему, звучит мужественно. И при всей своей любви к герою писатель не утрачивает ни чувства иронии, ни чувства юмора.

Конфликт между Елистратовым и Андреем — конфликт жизненный. В разных вариантах и по-разному встречается он почти во всех «армейских» повествованиях.

Конфликт Елистратова и Воронкова закономерно кончается победой Елистратова, ибо если Елистратов так строго стоит на страже устава, то только потому; что армия с ее уставом и порядками — вся его жизнь. Да, он несколько ограничен. Да, он менее образован, чем Андрей. Но он человек подвига и долга.

В конце романа есть такая сцена: увидев в руках деревенских ребят невзорвавшуюся гранату, Елистратов с опасностью для жизни бросился к ней и сунул ее себе под живот. Случайно граната не взорвалась. Случайно Елистратов не погиб. Но Андрей понял, что сердце скучного «Додона» настежь открыто людям, что без умения любить людей и помогать людям не стать ему, Андрею, человеком.

Но подвиг Елистратова — школа мужества не только для Андрея. Почти всех героев романа он заставляет по-новому взглянуть на себя и свои дела. Не зря им и заканчивается проверка.

Ночью на автомобилях, при полных огнях, десантники возвращаются в полковой

городок. Командир корпуса Меркулов вспоминает учения, солдат и Парусова, который «не любит людей» и которого поэтому, наверное, придется отстранить от работы.

Жить надо иначе, «смелее жить и слушать», — думает Лесун, с досадой вспоминая, что он не всегда вступал в спор с Парусовым, порою отмалчивался, уходил от боя в сторону. «Увидишь зло — иди на него грудью!» — говорит он.

Капитан Борщ, этот гордый, застенчивый человек, осмелел. Он внутренне осмелел, «осмелел в той области, — говорит автор, — где обычно чувствовал неодолимую стеснительность: в отношениях с большим начальством». «Извините — посторонитесь», — говорит он мысленно Парусову, чрезвычайно довольный неожиданно пришедшим к нему удачным оборотом и собственной храбростью.

А Андрей Воронков вырос из самого себя, как вырастают из форменного платья. Для того чтобы в человеческой душе что-то стонулось, вовсе не нужны годы, достаточно бывает и мгновения. «Пока он спал, — говорит автор об Андрее, — с ним будто что-то произошло, какая-то тайная работа сознания будто не прекращалась в нем...» Андрей в конце романа шире и добрее, от него уходит прямолинейность; он, наследник деда-революционера и матери-ученой, может стать подлинным представителем поколения, взяв в наследство готовность и умение Елистратова идти на подвиг.

И Андрей принимает это наследство.

Проверку на мужество, на умение любить проходят и героини романа. Но здесь у автора совершенно иные критерии, иные оценки.

Уже говорилось, что Березко не забывает героев своих прежних произведений. Вот промелькнула в новом романе фотография сандружинницы Машн Рыжовой из «Ночи полководца», ставшей женой Горбунова.

Фотография появляется не случайно. Официантка Варя из кафе «Чайка» как бы сводная сестра Машн. Это варианты одного и того же характера, женского типа, к которому писатель не скрывает своего пристрастия.

Безоглядность — вот что его пленяет. «Они до отчаянности доходят, если врежут! Бывает, что и под поезд бросаются! — в полном восторге воскликнул Була-

вин. — Хорошая, видно, женщина, порядочная», — говорит он о Варе.

Сила характера Вари, как и Машн, в естественности, они не взвешивают своего чувства, не измеряют его, не думают о том, что оно принесет им, они просто любят.

Любить для Андрея Воронкова — это значит «догнать, спасти, прижать к груди», совсем как на экране кинотеатра.

Для Вари и Машн любовь не подвиг, а жизнь, естественное ее дыхание. Они не думают, что любимых надо спасать, они спасают.

Есть люди, способные пойти на героический поступок, но им нужны подмошки; пусть неосознанно, но они ищут сцену, и занавес должен быть обязательно раздвинут. И есть люди, которые просто живут, и жизнь их — это ежедневный подвиг. Попробуйте сказать им, что они герои, они удивятся — почему? Таким естественным умением любить Березко оделил своих молодых героинь. И Варя и Маша еще не понимают, что пришел их крылатый час, пришла любовь, но уже готовы защитить того, кого любят.

— Никто он мне, — говорит Маша хирургу о Горбунове, и в этом «никто» — все; и спасает его, конечно, Маша.

И Варя готова «до самого полковника дойти», чтобы отстоять своего Андрюшу, а «дойти до полковника» (ей в жизни еще не приходилось даже разговаривать с таким «начальством») для нее почти то же, что вынести человека из-под огня.

Но еще более явно обнаружил писатель свое преклонение перед теми, кто умеет любить щедро, до самопожертвования, в характере уже немолодой, уставшей от обид и невзгод возлюбленной Елистратова — прачки Таисии Гавриловны.

Елистратов для Таисии Гавриловны — звезда, она упала с неба и осветила ее жизнь. Таисия Гавриловна недоумевает, за что ей такое счастье. Она не понимает этого, как и того, что звезды падают с неба.

«— Метеор называется, — объяснил Елистратов и, помолчав, покурив, тем же тоном сказал: — Совсем у тебя крыша прохудилась, дожди пойдут — потечет. Перекрывать надо.

— Руки не доходят... Метеор... Это что ж такое? Вроде звезды?

— Поменьше... Небесное тело... Вот проверка кончится у нас, я сам перекрою».

Сцена эта хороша, как и все сцены, в которых действуют Елистратов и Таисия Гавриловна; автор нашел удивительно верную интонацию для каждого из героев. Для Таисии Гавриловны метеор и крыша — это чудо-слова, символ так неожиданно свалившегося на нее счастья.

Но принять его она не может. К трудной и тягостной жизни она привыкла, как привыкла к прохудившейся крыше. А вот счастье — это для нее что-то над жизнью. Но не потому отказывается Таисия Гавриловна от Елистратова. Он в ее глазах достоин самого большого, а что может дать ему она, с тремя детьми?

«Я вашу жизнь заедать не желаю», — говорит Таисия Гавриловна.

Писать о жертве, об отречении так, чтобы не вызвать у читателя раздражающего чувства жалости вместо уважения, трудно. Березко удалось это сделать. Его Таисия Гавриловна вызывает восхищение, уважение, все добрые чувства, которые сопровождают наше отношение к деликатному и воинстину тонкому человеку.

Сцены, посвященные Варе, Таисии Гавриловне, Елистратову внутренне полемичны. Писатель вступает здесь в спор с теми, кто, употребляя слова «простые люди», не показывает, что простые — это и есть сложные. Полемика здесь не только в скрытом виде, в характерах героев, — она обнажена, к ней прямо прибегает писатель в своем лирическом отступлении:

...Каждый из них,  
самый обыкновенный и маленький,  
так же радуется  
солнечному теплу, красоте, свободе,  
как тот, кого называют самым великим,  
и самый простой  
испытывает те же страдания  
от болезней, утрат и обид,  
как тот, кого мы считаем утонченно  
сложным.

Слова «простой», «простая» Березко выдает, как награду, тем из героев, кого любит, — это высшая похвала.

«Совсем простая», — говорит Лесун о Надежде Павловне; она и милая и хорошая, и он досадует, что «в высшей степени простая Надежда Павловна досталась такому непростому человеку, как ее супруг Парусов».

Но если раньше позиция автора была близка и понятна, то разделить его восхищение Надеждой Павловной трудно, как

трудно согласиться и с тем, что спутник безоглядности — безответность и что безответность — это тоже добро.

Что же собой представляет Надежда Павловна? Была домашней работницей. Занималась ночами. Ушла на фронт. Мечтала стать врачом.

Почему же не осуществились ее мечты? Потому что она жертва Парусова? Потому что рядом с ним все глохнет и сплещет? По-видимому, об этом и хотел рассказать писатель. Но хотя Надежда Павловна — жертва Парусова, она немало виновата в тех превращениях, которые с ним произошли.

Парусов славолюбив. Когда-то Надежда Павловна искренне верила в то, что он талантлив, мечен особой метой, и влюбленно говорила ему об этом. Иллюзии рассеялись, ушла гипнотическая вера в его избранность, она с грустью поняла, что «в сущности, он вполне хорошо себя чувствовал только тогда, когда им восхищались». А восхищения уже не было. Но по инерции, а частично и по стремлению к душевному комфорту, пусть неосознанному, Надежда Павловна продолжает отравлять Парусова всем привычным запасом «вдохновительных» слов.

«Ты вот у меня вправду и герой, и растешь, и все читаешь... Иногда я прямо удивляюсь!.. Ты в самом деле очень хороший командир, растущий командир, талантливый...» — говорит она. Сказано все это скучно и стертными словами. Но лезть и не должна быть искусной. На почве славолюбия вовсе не растут изысканные цветы. И Надежда Павловна бьет прямой наводкой — «талантливый», «хороший командир», «растущий», а про себя: «Как хорошо она его изучила». Правда, говорит все это Надежда Павловна, «преодолевая внутреннее сопротивление». Но говорит.

Расставшись с иллюзиями, она не освобождает Парусова от плена иллюзий. Но, быть может, прощание с надеждами, иллюзиями, молчание — это есть преддверие бунта? Нет. В дальнейшем молчание возведено писателем чуть ли не в подвиг.

Но, может статься, Надежда Павловна не проста в своих отношениях с Парусовым, а в дружбе, товариществе обнаруживается ее прямота и простота? Нет, и здесь та же молчаливая тактика невмешательства.



И как это ни странно, но человечнее кажется даже грешная, мечущаяся Ирина Константиновна Колокольцева. Пытаясь нарушить молчание подруги, она просит:

«— Ах, послушайте меня, милая, добрая Наденька!.. Я об одном прошу: послушайте, потом судите.

— Но я никого не собираюсь судить. Почему я должна вас судить?.. Сейчас будем пить кофе».

И Надежда Павловна уходит от разговора.

Молчаливое отстранение Надежды Павловны не приносит ей зла — не портит ее отношений с мужем, ее дружбы с Колокольцевой. А поди знай, так ли это было бы, если бы Надежда Павловна заговорила? Но она все понимает и ни во что не вмешивается. Что же это — равнодушие? Глухота как осложнение после болезни, какой была ее длительная совместная жизнь с Парусовым? Но, право, не от Парусова надо ее спасать, а от самой себя.

Нет в романе ни одной сцены, которая заставила бы нас поверить в то, что Надежда Павловна хочет жить иначе.

Остается прошлое. Роман заканчивается сценой учения. Проведено оно так, что у всех молодых солдат и жен военнослужащих возникает тревога.

«— Мариша, не помните, где моя шинелька и сапоги? — спросила Надежда Павловна. — Перед Первым маем, когда мы убирались, я ее в чулане видела.

— Там и висит. Чего это вы хватились? — удивилась Мариша...

— Почистить надо бы шинель и пуговицы пришить, — попросила она работницу. — Двух пуговиц там нет».

И тут писатель находит точную деталь. «Поди, и не налезет на вас теперь шинелька», — говорит Мариша.

Казалось бы, Надежда Павловна разоблачена — шинелька ей действительно не впору, как не по душевным возможностям и прошлое. Но Березко не может отказать себя от шемящего душу сочувствия.

Сочувствие и восхищение писателя адресованы не только Надежде Павловне, а и вообще безропотности в любви, в какой бы форме они ни проявлялись, даже если это почти религиозное самоотречение. Так воспринимаешь рассказ председательницы совета жен офицеров Куприяновой о своей жизни. Куприянова в романе появляется только однажды и лишь затем, чтобы укрепить

позицию Надежды Павловны. Она, которую все в городе считали счастливой, горько говорит о том, что счастье это — кажущееся. Говорит в необычный час, когда идет проверка и женам военных кажется, что где-то воюют, и когда говорят только о сокровенном.

Да, Куприянов не идет. На сторону не глядит. «Но только хорошего разговора почти не бывает у нас. За столом молчим, будто и не замечаем друг дружку; в клуб пойдем, на концерт — молчим, в разные стороны смотрим, в постели, извините за откровенность, опять молчим. И чего, спрашивается, он своим словом так дорожится? Вот это необъяснимо».

«...Попробуйте взбунтоваться», — советует Надежда Павловна (это единственный случай, когда она определенно проявляет свое отношение).

«Нет, не сумею я, — очень серьезно ответила Куприянова. — Человек с утра до ночи работает: служит, учится, заочно академию кончает. А я его со своей стороны нервировать стану. Нет, не могу, сердце не позволяет...»

«Надежда Павловна под села к Куприяновой и взяла ее за руку; эта женщина восхитила ее».

Вот и ясно теперь, что в глазах писателя безропотность — это сила, а может, больше, чем сила, — подвиг.

Спор идет не о том, правдивы или нет характеры этих женщин. Да, они жизненны, безусловно жизненны, как охотно говорят герои Березко. Спор идет об отношении автора к героям. И если разделяешь доброту и восхищение писателя теми, кто безогляден, самоотвержен в любви, то чувства эти исчезают, когда речь идет о безлюбой любви, когда подвигом оказывается молчание, аскетическое самоотречение, когда непрямота именуется простотой, а безропотность обрекает на несчастье.

«Даль свободного романа». У нас часто приводят эти пушкинские строки, но обычно имеют в виду слова «о дали», о «магическом кристалле». Но речь идет о свободном романе. И в этом суть. Романе, который может неожиданно начаться и внезапно оборваться. Романе, где герой действует не только по воле автора, но и в силу своего характера, по движению своей души. М. Кузнецов в упоминавшейся уже статье справедливо говорит об аморфности

многих современных произведений. Но не меньшей бедой мне кажется заданность. Романы у нас нередко стали похожи на алгебраические уравнения, где все так точно рассчитано, что неизвестное обнаруживается тут же, при помощи хорошо подготовленного сюжетного хода. Думается мне, например, что эта заданность чувствуется в романе В. Тендрякова «За бегущим днем». Разворот событий воспринимаешь, как чертеж, где заведомо известно, что и для чего дано. Стоило герою романа Андрею Бирюкову вступить в борьбу с директором школы Хрустовым, обличить его на собрании, как Хрустов тут же, проходя мимо реки, спасает тонущую дочь Бирюкова и, конечно же, тяжело заболевает. Задача Бирюкова отягчена, читателя — облегчена. Дело не в том, что в жизни так не случается. (Чего только не случается в жизни!) Но герой при таком построении теряет свободу.

И в романе Березко порою есть преднамеренность. Стоит Андрею Воронкову сказать лейтенанту, что ему не по душе служба в армии, как жизнь мгновенно стыдит его. Тут же, на поле учения, десантники находят записку бойцов, сражавшихся в Отечественную войну до последнего патрона. И Андрею совестно.

Думается мне, есть преднамеренность и в междуглавьях (будем так именовать концовки глав романа). Цель их понятна. Писатель хочет показать, что судьбы Андрея Воронкова и Борща перекрещены не только с судьбой Парусова, но и с запуском ракеты и со взрывом ядерного оружия. Писатель ищет возможность в композиции романа восславить обыкновенного человека, не только Борща и Елистратова, к которым Парусов равнодушен, но и обыкновенных людей вообще. Поиски писателя благородны, и речь идет не о том, что эти междуглавья надо было снять редакторским карандашом. Здесь М. Кузнецов прав — не надо становиться на пути поисков, будь они даже недостаточно удачны. Становиться на пути не надо, а разобраться в том, хорошо это или нет, стоит. Прав М. Кузнецов, говоря, что многие концовки написаны неплохо — иногда это стихотворения в прозе. Но беда в том, что всегда знаешь, для чего они введены, есть в них сковывающая предна-

меренность. М. Кузнецов считает, что в этих концовках есть нечто особо притягательное — современность, «попытка найти некий современный синтез судьбы личной и судьбы исторической». Однако с этим согласиться еще труднее. Напротив, думается мне, автор не поверил тому, что написал современный роман о современных героях, и пытается в отступлениях разъяснить читателю то, о чем написал ранее, обобщить сказанное. Скажем, вся история Борща и Елистратова — свидетельство того, как душевно сложны и богаты обыкновенные люди. Отложив книгу, мы обязательно об этом подумали бы. Но, перебегая дорожку нашим мыслям, нашему воображению, автор приступает к объяснению:

...и самый простой  
испытывает те же страдания  
от болезней, утрат и обид,  
как тот, кого мы считаем утонченно  
сложным...

Но это мы знаем, и знаем из романа, знаем, потому что таковы его герои. А так как объяснение есть и в тексте романа, то получается какая-то многоступенчатость комментария. М. Кузнецов видит в том, как написаны междуглавья, внутреннюю вражду автора к многословию. Но объяснения — это же и есть многословие, вне зависимости от того, как написаны концовки — кратко или длинно. Они ведь существуют не сами по себе, а являются частью романа.

Нет, современность не в отступлениях. Право, этот способ раскрытия жизни и так заполонил современный роман. Лирические отступления превращаются часто в лирические объяснения. Современность — в героях, их судьбах. И как хороша сцена романа, когда Меркулов вместе с автором любит естественностью и непринужденностью шага солдат, так и самый роман чаще всего радует естественностью и непринужденностью, свободой. В междуглавьях этого естественного дыхания нет.

И не в отступлениях и объяснениях, а в том, как даны Елистратов и Воронков, Парусов и Борщ, проявились сердце и ум писателя, его взгляды на мир, жизнь, его доброе и внимательное отношение к людям.

А объяснения? Они мешают, но, к счастью, их не так уж много.



Л. ШВЕЦОВА

★

## ПРОТИВ НЕДОВЕРИЯ К РОМАНТИКЕ

**В** статье М. Кузнецова «О путях развития современного романа» затронут много вопросов: о принципиальных особенностях романа у нас и на Западе, о необходимости и ценности жанра эпопеи и сегодняшних успехах повести, об аморфности формы некоторых прозаических произведений, о современном герое. Неосвещенной осталась, пожалуй, одна проблема — проблема многообразия стилей в нашей современной прозе. А она, на наш взгляд, крайне актуальна и требует серьезного осмысления. Это тем более важно, что в последнее время в некоторых писательских выступлениях, а также в статьях критиков проявился известный стилистический догматизм, сказавшийся в неприятии романтической и условной формы, в узком понимании конкретного историзма, допускающего якобы лишь одну литературную форму — конкретно реалистическую.

Это недоверие к романтике является отчасти реакцией на особенности литературного процесса первых послевоенных лет, когда получила распространение так называемая «теория бесконфликтности», требовавшая приукрашивания, «приподымания» жизни, обхода ее противоречий. В те годы, по словам А. Фадеева, «теория бесконфликтности», затухания борьбы со всеми живыми носителями взглядов и психологии собственности соседствует с лжеромантической школкой («лакировка» действительности)».

Отталкивание от «лжеромантической школки» не должно, однако, дискредитировать романтическую форму как таковую — об этом хорошо сказал тот же А. Фадеев: «Не надо приукрашивать действительность, надо видеть ее завтрашний день. Это — одна из самых существенных

сторон социалистического реализма. Изображать же это можно и в форме, близкой к классическим реалистическим романам (то есть на бытовой основе), и в форме, родственной «Фаусту» или «Демону», романтической, или просто сказочной, или условной, в общем в любой форме, позволяющей выразить правду».

И действительно, обращаясь к романтической форме, советские писатели создавали и создают значительные произведения. Достаточно назвать таких писателей, как А. Гайдар, К. Паустовский, А. Довженко и другие. Но в некоторых критических выступлениях отрицается сама перспективность существования романтического искусства в эпоху, когда революционные идеалы претворяются в жизнь, а романтика социалистического реализма прямолинейно отождествляется с лакировкой, приукрашиванием действительности. Таков, собственно, смысл целой книги, принадлежащей перу старейшего латышского писателя А. Упита «Вопросы социалистического реализма в литературе». Этим грешат, на наш взгляд, и талантливые, содержательные статьи В. Днепровы «Идеальный образ и образ типический» («Новый мир», № 7, 1957) и «О творческом методе и художественных стилях» («Звезда», № 2, 1958).

В. Днепров вольно или невольно отказывает романтике (даже и революционной) в способности отражать жизненную правду, признавая эту способность только за реалистической типизацией. Поэтому для литературы нашего времени признается единственно плодотворным реалистический путь. В полемике с буржуазными литературоведами, приписывающими всей советской литературе тенденцию к идеализации и приукрашиванию жизни, В. Днепров ре-

шитительно отбрасывает романтику как составную часть социалистического реализма, отождествляя ее с «фальшивой идеализацией». Преимущество отдается положительным героям, показанным в развитии, «средн типичных обстоятельств действительности», и образам художественно-портретным (таким, как Чапаев, Фурманов, Павел Корчагин, Островский, Мересьев, Полевой). При этом дело представляется так, что писателю достаточно запечатлеть то, что имеется в жизни, обращаясь к форме реалистической типизации как единственно правдивой и всеобъемлющей.

Понятен пафос борьбы В. Дзюрова против всякого рода схем, «идеальных» и других. Но думается, что подлинная романтика не исключает правдивого изображения действительности, показа ее противоречий.

В этом убеждают нас такие произведения, как «Поэма о море» А. Довженко, где наряду с глубоко поэтическим изображением народных свершений, положительных народных характеров затрагиваются острые вопросы экономики деревни, ставятся моральные проблемы, рядом с образами Федорченко, Кравчины, Зарудного предстает ярко выписанный отрицательный герой Голлик, да и сам Федорченко не лишен противоречивых черт. И все это многообразие действительности, положительное и отрицательное в ней изображены иными средствами, чем, скажем, в романах М. Шолохова, где также показаны драматические столкновения и борьба. В этом отношении подлинная романтика не отличается от реализма.

Известно, что Горький много и настойчиво говорил о пафосе новой действительности, изображении которой «не охватывается приемами реализма», утверждал «высокую точку зрения» на жизнь, определял новое искусство как «реализм людей, которые изменяют, перестраивают мир». Но при этом он не закрывал глаз на недостатки, боролся с отрицательными явлениями, подчеркивал, что «в нашем быту еще много такого, что должно быть изгнано, истреблено».

Идея Горького развивал А. Фадеев: «Что же нужно, чтобы советская литература еще полнее, глубже, еще возвышеннее показала нашего советского человека? Для этого нужно постоянно помнить, что социалистическому реализму присуща революционная

романтика, взгляд в будущее, умение видеть вещи в их развитии. Это не значит, что нужно отбрасывать и не замечать то уродливое, тяжелое, что еще существует в нашем быту. Наоборот, рождение новых чувств нужно показывать в их борьбе со старым. Можно сказать, что социалистический реализм с его революционным романтизмом есть одновременно и критический реализм».

Это горьковское понимание романтики не чувствуется в работах не только В. Дзюрова, но и критика В. Сурвилло, который выступил в журнале «Новый мир» со статьями «На путях романтики», посвященными романам В. Очеретина «Саламандра» и Н. Шундика «Родник у березы». Взяв для разбора малоудачные, надуманные произведения и отнеся их недостоверность и слабость за счет романтики, критик, может быть и не желая того, дискредитирует само это понятие, ставит под сомнение плодотворность для литературы романтического пути. Правда, в начале первой статьи В. Сурвилло, приведя пример из сценария Довженко «Арсенал», как бы отдает должное романтике, но в дальнейшем он пользуется столь сбивчивыми и шаткими критериями романтического, что романтикой, в его понимании, оказывается всяческая неправда, сочинительство, попросту фальшь. Каждый неправдивый, надуманный эпизод в «Саламандре» В. Очеретина (будь то пощечина, которую старый член партии Бушуева дает начальнику цеха Баклееву, или инсценировка похищения ребенка Порошиных, или хождение секретаря цехового партийного комитета с баяном по вагонам дачного поезда с целью заработать деньги на проезд) трактуется как романтический.

Отношение критика к романтике достаточно ярко характеризуют такие словосочетания, как «романтическая судорога», «романтическая пенка», «романтическая короста». Но ответственна ли романтика за многочисленные просчеты автора «Саламандры»? Для того чтобы разобраться в этом, необходимо вкратце остановиться на произведении В. Очеретина.

Это обширный роман, посвященный людям уральского металлургического завода и относимый рецензентами к типу «производственных романов». «Романтическое» заглавие «Саламандра», смутившее В. Сурвилло, означает новый сорт стали, который должен выпустить этот завод. Название это

навечно уральскими сказами, преданием о ящерке-огневке, о легендарной Салиме, помогающей кузнецу Прохору в его искусной работе. Оно нравится заводской молодежи, жаждущей «экзотики, необыкновенного». Сталевар Федя Казаков, мечтая о новых плавках, о «саламандре», чувствует себя у печи «дирижером перед оркестром», пробует петь, видит в огне «переменчивые очертания то диковинного города, то гористого пейзажа, то каких-то неведомых сооружений будущего». Вот на этих и темных других страницах, связанных с выплавкой нового сорта стали, с переживаниями заводской молодежи, пробивается нечто, похожее на романтику, хотя В. Сурвилло ищет ее совсем не здесь. Романтика эта в основном носит характер внешнего украшения, декламации. Писатель сравнивает сталевара Федю с дирижером, «по мановению рук» которого бригада «исполняла своей слаженной работой гимн покорению молний», деятельность всего цеха — с симфонией, технологию — с контрапунктом и т. п., но все эти высокопарные сравнения не раскрывают подлинной поэзии труда, пафоса творческих дерзаний. Вообще «саламандра», новаторским поискам сталеваров в производстве В. Очеретина отводится, в сущности, мало места. Происходит это потому, что оно полемически направлено против «производственного романа». «Нельзя, чтобы человек был придатком производства. Фетишизация производства ведет к распаду художественного образа, к распаду самого жанра романа», — говорит одна из героинь. «...Не о секретах выплавки стали наше Длинное повествование. Технология — дело инженеров-металлургов. А вот как выразить чувства, чувства человека, обуздавшего стихии стали и огня и командующего ими?» — так оценивает сам автор пафос производственных сцен «Саламандры». Но человеческие чувства слабо поддаются выражению с помощью псевдопоэтических красот. А между тем именно эта часть романа снискала похвалу В. Сурвилло: «Хороши в романе сцены, в которых показаны радость труда и производственный подъем — опять-таки в той же бригаде Казакова».

Но, как уже говорилось, «производственная» линия в «Саламандре» не является основной. Писатель не сумел связать «производственное» и «личное» в единый сюжетный узел, наметить здесь главный, ре-

шающий конфликт. Героев романа мы чаще всего видим вне цеха — на загородных мас-совках, на собраниях, в товарищеском и семейном кругу, на свиданиях, в кружках самодеятельности и т. п. Среди нескольких сюжетных линий романа значительное место принадлежит борьбе Порошина и Бушуевой со Светличным и Баклеевым. Здесь противопоставляются два стиля руководства — чуткого, гуманного, основанного на знании людей, и бюрократического, казенного, преследующего карьеристские цели. Сама схематическая расстановка фигур, диспуты-разговоры о стиле и методах руководства, о типе руководителя, о быте молодежи, которые почти все время ведут герои, свидетельствуют о том, что в «Саламандре» сильна публицистическая струя, и она значительно ощутимее, чем романтическая.

В образах Кузьмы Порошина, Федя Казакова, Кости Свирчевского, Любы Крутых и некоторых других героев есть живые черты, но В. Очеретину часто изменяют вкус и такт, и тогда в его произведении появляются надуманные сюжетные ходы (вроде случая с кражей ребенка), герои совершают неправдоподобные, несовместимые с их положением и характерами поступки, но все это не имеет ни малейшего отношения к романтике.

И особенно надуманной, сочиненной фигурой является Павел Пономарев, инженер, оказывающийся иностранным агентом, хотя В. Сурвилло называет его фигурой «самой романтической». Признаком романтики критик в данном случае считает «тайну», окружающую Пономарева. Но «тайна» — более постоянный признак детектива, чем романтики. Сама по себе она еще не делает погоды. Кроме того, окружающие почти с самого начала стремятся разоблачить Пономарева, беря на подозрение крайне заурядные его черты и ничем не примечательные поступки. Герой же В. Очеретина на протяжении всего повествования выглядит банальным жуиром, занятым только романами (с Любей Крутых, Наташей Никулиной, секретаршей Мошкиной, Марианной). И эта сторона жизни Пономарева рисует его мелким эгоистом и пошляком, а не романтическим злодеем. До разоблачения «тайны» после письма Азалии Мошкиной остается один только шаг, и этот шаг делается автором весьма примитивно, в надуманной сцене объяснения Пономарева

с Марианной Орловой, ставшей его женой. Объяснение происходит в лодке, на озере, во время массовой. Пономарев признается, что он тайный агент, засланный в СССР германской разведкой. Не найдя сочувствия у Марианны, Пономарев (он же Мартирьев) пытается ее убить, но сам падает в воду и тонет.

В чем видит В. Сурвилло неудачу, «провал» линии Пономарева? «...Во-первых, в крайне несерьезном выборе средств включения романтического героя в будничную действительность, а затем и изобличения его и, во-вторых, в бедности, бледности, худосочии романтики, в ее — в данном случае — чисто внешнем характере». Но полно, романтика ли это? Или просто плохой детектив, попытка спасти бессюжетное по существу, и композиционно расплывчатое произведение внешне занимательным сюжетом?

Разбирая «Саламандру», критик отмечает, что вначале «романтическое звучание мало различимо», а затем в нескольких местах говорит о «недостаточности» романтики, о ее «худосочии». Очевидно, что в «Саламандре» мы имеем дело не с романтикой, а с сочинительством, авторским производом.

Этим же грешит и другое произведение, разбираемое В. Сурвилло во второй статье, — роман Н. Шундика «Родник у берега». В самом начале статьи критик стремится расширить наше представление о романтике.

В первой статье главным признаком романтики оказывалась «тайна», а к сцене в лодке привлекалось распространенное определение романтической ситуации — «исключительные герои в исключительных обстоятельствах» (в качестве «исключительного героя» должен был, очевидно, выступать пошляк Пономарев).

Теперь выясняется, что пределы романтики поистине безграничны. Это и стилизованная, «повышенно экспрессивная» речь, и «почти геометрическая расстановка фигур, ясность и определенность социальной позиции каждого персонажа, немедленный поворот героев лицом к главной теме, контрастность и заостренность образительных приемов, драматизм, стремление к быстрому и сильному выявлению конфликта, атмосфера загадочности в завязке сюжета...»

«И если интенсивное выявление социальной сущности образов потребует сужения

их многомерности, пусть будет и это: однолинейность еще не безжизненность. И если глубинные процессы действительности позволяют заглянуть в себя в момент бурного вскипания страстей — пусть будут накал и экстаз. Если многоохватные масштабы обозрения жизни приведут к поправанию мелочного правдоподобия — пусть будет дан простор творческой фантазии и не будет преграда анафеме условности. Если размах обобщения отображенного из жизни материала потребует образа-символа — пусть символ смело указывает путь к постижению идеи этого отбора. Все это, вместе взятое, и есть романтический строй образного мышления — не противоборец социалистического реализма, а составная часть его».

Под столь широкое определение романтики можно подвести все, что угодно: трагедии Шекспира с их бурным кипением страстей, пьесы В. Маяковского с их выявлением социальной сущности образа путем сужения его многомерности и условными приемами, романы Л. Леонова с их образами-символами.

Плохо согласуется со всем этим лишь произведение Н. Шундика, в котором критик уже с самого начала (и не без основания) отмечает признаки «рассудочности и чертежа».

Почти с первых же страниц романа мы оказываемся на диспуте героев по вопросу о культуре личности (действие происходит непосредственно после XX съезда). Тесть коммуниста Коломейца Панкуров представляет интеллигенцию, которая еще не в состоянии дать верную оценку событий, сам же Коломеец олицетворяет партийную точку зрения. Спор принимает острый характер, Панкуров обвиняет Коломейца в грубости, консервативности, в нечуткости к людям с поломанной судьбой. Но «чертежом» предусмотрено вторжение третьей фигуры — бывшего советского работника, а затем преступника Митина, судившегося за темные дела. Пьяный, опустившийся Митин выдает себя за «жертву культуры личности», и в сознании Панкурова происходит перелом, он сразу осознает сложность обстановки...

«Ветер романтики веял над головой Донника», — говорит Н. Шундик об одном из героев. Но этот «ветер романтики» придуман автором, исходя из того же чертежа, — гуманный и отзывчивый Донник с его слепой женой-музыкантшей противопоставлен аморальному карьеристу Рубцову для «рав-

новесия», правильного распределения тонов. В. Сурвилло и в «Роднике у березы» находит «атмосферу загадочности в завязке сюжета» — очевидно, в словах Панкурова об «огромной человеческой драме», разыгравшейся между Кленовым и Чумаком. Однако автор делает все для устранения этой загадочности, посвящая предыстории героев целых десять глав.

Нередко за романтику В. Сурвилло принимает то, что поддается определению с помощью таких понятий, как «лиризм», «поэтичность». (например, переживания Кати в тайге до встречи с бандитами, зарождение ее любви к Клепову в главе «Солнце и гром и топот коня»). Но чаще всего в «Роднике у березы» это псевдопоэтичность, переходящая в сентиментальность, надуманность. В подробном и даже скрупулезном разборе «Родника у березы», проделанном В. Сурвилло, есть немало тонких наблюдений и остроумных замечаний. Однако и здесь обращает на себя внимание неясность определения романтики, которая превращается в нечто весьма растяжимое, включает и «немедленный поворот... к главной теме», «стремление к быстрому и сильному выявлению конфликта» и мирится с отсутствием главной темы и ясно обозначенного конфликта во второй половине романа. Предполагает свободу фантазии и условность, но, судя по разбираемому произведению, обходится и без них, довольствуясь образом-символом березы. Известно, однако, что и в «Воине и мире» Толстого есть образ дуба, имеющий символическое значение, а роман Л. Леонова «Русский лес» полон многозначных символов, хотя он и не записан никем по ведомству романтики.

Очевидно, что при отнесении произведения к тому или иному стилистическому течению нужно исходить не из отдельных, изолированно взятых формальных черт, а из отношения художника к действительности, видения им окружающего мира, определяющего принципы воссоздания его. Условность, символика не всегда являются атрибутами романтики. Используемая сказочные мотивы «Страна Муравия» реалистична, так как раскрывает закономерность действительных событий, а «жизнеподобная» по форме повесть Гайдара «Тимур и его команда» романтична, так как в основе ее лежит представление о должном, желаемом, идеальном.

Условные ситуации, фантастические образы (как и образы бытовые) встречаются в произведениях и романтического и реалистического стиля, все дело в том, что они выражают, что преобладает в них — стремление к выявлению существующего в жизни или к пересозданию, преобразению ее на основе мечты, идеалов художника. «Демон» Лермонтова — одно из вершинных произведений романтизма прошлого века не потому, что в нем выведен фантастический образ Демона, а потому, что этот образ наиболее полно выражает умонастроения тогдашних романтиков — разрыв между идеалами и действительностью, презрение к реальной общественной среде, воспевание гордого одиночества и отщепенства, в то время как фантастические образы чертей из пушкинской «Сказки о попе и о работнике его Балде» обрисованы и действуют в соответствии с сатирической направленностью этой сказки.

Повести Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» показывают, как меняется характер фантастики в зависимости от того, преобладает ли в произведении юмористическая, бытовая окраска или утверждается мистическая вера в чудесное, сверхъестественное.

Художническое видение мира, «угол зрения», определяющий характер отбора, обобщения жизненных явлений, реализуется в стиле произведения, определяет различную окраску образов, фантастических или бытовых. Примером такой определенности видения писателя, отраженной во всех элементах стиля, может служить «Деревня» И. Бунина. Восприятие жизни деревни как ущербной, бесперспективной, лишенной положительных начал определяет и ущербность, неполноценность изображаемых характеров, и отбор бытовых сцен и деталей, рисующих упадок и нравственное оскудение (например, сцена в людской в усадьбе Казаковых), и пейзаж, в котором преобладают безрадостные картины, унылые тона, например: «Утро было серое. Под затвердевшим серым снегом серой была и деревня. Серыми мерзлыми лубками висело на перекладинах под крышами пунек белье...»

О старой, доревлюционной деревне рассказывают и многие произведения советских писателей, в том числе повесть А. Довженко «Зачарованная Десна». И здесь перед нами скудный, убогий быт кре-

стьянской семьи, где нищета делает врагами самых близких людей, а лохмотья искажают их внешний облик, где дети гибнут от эпидемий, а кони измождены и покрыты коростой. Но всем строем образов повести утверждается поэтическое видение мира, раскрывается красота и сила народных характеров, творческая одаренность людей труда. Советскому писателю свойствен историзм в оценке прошлого, понимание того, что «настоящее всегда на дороге из прошлого в будущее». В лирическую повесть о детстве с просвеченными южным солнцем картинами украинской природы органично входит тема искусства. Автор говорит о роли воображения художника, о праве писателя на показ исключительного, на романтическое пересоздание жизни — именно таков смысл необычайной истории появления льва на тихих берегах Десны.

Характерное для советского общества изменение соотношения между идеалом и действительностью, между «сущим» и «должным» определяет содержание романтики в произведениях о современности. Один из наших писателей для юношества верно за-

метил, что «...романтическое начинается и прослеживается поэзией там, где образно и взволнованно осмысливаются, возвышенно обобщаются, смело воспеваются или гневно ниспровергаются реальные элементы действительности, которым придается высокая значительность, скрытая порой от прозаического взора». И в этом образном осмысливании воображению писателя принадлежит большая роль. Лирически окрашенные пейзажи, авторские отступления нередки и в творчестве реалистов. У романтиков же ярко выраженный субъективный оценочный момент, стремление опозитизировать, возвысить прекрасное и заклеить безобразное сказываются и в построении характеров, в гиперболизации, сгущении в них положительных или отрицательных черт, и в различно проявляющемся активном вмешательстве автора в сюжет, в ход событий. Подлинный романтик — не поборник предсловутой «теории бесконфликтности», а художник, которому присуще поэтическое видение, мироощущение и повышенная, обостренная чуткость к добру и злу.





---

## О НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ \*

Ю. ВЕБЕР

★

### *Жажда ясности — жажда переживаний*

**Н**овый век стучится в двери литературы, требуя своего изображения. Новый герой — ученый с его изощренным процессом мышления, новый предметный мир — мир науки.

Художественная литература уже не первый день решает задачу «человек и его дело». Политические деятели, финансисты, прокуроры, мореплаватели, геологи, врачи, летчики... Подробности судопроизводства, техника биржевых спекуляций, ритуал морской службы с ее особым языком... Иногда больше человек как таковой, иногда больше дело как таковое, но в целом все это стало уже привычным в художественной литературе, ее фактурой. Литература все больше отказывается от того подчеркнутого равнодушия к профессиональным, служебным занятиям своего героя, какое провозглашал еще, скажем, Андрей Белый, — «он заведовал где-то там провизантами».

На наших глазах в нашей литературе во владения эстетики вошел человек индустриального труда с его специальным делом и с его особыми коллизиями. Теперь — ученый, точнее человек, действующий в области современной науки, еще точнее — в области современных естественных, точных наук. В общем, как будто продолжение того же ряда «человек и его дело». Но все гораздо сложнее. Сложнее тип мышления. И особенно сложным становится самый предмет науки — и для понимания и для изображения. Отсюда тот фронт подходов и решений, который именуется

сейчас научно-художественной литературой.

В этом термине я склонен видеть скорее тактическое значение, фиксацию смелых устремлений. Скорее волю к самоутверждению, чем необходимость в жанровом определении. И мне кажется, что в пафосе такого самоутверждения, в попытке очертить контур «научно-художественного» нет надобности обводить его рвом или барьером: художественная литература... и где-то по ту сторону, особо, — научно-художественная.

Д. Данин, предпринимая в своей яркой, интересной статье «Жажда ясности» нелегкую попытку определить, что же такое научно-художественная литература, к счастью, избежал соблазна окончательной формулы: «Научно-художественная литература — это...» Не думаю, чтобы сейчас было полезно то новое, пробивающееся к жизни и еще не утвердившееся, что мы подразумеваем под «научно-художественным», загонять в жанровые и прочие литературоведческие рамки. Я так и понимаю статью Данина как размышление вслух, как призыв сообща подумать, а не проходить мимо назревающих вопросов.

Справедлива забота Данина найти для литературы о науке место в большом искусстве. Но при этом, мне кажется, как-то отодвигается в тень значение писательской задачи и отбора нужных средств и чрезмерно выступает беспокойство о том, сочтет кто-то тот или иной метод работы художественным или не сочтет. Впрочем, я знал только одного счастливого человека, который обладал точной меркой на этот счет.

---

\* Обсуждение статьи Д. Данина «Жажда ясности» (см. «Новый мир» № 3 с. г.).

Он смотрел в рукопись: есть ли там черточки, обозначающие диалог. По количеству черточек судил он о художественности. Чистый, как дитя, начинающий издательский деятель.

Откуда черпает автор научно-художественного произведения свои средства выражения? Да оттуда же, что и любой писатель, — из общей шкалулки словесности. Дело все только в отборе необходимых средств для решения той или иной идейно-художественной задачи. В пропорциях. В чувстве меры. Толстовское «чуть-чуть» играет здесь такую же роль, как и всюду. Такой же отбор происходит и в жанрах традиционных, классических. Психологический роман и роман приключений в разной мере используют прием внутреннего монолога. В повести и в новелле сюжет строится по-разному. В интимном рассказе и в производственном очерке предметное описание занимает разное место.

Цель диктует средства. Это немудрое, но постоянное правило искусства, я думаю, вполне приложимо и к так называемой научно-художественной литературе.

Когда А. Шаров захотел передать драму и героиню борьбы русских врачей против чумы, он написал произведение, склоняющееся по жанру больше к очерку, — «Жизнь побеждает». Когда он почувствовал необходимость более глубоко раскрыть проявление личности в сфере науки, из-под его пера вышла документальная повесть о первых исследователях таежного энцефалита — «Первое сражение».

Когда В. Орлов захотел передать блеск человеческой мысли, обнимающей далекие друг от друга явления, он создал серию коротких повелл — «Рассказы о неуловимом» — с острым сюжетом, парадоксальностью сопоставлений, с динамичной интонацией, выражающей восторг, надежду, изумление, хотя в рассказах нет людей, а есть герой — беспокойная, ищущая человеческая мысль.

Когда Б. Агапов в начале тридцатых годов, захваченный атмосферой страстного порыва советского человека к новой технике, воспел в своих рассказах-очерках вдохновение труда, романтику технического поиска, он раскрыл это не в судьбах отдельных людей, а в коллективных усилиях многих и тем самым проложил новую борозду в нашей литературе. Но когда в пятьдесят восьмом году на Брюссельской

выставке Б. Агапов столкнулся лицом к лицу с некоторыми явлениями современной западной науки, западного искусства, он написал уже не рассказ и, пожалуй, даже не очерк, а своеобразное философско-публицистическое раздумье, в котором рассуждение прекрасно смыкается с пластичной рельефностью описаний. И продолжил тем самым ту струю эмоционального интеллектуализма, которая заявила сильно о себе в книгах «Земля людей» Экзюпери или «Иду по меридиану» Н. Михайлова.

У того же Михайлова в его книгах о Родине лирическое выражение авторского «я» едва намечалось тонким пунктиром, а в книге «Иду по меридиану» оно стало ведущим, подчиняя все остальное. Переменилась художественная задача — переменилась тональность вещи. Но голос Михайлова, его манера остались: строгое ощущение ритма изложения, я бы сказал — музыкальность и в общем построении темы и в звучании фраз.

Словом, автор каждый раз решает задачу о выборе художественных средств в зависимости от того, что он хочет выразить, какую цель себе ставит, а не от того, под какую рубрику художественности может подпасть написанное.

И портрет, и пейзаж, и диалог, и метафора — все годится в научно-художественном произведении, если служит цели, если «стреляет». Так же, как и «несобственный язык», о котором так хорошо, интересно говорит Данин и который не является, конечно, отличительной чертой научно-художественных произведений, а принадлежит искусству вообще.

Возьмем хотя бы пейзаж. У Шарова в «Первом сражении» пейзаж встает как будто в обычном, беллетристическом виде. «Ольшевской тайга не понравилась. Широкие просеки порубок с пеньками на заваленных хворостом полянах выглядели печально и голо; лес тянулся и тянулся. Пожарища с мокрыми от дождя обгорелыми скелетами деревьев разнообразили картину, не делая ее радостней. По книгам все это представлялось иным». Но пейзаж этот проникнут ощущением тревоги, опасности, которая пританцовала в таежных зарослях неизвестным возбудителем страшной болезни, и там, в непосредственном окружении этого пейзажа, приходится вести поиски героям «Первого сражения». Пейзаж здесь не только эмоционален, он еще

и функционален,— и в этом его особенная художественная уместность и сила.

«Лесистые горы шеренгами уходили вдаль. Тяжелая трапедия Чатыр-Дага вырисовывалась в голубой дымке... Мне показали полоску горизонта между двумя далекими вершинами и объяснили, что есть такой час в сутках — от шести до семи вечера, когда в направлении на Севастополь в бинокль можно видеть море: собственно, не самое море, а предзакатные отблески солнца на узкой полоске воды». Как метко схвачена эта полоска пейзажа, позволившая Е. Строговой в ее «научном» очерке «Люди и звезды» выразить ощущение строительства обсерватории далеко в горах Крыма, на высоте шестисот метров, и тоску по морю людей, монтирующих здесь телескопы!

«...1896 год. Париж. Осенний денек. По торцовой мостовой лошади тянут фиакр. В нем едут три иностранца...

...1956 год. Подмосковье. Весенний денек. По асфальтовой дороге летит вереница автомашин. В них едут иностранцы...» Сам Данин испытал потребность ввести в свой публицистический научно-художественный очерк «Добрый атом» два этих микропейзажа. Столкновение пейзажей позволило ему рельефнее выразить большую ступень в истории покорения атома. В начальной сценке иностранцы ученые едут взглянуть на первые следы атомного распада, уловленные случайно на фотопластинках. В следующей сценке иностранцы едут взглянуть на первую в мире советскую атомную электростанцию.

Непонятно, почему Данин пытается в своей статье набросить тень подозрения на беллетристические приемы в научно-художественной литературе. Это не сказано прямо, но это сквозит в оттенках. В книге А. Ливановой он находит недостатки «прежде всего там, где беллетристический соблазн одержал... верх». (Заметьте это «прежде всего».) Он сознательно применяет понятие «беллетристика» не в первом, главном, значении, а во втором, вульгарном, — легкое, не идущее к делу изложение. И в доказательство приводит не лучшие очерки Стефана Гейма, где беллетризация положена только для «озеленения» (хотя и это спорно). Вообще доказательство от абсурда свойственно полемической манере Данина. Проявилось оно и здесь. «У члена-корреспондента мелькала в голубых глазах лука-

вая смешинка» — это не годится для аргумента против беллетризации не только потому, что это просто плохо, но потому, что совсем не о таких вещах идет речь.

А в действительности речь о том, чтобы передать атмосферу, настроение, вскрыть проявление характера или хотя бы манеру работать, придать образную зримость важному действию или важному предмету... Словом, использовать для своей художественной цели все то, чем может помочь старая, умудренная опытом матушка-беллетристика.

«...Профессор Готлиб готовился убить морскую свинку бактериями сибирской язвы, и студенты на лабораторных занятиях по бактериологии были взволнованы... Студенты смотрели почтительно и не подходили слишком близко. С тем чутьем, которое дает превосходная техника, с уверенной быстротой, отличавшей малейшее движение его рук, доктор Готлиб выстриг шерсть на брюшке морской свинки, придерживаемой ассистентом. Одним взмахом кисточки он намыллил брюшко, побрил его и смазал йодом».

«...Обычно ее (заливку крупных форм.— Ю. В.) проводят в третью смену, ночью. Близ вагранок безлюдно, осталось всего несколько человек, в соседних цехах тишина. Таинственные тени ползут по стенам... Гигантское душевное напряжение связано с этой работой... Стоит мастер, молчит, из-под войлочной шляпы поблескивают защитные очки. Вот он сдвинул очки на лоб, поднес к глазам прибор, оптический пирометр, — определяет по цвету температуру металла. Со своими подручными мастер объясняется знаками — весь цех следит сейчас за его брезентовой рукавицей».

Оказывается, и «чистый» беллетрист Льюис в своем романе «Эроусмит» и представитель научно-художественного жанра А. Аграновский в своих очерках «Репортаж из будущего» с одинаковым правом применяют один и тот же беллетристический прием. И оба очень к месту, и каждый для достижения своей художественной цели.

«...Аспиранты оказались интересными людьми. Они были даже серьезнее, чем остальные гости, и держались менее развязно, так как еще не завоевали себе прочного положения... И оттого, что он стремился стать таким, как они, оттого, что эти молодые люди олицетворяли собой

этап, который ему еще предстояло пройти, они произвели на него более сильное впечатление, чем старшие...»

«—...Как же вы смели стать на пастил?  
— Простите, а что ему сделается?»

Но начальник участка так яростно махал руками, что я предпочел сойти в мешиво грязь. Беда с воинственными археологами, особенно молодыми: они всегда подозревают посторонних в недостатке должного уважения к их науке и их персональным трудам! А я тем более ступил, кажется, на тему его будущей диссертации...»

Опять оказывается, что и автор романа «Жизнь во мгле» Митчел Уилсон и автор очерка «Горизонты истории» Р. Бершадский одинаково испытывают нужду давать характеристику даже проходных персонажей испытанными методами беллетристики.

А сам Данин, когда он выступает не как теоретик, а как писатель? Только с чувством удовлетворения можно прочесть такое, например, место в его «Добром атоме»:

«Более пятидесяти лет назад в заброшенном сарае с асфальтовым полом и протекающей крышей молодая женщина, осененная великой надеждой, перерабатывала с упорством фанатика тонны чешской урановой руды в поисках еще никому не известного нового элемента — радия. Его никто никогда не видел, но она знала — он существует! И однажды она спросила своего мужа — друга и учителя, — каким он хотел бы видеть это таинственное вещество, непрерывно источающее энергию. Пьер Кюри задумчиво ответил: «Знаешь, Мари, мне хотелось бы, чтобы оно было очень красивого цвета».

А ведь это беллетристика. Да еще какая! Казалось бы, необязательная для сути дела, вольное отступление. Но спасибо за такое отступление. Что может лучше выразить страстное ожидание ученых и редкость еще не найденного элемента, чем подобная беллетристическая вольность? Хотелось бы только видеть ее у автора почаще.

Стало быть, не на беллетристику надо сетовать, а на те случаи, когда ею пользуются в научно-художественной литературе неумело, мимо цели. Тогда она ложная, пустая беллетристика, как может

она быть ложной, пустой и в любом традиционно беллетристическом произведении.

«Эроусмит» Льюиса и «В маленькой лаборатории» Бэлчина, романы Уилсона, Каверина, Бека... Их не привяжешь к термину «научно-художественный». И все же они не по ту сторону, а где-то рядом. И это ощущение близости, чувство локтя может быть только радостным.

В связи с этим еще об одном утверждении. Когда Данин берет вас в соучастники своих размышлений, его логика, его литературный стиль так увлекают, что трудно сопротивляться. Но когда встречаешь формулу, да еще категорическую, — спорить легче. В статье «Жагда ясности» читаем: «Суть научных проблем — без надобности искусству, и потому о таких вещах молчит художественная литература».

Мне кажется, здесь умалчивает Данин — умалчивает о таких явлениях литературы, как, скажем, «Русский лес» Л. Леонова. Разве мы не видим в этом романе слитность характеров, судеб людей — именно с самой жгучестью проблем науки лесоводства? А если вспомнить такие обширнейшие главы романа, как знаменитая лекция Вихрова или обсуждение его доклада на ученом совете, то они так углублены в самую суть научного вопроса и проникнуты таким интересом к нему, что мы без удивления могли бы прочитать их в любом собственно научно-художественном произведении.

И не подтверждает ли этот пример закономерную тенденцию: общая литература вбирает элементы научно-художественной, а эта последняя использует опыт и подходящие ей средства общей литературы? Плодотворное переливание. Но переливание может происходить только между сообщающимися сосудами, а не между наглухо разделенными теоретической предвзятостью.

Невозможно остановиться на всем том, что затрагивает статья Данина, — она богата разными ракурсами, оттенками, акцентами. Приятно видеть, что о научно-художественной литературе разговор ведется не в порядке дилетантской импровизации, а во всеоружии художественного критического анализа. Подчеркиваю — художественного. Работа эта, если хотите, сама является разновидностью научно-художественного произведения — произведения о предмете, проблемах литературы. Так

вскрыл в ней Данин всю «драму идей», связанных с определением «научно-художественного». Потому и читать ее — само по себе художественное удовольствие.

Но вот «драма идей». Выражение, вынесенное в эпиграф, как флаг всей статьи. Действительно, хорошая находка, которая что-то обещает в поисках специфически художественного. В драме идей Данин видит, пожалуй, главную пружину, на которой держится весь завод научно-художественной литературы. «Населенные или безлюдные, научно-художественные книги рассказывают о разуме и воле познающего человека в действии,— пишет он.— В разных планах, на разные лады они всякий раз говорят нам... о драме идей».

Жаль только, что Данин не развернул этот свой тезис и не подверг его, как делает в других случаях, перекрестным вопросам. А они есть. Разве драма идей уж так принадлежит исключительно научно-художественным произведениям и не может составлять зерна произведения общелитературного? Тот же «Русский лес» или хотя бы «Уриэль Акоста» — разве не драма идей движет в них действие? С другой стороны, уж так ли всякое научно-художественное произведение исходит из драмы идей? Ее я не вижу, скажем, в описаниях русской природы Н. Михайлова или в космическом эссеизме К. Андреева, однако они и художественны по форме и научны по существу.

И достаточно ли драма идей указывает на художественный метод? Или скорее очерчивает то, о чем писать? Драматическую идею можно раскрыть и в романе, и в очерке, и в поэме, но можно доложить о ней в таких абстракциях, что это будет на уровне годового отчета академического института. Воплощение драмы требует драматургии, а о ней применительно к научно-художественной литературе ничего не сказано.

В драме идей Данин находит опору художественности и для так называемых «безлюдных» произведений. Бессмысленно брать под сомнение эстетическую значимость безлюдных произведений. Они существуют и в лучших своих образцах — в книгах покойного М. Ильина, Н. Михайлова, В. Орлова, А. Дорохова — неопровержимо доказывают, что из самой действительности науки, из самого предмета науки можно высекать искру искусства. Но безлюдность драмы?! Что-то не так, что-то не то.

Идеи не самозарождаются, носители идей — всегда люди. И драма идей — это, конечно же, драма человеческих надежд, находок, ошибок, непониманий, драма жестких столкновений под покровом взаимной вежливости (а иногда и без нее). И если писатель познал эту драму, вжился в нее, то почему же для ее изображения он отказывается вдруг от самого сильного средства — именно от человеческого коэффициента идей? Почему же только идеи сами по себе, в дистиллированном виде? По какой причине, ради какой художественной цели? Неясно. Если только потому, что идеи больше лежат на поверхности, зафиксированы, документированы, а их человеческое скрыто обычно за щитом деликатных соображений, — то это не довод от искусства. Может быть, без людей просто короче? Но алгебраические выражения еще короче — уж не перейти ли к ним?

Я уже почти ничего не помню из того, что в «Добром атоме» выдуманный, условный микрочеловечек преподнес нам в виде голых, чистых идей. Но я не забуду драму Эйнштейна, выраженную в нескольких скупых строчках. «День Хиросимы кто-то назвал «черным днем Альберта Эйнштейна». Рассказывают, что в этот день великий глава современной физики сидел в своем кабинете, стиснув руками виски...» И после того, как во второй половине книги вместо думающего и страдающего Эйнштейна или мечтающих Кюри поселается прочно микрочеловечек с его хотя и блестящими, но голыми пояснениями, вдруг чувствуется, что оставаться наедине с этим дистиллированным существом как-то неуютно.

У меня нет желания ограничивать палитру «научно-художественного». Вероятно, возможна такая прозаическая вещь, где трактуется о величии и смене идей в отвлеченной форме, чтобы достичь «всеобщности» «кратчайшим путем», что так пленяет Данина. (Боюсь, это почти то же, что оставить в греческой драме один рассудительный хор, убрав со сцены героев.) Конечно, запрета на это быть не может. Но превращать это в общий принцип работы не стоит.

Данин назвал свою статью «Жажда ясности». В этом заключен двойной смысл. Жажда самого автора прояснить для себя то, что делает он и что делают его товари-

ши по перу. И жажда читателя. В статье много раз встречаем: «Жажда доступного знания», «Хочется знать и понимать», «Без понимания проблем нет образа ученого», «Жажда ясности одолевает читателя»... На этом поставлены акценты.

Чувствую потребность поставить рядом

другой акцент, не менее настойчивый. Жажда переживаний. Ибо для читателя художественной литературы, в том числе и научно-художественной, переживание и есть форма познания.

Итак, жажда ясности — жажда переживаний.

## А. СМИРНОВ-ЧЕРКЕЗОВ

★

### *О научном и художественном познании*

Что же такое научно-художественная литература?

Этот вопрос служит подзаголовком к статье Д. Данина «Жажда ясности». Вопрос интересный. Научно-художественная литература в последнее время приобретает все большее и большее количество читателей и почитателей, — было бы полезно сейчас прояснить некоторые ее особенности. И в первую очередь, конечно, нужно научиться сознательно проводить границу между литературой научно-художественной и научно-популярной, тем более что дело это, в общем, очень простое и ясное.

Но именно потому, что в статье Д. Данина, несмотря на многочисленные оговорки, эта граница, на мой взгляд, начисто стерта, я и решил выступить со своим толкованием поднятого им вопроса.

Очевидно, начать я должен с признания, что ничего противоестественного или мистического в сочетании слов «научно-художественная литература» не вижу. Я совершенно всерьез считаю, что научно-художественное произведение есть не что иное, как художественное произведение о науке. И ничего больше. А научно-популярное произведение — это популярное изложение какого-то раздела науки. И отличить научно-художественное произведение от популярного так же просто, как и от задачника по арифметике.

Д. Данин категорически отвергает столь простое решение вопроса. «Если книга должна быть научной, как ей стать еще и художественной? А художественная — как может она умудриться быть еще и научной?» — недоумевает он. Между тем научно-художественное произведение не должно быть научным и, будучи художе-

ственным, так и должно оставаться художественным. Чтобы расшифровать эту опять-таки очень простую мысль, начну от лечки.

Будем исходить из аксиомы, что искусство и наука суть разные формы познания окружающего нас мира. Разумеется, искусство имеет и другие цели, но в данном случае не они нас интересуют.

Познание средствами искусства отлично от познания средствами науки. Наука боится субъективности, всеми средствами изгоняет она субъекта из своих построений. Иногда неудачно — и тогда впадает в ересь, становится лженаукой. Искусство же, отражая объективные закономерности, строится, однако, на субъективном восприятии мира. Если из произведения искусства выпадает субъект, оно распадается на ничем не связанные элементы, ибо связать, объединить их может лишь личность автора произведения.

Ученый занимается анализом наблюдаемых им явлений, он разъединяет их на простейшие и эти простейшие, а также отношения между ними выражает математически или иными символами или словами-понятиями, что, в сущности, одно и то же. Художник вырабатывает синтез наблюдаемых им явлений со своим «я» и выражает его на полотне, в мраморе, в звуках или в тех же словах. Но в этих случаях слова, обозначающие те же понятия, что и в науке, группируются в нечто абсолютно не свойственное, не нужное и даже вредное науке — в то, что мы называем художественными образами. В них и выражается отношение субъекта к объекту наблюдения.

Сообразно с этими двумя разными способами восприятия и познания мира у людей

складываются и два типа мышления. И. П. Павлов говорит:

«Жизнь отчетливо указывает на две категории людей: художников и мыслителей. Между ними резкая разница. Одни — художники, во всех их родах: писателей, музыкантов, живописцев и т. д., захватывают действительность целиком, сплошь, сполна, живую действительность, без всякого дробления, без всякого разъединения. Другие — мыслители, именно дробят ее, и тем самым умерщвляют ее, делая из нее какой-то временный скелет, и затем только постепенно как бы снова собирают ее части и стараются их таким образом оживить, что вполне им все-таки так и не удается».

Разумеется, есть и средний тип мышления. Тот же И. П. Павлов писал: «...людская масса разделялась на художественный, мыслительный и средний типы. Последний соединяет работу обеих систем в должной мере».

Я думаю, большинство из нас без спора, хоть и не без огорчения, согласится отнести себя именно к среднему типу. Надо полагать, что мы, люди среднего типа, представляем подавляющее большинство человечества. Что же означают для этой основной массы людей павловские слова «...соединяет работу обеих систем в должной мере»? Очевидно, способность воспринимать явления живой действительности целиком, без всякого дробления, то есть в образах, сохраняя одновременно и способность к анализу этих явлений.

Ну, а многое ли я анализирую в этом огромном и таком многообразном мире, окружающем меня? Вероятно, очень узкую область этого мира, какую-то его часть только. А все остальное? Все остальное я не способен представить себе иначе, как в образах. Когда я произношу: лес, горы, реки, недра, люди, Россия, слова эти вызывают в моем воображении какое-то одно представление. Одно, и настолько цельное, что я, например, могу сказать: люблю лес, горы на меня давят, не могу жить без России и т. п. Иными словами, мир наших представлений — это образный мир. Мы не способны были бы справиться с обилием впечатлений, наплывающих на нас ежедневно, ежесекундно, если бы непрерывно не объединяли их, не обобщали, не воспринимали бы целую группу явлений как одно явление.

Когда же я начинаю заниматься наукой, начинаю, как выражается И. П. Павлов, дробить живую действительность, то, не будучи ученым по профессии и по типу мышления, я всегда разрушаю какой-то сложившийся до этого у меня образ, чтобы сложить новый, более совершенный, то есть больше отвечающий объективной сущности вещей. Тем самым я обогащаю свою картину мира, свое образное представление о реальном, вне меня существующем мире.

Много в этом мне может помочь научно-художественная литература. В ней самую основную работу, требующую огромных затрат времени и сил, за меня проделывает автор. Он преподносит мне уже готовые художественные образы. Рассмотрим это несколько подробнее.

Скажем, ученый познал электрон, создал себе о нем некое представление. Это представление можно назвать статистическим, так как оно не более как совокупность сведений о свойствах электрона. Как уже говорилось, ученый даже боится чего-либо большего. Ознакомившись с такими статистическими сведениями, писатель, автор научно-художественного произведения, создает в своем воображении некий образ электрона. Он собирает воедино все, что до него ученый-физик расчленил, раздробил, синтезирует все, что ученый анализировал, и передает мне, читателю, свое представление об электроне. Это его представление об электроне не может считаться, да и не претендует на то, чтобы считаться научным. Оно так же далеко от научного, как, скажем, облако в картине Куинджи от облака из учебника метеорологии.

Но меня, читателя, такое представление об электроне вполне устраивает. Я забыл многие и многие облака, виденные мной в жизни, но вот облако на одной из картин Куинджи, название которой, кстати сказать, тоже забыл, я буду помнить всегда. То есть Куинджи дал мне представление об облаке несколько не менее реальное, чем дала сама жизнь, непосредственное наблюдение. Поэтому у меня есть все основания предполагать, что, каким-то чудом став физиком, я получу об электроне представление зряд ли много более реалистическое, чем то, которое дал мне сам Д. Данин в своей превосходной книге об элементарных частицах материи.

Оно не научное. Вот именно. В этом и разница между научно-художественным произведением об элементарных частицах материи и популярным сочинением на ту же тему. Популяризатор попытался бы дать мне представление об электроне такое же, какое имеет ученый, то есть, сокращенно говоря, статистическое. Но, приспособившись к моему уровню знания физики и математики, он очень бы его упростил, а поэтому и извратил. Писатель же создает у меня не статистическое, а синтезированное представление об электроне, образное, иное, чем у ученого, и в этом смысле не научное.

Может быть, поэтому то знание, которое дает нам научно-художественная литература, не настоящее знание? Но мы ведь исходим из того, что искусство есть средство познания, и если научно-художественное произведение будет настоящим произведением искусства, то и знания, полученные из него, будут, очевидно, тоже настоящими.

Прежде считалось, что искусство как средство познания приходит нам на помощь тогда, когда наука оказывается бессильной. Но теперь уже ясно, что не только тогда. Современный человек не может вместить в своей черепной коробке сумму научных знаний, достаточную для объяснения окружающего его мира. Не только просто интеллигентный человек, дилетант, но и большой ученый. Поневоле вынужденные обращаться к популяризациям, мы пытаемся по ним представить себе этот мир, очень сложный, уже не ньютоновский, а эйнштейновский, лишенный спасительного эфира, искривленный по Лобачевскому, с более чем тридцатью элементарными частицами материи там, где века стоял один простой и всем понятный атом. И как бы каждый из нас ни был далек от искусства, бессознательно пользуясь средствами искусства, мы по каким-то скудным, отрывочным сведениям пытаемся создать себе картину мира. Это всегда картина, а не таблица, и нарисована она по законам искусства, хотя для создания ее мы пользовались крохами со стола науки.

Если же нам в руки попадает книга, в которой автор за нас и с большим на то основанием и умением перевел символы и слова-понятия на язык образов, то мы дополняем нашу картину лучшими, более достоверными представлениями. Это бывает

тогда, когда мы читаем книгу уже не научно-популярную, а научно-художественную. И это будет тот случай, когда искусство приходит нам на помощь уже не там, где бессильна наука, а, наоборот, там, где мы сами бессильны следовать за наукой.

Итак, научно-художественная книга тем и отличается от научно-популярной, что она всегда перевод с языка науки на язык искусства, всегда художественное произведение, а не научное и не смесь. Поэтому такая книга не нуждается в чертежах, таблицах, формулах, ибо все это средства науки, чуждые искусству. И когда, например, в повести Анны Ливановой «Три судьбы», во многом очень хорошей, появляются чертежи, то это означает лишь то, что автор не всюду сумел справиться с переводом сложных научных построений на язык образов. Вот именно такое смешение средств двух методов познания — научного и художественного — приводит к рождению гибридов, то есть произведений ни научно-художественных, ни научно-популярных.

Это уже будут настоящие гибриды или даже кентавры. И они во множестве расплодятся у нас, если, упаси боже, наши писатели, работающие в жанре научно-художественной литературы, примут к исполнению следующий императив Д. Данина: «В научно-художественной вещи писатель обязан быть популяризатором науки» (разрядка не моя.— А. С.-Ч.).

Нет, писатель не обязан быть популяризатором ни в научно-художественных вещах, ни вообще. Это скорее обязанность ученого, которую он, к сожалению, часто передоверяет профессиональному популяризатору из недоучек. Сила писателя не в том, что он способен хорошо кого-либо пересказывать, и от всех остальных пишущих он отличается не тем, что умеет «красиво описывать». Может случиться и так, что его очерк окажется отнюдь не шедевром стилистики, от этого, однако, не перестанет быть произведением искусства. В то же время научно-популярный очерк, даже блестяще написанный, никакого отношения к искусству не имеет и иметь не может.

Это потому, что дело ведь не в стиле, не в форме научно-художественного произведения, да и не в том, кто избран в качестве героя: ученый, или его поиск, или один явления живой и неживой природы без ученого и безо всяких поисков,— все дело



в типе авторского мышления, в способах постижения реальной действительности. Вот в чем главное отличие писателя от ученого-популяризатора.

Но Д. Данин не считается с различием в типах мышления. От писателя он требует популяризации, а ученых попрекает в том, что «у них нет желания писать о науке не на ее собственном языке». Это привело к тому, что в своей статье «Жажда ясности» он не сумел провести границу между такими разнородными понятиями, как произведение научно-художественное и научно-популярное, поэтому и не внес ясности в поднятый им вопрос.

В заключение я хотел бы обратить вни-

манье Д. Данина на то, что я построил свою заметку по схеме, которую он подверг осмеянию. Вот выдержка из его статьи: «Можно пуститься в длиннейшее рассуждение: атомный век... покорение космоса... растущая жажда знаний... недоступность языка науки... общедоступность языка искусства... И в результате будет неопровержимо доказано: смесь пужна!»

По-моему, в результате неопровержимо доказано, что научно-художественное произведение вовсе не смесь науки и искусства и разговор о том, нужна или не нужна смесь, беспредметен. Ну, а то, что научно-художественная литература нужна, не требует никаких доказательств.

---

А. ИВИЧ

★

### *Заметки на полях статьи*

1

Данин прав: современная наука так сложна, что о некоторых ее отраслях нельзя дать представление, лишь упростив терминологию и подобрав несколько подходящих сравнений. Нужна работа художника слова. И, прибавим, не всякого художника, а обладающего «двойным» мышлением — образным и научным, логическим.

Но не слишком ли скромны требования Данина к научно-художественной литературе? Разве писатель работает над познавательной книгой лишь для того, чтобы дать читателю представление о науке, отрасли техники или деятеле, которым она посвящена? Вряд ли. Если писатель сделал свою книгу объектом только познания, а не переживания для читателя, он свою задачу художника не выполнил. Художник действует, как говорил Чернышевский, «главным образом на воображение и сердце читателя» в отличие от ученого, который ставит «главной своей целью сообщить уму читателя различные познания». Задача писателя, работающего над познавательной книгой, в том, чтобы соединить метод художника с методом ученого — сообщить читателю знания, воздей-

ствуя в то же время на его воображение и сердце.

Сказанное — элементарно, и потому, вероятно, Данин не писал об этом. Но, оставив мысль о специфическом характере воздействия искусства на человека за скобками статьи, он в какой-то мере оставил ее и за скобками своих размышлений. Не только ясности ждет читатель от научно-художественной книги, но и сильных эмоций и богатого материала для работы воображения. А для юного читателя впечатляющая книга нередко становится импульсом к действию, к работе, к выбору профессии.

Как раз в этом важнейшее воспитательное значение научно-художественной литературы.

За некоторыми исключениями (главным образом проблем физики) ясности в изложении научной или технической темы может добиться и одаренный популяризатор. Но он по самой сути своей задачи «просветитель», а не воспитатель — в том смысле, в каком воспитателем становится каждый хороший художник. Жаль, что Данин не говорит о широком воспитательном значении научно-художественной литературы, — ведь это важный, может быть самый сильный довод в пользу широкого ее развития.

## 2

Двузначно заглавие статьи: ясности представления о современной науке жаждут читатели, ясного определения, что такое научно-художественная литература, ищет писатель.

Данин предлагает прежде всего условиться, что герой научно-художественной литературы — научные искания, а не деятель науки, не человек «во всем его многообразии».

Мысль эта в той или иной форме уже высказывалась прежде — в последний раз Л. Чуковской («Вопросы литературы», № 2, 1958), и как раз в разговоре о той блистательной книге М. Бронштейна «Солнечное вещество», которая дала повод для размышлений о научно-художественной литературе Данину. «...Научная мысль, ее развитие — главная и единственная героиня повествования», — пишет Чуковская о книге Бронштейна, противопоставляя ее произведениям, авторы которых, «рассказывая о научной проблеме, ищут «интерес» вне ее». Но в отличие от Данина Чуковская не распространяет эту верную характеристику книги на всю научно-художественную литературу. И, по-моему, осторожность ее не лишняя.

Всегда ли герой научно-художественного произведения — искания науки? Если считать это обязательным признаком, как предлагает Данин, многие книги, по природе своей несомненно научно-художественные, останутся за бортом.

Вспомним хотя бы «Рассказ о великом плане» М. Ильина. Вероятно, и Данин, не задумываясь, отнесет это произведение к числу научно-художественных. Между тем герой ее не искания науки, а советский народ, вдохновенно, в драматической и победной борьбе с природой преобразующий по строгому плану свою страну.

Возьмем книги совсем другого рода — «Наполеон» и «Талейран» Е. Тарле, или «Жизнь Микеланджело» и «Жизнь Бетховена» Романа Роллана, или «Марко Поло» В. Шкловского, «Исаак Левитан» К. Паустовского; можно назвать еще десятки биографических книг — не беллетристических, но написанных художниками слова и посвященных историческим деятелям или исканиям в области искусства, а не науки. Книжки эти — научно-художественные.

А детские книги о технике Б. Житкова?

Их герой не искания науки, а творческий труд создания новых вещей, изобретательство.

А «Дерсу Узала» В. Арсеньева или «Иду по меридиану» Н. Михайлова — книги путевых очерков, художественность которых так же несомненна, как и познавательная ценность?

Невозможно в короткой реплике обосновать утверждение, что каждая из названных книг художественна, показать, в чем заключена, какими средствами выражена их художественность (я пытался это сделать в книге о творчестве М. Ильина и в статье о Б. Житкове), но и без обоснований, вероятно, никто не сомневается в том, что эти книги — произведения искусства. Но именно ли научно-художественной литературы?

Смотря по тому, как понимать это определение.

Мы иной раз оказываемся в плену слов, неточно или неполно характеризующих понятие или понятых нами только в одном из двух возможных значений. Казус здесь в том, что книги, которые мы называем научно-художественными, далеко не всегда книги о науке!

Получилось недоразумение: слова «научно-художественное» определяют ведь не тему произведения, как выходит по Данину, а метод автора, который мыслит, пишет одновременно как художник и как ученый.

Так понимал этот термин Горький, который говорил о «широчайших перспективах для образного научно-художественного мышления». Данин процитировал эти слова, но не обратил внимания на то, что Горький опирается в своих высказываниях о научно-художественной литературе, в частности, на «Рассказ о великом плане» М. Ильина и «Кара-Бугаз» К. Паустовского — то есть на книги не о науке.

Так же понимал этот термин Белинский. Сожалея, что Пушкин не завершил работу над историей Петра, он писал: «...преждевременная смерть вырвала волшебное перо из творческих рук и надолго лишила Россию надежды иметь учено-художественную (разрядка моя.— А. И.) историю...» Петра. Слово «учено» вместо «научно» здесь устраняет всякую возможность двойного толкования.

Но вот что загадочно: Данин, оказывается, знает, что не всегда тема научно-

художественного произведения — наука! Это обнаруживается в одной фразе — нет, даже не во фразе, а в нескольких словах, будто против воли автора забравшихся в статью: «Над какой бы научно-художественной вещью ни работал писатель — над публицистическим или проблемным очерком, над документальной повестью или биографической книгой, над путевым дневником или историческим рассказом...»

Но ведь публицистика, путевой дневник — не наука! И техника не входит в понятие науки, хотя Данин почему-то пользуется примерами из книг, посвященных технике, говоря о науке. Читая дальше статью, мы доходим и до фразы, прямо опровергающей перечисление, которое я процитировал: «Научно-художественной литературы без науки просто нет!»

Как теперь быть с путевыми дневниками, техникой и тем более публицистикой? Ведь научные искания могут быть героем только произведения о науке и лишь в применении к ним определение Данина бесспорно. Тут ясности нет.

Приходится подумать о признаках, характеризующих научно-художественную литературу в целом.

Вот, может быть, самый общий признак: художественные произведения без мысли (хотя им отнюдь не противопоказаны хорошо аргументированные мысли). Вместо «предполагаемых обстоятельств», из которых складывается сюжет беллетристического произведения, в научно-художественной книге обстоятельства и герои подлинны. Это, мне кажется, обязательный признак рода литературы, о котором мы говорим, но недостаточный. По такому признаку пришлось бы включить в научно-художественную литературу, например, «Былое и думы» Герцена.

Чтобы не расширять до таких пределов понятие научно-художественной литературы, нужно внести ограничение: очевидно, второй признак научно-художественного произведения — лежащее в самом замысле книги стремление художника дать читателю точные, достоверные знания — научные, технические, в области искусства или познания страны, мира. По этому последнему «разделу» закономерно говорить о таких книгах, как «Дерсу Узала» или «Иду по меридиану». Думаю, что и «Фрегат «Паллада» и «Записки ружейного охотника»

С. Аксакова — произведения научно-художественной литературы.

Тут многое еще спорно, зыбко. Отчасти потому, что у нас очень мало серьезных попыток дать критический анализ произведений научно-художественной литературы, — такие анализы помогли бы подойти к теоретическим обобщениям. А отчасти потому, что точное определение границ этого многожанрового рода литературы еще труднее, чем определение границ того или иного литературного жанра, — об этом помнит Данин.

Белинский писал: «Хотят видеть в искусстве своего рода умственный Китай, резко отделенный точными границами от всего, что не искусство в строгом смысле слова. А между тем эти пограничные линии существуют больше предположительно, нежели действительно; по крайней мере их не укажешь пальцем, как на карте границы государства. Искусство, по мере приближения к той или другой своей границе, постепенно теряет нечто от своей сущности и принимает в себя от сущности того, с чем граничит, так что вместо разграничивающей черты является область, примыкающая обе стороны».

Эти слова как будто прямо направлены против тех, кто и до сих пор думает, будто все, что не беллетристика и не стихи, что отходит от каноничных жанров, то не искусство, и еле-еле, морщась, согласен уделить местечко очерку, а перед научно-художественной литературой захлопывает дверь. И в то же время слова Белинского напоминают, что незачем добиваться точного определения границ — они подвижны.

Научно-художественная литература — одна из пограничных областей, так же как очерк, как художественная публицистика.

### 3

А все же некоторое размежевание нужно — для того чтобы утвердить наконец в правах литературного гражданства наш полупризнанный род литературы.

Данин прав, отграничивая научно-художественную литературу от беллетристики. Если этого не сделать, то исчезнет, расплывется самый предмет разговора. Почему нельзя беллетристику, даже когда она связана с научными исканиями, относить к научно-художественной литературе, доказано в статье убедительно.

Очень важно все, что говорит Данин о «языке» научно-художественной литературы, понимая это слово как совокупность элементов, определяющих художественность произведения. В статье, разумеется, можно было только наметить предмет изучения. А самое изучение и даст возможность определить, в чем своеобразие научно-художественной литературы, и перейти от вкусовых оценок — «художественно», «нехудожественно» — к ясным доказательствам методами литературоведческого анализа, что научно-художественная книга — произведение искусства.

Хотелось бы сделать одно дополнение к тому, что говорит Данин о «языке» научно-художественной литературы. Самое нужное, пожалуй, это разобраться в средствах, которыми создается внутреннее напряжение произведения, его «конфликт», — напряжение, которое как бы замещает сюжет беллетристической книги, рождает и поддерживает интерес читателя. Данин назвал один способ — изображение «борьбы идей». Но есть и другие, особенно в книгах не о науке, — например, изображение борьбы че-

ловека или народа с природой, драматичности творческого пути того или иного деятеля. Способ, которым создается внутреннее напряжение, определяет систему образов, композицию, стиль произведения (и в свою очередь ими в какой-то мере определяется — тут взаимодействие). Разобраться в этом необходимо для того, чтобы стал ясен облик рода литературы, о котором мы говорим.

Разговор Данин начал интересно и с той страстностью, которой заслуживает тема.

Наша научно-художественная литература, в частности детская, стяжала мировую славу. Одно из первых мест среди всех переводов советской литературы на иностранные языки занимали много лет книги М. Ильина. А книги Н. Михайлова завоевали широкую популярность за рубежом даже раньше, чем у нас.

Давнюю славу советской научно-художественной литературы необходимо поддерживать новыми произведениями и серьезными критическими работами, которые прояснили бы ее сущность и черты своеобразия.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Н. Стривская.** Н. К. Крупская о Ленине.— **И. Зборовский.** Живое слово Ленина.— **Р. Лавров.** Волнующие документы.— **А. Бельская.** Тринадцать дней, которые вселяли надежду.— **В. Твардовская.** Книга об Ипполите Мышкине.

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Н. Атаров.** Всегда в пути.— **Г. Владимов.** Пародии и мелодии.— **М. Блиннова.** Роман о молодежи.— **Ю. Барабаш.** Разговор, который должен быть продолжен.— **В. Лакшин.** Взгляните на звезды.

## Политика и наука

### Н. К. Крупская о Ленине

**М**олучив «Воспоминания о Ленине» Н. К. Крупской, Алексей Максимович Горький писал ей из Сорренто: «Вот так всегда он был на удивительно прямой линии к правде, всегда все предвидел, предчувствовал. Впрочем — что ж я Вам говорю это, Вам, которая всю жизнь шли рядом с ним и знаете его лучше, чем я и все вообще люди».

Статьи и выступления, включенные в новый сборник «Н. К. Крупская о Ленине», написаны в разное время. Они печатались в двадцатых—тридцатых годах в газетах и журналах, а также отдельными изданиями. Большинство из них с тех пор не переиздавалось. Запись «Ленин» (1924) публикуется впервые. Доклад «Как изучать ленинизм?» в этой редакции также печатается впервые.

В книге четыре раздела: «К биографии Ленина», «Ленин и партия», «Ленин о социалистическом строительстве и коммунистическом воспитании», «Методы работы Ленина. Изучение ленинизма».

**Н. К. Крупская о Ленине. Сборник статей. Подготовлен к печати В. С. Дридзе. 383 стр. Госполитиздат. М. 1960.**

Исключительный интерес представляют статьи «Ленин как пропагандист и агитатор», «Ленин — редактор и организатор партийной печати», «Как Ленин работал над Марксом», статьи о книгах «Материализм и эмпириокритицизм» и «Государство и революция» (Надежда Константиновна называет ее «книгой, рожденной в борьбе»).

Рассказывая о Владимире Ильиче как об агитаторе и пропагандисте, Надежда Константиновна пишет: «Страстно мечтал Ленин о том, чтобы превратить Страну Советов в своеобразный агитпункт, действующий примером, показом, — в факел, который светил бы пролетариату всего мира».

Работникам печати огромную пользу принесет знакомство с воспоминаниями Н. К. Крупской, показывающими В. И. Ленина как редактора и журналиста.

«Владимир Ильич много работал над своим языком, — пишет Н. К. Крупская. — ...Я иногда должна была изображать из себя «беспонятного» читателя, который не понимает иностранных и академических терминов, не знает некоторых общеизвестных вещей и т. д. Умение оформлять — искусство.

И Владимир Ильич особенно ценил тех членов редакции и сотрудников, которые обладали талантом оформления. Это не только вопрос стиля и языка, но вся манера развития и освещения вопроса... Необходимо, скажем, осветить какую-нибудь новую тему. Писать никто не выражает желания. Тогда Ильич с тем, кто, по его мнению, наиболее подходит для того, чтобы написать на данную тему, заводит разговор и начинает его обрабатывать. Не предлагает сразу писать на эту тему, а начинает с ним разговаривать о затрагиваемых в теме вопросах, будит интерес к ним, настраивает его определенным образом, слушает, что тот скажет».

Глубоко поучительны воспоминания Н. К. Крупской об отношении Ленина к литературе и, в частности, ее замечания о книге Александра Цейтлина «Литературные цитаты Ленина». Между прочим, она пишет:

«Ни в какой мере нельзя по цитатам и частоте их употребления определять, какие произведения и какие писатели были любимыми писателями Ильича. Характер цитат определяется характером его статей — боевые, публицистические».

По натуре, несмотря на величайшую трезвость мысли, Ильич был очень большой лирик, очень любил стихи пафосные, лирические, только об этом он не писал, конечно.

По «Литературным цитатам Ленина» выходит, что он как будто бы лучше всего знал, чаще всего вспоминал Крылова, Грибоедова, Щедрина, их больше всего любил, что неверно. Тут надо сделать ряд оговорок. Просто в своих полемических статьях Ильич пользовался общеизвестными литературными образами как орудием борьбы». (Здесь Надежда Константиновна делает следующее примечание: «Литература — орудие борьбы не только для автора, но и для читателя, который ее воспринимает и по-своему перерабатывает. Уменьше превращать литературу в орудие борьбы должно воспитывать наше преподавание литературы, и разбор литературных цитат Ленина с этой точки зрения особенно интересен».) «И мне кажется, что надо бы попробовать цитаты литературные более увязывать с политическим моментом, с характером статьи, с ее целевыми установками, с общим стилем статьи».

По-моему, над статьей («Литературные цитаты Ленина». — Н. С.) надо бы еще поработать, но она не безынтересна».

В главе «Что нравилось Ильичу из художественной литературы» Надежда Константиновна пишет:

«Товарищ, познакомивший меня впервые с Владимиром Ильичем, сказал мне, что Ильич — человек ученый, читает исключительно ученые книжки, не прочитал в жизни ни одного романа, никогда стихов не читал. Подивилась я. Сама я в молодости перечитала всех классиков, знала наизусть чуть ли не всего Лермонтова и т. п., такие писатели, как Чернышевский, Л. Толстой, Успенский, вошли в мою жизнь как что-то значащее... Потом уж, в Сибири, узнала я, что Ильич не меньше моего читал классиков... Я привезла с собой в Сибирь Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Владимир Ильич положил их около своей кровати, рядом с Гегелем, и перечитывал их по вечерам вновь и вновь. Больше всего он любил Пушкина. Но не только форму ценил он. Например, он любил роман Чернышевского «Что делать?», несмотря на малохудожественную, наивную форму его. Я была удивлена, как внимательно читал он этот роман и какие тончайшие штрихи, которые есть в этом романе, он отметил. Впрочем, он любил весь облик Чернышевского, и в его сибирском альбоме были две карточки этого писателя, одна — надписанная рукой Ильича — год рождения и смерти. В альбоме Ильича были еще карточки Эмиля Золя, а из русских — Герцена и Писарева. Писарева Владимир Ильич в свое время много читал и любил. Помнится, в Сибири был также «Фауст» Гёте на немецком языке и томик стихов Гейне».

Надежда Константиновна вспоминает, что, когда она и В. И. Ленин жили в эмиграции, к ним приходила француженка уборщица. «Ильич услышал однажды, как она напевала песню. Это эльзасская песня. Ильич попросил уборщицу пропеть ее и сказать слова и потом нередко пел сам ее. Кончалась она словами:

*Vous avez pris l'Alsace et la Lorraine,  
Mais malgré vous nous resterons français ;  
Vous avez pu germaniser nos plaines,  
Mais notre coeur — vous ne l'aurez jamais !*

(«Вы взяли Эльзас и Лотарингию, но вопреки вам мы остаемся французами; вы могли онемечить наши поля, но наше сердце — вы никогда не будете его иметь».)

Был это 1909 г. — время реакции, партия была разгромлена, но революционный дух

ее не был сломлен. И созвучна была эта песня с настроением Ильича. Надо было слышать, как победно звучали в его устах слова песни:

*Ma: notre coeur — vous ne l'aurez jamais !*

...Позже, во время войны, Владимир Ильич увлекался книжкой Барбюса «Le feu» («Огонь»), придавая ей громадное значение. Эта книжка была так созвучна с его тогдашним настроением.

В главе «О пьесах, посвященных Октябрю» Надежда Константиновна разбирает пьесы Корнейчука «Правда» и Погодина «Человек с ружьем». «Надо сказать,— пишет она,— что обоим артистам, играющим Ильича, и тов. Штрауху и тов. Щукину, удалось показать Ленина на трибуне, у тов. Штрауха даже в голосе слышатся иногда нотки Ильича. У тов. Щукина удалась манера Ильича говорить на большом собрании, удалась жестикуляция, труднее гораздо дать Ильича «на ходу». Пока это еще не удалось. Ильич «на ходу» в октябрьские дни еще не дан по-настоящему, над этим надо еще много поработать...

В момент сильных переживаний, бывало, подолгу тихо ходит Ильич по комнате, заложив руки за жилет, тихо, тихо, иногда на цыпочках. Или сидит подолгу не двигаясь, не шевелясь, весь уйдет в свои думы. А вот в «Человеке с ружьем» говорит Ленин с солдатом Шадриным. Слова Шадрина, говорящего о том, что солдаты, как один, будут бороться против войны, не могут не взволновать. На сцене дело изображено так, что, кончив говорить с Шадринным, Ильич бежит в свой кабинет. Ильич живой пошел бы к себе в кабинет медленно, задумавшись.

Ильича часто изображают как поучающего, как ментора. И вот выходит у тов. Штрауха в театре Революции, что, поговорив с рабочим, он издалека как-то, свысока протягивает ему руку. Не так здоровался и прощался Ильич, а попросту. Не знавшие Ленина художники зачастую изображают его на картинах каким-то учителем, который подымает руку и грозит пальцем, приговаривая: «Надо учиться, учиться и учиться». Такой жест не свойственен был Ильичу, он подходил к рабочим, крестьянам, товарищам не менторски, не свысока, а как равный к равному. Поучительный жест сразу искажает образ

Ильича. Он был простой, близкий — в этом была его сила...

Чуткое, внимательное отношение к людям должно быть присуще каждому коммунисту. В корне неправильно считать, что в Ильиче было два человека: один в домашнем быту — веселый, улыбающийся, внимательный к людям, чуткий — и другой в общественной жизни — не улыбка, не интересующийся людьми, тем, чем они живут, что думают. Двух людей не было в Ильиче. Как в быту, так и в борьбе он был один и тот же. Нельзя изображать его каким-то двуликим. Он был замечательно цельным человеком.

Радостно и вместе с тем трудно откликаться на сборник «Н. К. Крупская о Ленине». Рецензент должен все время бороться с искушением цитировать буквально из каждой главы с горячим чувством написанные Надеждой Константиновной строки, рисующие черты живого Ильича. Книга дает целостное представление о титанической деятельности Ленина, о многогранности ленинского гения. Огромную пользу приносит углубленное знакомство с книгой. В ней читатель находит не только воспоминания Н. К. Крупской, но и ее мысли и советы о том, как лучше пропагандировать труды Владимира Ильича, чтобы сделать их достоянием широчайших масс трудящихся.

Особенную ценность приобретают высказывания Надежды Константиновны сейчас, когда неизмеримо окрепшая и возмужавшая в труднейших испытаниях Советская страна торжественно отмечает девяностолетие со дня рождения своего основателя, учителя и вождя, гениальнейшего из людей — Владимира Ильича Ленина.

Этот краткий отзыв хочется закончить отрывком из главы «Беседа с Ильичем».

«У нас в быту сложилось как-то так, что в дни его рождения мы уходили с ним куда-нибудь подальше в лес и на прогулке он говорил о том, что его особенно занимало в данный момент. Весенний воздух, начинающий пушиться лес, разбухшие почки — все это создавало особое настроение, устремляло мысль вперед, в будущее хотелось заглянуть. Остался в памяти один такой разговор в последние годы его жизни...

Сначала он говорил о разных текущих делах, но когда мы глубже зашли в лес, он замолчал, а потом стал говорить — в связи с одним изобретением — о том, как новые изобретения в области науки и техники

сделают оборону нашей страны такой мощной, что всякое нападение на нее станет невозможным. Потом разговор перешел на тему о том, что, когда власть в руках буржуазии, она направляет ее на угнетение трудящихся, что, когда власть в руках сознательного организованного пролетариата, он направит ее на уничтожение всякой эксплуатации, положит конец всяким войнам. Ильич говорил все тише и тише, почти шепотом, как у него бывало, когда он говорил о своих мечтах, о самом заветном. Весь

этот разговор созвучен с общими высказываниями Ильича. Но обидно ужасно, что не стенографическая у меня память».

Может быть, не стенографическая была память у Надежды Константиновны, но все, что она написала о Владимире Ильиче, никто другой написать бы не смог. Ее воспоминания дают яркую картину жизни и деятельности В. И. Ленина, воссоздают с необычайной простотой и правдивостью образ великого вождя и человека.

Н. СТРИЕВСКАЯ.

★

### Живое слово Ленина

Каждая прогрессивная историческая эпоха порождает великих проповедников ее идей — трибунов, ораторов, талантливых мастеров публичной речи. Наше время не является исключением. Мы живем в век, передовые устремления которого с наибольшей полнотой и последовательностью выражены в идеях Великой Октябрьской социалистической революции, открывшей новую эру всемирной истории — эру крушения капитализма и строительства коммунизма.

Гениальный подготовитель, организатор и вождь революции В. И. Ленин был одновременно страстным глашатаем и пропагандистом ее социальных, политических и нравственных принципов.

Ни в чем сила и непобедимость идей пролетарской революции не находили столь глубокого обоснования, как в творениях Владимира Ильича. Никто другой не умел силой живого слова так покоряюще влиять на сознание и чувства людей.

Ленинскому искусству убеждать и посвящена книжка А. Тарасенко. Она рисует яркий образ величайшего оратора революции, образ подлинно народного трибуна, который поднимал миллионы тружеников всех стран на борьбу против угнетателей и эксплуататоров, за новую, светлую, счастливую жизнь.

Ораторское дарование Ленина обнаружилось уже в самом начале его революционной деятельности. В петербургских марксистских кружках девятидесятых годов прошлого столетия, в работе которых он принимал деятельное участие, его высоко ценили

не только как глубокого теоретика и блестящего организатора, но и как превосходного диспутанта и полемиста, умевшего находить сильные и убедительные аргументы против тогдашних главных идейных врагов марксизма — народников.

Обрушивая на врагов марксизма громадную силу своей разносторонней эрудиции, убедительно доказывая несостоятельность их доводов, Ленин победоносно воевал с ними и оружием убийственного смеха. Он в совершенстве владел искусством сатирического обличения, оружием меткой, саркастической шутки, едкого, уничтожающего юмора.

Когда это было необходимо, Ленин в своих выступлениях умело пускал в ход острое, обличительное слово, резкие, ядовитые эпитеты, язвительные реплики, выставляя на посмешище и пригвождая к позорному столбу тех, кто этого заслуживал. Но ему была глубоко чужда, органически противна дешевая, демагогическая манера публичного спора, к какой часто прибегали его оппоненты из антибольшевистского лагеря.

Особенно беспощаден был Ленин к скрытым и потому наиболее опасным врагам пролетариата. Как-то на вечеринке, где П. Струве развивал свои «марксистские» взгляды, Ленин бросил ему реплику:

— Если ваша мысль будет идти и дальше в этом направлении, то меня несколько не удивит встреча с вами когда-нибудь по разные стороны баррикад.

С какой точностью Ленин в столь немногих словах предсказал политическую эволюцию маститого идеолога русского буржуазного либерализма!

Главной и самой многочисленной аудито-



рией, перед которой Ленин выступал с наибольшей охотой, была народная масса — рабочие, крестьяне, солдаты, трудовая интеллигенция, его товарищи и друзья по партии, его единомышленники.

В рецензируемой книжке дан краткий обзор важнейших выступлений Ленина, относящихся к различным периодам его политической деятельности, — от первых рефератов в подпольных социал-демократических кружках до его речей на многолюдных собраниях и митингах, программных докладов на съездах Советов, съездах партии, конгрессах Коминтерна.

Самой примечательной чертой его выступлений была доступность и необычайная доказательность. «Ленин, — пишет автор, — как бы приглашает слушателя вместе с ним проследить, продумать развитие событий, а затем совместно подойти к точно и заранее обусловленному докладчиком выводу. Он обращается к аудитории, призывает ее, беседует с ней, рассуждает. Речь Ленина похожа на анализ мыслей самой аудитории. А тех, кто с ним не согласен, он терпеливо и настойчиво убеждает, но не навязывает своего мнения».

Много людей слушало живую речь Ильича. Те из них, которые оставили нам свои воспоминания, рисуют Ленина как оратора, влияние которого на аудиторию было совершенно неотразимым. Логика в речах Ленина И. В. Сталин назвал какими-то всеильными щупальцами, «которые охватывают тебя со всех сторон клещами и из объятий которых нет мочи вырваться: либо сдавайся, либо решайся на полный провал». По свидетельству Г. М. Кржижановского, Ленин развертывал перед слушателями анализ протекающих на их глазах событий так, что «всем становится ясно, что другого толкования этих событий дать нельзя, как нельзя сомневаться в том, что дважды два четыре». «Я был потрясен простотой и безыскусственной манерой ленинской речи и тем, как он превращал самые трудные вопросы в кристально ясные», — вспоминает Гарри Поллит.

Я знал рабочего.  
Он был безграмотный.  
Не разжевал  
даже азбуки соль.  
Но он слышал,  
как говорил Ленин.  
И он  
знал — все.

Так писал В. Маяковский.

В чем же истоки этих характерных особенностей ленинской речи?

«...Когда я выступал «в качестве оратора», — сказал Ленин, беседуя с Кларой Цеткин, — я все время думал о рабочих и крестьянах как о своих слушателях. Я хотел, чтобы они меня поняли. Где бы ни говорил коммунист, он должен думать о массах, он должен говорить для них». Трудящиеся массы были для Ленина не пассивным «объектом пропаганды», а живыми людьми, думающими, переживающими, требующими внимания к своим нуждам и запросам, заслуживающими самого высокого уважения как подлинные творцы истории.

Чрезвычайно любопытен разговор, какой Владимир Ильич имел со старой большевичкой тов. Левитас в мае 1920 года. Довелось ей сделать доклад на собрании партийного актива московской городской организации. На трибуне она очень волновалась и выступила не совсем удачно. К присутствовавшему тут же Ленину она обратилась с вопросом:

— Владимир Ильич, а вы волнуетесь, когда выступаете?

Ленин ей ответил:

«— Большевики, эсеры и прочая (так и сказал — «прочая»), когда выступают, не волнуются. А не волнуются они потому, что смотрят на людей, перед которыми выступают, свысока... Я людей уважаю и потому, когда выступаю, конечно, волнуюсь».

Отсюда и другое качество Ленина-оратора: он никогда не решался на публичное выступление, если самым основательным образом к нему не подготовился. Ленин почти никогда не выходил на трибуну с заранее написанным от начала до конца текстом речи. Он говорил, а не читал. Но за каждым его словом стояла интенсивная предварительная работа мысли. Его выступления — это не экспромты, не импровизация, а логически стройная система идей, заранее строго продуманная и тщательно отработанная.

Ленин не любил внешнего блеска, нарочито придуманных словесных красот, рассчитанных на то, чтобы не убедить слушателей, а ошеломить их. Эмоциональная сила его речей достигалась не театральной позой, не эффектными жестами и пышными фразами, а яркостью, содержательностью, жизненной правдивостью выражаемых им мыслей и чувств, в которых слушатели

угадывали свои собственные глубокие переживания, сокровенные думы и заветные мечты.

Весьма поучительны стиль, ораторские приемы и особенности языка устных выступлений Ленина.

В зависимости от уровня развития слушателей, сложности освещаемой темы, характера поставленной задачи Ленин строил свои речи либо по ступенчатому, либо по концентрическому принципу. В первом случае главная цель выступления раскрывалась не сразу, не в одном тезисе; изложение материала шло как бы со ступеньки на ступеньку, выдвигаемые положения рассматривались последовательно, одно за другим. Во втором случае Ленин развивал главное положение на всем протяжении речи, время от времени возвращаясь к нему и одновременно углубляя его. Он не просто повторял основной тезис, а каждый раз подавал его по-новому, в тесной связи с другими вопросами, помогавшими обоснованию и развитию центральной идеи. Из ленинского разбора конкретных жизненных явлений выводились общне закономерности, а те в свою очередь конкретизировались и служили основой для определенных выводов и постановки практических задач.

Богат и разнообразен арсенал ораторских средств, которыми владел Владимир Ильич. В каждом из них видны специфические «илъичевские» черты, которые отличают его речь от речи всех других ораторов. Но какой бы прием он ни использовал — риторический диалог, призывную или вопросительную форму обращения к слушателям, повторение ранее высказанной мысли с целью ее усиления, ссылку на литературный образ или общезвестный факт, дословное цитирование или пересказ цитат своими словами, ответы на вопросы и реплики, раздававшиеся из зала, сравнение, провозглашение лозунга и так далее, — любой из них был теснейшим образом связан со всем содержанием речи. Каждая его речь, какую бы форму она ни имела, была в одну точку, преследовала одну цель — обосновать теорию, программу, политику Коммунистической партии, призвать массы к активным организованным действиям, к сплоченной

борьбе за осуществление великих идеалов пролетарской революции.

Достижению этой цели способствовали и языковые средства, которыми владел Ленин. Каждое выступление Владимира Ильича — великолепный образец культурной русской речи. По своей сочности, выразительности, художественной образности, богатству словосочетаний и разнообразию смысловых оттенков язык Ленина совершенно беспримечен. Все ценное и прекрасное, что накопилось в народном разговорно-бытовом языке, как и в языке классической литературы и науки, органично вошло в словарный фонд Владимира Ильича и делало его речь неподражаемо яркой и впечатляющей, однаково сильно действующей на человеческий ум и на человеческое сердце.

Свободно владея многими иностранными языками, он никогда не стремился блеснуть этим перед аудиторией. Гениальный ученый, создавший множество выдающихся научных трудов по истории, философии, политической экономии, он ни перед кем не щеголял своей высокой ученостью.

Ленин не терпел пустозвонства и праздного многословия. Советуя пропагандистам партии, чтобы они говорили просто и ясно, «отбросив решительно прочь тяжелую артиллерию мудреных терминов, иностранных слов, заученных, готовых, но непонятных еще массе, незнакомых ей лозунгов, определений, заключений», он подавал пример того, как надо разговаривать с рабоче-крестьянской массой.

«В сокровищнице ленинского языка, — пишет автор, — каждый пропагандист, агитатор, лектор, докладчик найдет для себя драгоценные зерна, которые при правильном и творческом использовании дадут благодатные всходы».

Эти верные слова относятся ко всему пропагандистскому, ораторскому искусству Владимира Ильича. Оно является замечательным образцом, на котором все мы учимся умению разъяснять массам идеи марксизма-ленинизма, умению будить в народе глубокие мысли, чувства, стремления.

**И. ЗБОРОВСКИЙ.**

## Волнующие документы

Письма трудящихся к Ленину — выражение горячей любви и высокого уважения народа к основателю первого в мире социалистического государства. В Ленине народ видел воплощение всех лучших человеческих качеств, качеств кристально чистого коммуниста. Адресуясь к Ленину, авторы писем обращались к Партии, к ее Центральному Комитету.

Впервые выходящие отдельным изданием письма трудящихся к В. И. Ленину — замечательные документы великой эпохи. Написанные в годы гражданской войны и вскоре после ее завершения, письма сохранили духовную атмосферу тех лет, они полны революционной бодрости, оптимизма, твердой веры в конечное торжество великих идей ленинского гения.

В письмах нашли свое выражение нерушимые связи Коммунистической партии с широчайшими народными массами. В неустанном укреплении этих связей Ленин видел одну из самых важных задач большевиков.

Тысячи писем получал Владимир Ильич со всех концов страны — из больших и небольших городов, из сел, деревень, холмистых поселений. Рабочие и крестьяне, красноармейцы, представители трудовой интеллигенции знали, как чутко прислушивается к их советам Ленин, с какой сердечностью откликается он на их самые различные просьбы.

Особенно широким потоком шли письма после ранения Владимира Ильича в 1918 году, весной 1920 года — в связи с его пятидесятилетием и в марте 1923 года, когда отмечалось двадцатипятилетие существования Коммунистической партии.

К сожалению, эти важные и интересные документы эпохи сохранились далеко не полностью. С присущей ему величайшей скромностью Ленин не разрешал публиковать эти письма на страницах печати. Все же часть их сохранилась в Центральном партийном архиве и Центральном государственном архиве Октябрьской революции.

Около шестисот помещенных в сборнике документов свидетельствует о том, что

граждане молодой Советской страны, строители новой жизни считали своим нравственным, революционным долгом писать любимому вождю о всяком значительном событии.

Простые люди с гордостью и радостью сообщают Ленину об освобождении городов и сел от белогвардейцев и интервентов, о создании партийной ячейки и сельскохозяйственного кооператива, о вводе в строй восстановленных фабрик и заводов, об открытии народного университета, нового детского дома... Нет в русском языке таких теплых, задушевных слов, которые не были бы обращены к Ленину.

Со словами, идущими, как пишет рабочий Ефим Игнатов, «от самой глубины пролетарского сердца», обращаются к Ленину советские труженики.

Ленину писали коммунисты и беспартийные, кадровые пролетарии и организаторы первых сельскохозяйственных коммун. К Владимиру Ильичу со своими глубоко искренними и бесхитростными пожеланиями обращались и участники различных съездов, конференций, собраний, и «небольшая горсточка красноармейцев», и «незамощные селяне»...

Ленина избирали почетным членом сельскохозяйственных коммун и рабочих съездов. Рабочие киевского «Арсенала» включили Владимира Ильича в списки рабочих завода как почетного токаря-металлиста, а курсанты 3-й Киевской военно-инженерной школы избрали его почетным курсантом-инженером.

Свою любовь к основателю и вождю Коммунистической партии рабочие и крестьяне выражали не только словом, но и живым делом. Именем Ленина назывались построенные по его призывам новые электрические станции, народные дома, клубы, библиотеки-читальни. В его честь создавались фонды помощи беспризорным детям, проводились «ленинские субботники», зачиналось социалистическое строительство.

Письма к Владимиру Ильичу после предательского выстрела эсерки Каплан полны тревоги за его здоровье, ненависти к врагам революции. Письма говорят о непреклонной воле народа к победоносному стремлению к единению с партией, советским правительством.

«Ваша рана — наша рана», — пишут рабочие Москвы. «Революция ранена, но она живет, жить будет, должна жить», — пишут авторы другого письма. «Рабочие просят и требуют, чтобы ты жил», — пишут тульские оружейники. И всюду — биение горячей мысли: «Да здравствует вся в целом партия коммунистов!». «Перед твоими ранами мы клянемся, не щадя своей жизни, бороться до конца».

Большая группа публикуемых писем относится к периоду гражданской войны и иностранной военной интервенции. Во всех этих документах, написанных в тяжелейшее для страны время, выражается твердая решимость народа отстоять Советскую власть. Для этой великой цели рабочие и крестьяне готовы отдать все — хлеб, труд и, если нужно, самую жизнь. «Лучше умрем, чем опять станем рабами», — писали в январе 1919 года крестьяне Витебской губернии.

Но вот гражданская война закончилась. В стране началось мирное строительство, восстановление народного хозяйства. Меняется и основное содержание писем народа к В. И. Ленину. В них начинается сквозить забота о вводе в строй фабрик и заводов, о подъеме производительности труда, об увеличении посевных площадей, но в то же время они полны непоколебимой уверенности в том, что разруха и голод будут побеждены.

Подмосковные шахтеры заверяют В. И. Ленина: «Нами будут приняты все меры к поднятию производительности труда». Красноармейцы и командиры 17-й кавдивизии не сомневаются, что «в самый кратчайший срок будет достигнута решительная победа над разрухой». Канавинский совет заверяет, что он «выполнит тяжелую работу, возложенную на него по борьбе с экономической разрухой, путем поднятия интенсивности труда на фабриках и заводах Канавина, показывая лично пример в работе». Крестьяне Екатеринославской губернии пишут: «Всем, чем мы сможем, облегчим голод и страдание рабочих Севера». Рабочие-кожевники Киевской губернии писали: «Мы восстановим наше разрушенное хозяйство и впредь будем строить заводы по последнему слову техники, столь необходимые для скорейшего восстановления народного хозяйства республики и полного торжества социализма».

Рабочие Волховстроя кратко выразили мысль, которая содержится во всех письмах к вождю: «С тобой мы победим».

Публикуемые письма к В. И. Ленину ярко показывают силу и действенность национальной политики Коммунистической партии.

Приветствия Ленину шлют первые комсомолцы Татарии. Свою братскую солидарность с мировым пролетариатом выражают съехавшиеся на свою первую конференцию представители «туземных народностей Тобольского Севера», избравшие Владимира Ильича своим почетным председателем.

Участники многотысячного торжественного митинга в честь третьей годовщины Татарской республики видят в ее автономии «знамя освобождения угнетенных народностей Востока». Сыр-дарьинские кожевники отмечают «неоценимые заслуги товарища Ленина в борьбе за осуществление диктатуры пролетариата и за раскрепощение народов, населяющих Восток». Студенты Коммунистического университета трудящихся Востока пишут о зернах, выросших из посеянных ленинскими идеями «семян на нивах, пустынях и в горах Востока». Съезд ходячей (мусульман, побывавших в Мекке) Аджаристана видит в Ленине знаменосца «священного знамени Революции». «Народы Востока знают одного вождя — тов. Ленина, и только с ним им по пути», — обращаются к Владимиру Ильичу трудящиеся Узбекистана. Делегаты Всеукраинского съезда Советов в декабре 1922 года писали: «В тесном союзе и единении с прочими советскими республиками будем работать для осуществления принципов коммунизма».

В сборнике публикуются некоторые новые документы В. И. Ленина, характеризующие его внимательное и чуткое отношение к простым людям, людям труда.

Красноармеец С. Истраткин, вернувшись с фронта, застал семью без хлеба. Ленин пишет: «Т. Горбунов! Подумайте, нельзя ли помочь. Ленин 31.3.21».

Красноармеец В. Кругликов, заболел, просит у В. И. Ленина помощи. Ленин пишет Э. М. Склянскому: «Прошу помочь ему».

Узнав о пожаре в домах железнодорожников в Саратове, Ленин немедленно приказывает: «В Малый Совет: необходимо

централизовать и объединить помощь, правильно распределяя ее. Ленин. 31/8 1920»

Письма трудящихся к В. И. Ленину — эти простые, бесхитростные человеческие документы — красноречивое свидетельство

неразрывной связи великого вождя с народом, свидетельство единства народа с его боевым авангардом — Коммунистической партией.

**Р. ЛАВРОВ.**

★

## Тринадцать дней, которые вселили надежду

Прошло более полугодика со времени поездки Н. С. Хрущева в США. Но чем больший срок отделяет нас от тех дней, тем ярче, выпуклее предстает значение этого поистине исторического события. Пребывание главы Советского правительства в Соединенных Штатах, его встречи с простыми людьми, правдивость, откровенность и доказательность его высказываний нашли путь к сердцу и разуму миллионов.

Долгие годы американцев обрабатывали в антисоветском духе при помощи мощного аппарата капиталистической пропаганды; им внушали нелепейшие представления о Советском Союзе; их запугивали «коммунистической экспансией». И вот трудовой люд Америки увидел «коммуниста номер один» — американцы убедились в доброй воле Никиты Сергеевича Хрущева, в его дружелюбии, в горячем стремлении к миру. Они были покорены его простотой, искренностью, остроумием. «...Вам, как волшебнику, удалось развеять у многих американцев чувство недоверия и вражды, тщательно насаждавшееся на протяжении десяти лет, — говорится в письме одного из простых американцев Никите Сергеевичу. — У нас сейчас такое ощущение, будто наши умы глубоко перепажены плугом. Недоверие оголило на задний план, его место заняло чувство надежды на мир во всем мире».

Сдвиги в американском общественном мнении оказали влияние на дальнейшее развитие международных событий. Простые люди Соединенных Штатов так решительно выражали свои симпатии к Н. С. Хрущеву, свою волю жить в дружбе с Советским Союзом, что правящие круги США не смогли игнорировать их волю. Так родился

«дух Кэмп-Дэвида», наметилась потепление в международных отношениях.

О тринадцати днях пребывания в Америке Никиты Сергеевича Хрущева рассказывает книга «Лицом к лицу с Америкой». Написанная по горячим следам событий коллективом авторов, которым посчастливилось быть свидетелями визита главы Советского правительства в США, она не только воссоздает все детали его поездки, не только полно освещает ее. Авторам удалось с документальной точностью показать все перипетии этого выдающегося события, и по сей день глубоко влияющего на политическую «погоду» во всем мире.

Читатель найдет в книге интересные сведения об американских городах, сумеет представить себе контрасты сегодняшней Америки. Вашингтон, где роскошь и комфорт богатых вилл соседствуют с нищетой и трущобами в районах, населенных бедным людом. Нью-Йорк с его небоскребами, Сан-Франциско и красочный Лос-Анжелос, тихий город Де-Мойн... Ведь хочется не только знать, как встречали Никиту Сергеевича американцы, но и представить себе места, где он побывал...

Читая книгу, испытываешь чувство большой гордости и радости. Как велика сила коммунистических идей, какое могучее оружие — слово ленинской правды! Выступление Н. С. Хрущева — пример того, как надо отстаивать наши взгляды в любой обстановке, подчас под напором враждебных сил.

Никите Сергеевичу не раз приходилось участвовать в жарких схватках, оказываться лицом к лицу с апологетами капитализма. Мы читали меткие, острые реплики Н. С. Хрущева в газетных отчетах в дни его пребывания в США. А теперь, в книге, перечитываем их с тем же интересом. И вновь радуемся победам, одержанным представителем Советского Союза.

Одна из самых острых схваток произошла во время встречи главы Советского правительства с руководителями профсоюзов АФТ—КПП. Рейгер и Кэри, профсоюзные

**А. Аджубей, Н. Грибачев, Г. Жуков, Л. Ильичев, В. Лебедев, Е. Литовко, В. Матвеев, В. Орлов, П. Сатюков, О. Трояновский, А. Шевченко, Г. Шуйский.** Лицом к лицу с Америкой. Рассказ о поездке Н. С. Хрущева в США. 680 стр. Госполитиздат. М. 1959.

боссы и вернейшие слуги монополий, тщательно готовились к беседе в Сан-Франциско.

«Перед Рейтером лежал объемистый фолиант — заранее разработанный сценарий беседы, и он без стеснения вычитывал оттуда свои вопросы и реплики, — рассказывает в книге. — Остальные были тоже вооружены бумажками. Заблаговременно были распределены не только выступления, была строго рассчитана их очердность... И весь этот хитро сплетенный, но в то же время, мы бы сказали, глуповато-наивный план был сметен, словно ураганом. Глава Советского правительства сразу же взял инициативу в свои руки и поставил в центр беседы коренные вопросы, живо интересующие рабочий класс всех стран: вопросы борьбы за прекращение гонки вооружений; советские предложения о полном и всеобщем разоружении; вопрос о том, как ликвидировать напряженность в отношениях между государствами и обеспечить дружественное сотрудничество между ними». Н. С. Хрущев вышел победителем в этой и в других трудных битвах за правду.

В этой главе сжато рассказана история рабочего движения в США, дан анализ расстановки сил. И сразу становится ясно, почему профсоюзные лидеры Рейтер, Кэри, Мини и другие столь же люто ненавидят Советский Союз, как иные хозяева крупных монополий, фабриканты и заводчики.

Мы говорим «как иные» потому, что в деловых кругах США есть немало трезво мыслящих людей, осознающих необходимость мирного сосуществования с СССР, необходимость улучшения советско-американских отношений. Известный промышленник Сайрус Итон, банкир Джеймс Уорберг настроены куда более прогрессивно, нежели реакционные профсоюзные лидеры. За сближение с Советским Союзом и всем социалистическим лагерем в целом, за признание Китайской Народной Республики выступают теперь многие сенаторы США. И даже некоторые из тех, кто был недавно непримиримым врагом нашей страны, начинают мыслить более реально.

В чем причина этих сдвигов? Книга «Лицом к лицу с Америкой» дает ответ на этот вопрос. «...На рубеже шестидесятых годов нашего столетия произошли великие события, которыми начинается новый этап в истории, — говорится в книге. — Советский Союз, все социалистические страны в ре-

зультате ошеломляющих успехов в экономике, политике, технике и науке выросли в мировую систему; обладающую не меньшим могуществом, чем вся капиталистическая система, и неизмеримо большей энергией развития. Советская страна первой повела человечество на штурм космоса.

Разговоры о «разгроме коммунизма» и «отбрасывании коммунизма» превратились в чистую утопию, в пустое времяпрепровождение для филистеров. Лишь насмешливую улыбку могли теперь вызвать басни о «внутренних противоречиях», под бременем которых якобы должен был рухнуть Советский Союз. Война становится анахронизмом, так как капитализм может в ней все потерять, но не может ничего приобрести. Социализму не нужна война. В силу своей природы социализм никогда не собирался и не собирается экспортировать свои идеи на штыках».

Неизмеримо вырос авторитет Советского Союза. Кто, кроме безнадежных авантюристов, может рассчитывать победить в войне с могучей державой, запустившей первых спутников Земли?

Советский Союз в техническом отношении обогнал Запад. Он располагает самыми современными и разрушительными видами оружия. Но именно наша страна — горячий, страстный поборник разоружения, отказа от оружия массового разрушения. В книге передана замечательная атмосфера выступления Н. С. Хрущева на Генеральной Ассамблее ООН 18 сентября прошлого года. В три часа дня по нью-йоркскому времени, когда слово было предоставлено главе Советского правительства, все делегаты стоя бурными овациями приветствовали Н. С. Хрущева.

С первых же слов Никиты Сергеевича слушатели замерли в напряженном внимании. «В международных делах, в решении спорных проблем, — сказал Н. С. Хрущев с трибуны ООН, — успех возможен, если государства будут ориентироваться не на то, что разделяет современный мир, а на то, что сближает государства. Никакие социальные и политические различия, никакие расхождения в идеологии и религиозных убеждениях не должны мешать государствам — членам ООН договориться о главном — о том, чтобы принципы мирного сосуществования и дружеского сотрудничества свято и неукоснительно соблюдались всеми государствами».

Убедительно и ясно показал глава Советского правительства несостоятельность и гибельность «холодной войны», политики «с позиции силы». Он изложил план всеобщего и полного разоружения, призвал создать мир без оружия, без войн. Буржуазные обозреватели вынуждены были признать, что благородство и широта этого плана завоевали сердца миллионов людей во всем мире. В книге рассказано о том, как вся Америка буквально жила новостями о речи Н. С. Хрущева в ООН. Радиостанции и телевидение, газеты всех направлений передавали содержание советских предложений. Поток писем в ООН, в советское посольство в Вашингтоне, в редакции газет и журналов, в Москву.

«Это выступление должно войти в историю как одно из величайших заявлений, сделанных человеком, — пишут две простые американки. — Он все продумал и говорил с безупречной логикой... Когда он говорил о мире и справедливости для всего мира, это прозвучало как защита всего жаждущего человечества». Токийская домохозяйка г-жа Вако Такавара написала письмо в газету «Асахи»: «Когда я читала выступление Премьера Хрущева на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, мое сердце наполнилось светлыми надеждами».

Светлые надежды... Они рождались везде, где раздавался голос посланца могучей Советской державы, голос мира. И поэтому так радостно встречали Н. С. Хрущева на улицах американских городов и сел люди, выдавшие немало тяжкого в жизни.

Авторы книги рассказывают о встрече в Кэмп-Дэвиде, вернее о том, что предшествовало уединенной беседе глав правительств двух великих держав, о том, что происходило за кордоном охраны. Журналисты, фотокорреспонденты, даже приближенные президента Эйзенхауэра не были допущены в виллу «Осину» — скромный дом, расположенный в лесу. «За небольшим столиком, покрытым зеленым сукном, сидели у зеркального окна президентской виллы двое людей с резко различными убеждениями, воспитанием, традициями. С одной стороны стола — русский рабочий, революционер, убежденный коммунист, глава правительства социалистического государства, с другой — профессиональный военный, небожний человек, верящий в капиталистическую систему и уполномоченный правящим классом своей страны стоять на страже ин-

тересов этой системы. И все же разные люди должны были попытаться найти общий язык...»

Встреча в Кэмп-Дэвиде «была лишь начальными строками того, что намерена занести на свои страницы история во второй половине нашего бурного века», — отмечают авторы книги. Но важно уже то, что два государственных деятеля договорились избегать войны, решать спорные вопросы путем переговоров. Это большая победа советской политики мира, принципов сосуществования.

...С тех пор как в Кэмп-Дэвиде были приняты эти решения, произошло немало важных событий. Показательно, что после выступления Н. С. Хрущева на сессии Генеральной Ассамблеи ООН ни одно из капиталистических государств не решилось выступить в ООН против исполненного благородства и гуманности плана всеобщего и полного разоружения.

Решение о встрече глав правительств в Париже было принято вскоре после пребывания Никиты Сергеевича в США. А ведь разговоры о необходимости созыва такого совещания шли годами. Поборники «холодной войны», противники мирного сосуществования между Востоком и Западом были вынуждены отступить. Время покажет, сумел ли Запад понять жизненную необходимость сохранения и развития «духа Кэмп-Дэвида».

Делу мира и сохранению добрых отношений между народами способствовала и поездка Н. С. Хрущева в страны Юго-Восточной Азии и во Францию. Визит Н. С. Хрущева в Индонезию, пребывание его в Индии, Бирме и Афганистане — наглядное претворение в жизнь ленинской политики мирного сосуществования, уважения ко всем народам, большим и малым, бескорыстной помощи государствам, недавно обретшим независимость.

Книгу «Лицом к лицу с Америкой» дополняют письма наших соотечественников, зарубежных друзей, простых американцев. Уверенный голос миллионов трудящихся подкрепляет, усиливает, придает еще больший вес всему, что говорил от имени своего народа Никита Сергеевич Хрущев. Политику Советского Союза, политику мира и дружбы поддерживают честные люди во всех странах.

**А. БЕЛЬСКАЯ.**

## Книга об Ипполите Мышкине

Издательство «Молодая гвардия» выпустило в серии «Жизнь замечательных людей» несколько книг о революционерах семидесятых годов XIX века.

Познакомить молодежь с представителями блестящей плеяды революционеров 70-х гг., предшественниками социал-демократов — большое и нужное дело. Несомненно не только познавательное, но и воспитательное значение таких книг. Жизнь человека, отдавшего себя делу освобождения народа, способна вдохновить не одно поколение молодежи, являя собой образец для подражания. Однако для того, чтобы эта воспитательная задача была выполнена, жизнеописание великого человека должно в первую очередь соответствовать исторической правде. К сожалению, не все книги о русских революционерах-семидесятниках могут удовлетворить читателя в этом отношении.

Книга В. Прокофьева о Степане Халтурине получила дельный и объективный, на наш взгляд, разбор в рецензии В. Чубинского («Нева», № 12, 1959), который справедливо указал на недопустимость вольного, небрежного обращения с историческими фактами. Еще большее неуважение к истории проявилось в книге Л. Островера об Ипполите Мышкине.

Поэтому недоумение вызывает высокая, хотя и бездоказательная оценка этой книги в рецензии Ю. Нагибина («Знамя», № 1, 1960). Такая оценка способна только дезориентировать читателя. Ю. Нагибин утверждает, что «правильное истолкование личности Ипполита Мышкина позволило автору правильно осветить и его жизненный путь, объяснить трагические перипетии его биографии». Ю. Нагибин находит даже, что «книга писателя Л. Островера об Ипполите Мышкине представляет собой нечто значительно большее, чем простое жизнеописание». С таким отзывом никак нельзя согласиться.

Ипполит Никитич Мышкин — один из наиболее ярких представителей движения семидесятых годов. Он отразил противоречия революционного народничества, его сильные и слабые стороны. В программной

речи на «процессе 193-х» (1877 год) он четко и ясно определил свои убеждения. «Основная задача социально-революционной партии, — сказал он, — установить на развалинах теперешнего государственно-буржуазного порядка такой общественной строй, который, удовлетворяя требованиям народа в том виде, как они выразились в крупных и мелких движениях народных и повсеместно присущи народному сознанию, — составляет вместе с тем справедливейшую форму общественной организации. Строй этот — земля, состоящая из союза независимых производительных общин».

Здесь ярко проявились специфические народнические черты мировоззрения И. Мышкина: его вера в социалистический характер крестьянской революции, в «коммунистические инстинкты мужика», в возможность для России миновать капиталистическое развитие, вера в общину как зародыш и основу развития социализма. Таким же убежденным народником предстает И. Мышкин и в своей переписке с товарищами по тюрьме и в воспоминаниях его соратников.

В книге Л. Островера И. Мышкин выступает как революционер, в основном преодолевший народнические иллюзии и приближающийся к марксизму. Уже в аннотации к книге читателю сообщают, что Мышкин «верил в будущее рабочего движения». Эта мысль, не подкрепленная никакими фактами, становится лейтмотивом политической характеристики И. Мышкина в книге Л. Островера. И. Мышкин в изображении автора не верит в то самое, что его живой, реальный прототип провозгласил как свою программу. Если подлинный Мышкин предсказывал неизбежность народной революции, призывал к ней, утверждал, что только она одна сможет установить новый справедливый строй, то Мышкин — герой книги Л. Островера не верит в крестьянскую революцию. «Один мужик не сделает революцию!» — заявляет он. Не верит он и в общину. «Нет социализма в общине, уверяет он... не из русского общинного уклада черпает он доказательства, а из практики западноевропейских социалистических партий, из протоколов I Интернационала...» — так говорят о нем другие народники в книге. Все помыслы и надежды И. Мышкина, все его планы обращены к рабочим. Вот он напо-

Л. Островер. Ипполит Мышкин. Редактор Ю. Коротков. 240 стр. «Молодая гвардия». М. 1959.



минает товарищам о рабочих забастовках, восклицая при этом пренебрежительно: «А вы все твердите «мужик да община». В ответ на их возражение, что рабочих в России мало, он произносит речь, из которой следует, говоря словами рецензии Ю. Нагибина, что он «уже провидел будущее, уже учитывал расстановку классовых сил в стране, уже понимал, что революционная сила крестьянства может полностью проявиться лишь в союзе с крепнущим изо дня в день рабочим классом».

«Сорвите повязку с глаз! — обращается Мышкин к народникам. — Из деревень гонится народ в город, и все на фабрики, на заводы. Их уже сотни тысяч, а завтра-послезавтра их будет миллион!» И он сокрушается, что в народнических кружках мало рабочих.

Этот революционер, разделявший веру в «самобытное» развитие России, по воле автора рассуждает, как марксист: «А ведь законы общественного развития одинаковы как для России, как и для Западной Европы!» И призывает действовать так, «как действуют социалисты на Западе».

Чтобы у читателя не осталось сомнения в превосходстве Мышкина над остальными народниками, автор делает его сторонником диктатуры пролетариата. «Я за Парижскую коммуну, только без ее ошибок!» — заявляет он.

В книге Л. Островера И. Мышкин представлен чуть ли не сформировавшимся марксистом. Эта мысль еще более углублена Ю. Нагибиным. В своей рецензии он приходит к совершенно антиисторическому выводу о том, что Мышкин «шел к марксистскому пониманию социальной обстановки своего времени, притом не ощупью, а сознательно, стремясь осмыслить, обосновать свои взгляды».

Что же дало автору и рецензенту возможность так охарактеризовать И. Мышкина? Может быть, были обнаружены какие-либо новые материалы о его жизни и деятельности, заставившие пересмотреть взгляд на него как на народника? Следов таких новых документов в книге нет. Наоборот, даже круг старых, давно известных источников, положенных Л. Островером в основу жизнеописания Мышкина, очень узок. Отметим здесь, кстати, что единственный использованный автором архивный источник (Записки И. Н. Мышкина, ЦГИАМ, III Отд., 3 эксп.), упомянутый им с добав-

лением «Публикуется впервые», опубликован тридцать лет назад в журнале «Каторга и ссылка»<sup>1</sup>.

Источники свидетельствуют, что Мышкину были свойственны интерес и симпатия к рабочим, стремление вести среди них революционную пропаганду, что он признавал влияние международного рабочего движения на русских революционеров. Эти же взгляды в той или иной степени были присущи и другим народникам. Революционеры семидесятых годов деятельно вели пропаганду среди рабочих, что было одной из форм «хождения в народ», одной из попыток сближения с ним. Упреки, которые Мышкин в книге Л. Островера обращает в адрес своих товарищей, якобы «забывших» рабочих, не имеют реальной основы. Однако деятельность народников среди рабочих преследовала цель подготовки пропагандистов для деревни. Народники не видели в пролетариате самостоятельного класса. В своей речи на суде Мышкин обнаружил такое же понимание рабочих — как части народа, составляющей единое целое с крестьянством. Да и не могли народники понять исторической роли пролетариата как класса-гегемона. В период шестидесятых—семидесятых годов, по словам В. И. Ленина, «...в общем потоке народничества пролетарски-демократическая струя не могла выделиться. Выделение ее стало возможно лишь после того, как идейно определилось направление русского марксизма (группа «Освобождение труда», 1883 г.) и началось непрерывное движение в связи с социал-демократией (петербургские стачки 1895—96 годов)».

Л. Островер, характеризуя рабочего П. Алексева, пишет, что в отличие от большинства народников Петр Алексеев включал в понятие народ, а подчас (?) и ставил на первое место рабочий класс. Здесь автор обнаруживает непонимание того, что специфической чертой народнического мировоззрения как раз и было «включение в понятие народ» рабочего класса, что и отличало его от марксизма, подчеркивавшего самостоятельную историческую роль пролетариата.

В изображении Л. Островера И. Мышкин и в организационных вопросах на голову выше других народников. Он требует

<sup>1</sup> А. А. Кункль. Из переписки И. Н. Мышкина с товарищами по заключению. «Каторга и ссылка», № 5, 1930.

организации партии, и не просто партии, а партии с двумя программами — минимум и максимум. Как об особенностях его взглядов, выделяющей его из массы народников, Л. Островер говорит о том, что «Мышкин считал себя членом социально-революционной партии, хотя такой партии тогда и не было, этим он хотел подчеркнуть, что назрела необходимость в создании партии». Но ведь членами социально-революционной партии называли себя, как правило, все революционеры семидесятых годов. Достаточно было бы Л. Островеру просмотреть протоколы допросов и речи на суде других подсудимых «процесса 193-х», чтобы убедиться в этом. И такая партия действительно существовала, вопреки его мнению. Все дело в том, что смысл терминологии, употребляемой нами сейчас и в семидесятых годах прошлого века, различен. Понятия «партия» и «организация» не являлись тогда тождественными, как теперь. Для революционеров-семидесятников совокупность всех групп, кружков и лиц, придерживающихся социалистических воззрений всех оттенков, и составляла социально-революционную партию. Мышкин на суде раскрыл смысл понятия о партии, заявив, что под ним подразумевается вся масса лиц одинаковых убеждений, «между которыми существует хотя преимущественно только внутренняя связь, однако связь достаточно реальная, обусловленная единством целей и большим или меньшим образом средств практической деятельности». Он объяснил, что никаких организационных отношений между членами партии не существует. Таким образом, вывод Л. Островера построен на терминологическом недоразумении.

Итак, автор упорно старается выделить Мышкина из среды народников и даже в известной степени противопоставить им. Народники-эмигранты говорят в книге о Мышкине как о чуждом им человеке, который «зачеркивает все, что они считают незбылемым». Народники — товарищи Мышкина по тюрьме также не видят в нем единомышленника. Его взгляды казались им чем-то «таким далеким от их скромных помыслов, что, не находя веских аргументов для опора, они обвиняли Мышкина в «насиловании истории». Сам автор, после того как в достаточной степени обрисовал «ненароднические» настроения И. Мышкина, спрашивает: «Могли ли народники понять,

а тем более согласиться с Мышкиным?» У них «кружилась голова от смелого полета мышкинских идей».

Но ведь исторические факты как раз говорят о том, что народники понимали Мышкина, соглашались с ним. После своей речи на суде Ипполит Мышкин стал одним из наиболее популярных революционеров в народнической среде. Не случайно строились планы его освобождения из тюрьмы, не случайно его речь на суде перепечатывалась, гектографировалась, переписывалась от руки в тысячах экземпляров. Не случайно, а именно потому, что Мышкину удалось ярко, полно, последовательно раскрыть народническую программу того периода борьбы. Потому-то речь его была так понятна революционерам-народникам.

Вместо того чтобы охарактеризовать то исторически прогрессивное, что было в деятельности Ипполита Мышкина как революционного народника, автор попытался возвеличить его, искусственно приподняв над движением семидесятых годов.

Читая книгу, нельзя не почувствовать, что автор недостаточно уяснил себе историческую сущность революционного народничества как общественно-политического течения. Он осуждает народников как: людей, для которых высшая форма революционной деятельности умещалась в расплывчатом лозунге «Все для народа и все через народ». Он и Мышкина заставляет осудить этот лозунг. А ведь этот девиз выражает очень ярко революционно-демократическую сущность народничества, стремление «поднять крестьянство на социалистическую революцию против основ современного общества» (В. И. Ленин). Что может быть неясного, расплывчатого в этом лозунге, который раскрывается в ряде документов революционно-народнических организаций? Все для народа — то есть земля и воля народу. Все через народ — значит общественный переворот путем крестьянской революции. Не понять смысла этого лозунга — значит не понять исторически реального содержания революционного народничества, которое В. И. Ленин учил отличать от его утопической оболочки. И автор часто обнаруживает такое непонимание.

Не уяснив себе самой сущности народничества семидесятых годов, не поверив в его революционность, Л. Островер позволяет себе неверный тон при характеристике его

деятели. Одного из лучших представителей революционеров семидесятых годов — Порфирия Ивановича Войнаральского — он называет почему-то «прекраснодушным», намекая на его либерализм. Этому убежденному народнику он заставляет И. Мышкина доказывать, что «земля и воля» — цели, за которые народ пойдет на бунт. Народников-эмигрантов Л. Островер характеризует как «интеллигентов», которые «хотя и «облагодетельствовать» народ». Он считает, что они способны относиться к Мышкину с недоверием потому, что он «вчерашний раб».

Невольно вспоминаешь о том глубоком уважении, которое испытывали к революционерам-народникам русские социал-демократы. В. И. Ленин, имея в виду народников, говорил, что социал-демократов нельзя упрекнуть «в том, чтобы они не умели ценить громадной исторической заслуги этих лучших людей своего времени, не умели глубоко уважать их памяти».

Л. Островер не видит этой исторической заслуги народников и заставляет своего героя сомневаться в смысле их деятельности. Мышкин спрашивает у своего товарища: «Вот ты, я и все наши народники, за что мы воевали? Вспомнишь и диву даешься: какая была у нас цель?» И эти слова приписаны автором революционеру, посвятившему свою жизнь борьбе за народное дело! Революционеру, который, будучи приговорен к смерти, с гордой уверенностью писал: «Я чист перед собой и людьми, я всю жизнь отдал на борьбу за счастье трудового угнетенного народа...»

В книге имеются фактические ошибки.

В ряде случаев из-за слабого знания материала произошло искажение самого смысла происшедших событий. Вот автор описывает жизнь И. Мышкина в 1869 году. По его выражению, она в это время «текла ровно и тихо, как ручеек на дне оврага». А ведь Мышкин в этом году, находясь на военной службе, за попытку побега был посажен на гауптвахту. Другой пример. В книге положение Мышкина в доме предварительного заключения представляется исключительно вольготным. К нему там отнеслись столь предупредительно, что от чрезмерной любви жандармов «у Мышкина потекли слезы из глаз: как все это не похоже на Петропавловку!» Такая чувствительность не в характере Мышкина. Но главное в том, что для нее не могло быть никаких оснований. В доме предварительного заключе-

ния к Мышкину отнеслись более чем жестоко — над ним издевались. Приведем отрывок из неопубликованной записки Мышкина, указанной нам его биографом В. Антоновым. «Даже здесь, в Петербурге, в доме предварительного заключения... мне почему-то не давали книг для чтения и даже... от меня признали нужным отобрать платок и казенное полотенце, как будто бы Фемида непременно требовала, чтобы Мышкин сморкался в кулак, а не в платок, вытирался рубахой или простыней, а не полотенцем, а когда я хотел написать по этому случаю жалобу, то мне не дали бумаги» (ЦГИАМ, ф. 112, 1876, д. 827, л. 15 об.).

Литературный уровень книги оставляет желать лучшего. В речевых и портретных характеристиках героев, в многочисленных пейзажных зарисовках, «обрамляющих» действие, заметна склонность автора к безвкусным красотам, к подражанию далеко не лучшим образцам беллетристики. Автор, видно, смутно представляет себе внешний облик своих героев — оттого-то портреты их лишены индивидуальных, запоминающихся черт. Все революционеры в книге кудрявы: у Кравчинского черные курчавые волосы (что, впрочем, соответствует действительности, хотя и не является единственной «особой приметой» его яркой, выразительной внешности). У Рогачева — русые кудри. У Мышкина, конечно, волосы тоже вьющиеся. У невесты его Е. Супинской «удивительно глубокого цвета зеленые глаза», которые приобретали то «фиалковый оттенок», то «отсвечивали лунным блеском».

Непонятно, как мог писатель Ю. Нагибин так высоко оценить книгу Л. Островера, ни словом не обмолвившись о ее литературном уровне. Недостаточно оправданными кажутся и завершающие краткую аннотацию в «Новом мире» (№ 11, 1959) традиционные слова о том, что «молодой читатель с интересом и пользой прочтет» эту книгу.

Однако, повторяем, главное, что вызывает возражение в книге Л. Островера, — это принципиально неверное, неисторичное изображение взглядов и деятельности И. Н. Мышкина. Модернизация социально-политического мировоззрения революционера семидесятых годов способна создать у читателя упрощенное представление о развитии русской общественной мысли.

**В. ТВАРДОВСКАЯ.**

Литература и искусство

## Всегда в пути

На обложке книги художник изобразил катер на синей воде канала, верблюда на коричневой такырной земле и белые цветы хлопчатника. Я открыл книгу на последней странице и наткнулся на авторское признание. Оно малодушно: «...очеркист дальновиден, и на обложке своей книги он не ставит названия жанра. «Очерк?» — говорят. Читатели откладывают такие книги в сторонку, не читают».

Итак, очерковая книга?

Я все же открыл ее на первой странице и углубился в чтение.

Я только что прочитал «Ледовую книгу» Юхана Смуула, прочитал с удивлением и нежностью: сколько простора для мысли и чувства заключил в себе написанный, я бы сказал, с геймовской свободой дневник путешествия в Антарктиду советского поэта. В моей памяти свежи и превосходные впечатления от книги «Иду по меридиану» Н. Михайлова, от многих других талантливых очерков. Нет, я люблю такие книги.

Они, конечно, не могут заменить романа, но они и не должны этого делать. Что касается легкого чтения, то его не может заменить ни очерк, ни роман. И малодушное признание автора означает лишь ту относительную истину, что роман может в ином случае сам по себе оказаться легким чтением, а очерк, пожалуй, никогда.

Все дело в читательских потребностях. Они разные, и одна из них — вполне равноправная с другими — знать, как действует человек, мой современник, как он преобразует объективный материальный мир. Я тоже труженик одной из сотен возможных профессий — что же делают остальные? Ведь мир меняется буквально на наших глазах. В середине века земной шар застроен городами, покрыт дорогами и почти весь по ночам светится россыпями электрических огней. А в начале века был он кромешно темен; за дневной чертой горизонта — ни зги, ни огоньков самолета, идущего на посадку, и Чехов, описывая в 1902 году в рассказе «Архиерей» русский городишко, увековечил наступление электрической эры как бы миномехом простой подробностью: «Наконец,

каре́та въехала в город, покати́ла по главной улице. Лавки были уже заперты, и только у купца Еракина, миллионера, пробовали электрическое освещение, которое сильно мигало, и около толпился народ».

Документальная проза всегда туго натягивает время, как полотно на пьльцах. Люди, повернутые лицом к делу, — герои очерковых книг — всегда поглядывают на часы. Одни шагают впереди, другие отстают. Пусть силуэты очертания этих людей — я сужу о том, интересны ли они или скучны, по их делам. Пусть говорится не о любви к женщине — я заранее мирюсь с этим. Пусть говорится не о семейных отношениях, а лишь о трудовых — я согласен. Я не хочу только встретиться с равнодушием, с ремесленной фиксацией фактов. Условие одно — чтобы наряду с доводами ума автор такой книги о людях, повернутых лицом к делу, был сам повернут к ним открытой стороной души, не скрывал своего неподдельного чувства, грустного или веселого... Может так быть?

Книга А. Горобовой «Здесь их сердце» подтверждает по-своему: да, может.

Книга эта воспринимается прежде всего как путевой дневник. Десять лет автор ездит по дорогам великой страны в поисках интересных людей... Долина Вахша в Таджикистане. Долина Ферганы в Узбекистане. Долина Мургаба в Туркмении. Алейская степь на Алтае. И Зауралье, и Армения, и Одесщина, и Кубань.

Есть свой особый уют в самом переживании чувства дороги. Дороги у Горобовой всегда полны той трудовой жизни, неперестанного роения, встреч, которыми так характерны наши русские советские дороги. Горобова не одинока в пути. И для нее путь-дорога — это не только средство добраться скорее до героя с его темой, она и сама — герой со своей темой.

«Из Намангана я выехала на передвижке МТС, крытой грузовой машине, одной из тех, которые в порядке скорой технической помощи разъезжают по полям и должны поспеть всюду, где нужно сменить у трактора деталь... Наступал вечер. Огненный, как бы добела раскаленный свет терял свою грозную силу, становился мягче, добрее, все словн. затягивалось лило-

ратой ретушью... По проселку двигались люди. Из темноты появлялась то фигура дехканина, догоняющего осла, то мотоциклист. На мотоциклах руководители колхозов возвращались из районного центра, где в этот вечер шло бюро райкома. Мотоцикл исчезал, и за ним снова смыкалась темнота, только деревья тутовника, растущие вдоль обочины, неожиданно выплывали перед машиной... У строящейся колхозной бани горел костер. Строители кипятили чай. Горел фонарь у маленького квадратного водоема — хаоза. Здесь бригадный стан. Колхозники остались на ночь, чтобы пораньше приняться за работу... Мы проезжаем мимо маленького домика, где помещается колхозный радиоузел. В открытую дверь видно, как молодой радиотехник возится у приемника. И вот за нашей машиной уже несется голос Халпы. Сейчас его услышат колхозники на полевом стане, возле маленького квадратного бассейна — хаоза, услышит бригада строителей у колхозной бани. Ее слушают люди, сидящие на скамейке возле правления колхоза. Один из них — поливальщик. Мы узнаем его по фонарю, который он поставил рядом с собой на скамейку. Это старик. Должно быть, скоро начнется его смена, а сейчас он отдыхает и слушает Насырову. Штанины из белой бязи он подвернул до колен (ему приходится ходить по воде), одну ногу подогнул и на ней сидит, другую, узловатую, жилистую, как у птицы, опустил на теплую землю. Он весь похож на птицу. Он слушает».

Это всего лишь проходная дорожная панорама, но написана она изящно, не правда ли? Автор как будто не сделал никакого усилия, не подчеркнул ни обыденности этого вечера на Ферганской дороге, ни его неповторимой поэтичности — природа советской жизни словно сама воспроизвела в этих строках то, что нам так мило в ней и дорого. Я мог бы привести множество других описаний, книга полна ими, и для меня они, может быть, самое ценное в мастерстве писательницы: она любит жизнь, ее краски, звуки и запахи, потому и умеет донести до нас и цвет весны в пустыне, и тишину полдня, и запах жатвы. А ведь книга — деловая, о достижениях сельскохозяйственной науки, о людях труда.

Я сказал, что автор много лет провел в поисках интересных людей. И книга эта не

только путевой дневник, но и своеобразный сельскохозяйственный репортаж.

Очерки А. Горобовой — портретная галерея новаторов, мастеров урочая. В цикле очерков «Хлопковый материк» проходят перед нами инициаторы внедрения узкорядных посевов хлопка. Цикл «О науке и о воде» включает в себя портреты ученых, работающих над тем, чтобы лучше принять в туркменских Каракумах воду, которая придет вместе с каналом. Строители канала, почвоведы, селекционеры... Один из лучших образов книги — студентка-практикантка Ай-Солтан Ганпова, будущий почвовед, составляющая почвенную карту крупного колхоза. Технологическая точность в описании ее работы в знойный полдень на такыре, где только «трое людей, ведро воды и брезентовый тент», соединяется здесь с лиризмом, который приносит с собой все дополнительные оттенки: «Два часа находится Ай-Солтан в разрезе, здесь не менее двенадцати горизонтов, и каждый надо описать. Ножом подчищает она то, что сгладила или разрушила лопата землекопа, ножом приподнимает верхнюю корочку такыра, под ней почва темная, рассыпчатая. Ай-Солтан измеряет подкорковый слой сантиметром и записывает в тетрадь: «пороховидный горизонт». Она так углубилась в свою работу, что, кажется, не замечает ничего больше. И вдруг... торжественный глухой звук бубна наполняет дрожащий от зноя мир. Медленный, угрожающий, он идет откуда-то из раскаленного пространства. Это голос самой жары. До сих пор жара имела как бы два измерения: зрительное — дрожание воздуха, мираж, желтизну, и другое — осязательное, озноб, пробегающий по коже, теперь прибавилось третье — этот тупой звук. Если белок в клетках способен сворачиваться от солнечных лучей, то это должно произойти сейчас. Ай-Солтан поднимает глаза от тетради. Ее взгляд направлен куда-то поверх моей головы. О чем думает эта девушка? Быть может, в эту минуту в ее уме мелькает мысль: скорее из этой ямы, в тень колхозного сада, к маленькому пруду — хаузу... Нет, я ошиблась! Глядя на меня, Ай-Солтан успокоительно говорит:

— Ничего, ничего, смотри, это веревка!

Короткий конец веревки, привязанный к колышку, раскачивается от ветра и ударяет по туго натянутому тенту».

Эскизность в изображении человека — к сожалению, свойство всякого очерка. Мы узнаем героя только в тех границах, в каких мы должны узнать его дело, его деяние. Я говорю «к сожалению» потому, что в самом деле сожалею о краткости своего знакомства с Ай-Солтан; автор полюбил, вернее, влюбился в девушку, видит ее отлично, да и я верю в ее неподдельность, но пути-дороги зовут дальше — вот мы уже на растеневодческой станции, расположенной в горах, и новый хороший человек выходит нам навстречу — Ольга Фоминична Мизгирева. Она выводит здесь различные сорта плодовых деревьев для земель будущего освоения. Знакомство с ней так же приятно, как и кратковременно. «Но рассказать обо всем этом уже дело не очерка, а романа», — походя отговаривается автор книги и увлекает нас дальше, дальше, к новым интересным людям, к знаменитому Терентию Семеновичу Мальцеву или к председателю богатого алтайского колхоза Федору Митрофановичу Гринько.

О Посмитном написано много книжек. О Мальцеве — и того больше. Тут и книжка И. Винниченко «Искать!», и статьи и очерки В. Овечкина и Г. Фиша, и их совместная пьеса «Народный академик». Кажется, нет места своей теме, своему взгляду. Да и вообще, может ли быть у очеркиста, работающего годами для журналов и газет, пишущего оперативные очерки и связанного фактами и действительными именами, — может ли быть у такого очеркиста свой особый взгляд, своя мысль, свое писательское своеобразие в самом поиске?

«Разумеется», — говорим мы. Но, правду сказать, говорим иногда не слишком убежденно.

Да, есть свой особый взгляд, своя мысль, свой поиск — утверждает книга А. Горобовой. Не вся книга — в ней найдутся и неудачные странички и целые очерки, бледные и тусклые, как, например, «Айгистан» или «Собрание в Кош-Агаче». Но вот мы знакомимся с Мальцевым. Я не берусь утверждать, что его нешаблонная агротехника глубокой безотвальной пахоты рассказана А. Горобовой лучше, нежели другими литераторами. Но свое собственное лирическое содержание знакомства с Мальцевым выписано у Горобовой хорошо — я запомню и дочку Мальцева, закутанную в огромный шерстяной платок в глубине машины, едущей из Шадринска ночью. «А у нас вол-

ков сколько много», — сонно тянет Лида. «Спи, Лидочка». Я запомню и запах дома «...Поднимаешься на крыльцо, открываешь стеклянную дверь, и сразу охватывает теплая, душистая темнота. Новый дом пахнет разогретой хвоей, доски еще не высохли как следует, печи истоплены на славу, и печное тепло как бы извлекает из каждой доски ее живую лесную душу. Липкие, словно политые медом, стены пахнут и просыхают в темноте. «Сюда проходите! — говорит чей-то голос». Я запомню и книги Мальцева вдоль стен его кабинета — этой «мастерской агрономических идей», и мальцевскую систему члениния, более всего напоминающую исследование. Запомню и шадринскую зиму... «Утро приходит тишиной и тем особым мягким светом, который как бы струится от поля. Лежат вокруг деревни Мальцево зимние, снежные поля, виднеются вдалеке сизые от инея перелески, словно дальние сизые дымы. Тихо вокруг, светло. Вот пролетела над дорогой сорока, вытянув хвост прямо, будто указательный палец. Проносится по широкой колхозной улице табунок жеребят, обросших длинной зимней шерстью. Жеребята покусывают друг друга за холки, играют, радуются зиме. Мороз завернул градусов на двадцать пять, но такой он безветренный, сухой, что, не взглянув на термометр, больше десяти градусов не дашь. Молодой мороз! Дым стоит стоймя над печными трубами, а трубы то ли выбелены мелом для красоты, то ли выпущены инеем».

Запомнив все это, я, читатель, уже тем самым переработаю в себе эти впечатления, они войдут в мой скрытый запас любви к родине, чувства времени, того жизненного, которое в нужную минуту — неизвестно даже когда, в каких обстоятельствах, — поможет мне вести себя по-советски, по-человечески, поможет выйти на передовую линию борьбы за общее наше дело, борьбы за коммунизм.

В сложном жанровом определении книги есть и еще одна немаловажная черточка. Это не только путевой дневник и сельскохозяйственный репортаж. Это еще и научно-художественный очерк. В той мере, в какой земледелие в наш социалистический век стало наукой, А. Горобова увлеченно рассказывает нам о проблематике земледелия. Пусть я не много знаю о сельском хозяйстве — важно, что я хочу знать больше. Я до сих пор не думал, к примеру, что

пшеница или рожь должны не только возрастать за счет плодородия почвы, но и способствовать этому плодородию. Автор рассказывает мне заветную идею талантливого курганского полевода — я запомнил, усвоил ее. Я никогда не задумывался о том, что сельскохозяйственная машина, такая, к примеру, как хлопкоуборочный комбайн, сама будучи явлением технического прогресса, влечет за своим появлением на полях прогресс агротехники. Я не выкинул в такие драматические события, как засоление, «отакыривание» почв под действием избыточного, то есть неправильного, полива хлопковых полей. А. Горобова сообщает мне сотни таких фактов-мыслей, фактов-метафор. Вся книга ее — как бы связка ключей от многих сельскохозяйственных и агротехнических проблем и загадок.

Нет, не она нашла эти ключи, она только рассказывает нам, как пользуются ими умные и деятельные мастера нашего социалистического земледелия.

Есть такая дежурная формула: «...и результат не замедлил сказаться». Так пишут и говорят люди, которые не сами добива-

лись результата и которые шли к нему слишком прямым путем, как к чему-то готовому.

В этой формуле — самая большая угроза, подстерегающая автора книги о достижениях труда и науки. Ведь в каждом новаторском деле бывает та критическая пора, когда идея нового важнее, чем первый материальный результат. В действительности результат часто именно медлит сказаться, и путь к нему — нелегкий путь: чрез внешние преграды и разочарования, чрез внутренние сомнения и усталость.

Сказать об этом пути коротенько — значит разочаровать читателя, знающего жизнь не по книжкам, а по собственному трудному опыту. Иной раз А. Горобова грешит этим — в слабых ее очерках путь к цели сомнительно и недостойно укорочен. В этом дружеском замечании — совет на будущее. Ведь каждая книга писателя, сегодня уже читаемая, работающая, незримо для читателя является компасом для самого автора, вновь находящегося в пути, — всегда в пути.

Н. АТАРОВ.

★

## Пародии и мелодии

Фельетонов у нас пишут много. Нет журналиста, который бы не попробовал себя в этом почтенном жанре. Но пародисты насчитываются единицами. Хорошая литературная пародия — это событие, сборник пародий — сенсация на книжном рынке.

Вот почему я заранее прошу извинения у читателя, если, рассматривая книжку А. Раскина «Очерки и почерки», оставлю в стороне его фельетоны, прозаические и стихотворные — в форме басен. Они для А. Раскина не характерны и, на мой взгляд, уступают его пародиям. Между тем как последним он обязан своей известностью.

За что же пародии такая почесть? Почему она редкая гостья на страницах журналов и газет? Каковы ее свойства и особенности?

Чтобы ответить на эти вопросы, начну с небольшого предисловия. Даже с двух. При этом не моих, а принадлежащих перу

А. Раскина, вошедших в его первый цикл «К вопросу о предисловиях».

Вот одно из них — «К заведомо плохой книге».

«Конечно, эта книга — не та книга. Ах, совсем, совсем не та! При первом же знакомстве с рукописью озноб пробежал по нашей коже; читая гранки, многие из нас наполовину поседели, а подписывая сигнальные экземпляры к печати, ответственный редактор скорбно прошептал:

— Нет, эту книгу выпускать нельзя...

Мы не будем говорить о ее художественных достоинствах. Какие там достоинства! Худшей книги не видел мир и вряд ли увидит. В отчаянии, со скрежетом зубным выпускаем ее в свет.

Да простит нас читатель!» И т. д.

Да простит нас А. Раскин, но здесь его ирония пропадает впустую. Кривизна зеркала чрезмерна. Таких предисловий, слава богу, все-таки у нас не пишут.

А вот такие, например, предисловия — «К переводному роману сомнительного характера» — пишут, и даже очень часто:

«...Скажем прямо, это не «Мадам Бова-

А. Раскин. *Очерки и почерки. Пародии. Фельетоны. Эпиграммы. Рисунки Б. Пророкова. Редактор В. Луговской.* 132 стр. «Советский писатель». М. 1959.

ри» Флобера, не «Пармский монастырь» Стендаля, не «Боги жаждут» Франса... Автора нельзя назвать гениальным писателем... Вряд ли можно назвать его писателем вообще. Скорей всего он не писатель. Так же, как и его книга не роман, не повесть, не развернутый очерк. Правильнее всего было бы назвать ее записками крысы, живущей на дне помойной ямы и вооруженной чрезвычайно сильным увеличительным стеклом...

Наш читатель легко разберется в этой книге и, с отвращением отбросив ее, вынесет из нее много полезного для себя.

Сработала таинственная шестеренка, имеваемая «чуть-чуть»,— и необходимые свойства пародии проявились отчетливо и достаточно. И мы понимаем теперь, какой она должна быть. Она должна быть таким слепком с природы, на котором отпечатались бы все ее особые приметы, но только чуть глубже и оттого карикатурнее. Она должна быть имитацией без копирования, шаржированием без пасквиля, издевательством без оскорбления. Она должна быть как бы собственной иронией пародируемого над самим собой. И тогда она станет острейшим оружием критики, донимающей и таких мастодонтов, чью плотную шкуру не пробивают самые злые статьи. Потому что выглядеть смешным в собственных глазах боится даже тот, кто уже ничего не боится.

Из всех видов юмора, какие существуют, наиболее ценен для пародиста юмор наблюдения, тот редчайший и труднейший юмор, которым в избытке был наделен, например, Карел Чапек. Он ничего не придумывает и даже не преувеличивает, он просто рассказывает нам, как люди занимаются фотографией или как делается газета; все это мы как будто знаем и без него и все же не в силах удержаться от смеха, потому что рассказывает он настолько точно, как сами себя мы со стороны увидеть не можем.

Но, значит, искусство пародирования — действительно редкий дар, не менее редкий, чем талант большого художника. Только художник исследует жизненную материю, а пародист — материю искусства. В этом вся разница и в этом же вся сложность, потому что первый волен всегда оставаться самим собой, второй всякий раз обязан перевоплощаться. А удастся это именно не «всякий раз»; ведь и твоя соб-

ственная сущность по-разному небезразлична тому, что пародируешь, поэтому и не удивительно, что в одной и той же книжке одного и того же автора так очевидны успехи и неудачи, хотя объекты осмеяния как будто равноценны.

Автору «Очерков и почерков» особенно удаются пародии на прозаиков. В прозе М. Пришвина, например, он «ухватывает» роскошество и густоту стиля, дотошную обстоятельность охотничьего рассказа при отсутствии или ослабленности фабулы. Здесь даже название выбрано не в бровь, а в глаз — «Случай». В «Туманной юности» мы, разумеется, узнаем Р. Фраермана, экзальтированного, пылкого, туманно-романтического, неутомимого устроителя судеб своих героев-фаворитов.

«Пока она спала, весь класс уже перебывал у своей любимицы, подружки убрали комнату, помыли пол, побелили потолок, приготовили за Динку все уроки и даже позавтракали за нее. Динка засмеялась весело и решила, что она обязательно хорошо проживет свою жизнь».

Лев Кассиль — устроитель иного рода; своих героев он щедро и от души награждает самыми мужественными добродетелями, какие только в тайных грезах являются «расчудесным моим ребятишкам»:

«Кешка взял городошную битку в правую руку, поплевал на нее и одним ударом выбил из круга всю фигуру. В левую руку он взял гранату и забросил ее так далеко, что и по сей день ее не могут найти. На трибунах зашумели. Тогда Кешка, поплевав на ноги, ударил правой ногой по мячу и попал в левый верхний угол, под самую штангу. Такую «штуку» не взял бы даже лучший вратарь мира...»

У Н. Погодина верно и точно «позаимствована» его ремарка, состоящая из назывных предложений и таких сведений о персонаже, каких ни один режиссер и актер физически не в состоянии представить на сцене. И совсем не схвачен его диалог.

Менее, на наш взгляд, удаются А. Раскину пародии на стихотворцев. Прежде всего они, как правило, длинноваты, а ведь самая лучшая шутка, как известно, не самая длинная, и коэффициент полезного действия любого анекдота обратно пропорционален его размеру. В большой стихотворной пародии шаржирование, нагнетаясь от строфы к строфе, может стать чрезмерным и уродливым. Нельзя слишком долго педа-



лизовать три-четыре характернейшие черты стиля и манеры, а большего количества читатель просто не сможет усвоить.

Для пародии на С. Щипачева, например, вполне достаточно было бы названия «Философемы» и одной строфы:

Вчера весь день смотрел на мост.  
Как он велик и как он прост!  
Вот так и мы с тобой, дружок.  
Когда выходим на лужок.—

вместо существующих в книге четырех.

В оправдание автору «Очерков и почерков» следует сказать, что пародировать стихотворцев вообще труднее, нежели прозаиков. К тому же общая индивидуальность поэта неуловимее, неподатливее для шаржирования, нежели мелодия одного стихотворения. По большей части А. Раскин верно и тонко передает именно эту мелодию. Однако при всем его чувстве юмора, при всей точности, с которой он передразнивает пять-шесть строчек поэта, обыкновенно проставленных в эпиграфе, нельзя отделаться от мысли, что тот же А. Прокофьев, тот же Михаил Светлов, те же В. Инбер и М. Алигер пишут и другие стихи. Все ими написанное и то, что они еще напишут, ведь не поставишь в эпиграф. Не говоря уже о том, что для эпиграфа строки выбираются с умыслом, заведомо неудачные, пародийные уже сами по себе, а писать пародию на пародию — так ли уж это нужно?

Между тем Александр Архангельский, например, пародировал именно все творчество поэтов, их особые и, как оказывается, неискоренимые приметы. Много лет спустя читаешь тех же стихотворцев и сквозь новые их строки видишь неувядавшие строчки Архангельского. Он брал не отдельную строфу или стих или просто манеру, он брал ключевую тему, общую направленность лирики, и, если он изображал, как бы Маяковский написал «Сказку о рыбаке и рыбке», мы видели не только стих Маяковского, но и его «отношение плевое» к «занудам старого быта».

Если внимательно проследить, что же помимо формы, помимо мелодии подчеркивает А. Раскин в пародируемых им писателях, то окажется, что чаще всего это пустота, никчемность содержания отдельных страниц или глав. Иными словами — безмыслие. Но разве нельзя осмеять мысль — ошибочную или заведомо лож-

ную? Разве нельзя помимо эстетических идеалов выставить на смех этические?

Пародист, на наш взгляд, достиг бы еще большего эффекта, если бы он смелее выходил в сферу публицистики, в мир жизненных проблем. Он имеет все права восстать и против идей писателя, если он с ними не согласен, и отнестись к этим идеям с полным сочувствием соратника, оставаясь в то же время острейшим критиком формы.

Впрочем, отнестись все эти благие пожелания и укоры в адрес одного А. Раскина, разумеется, нельзя. Это было бы несправедливым по отношению к человеку, талантливо и упрямо подвигающемуся в одном из самых неразвитых жанров нашей литературы, испытывая подчас на себе увесистые и отнюдь не шуточные удары критической дубинки. И нужно отдать честь его боевитости; он остался по-прежнему желчен, язвитель, драчлив, тверд в своих симпатиях и вкусах, чему свидетельством целая россыпь великолепных эпиграмм, собранных здесь же, в книжке. Это не праздничные мадригалы и не юбилейные подсюсюквания; эпиграммы А. Раскина разящи и хлестки, они точны и прилипчивы, как формула творчества.

#### СЕРГЕЮ ОСТРОВОМУ

Пишет басом... тихо вянут уши,  
Волос прибавляется седой...  
Островым мы назовем часть суши.  
Окруженную водой.

Но и там, где имя не названо, забрало остается открытым; мы слышим отзвуки еще не отшумевших литературных битв, различаем контуры конкретных фигур.

#### ПОЭТУ ЭН

Едва успел твой стих забыть,  
Как ты статьей меня тревожишь...  
Поэтом можешь ты не быть,  
Но критиком ты быть не можешь.

В штатном расписании литературных вакансий должность сатирика-пародиста — одна из самых трудных, почетных и насущно необходимых. Воздействие его на литературный процесс переоценить трудно: без окисляющего компонента невозможно горение. Вот отчего, я надеюсь, всякий читатель воспримет появление маленькой книжки А. Раскина как факт, отрядный для нашей литературы.

**Г. ВЛАДИМОВ.**

## Роман о молодежи

**К**омсомольцы едут по зову партии строить шахту. Их встречают многие бытовые трудности — жизнь в палатках, холод, болезни. Молодежь справляется со всем, что мешает успешной работе, и к сроку сдает шахту...

Девушка полюбила красивого, но бесцельного человека. Он обманул ее доверие. А хороший, простой парень любит девушку по-настоящему. Он прощает ей то, что она оступилась, и женится на ней...

Не так давно бесчинствовали на земле Западной Украины бандеровцы. Теперь это уже относится к истории края, но остались кое-где еще бандиты из бывших кулаков, навечно затаивших злость против новой жизни...

Актер на первых ролях, не удовлетворенный своей игрой, оставляет сцену и отправляется с комсомольцами на строительство шахты. Он впервые как следует узнает жизнь и по-настоящему счастлив...

Нелепый болтун, усвоивший привычку по каждому поводу произносить пространственные речи, решительно меняется, когда жизнь заставила его испытать глубокие волнения...

Всем ли ясен вред религии, а особенно то зло, которое могут принести секты, умело вовлекающие неустоявшиеся юношеские души? Одна из таких сект — «пятидесятники» — расположилась вблизи крупного промышленного предприятия...

У ответственного работника, члена горкома партии, дочь выросла избалованной, вздорной и циничной (несколько лет назад таких называли «плесенью»). Жизнь дает ей серьезные уроки, и девушка изменяется к лучшему...

Обгоревшему юноше грозит смерть. Комсомольцы с радостью отдают для пересадки ему свою кожу...

Молодая пара женится. Справляется комсомольская свадьба — с торжественным кортежем на грузовике, с посаженными родителями, пышным пиром и своим генералом...

Спортсмены всего мира встречаются на Международном фестивале молодежи и студентов в Москве...

Может ли быть покой в жизни, в которой так много самых различных событий, где так неожиданно переплетаются несхожие человеческие судьбы, где в людях на наших глазах происходят такие разительные перемены?

Как увлекательна должна быть книга, в которой изображены эти разнообразные явления современности!

Однако от романа В. Собко «Покой нам только снится», в котором подняты все перечисленные темы и проблемы, остается ощущение лишь глубокого, безмятежного покоя. Кого может охватить волнение при путешествии по давно знакомым дорожкам? А проторенные тропки в литературе — это унылое явление с некрасивым названием «литературщина». Слово это включает в себя многое: и замену жизни литературными образцами, и выдуманные красоты, и недостоверные трудности, и привычные сюжетные ситуации вместо жизненного конфликта, и облегченное, а потому и неправдивое изображение самых сложных явлений.

...Молодежь из Тернограда приезжает в Донбасс строить новую шахту. Край этот уже давно обжит, здесь есть и город, и поселки, и, разумеется, рабочие всяких специальностей; это не целина, не будущий город в тайге. Приезд комсомольцев не был неожиданным — их ждали. Почему же их встречают предупреждением: «Главное — жилищ никаких, а зима вот она!» Причем не только терноградцев, но и других комсомольцев встречали так же — полесские комсомольцы «приехали вечером, устраиваться пришлось ночью. Ничего не скажешь, веселенькая была ночка! Замерзли страшно. Чтобы согреться, пришлось больше бегать и бороться, чем спать», — подбадривает Катю Несмьян, комсорга терноградцев, комсорг полесских ребят. Без тети упрека по адресу администрации шахты передает автор безмятежно-спокойное заявление начальника строительства: «Сегодня в балке поставим палатки, некоторое время поживете в них, а там что-нибудь придумаем». Потом выясняется, что не такое уж сложное дело достать рельсы и поставить на них отремонтированные под жилье вагоны. Естественно возникает вопрос — почему нельзя было сделать этого заранее, чтобы предупредить простуду, болезни, которые навали-

**В Собко. Покой нам только снится. Роман. Перевод с украинского Л. Михаловской. Редактор А. Фомичева. 320 стр. «Молодая гвардия». М. 1960.**

лись на молодежь, жившую глубокой осенью в палатках? По существу более или менее нормальных условий жизни для ребят добилась Катя, использовав для этого не только свои служебные и дружеские связи, но и женское обаяние (для починки старых вагонов по одному ее слову приехали плотники — «все холостяки» и все готовые за нее «в огонь и воду»). А в общем создается впечатление, что палатки понадобились писателю лишь для того, чтобы, с одной стороны, показать энтузиазм молодежи и ее готовность преодолеть все неудобства («...Никто не хныкал. Давал себя чувствовать и голод, но напоминать об ужине было как-то неудобно»), а с другой — избежать упрека в том, что в романе не показаны трудности. Трудностей — и не надуманных — бывает достаточно в начале каждого нового дела, а нарочитое и любовное описание тех мытарств, которых могло бы и не быть и которые являются результатом чьего-то головотяпства — ничем не объясненного и никак не осужденного, — вызывает досаду.

Роман «Покой нам только снится» написан о молодых людях, и, естественно, любовь занимает в нем немалое место. Очень различны, казалось бы, любовные переживания героев.

Любовь Кати Несмеян, комсорга шахты, и Володи Макарова, бригадира проходчиков, члена комитета комсомола, находится в прямой зависимости от производственных успехов. Расстроена тем, что их шахта лишается переходящего знамени, Катя срывает досаду на Володе, и между ними чуть было не происходит размолвка. Зато когда знамя к ним возвращается, комсорг и бригадир объясняются в любви. Но тут же решают: «пока не окончим шахту, не скажем об этом ни слова».

История любви Ганны, дочки ответственного работника, и молодого актера Арсена — это история заблуждений и перевоспитания Ганны.

Свадьбе Андрея Переката и Клавды Бережковой радуется вся шахта. Но как много пришлось им обоим пережить до того: ей — горькое разочарование в первой любви, ему — сперва ее равнодушие, затем известие о ее «падении».

Настя Цыбулька любит серьезного юношу Степу и поэтому непрерывно ругает и пилит его. Естественно, что парень не дога-

дывается о чувствах девушки и лишь во время отъезда из шахты, «в самый последний момент, когда уже трогается поезд, Степа вдруг понимает, какой большой, настоящей любви он не заметил, и от этого открытия его охватывает отчаяние».

И все же разнообразие всех этих любовных историй лишь кажущееся: все они удивительно похожи друг на друга своей неоригинальностью, верностью определенным штампам.

Читаем, например, о первой встрече Андрея, вернувшегося из армии, с Клавдой.

«Андрей увидел, как изменилось за два года ее лицо. Оно было усталое, измученное и все-таки красивое... кое-как причесанные светлые волосы, небрежно выглаженная кофточка. Что с ней случилось?»

— Клава, как хорошо, что ты пришла!

Он произнес эти слова и тут же понял, что Клава и не собиралась его встречать, больше того, она не сразу поняла, кто перед ней.

— Ты? Вот не думала!

— Что не думала?

— Не думала встретить тебя, — безжалостно разбивая все надежды, сказала Клава. — Демобилизовался?

— Да. А ты кого ждешь?

— Никого.

Неожиданно Клавино лицо сморщилось, на глазах появились слезы. Она крепко сжала губы, но это не помогло. Девушка вдруг прижалась лицом к гимнастерке Андрея.

Перекат растерялся. В таком положении он очутился первый раз в жизни. Что делать? Андрей ничего еще не успел придумать, а Клава оторвала голову от гимнастерки и, не вытирая слез, побежала вдоль сквера, завернула за угол и исчезла».

И сразу нам становится ясным не только то, что произошло с Клавдой, но и как сложатся ее дальнейшие отношения с Андреем.

Мы предчувствуем, что именно на нем — тихом, мужественном и добром — будет сначала вымещать она свою злобу («... расспрашивать меня я запрещаю. Понимаешь? За-пре-щаю!»); догадываемся и о том, что «после страшного терноградского горя Клава раз и навсегда решила никого не допускать до сердца, всех держать на расстоянии»; что сближение с Андреем будет постепенным и целомудренным, что честная Клава обязательно скажет Андрею: «Слу-

шай и постарайся меня понять, хоть ни пошадь, ни прощения я у тебя просить не хочу», — и подробно расскажет ему обо всем, что произошло с ней. Не сомневаемся, что хоть и простонет Андрей: «Не надо, не говори», и покажется Клаве, что «все утрачено — надежды, любовь, счастье...», и что уйдет в ночь Андрей, «не глядя перед собой», — все равно наступит счастливый конец, и Андрей произнесет: «Никогда больше не вспоминай и не говори мне про старое».

Там же, где автор стремится к оригинальности и прибегает для этого к такому, скажем, необычному приему в изображении любовных переживаний девушки, как непрерывная брань, эффект получается обратный: если бы читатель поверил в существование Насти и Степы, то он был бы искренне рад, что парень не заметил этой «большой, настоящей любви», — что за жизнь ждала бы его с этой юной Солохой?

Еще одна цеумирающая тема — перестройка человеческого характера. На наших глазах перевоспитываются многие действующие лица романа. Правда, эти перемены вызываются целым рядом причин, иногда принимающих даже характер потрясения для героя, но в каждом из этих случаев не исследована, не показана его, так сказать, исходная позиция: какие сочетания качеств героя определили возможность его перехода от одной жизненной позиции к другой. Образ, залитый сплошной черной, без оттенков, краской, обретает нежный голубой цвет — тоже без тонов и переходов. Циничная красотка и лентяйка Ганна (типичный, по ее собственным словам, «отрицательный персонаж») обретает мужественность, прямоту, трудолюбие, скромность. Хулиган и бандит Грицко расстается с нами, обещая, что он еще «вернется в Донбасс. Вернется не знаменитым пьяницей, а знатным шахтером».

Ольга и Юрко Салай, недавно еще слепо верившие во всем отцу, бывшему кулаку и бандеровцу, поехавшие по его воле с диверсионными целями в Донбасс, порывают с отцом и вступают в комсомол. Их перестройке предшествовало многое — и доверие, которое было им оказано в комсомольском коллективе, и разочарование в секте «пятидесятников» (куда Ольга ходила по приказанию отца), и любовь Ольги к своему руководителю по работе и спорту — Виктору, и фактическое убийство сектантами молодого рабочего, и участие Ольги в фестива-

ле, где она добилась больших спортивных успехов, и пересадка кожи обгоревшему при тушении пожара Юрко — кожи, которую комсомольцы охотно отдали ему со своих тел... И все же главное остается неясным: с каким мировоззрением вступали в жизнь дети бывшего бандита? Если они действительно так верили отцу и так почитали его, как об этом извещает автор, то они должны были вырасти волчатами, ненавидевшими Советскую власть, колхозы, комсомол — всю жизнь вокруг себя. А если бы это было так, то и весь путь их к сознательной жизни был бы сложнее, а главное — внутренне драматичнее, и тогда автор мог бы обойтись без всего этого избытка мелодраматических и эффектных событий. Но в том-то и дело, что характеров в книге нет — есть лишь подставки для всех разветвлений этой литературной постройки, разукрашенной всевозможными излишествами.

Если бы в романе были живые, достоверные характеры, то не могло бы быть в нем постоянного саморазоблачения героев, вроде тирад Ганны, в которых назойливо декларируются ее пошлость и цинизм («Между мужчинами и собаками есть, безусловно, что-то общее. Во всяком случае, тех и других надо дрессировать... Не знаю, какой из меня выйдет доктор, а дрессирующая я великолепная». «Скажу откровенно, страшно хочу поскорее выйти замуж и начать свободную жизнь. Понимаешь?»), герои не рассуждали бы такими пустыми, казенными фразами, как, скажем, Арсен, угнетенный своей актерской неудачей: «На автора вину не свалишь, «Платон Кречет» обошел сцены всего мира, и образ этот, привлекательный и благородный, стал примером для молодых людей». Если бы главным в романе В. Собко были, как это положено каждому литературному произведению, человеческие характеры, художественные образы, то тогда роман не был бы так насыщен примитивными до пародийности сценами и оборотами речи. Не смешна ли, например, такая сцена: шпион Бабченко дает задание Марку Бовкуну (совратителю Клавы, многоженцу) стать любовником Ганны — «не позже чем сегодня она должна стать вашей».

Поверхностность повествовательной манеры автор романа «Покой нам только снится» пытается компенсировать избытком различных жанровых элементов: здесь и де-

тектив (впрочем, без основного — увлекательного раскрытия гайны), и символика, и напоминающие технические инструкции пространные описания производственных процессов, и пародия (в образе бульдозериста Ивана Дудченко, воплощающего тип болтуна, влюбленного в собственный голос и газетные фразы), и даже лирические обращения автора к героям произведения. Но все это нагромождение приемов — увы! — не достигает цели.

Если сюжет существует сам по себе, а не служит художественному раскрытию образов, то все в произведении достигает обратного эффекта. Так и в последнем романе В. Собко. Он так насыщен тематически, столько различных проблем поднято в нем,

и вместе с тем он лишен элементарной занимательности. В нем — иногда подробно, иногда вскользь — говорится о многих событиях последних лет, но никак не чувствуется атмосфера нашего десятилетия: если бы не был упомянут спутник, не говорилось бы о фестивале, не назывались бы марки автомобилей и была бы переодета Ганна — все это могло происходить и в двадцатые и в тридцатые годы. Название романа призывает к борьбе и сражениям, а содержание его дышит умиротворенностью: плоские бутафорные человечки безмятежно проходят предназначенный им круг искусственных огорчений, забот и радостей.

М. БЛИНКОВА.

★

### Разговор, который должен быть продолжен

Написана первая книга о большом художнике Александре Довженко. Уже одно то, что она первая, должно привлечь к ней внимание читателей и критики. Ведь до сих пор еще очень мало сделано для того, чтобы разобраться в сложном, порой противоречивом и самобытном творчестве писателя. Ряд интересных наблюдений принадлежит Н. Тихонову, М. Рыльскому, Л. Новиченко, И. Андроникову. Но настоящий разговор о месте Довженко в советском искусстве, об особенностях его творческого метода и стиля, о мастерстве Довженко как писателя и кинематографиста — впереди.

Кинокритик Р. Юренев взял на себя смелость одним из первых начать этот разговор. «Я знаю, что буду неполон, поспешен, а может быть, в чем-то и неправ, — пишет он во вступительной главе. — Однако я все-таки попытаюсь дать первый очерк, первый портрет».

Конечно, невелика цена была бы такой попытке, если бы смелость автора ограничилась лишь обращением к малоисследованной теме. Но Р. Юренев смел и в другом, пожалуй более важном, — в стремлении как можно глубже осмыслить творческий путь Довженко, разобраться в процессе исканий художника, в его победах и поражениях. Увлеченный творчеством Довженко, его новаторством, критик вместе с

тем далек от апологетики, от восхищения всем и вся. О срывах, ошибках, неудачах выдающегося мастера кино (иногда действительных, а порой, на наш взгляд, и мнимых) он говорит прямо, без скидок. Таков, например, анализ «Звенигоры» — первого фильма, принесшего Довженко славу. То, что сделало «Звенигору» не только волнующим произведением искусства, но и «первым подлинно украинским кинопроизведением», — возвышенная романтичность, дыхание высокой поэзии, горячая любовь к Украине, к ее природе, истории, культуре, оригинальное решение большинства киноэпизодов, — все это не заслонило для Р. Юренева ни идейной нечеткости сценария и, в первую очередь, слабости образа дида, ни композиционной рыхлости фильма, ни его, по признанию самого Довженко, эклектичности.

Показательны в этом отношении и разделы, посвященные послевоенному творчеству Довженко: размышления автора об элементах сухости, рационализма, привнесенных в сценарий «Мишурин» в результате переработки и снизивших эмоциональное воздействие фильма, о длительной полосе неудач у художника в печальной памяти период «малокартинья».

Р. Юренев говорит как о субъективных причинах, усложнявших творческий путь Довженко, — причинах, связанных с особенностями его увлекающейся, темпераментной природы, — так и о внешних обстоятельствах, тормозивших его деятельность и

пристекавших главным образом из-за непонимания или нежелания некоторых руководителей украинской писательской организации и Министерства культуры понять творческие устремления художника.

Автор книги прав, вспоминая сегодня об этом, ибо нельзя не пожалеть, что Довженко столь поздно «открыли».

Прав он и там, где стремится снять с его фильмов давние ярлыки. Восстанавливая, скажем, картину бурной дискуссии, развернувшейся в свое время вокруг «Земли», критик доказательно и интересно спорит с теми, кто упрекал Довженко в биологизме, кто не понял и не оценил своеобразного замысла фильма, его сложного, необычного поэтического киноязыка.

Как видим, книга Р. Юренева остра и полемична, и это очень хорошо.

Но еще лучше то, что Р. Юренев не только спорит. Он делает попытку — и попытку, скажем сразу, во многом удавшуюся — проследить путь Довженко от первых опытов в кино («Вася-реформатор», «Ягодка любви», «Сумка дикпурьера») до «Поэмы о море», выявить характерные «сквозные» тенденции и мотивы в его творчестве и одновременно показать непрерывное развитие, совершенствование мастера, дать если не законченный творческий портрет художника, то, во всяком случае, первый достаточно полный набросок к такому портрету. Не во всем, по-моему, критик верен оригиналу, более того — не всегда он верен и себе, своим принципам художественного анализа, потому некоторые его оценки противоречивы, но в целом путь, избранный им, безусловно самостоятелен и плодотворен.

В книге Р. Юренева нет специального раздела о мастерстве Довженко — сценариста и кинорежиссера. Размышления о мастерстве свободно, естественно вплетаются в ткань изложения, органически сливаются с тематическим и идейным анализом. Таков, например, анализ — на наш взгляд, очень интересный — фильма «Мичурин». Хочется спорить с тем, как Р. Юренев трактует тему одиночества в фильме, слишком уж он акцентирует на ней внимание, но нельзя не признать, что критик проявил в этом разделе и тонкое эстетическое чутье и умение проникнуть в «подтекст» образа.

Вообще книга «Александр Довженко» заметно выделяется среди монографий подобного рода отсутствием псевдоакадеми-

ческой сухости. Р. Юренев ставит своей задачей не только научно осмыслить факты творческой биографии Довженко, он хочет еще дать и живую биографию художника, уловить и воссоздать черты его облика. Этому служит, например, рассказанная в самом начале книги «легенда о пришедшем творить» — история о том, как тридцатидвухлетний Довженко, бросив все, пришел на одесскую кинофабрику «с единственным, но необоримым желанием — творить!» Этому же в конечном счете служит и свободная, образная речь критика, насыщенная и живыми разговорными, и публицистическими, и лирическими интонациями.

Своего рода доминанта книги — мысль о новаторстве Довженко. Это как бы угол зрения исследователя на творчество художника, ключ к пониманию многого.

«Высокое слово новатор характеризует всю его жизнь». Это так! Но что побуждало Довженко к неустанным поискам? Только не формалистический зуд, не дешевое оригинальничанье. Новаторство было жизненным принципом Довженко, естественным выражением его стремления сделать искусство яркой летописью нашего времени, его обостренного чувства ответственности перед своим народом.

Интересны наблюдения Р. Юренева над тем, как поиски нового органически переплетались в творчестве Довженко «с процессом постоянного возвращения к прежним темам, к таинственному возрождению одних и тех же образов и мыслей в новом качестве, в новых произведениях». Автор книги небезуспешно пробует проследить это «медлительное и спиралеобразное» движение образов и идей, традиционных для Довженко и вместе с тем всегда обогащаемых новыми художественными средствами, новыми наблюдениями и мыслями. Говоря об умирающем в «Земле» древнем старике, критик невольно вспоминает легендарного дика из «Звенигоры», старого друга и помощника Мичурин — Терентия, и похожего на бога деда из «Зачарованной Десны»: черты арсенальца Тимоша Стояна он узнает в молодом селькоре Василе Трубенко («Земля»), в героях «Шорса» и Иване Орлюке («Повесть пламенных лет»), а в «Мичурине» справедливо усматривает развитые темы, прозвучавшие в щорсовской мечте о земле, засаженной цветущими садами...

«Он сам прорубал дорогу» — так назван едва ли не важнейший раздел книги. Важнейший потому, что анализ первого звукового фильма Довженко — «Иван» — и последовавшего за ним «Аэрограда», со всеми их достоинствами и просчетами, выливается здесь в разговор о месте Довженко в советской кинематографии и — шире — о месте его творчества в искусстве социалистического реализма.

Главная мысль Р. Юренева безусловно плодотворна: Довженко шел своим путем, но путь этот отнюдь не уводил в сторону от основного направления развития советского искусства. Вспоминая о горячих спорах начала тридцатых годов вокруг «Ивана» и вышедшего на экраны одновременно с ним «Встречного» Ф. Эрмлера и С. Юткевича, критик опирается на мнение наиболее дальновидных и вдумчивых представителей нашей художественной общественности, которым и тогда была ясна неправомочность противопоставления этих двух произведений, а значит — различных течений в едином русле социалистического реализма. Да, «Встречный» четче, проще и вместе с тем психологически глубже и потому имел больший успех, чем «Иван», не говоря уже об «Аэрограде». И все же неудачи Довженко были хотя и не случайными, но частными, обусловленными трудностями роста. Последующая четверть века развития советского искусства и, в частности, Довженко наглядно показала, что выдающийся художник, не теряя своей самобытности, последовательно утверждал себя, как социалистический реалист.

Сегодня уже вряд ли возможно всерьез отрицать «законность» романтической формы в искусстве социалистического реализма — настолько убедительны творческие победы А. Довженко и Ю. Яновского, Э. Багрицкого и М. Светлова, К. Паустовского и О. Гончара, С. Вургуня и А. Малышко. Позиция Р. Юренева здесь как будто определена. Он убежден, что патетика, романтический пафос не только законны, но и необходимы нам.

Но здесь же выявляются и серьезные противоречия во взглядах автора книги.

Вдруг оказывается, что Довженко шел хотя и в одном «направлении» со всем советским искусством, но все-таки не по магистральной, а только «рядом», «своей, особой тропой». Как же совместить это утвержде-

ние с тезисом о бесконечном разнообразии форм, творческих почерков, индивидуальностей в социалистическом реализме, тезисом, так горячо отстаиваемым критиком?

Столь неожиданный вывод Р. Юренева, впрочем, по-своему «логичен». Ведь такие жемчужины советской кинематографии, как «Чапаев», «Юность Максима», «Депутат Балтики», «Великий гражданин», фильмы о Ленине, критик сравнивает почему-то... с «Иваном» и «Аэроградом», то есть далеко не самыми сильными довженковскими произведениями. Станный метод! Разве немые «Арсенал» и «Земля» не были важнейшими этапами в становлении метода социалистического реализма в кино? А «Щорс», вышедший в конце тридцатых годов? Да и правильно ли вообще делать обобщающий вывод о месте Довженко в советском искусстве (а рассуждения Р. Юренева о «магистральной» и «тропке» претендуют именно на такое обобщение) лишь на основании одного какого-то, и то не самого плодотворного, периода в его творчестве?

И напрасно критик пытается «успокоить» нас: «... как узок был бы путь социалистического реализма, если бы все шло по магистральной!» Трудно принять такую несправедливую по отношению не только к Довженко, но и к социалистическому реализму в целом концепцию.

Создается впечатление, что вообще во взглядах Р. Юренева на романтику и романтическую форму в социалистическом реализме отсутствует достаточная четкость. И именно в этом — корень всех противоречий. Сравнивая, например, «Щорса» и «Чапаева», критик утверждает: «нужно сказать, что, если «Чапаев» — вершина социалистического реализма в кино, «Щорс» — наиболее яркое проявление революционной романтики». Автор здесь явно смешивает революционную романтику как составную часть социалистического реализма (без нее немыслимы ни «Щорс», ни «Чапаев») с романтической формой, романтической линией в нашей литературе и искусстве, с тем стилевым течением, которое действительно включает в себя «Щорса» и не охватывает «Чапаева»!

Вызывают возражения и некоторые мысли Р. Юренева о национальных романтических традициях в творчестве Довженко. Упоминание об украинских народных думах, о творчестве Гоголя и Шевченко, о

театре Леси Украинки уместно и правильно. Но действительно ли, как утверждает критик, «стоят рядом с Довженко», близки ему романтической направленностью не только Ю. Яновский, М. Бажан, А. Бучма, В. Касиян, но и Лесь Курбас, чьи режиссерские эксперименты в театре «Березиль» откровенно отрицали традиции национального реалистического театра, но и И. Бабель, высокая эмоциональная насыщенность произведений которого носила, право же, иной характер и имела совсем иные корни, чем романтичность и патетика Довженко.

Нечеткость, непоследовательность позиции автора книги в этих принципиально важных теоретических вопросах сказывается нередко и в конкретных его оценках. Мы уже приводили пример со «Щорсом», которого Р. Юрнев, сам того не заметив, одной неточной фразой как бы вывел за пределы социалистического реализма. А ведь от «Щорса»-то он, в общем, в восхищении! Иные приговоры критика еще более резки, хотя и расходятся с его же принципами идейно-художественного анализа, с его пониманием своеобразия Довженко. Так, Р. Юрнев предсказывает полный сценический неуспех пьесы Довженко «Потомки запорожцев», ссылаясь на ее чрезмерную сложность, «повествовательно-декламационный характер» и отсутствие «четкого, стремительно развивающегося сюжета». Но такие же особенности «Повести пламенных лет» не помешали критику пожалеть, что «эта народная эпопея не нашла воплощения в фильме»!

И еще одно. Почему-то считается дурным тоном делать замечание автору о том, что он упустил и чего не сказал. А как быть, если в книге Р. Юрнева действительно бросается в глаза одно немаловажное упущение. Речь идет о проблеме «Довженко и неореализм». Влияние выдающегося советского художника на прогрессивное итальянское кино несомненно, о нем не раз говорили многие крупнейшие представители неореализма (Де Сантис, Карло Лидзани, Луиджи Кьярини и другие). Вопрос этот, однако, чрезвычайно сложен, ибо некоторые итальянские авторы, объявляя Довженко чуть ли не «отцом неореализма», склонны не замечать принципиальных различий в творческих методах, в эстетических позициях социалистического реалиста Довженко и неореалистов. Можно ли обойти все это в большой работе, озаглавленной «Александр Довженко»? Р. Юрнев обошел, ограничившись лишь упоминанием о взаимных симпатиях Довженко и прогрессивных итальянских кинорежиссеров. Этого, разумеется, обидно мало.

Итак, опасения Р. Юрнева, высказанные им в начале своей книги, не были, как видим, обосновательны: он действительно иногда «неполон», «поспешен» и «в чем-то неправ». Но куда чаще мысли его верны, наблюдения интересны, выводы по-настоящему смелы. Очень и очень немало для начала разговора, который, безусловно, должен быть продолжен. Сделать это надлежит нашему искусствоведению и литературной науке.

Ю. БАРАБАШ.

★

## Взгляните на звезды

Легко представить себе, читатель, что вы солидный, занятой человек, успевающий просматривать лишь ежедневные газеты и книги, получившие устойчивую репутацию. В таком случае я рискую раздосадовать вас, советуя обязательно прочесть одну ма-

**А. Сент-Экзюпери. Маленький принц. Сказка. Перевод с французского Н. Галь. «Москва», № 8, 1959.**

**Antoine de Saint-Exupéry. Le petit prince. 2-me éd. Edition en langues étrangères. Moscou. 1960 (Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц. Изд. 2-е. Издательство литературы на иностранных языках. Москва. 1960).**

ленькую сказку. Все мы вышли из того возраста, когда нас забавляли сказки, не так ли?

Но попробуйте разыщите в прошлогоднем комплекте журнала «Москва» сказочку Антуана Сент-Экзюпери, прочтите ее не спеша, с раздумьем, и если ничто не отзовется, не дрогнет у вас в душе — о, тогда вы и правда принадлежите к тому сорту людей, о которых с сожалением говорит автор: «На своем веку я много встречал разных серьезных людей. Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко. И от этого, признаться, не стал думать о



них лучше». С такими взрослыми не имеет смысла говорить об удачах, о джунглях или о звездах. Зато они очень любят цифры. «Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут: «А какой у него голос? В какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек?» Они спрашивают: «Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец?» И после этого воображают, что они узнали человека».

Впрочем, я почему-то верю, что вы будете рады узнать удивительную историю Маленького принца. Вы с интересом прочтете умную статью В. Смирновой, предпосланную этой сказке. И, может быть, вам захочется еще что-нибудь услышать об этом писателе...

В конце 1935 года французский самолет, летевший по маршруту Париж—Сайгон, потерпел аварию над Ливийской пустыней. Самолет разбился, летчик остался жив. Едва успев обрадоваться своему спасению, он понял, что обречен на медленное умирание. Со всех сторон тянулась бесконечная безжизненная пустыня. Он попробовал идти. Ноги вязли в песке, солнце палило невыносимо, горячий ветер обжигал кожу. И все-таки он решил вступить в единоборство с пустыней. Его вело не одно лишь желание спасти себя, свою жизнь. Ему придавало силы сознание ответственности перед теми, кто ждет его, думает о нем, страдает, надеется на его возвращение,— перед товарищами по эскадрилье, перед матерью, перед той женщиной, которую он любил. Изнемая от жажды, терзаемый мучительными миражами колодезев и оазисов, он все шел и шел вперед и наконец вышел к людям.

Таков он был — летчик и поэт, человек сурового мужества и безмерно нежного сердца. Таков был Антуан Сент-Экзюпери, имя которого известно ныне каждому французу и чьи книги мы понемногу начинаем читать по-русски.

Уже став прославленным писателем, он не изменил своему ремеслу летчика, и это окружило его имя ореолом красивой легенды — впрочем, вполне заслуженной его героической жизнью. Но самого Экзюпери привлекала в летном деле не романтика опасности, не желание испытать свое мужество. Он видел в самолете не цель, а средство. «Занимаешься настоящим человеческим тру-

дом и познаешь человеческие заботы. Вступаешь в соприкосновение с ветром, звездами, ночью, с песками, с морем. Состязаешься в хитрости с силами природы. Ждешь рассвета, как садовник ждет весны. Ждешь очередного аэродрома, как землю обетованную, и ищешь свою правду в звездах», — писал Экзюпери в своей лучшей книге «Земля людей».

В небе ему как-то свободнее думалось о земле, о простых людях, людях труда — пастухах и землепашцах, плотниках и машинистах, глубокую, кровную общность с которыми он всегда ощущал. И как это бывает у истинно талантливых писателей, естественный, неделимый демократизм Экзюпери был в полном ладу с его высокой духовной культурой. Величие природы, бесконечность звездного неба за стеклами кабины самолета, просторы земли, пронесшейся под крылом, — все это давало разбег широким и вольным мыслям о человеке и его судьбе.

Книги Экзюпери — «Ночной полет», «Южная почта», «Земля людей» — называют обычно лирическими репортажами: в них нет ничего вымышленного, никаких сюжетных хитросплетений. Автор просто рассказывает о своем деле, о товарищах летчиков, о своих раздумьях в пути. Выдумывать что-либо не в его вкусе.

И вот сказка, где все будто бы сплошной вымысел, где действуют Маленький принц, прилетевший на Землю с крохотного астероида, мудрый Лис — традиционный герой французских фавль, гордая и обидчивая роза... Но почему-то — видно, таков уж поэтический сэкрет автора — вас не оставляет впечатление, что сказка эта реальнее многих былей, и порой кажется, не встретил ли и впрямь Экзюпери у своего разбитого самолета в Ливийской пустыне Маленького принца в тот час, когда его подстерегало отчаяние при мысли, что ему не пройти через эти бесконечные пески, и когда чувство ответственности за тех, кто его ждет и любит, внушило ему веру и мужество.

«Маленький принц» — философская сказка, а те, кто знаком с этим жанром, знают, как легко соскользнуть тут к вычурности фантастических образов или к прямолинейному символизму. Надуманность и тяжеловесность убивают сказку. С Экзюпери этого не случилось, да и не могло случиться. Живая естественность фантазии, отсутствие мистического и символического тумана де-

лают эту сказку поэтически ясной, как кристалл, не лишая ее значительности выстраданных писателем мыслей.

К тому же давняя французская литературная традиция, та непринужденность, естественность и живая острота ума, которая составляет обаяние культуры этой страны, живет в сказке о Маленьком принце. А вместе с тем мы ясно слышим в этой лирической повести голос нашего современника, человека XX столетия, высоко ценящего все победы технического прогресса, но думающего и о другом прогрессе — дружбы, чистосердечия и справедливости.

Ведь, собственно говоря, Маленький принц и покинул свою планету потому, что ему очень не хватало друга. До поры до времени он безмятежно жил на астероиде В 612 (детям не нужны цифры, но взрослых они должны убедить в полной правдивости этой истории), на котором всего лишь и было примечательного, что три вулкана, и притом один из них потухший. Действующие вулканы принц старался тщательно прочищать, чтобы они горели ровно, и по утрам он разогревал на них свой завтрак. А потухший служил ему табуретом...

Я ловлю себя на том, что начинаю пересказывать сказку слишком подробно, но, согласитесь, нельзя не запомнить и не полюбить всех этих маленьких подробностей, которые могли родиться лишь в воображении человека, с детской непосредственностью и свежестью чувств смотрящего на мир.

Ну как не вспомнить, например, что Маленький принц каждый день приводил в порядок свою планету, выпалывая зловредные ростки баобабов? Трудность этого дела состоит, оказывается, в том, что, пока баобаб маленький, его невозможно отличить от редиса или розового куста. Ростки зла вначале порой очень напоминают добро. Но если вы зазеваетесь и не распознаете баобаб вовремя, он пронизет своими корнями всю почву и может разорвать планету. Поэтому писатель изменяет здесь своей обычной сдержанности. «Дети, — говорит он. — Берегитесь баобабов!» Конечно, это — предостережение и для взрослых.

Однообразна и печальна была жизнь принца без друга. Правда, однажды на его планете пророс из зерна, занесенного неведомо откуда, чудесный цветок. Красавица роза очень понравилась принцу, но она была капризная и гордая, и Маленький принц

поссорился со своим цветком. Лишь позднее он понял, что совершил ошибку. «Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать! Под этими жалкими хитростями и уловками я должен был угадать нежность. Цветы так последовательны!» Но тогда он об этом не догадался, простился со своим цветком и отправился странствовать с перелетными птицами.

Друзей найти не так легко, даже когда ты этого очень хочешь. Ведь может случиться и так, что на ближайших к тебе астероидах живут король, честолюбец, пьяница, делец или географ, вроде тех, какие повстречались Маленькому принцу, когда он отправился в свое путешествие. Ну разве можно подружиться, например, с королем, если он в каждом человеке видит своего подданного, или с честолюбцем, который глух ко всему, кроме похвал, или с деловым человеком, который подсчитывает звезды, записывает их число на бумажке и потом кладет ее «в банк»?

Экзюпери дает здесь волю своей иронии, подсказанной безрадостными наблюдениями автора над укладом жизни и образом мыслей современного буржуа и мещанина на Западе. Но ирония писателя не вторгается в сказку чем-то посторонним, не разрушает целостного поэтического впечатления, может быть, потому, что ненависть Экзюпери, как и его нежность, исходит из одного источника — доверия к людям и недоброго чувства при виде любого искажения истинной природы человека.

Если человек заботится лишь о себе, о своем богатстве, тщеславии или благополучии, с ним трудно найти общий язык. Только с фонарщиком, которого Маленький принц повстречал на пятой по счету планете, он мог бы подружиться. Фонарщик светит людям и служит красоте. «Когда он зажигает свой фонарь — как будто бы рождается еще одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь — как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво». Ведь красота — одна из самых важных вещей в жизни, и не понимать этого могут лишь люди вроде дельца с багровым лицом или книжника-географа.

С этим географом Маленький принц познакомился на шестой планете, которую он посетил. Оказывается, сам географ никогда

не видел ни рек, ни гор, ни морей, ни пустыни. Он был слишком важным лицом и потому никогда не выходил из своего кабинета, а знал обо всем со слов путешественников. Не нужно думать, что он им очень доверял. Главная его работа в том и заключалась, что, прежде чем занести в толстую книгу рассказ путешественника, он наводил справки и проверял, порядочный ли человек этот путешественник и не выпивает ли он лишнего.

Я тоже знаю таких географов. Они не всегда занимаются географией, а порой берутся за историю, философию и — очень охотно — за литературу. Всегда они с гордостью раскрывают свои толстые книги, куда вносят только вечное и неизменное. «Цветы мы не отмечаем, — сказал географ.

— Почему?! Ведь это самое красивое!

— Потому что цветы эфемерны». И, ответив так, географ захлопывает книгу перед самым вашим носом и идет осведомиться, что вы за человек, если интересуетесь эфемерным.

Экзюпери несносен всякий индивидуализм, недоверие, разобщенность людей. Самой большой на свете ценностью он считает связь человека с человеком, ответственность друг за друга. Эгоизм для Экзюпери — это духовное одичание, которое настигает человека даже в удобном кабинете, уставленном мудрыми книгами. Но можно и не замыкаться в четырех стенах, быть в постоянной суете, встречаться с тысячами людей и в то же время жить лишь на своем астероиде, как король или географ.

Маленький принц попал на планету Земля, чтобы там наконец найти себе друзей. Ведь на Земле «все дороги ведут к людям». Но прежде его ждало огорчение. Он увидел сад, полный роз, точно таких же, как цветок на его планете. «Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей вселенной. И вот перед ним пять тысяч точно таких же цветов в одном только саду!» Маленький принц заплакал от досады. Он-то думал, что владеет единственным в мире цветком, а это была самая обыкновенная роза...

Тогда-то и появился мудрый Лис, чтобы сообщить Маленькому принцу самый важный, самый дорогой для автора секрет зоркости сердца. Этот Лис не только отлично охотился на кур, но и неплохо разбирался в жизни. Он объяснил принцу, что, если хочешь иметь друзей, надо «приручать», при-

вязывать их к себе, а это значит отдавать им всю душу, это значит навсегда быть в ответе за тех, кого ты любишь.

Лис послал Маленького принца снова взглянуть на розы, которые так расстроили его, и он увидел их теперь совсем другими. «Вы ничуть не похожи на мою розу, — сказал он им. — Вы еще ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был прежде мой Лис. Он ничем не отличался от ста тысяч других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь он единственный в целом свете».

Эта простая мудрость — мудрость любви и человеческой нежности — неотразимо обаятельна в сказке. Но нежность, которую славит Экзюпери (а это одно из любимых его слов), тем привлекательнее, что она мужественна, — в ней нет и капли слащавости.

Вот только где-то в последних сценах прекрасная, гуманная мысль сказки становится несколько одностороннее. Когда Маленький принц говорит, что то, чего тщетно ищут люди, «можно найти в одной-единственной розе, в глотке воды», — с этим не хочется согласиться. Быть в ответе за свою розу не единственное счастье для человека, хотя кто же будет оспаривать, как это важно.

И вот сказка подходит к концу. Маленький принц подружился с Лисом, а потом и с летчиком Экзюпери, который чинил в пустыне свой самолет, — с таким человеком, должно быть, хорошо подружиться! Летчика мучила жажда, и он тронулся в нелегкий путь, надеясь дойти до колодца. Маленький принц не знал, что значит хотеть пить — ему достаточно было солнечного луча, — но он пошел с летчиком, потому что «вода бывает нужна и сердцу...». А проще сказать, он чувствовал себя в ответе за своего друга.

Они, конечно, дошли, они не могли не дойти до колодца. И как радостен был этот пир жизни! «Я поднес ведро к его губам. Он пил, закрыв глаза. Это было как самый прекрасный пир. Вода эта была не простая. Она родилась из долгого пути под звездами, из скрипа ворота, из усилий моих рук. Она была как подарок сердцу». Когда читаешь сказку Экзюпери, тебя не оставляет чувство, что ты пьешь из такого же вот незамутненного родника поэзии. И не оттого ли, что поэзия эта тоже родилась из усилий

его мужественных рук, из долгого пути под звездами?

Печален конец сказки, но что же поделать? «Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать». Нельзя равнодушно смотреть, как маленький златокудлый мальчик, закрыв лицо руками, медленно и беззвучно падает на песок. Экзюпери сам иллюстрировал свою сказку, и это один из тех его рисунков, которые по выразительной простоте и душевной тонкости соперничают с самим рассказом.

Маленький принц погиб от укуса змейки, а может быть, и не погиб, а только улетел опять на свою крохотную планету с тремя вулканами, где ждал его цветок, за который он был в ответе. Но на прощание он оставил своему другу на Земле радость воспоминания, красоты и поэзии. Он научил его смотреть на звезды, и звезды сделались его друзьями. Они всегда напоминали ему о Маленьком принце.

Сказка Экзюпери была написана в 1943 году в эмиграции, вдали от родины писателя — оккупированной фашистами Франции. Экзюпери знай, что битва за человечность и за доверие между людьми, к

которому он всегда призывал в своих книгах, идет сейчас на полях войны с фашизмом. И он, искалеченный авариями и с трудом садившийся в кабину самолета, выхлопотал себе право на несколько боевых вылетов.

Тридцать первого июля 1944 года самолет Экзюпери, поднявшийся с базы союзников на Корсике, растаял в ночи, провожаемый взглядами товарищей. Больше его не видели.

Долго о судьбе Экзюпери не было ничего известно. И хотя никто не сомневался в том, что он погиб, почему-то снова больно защемило сердце, когда совсем недавно в дневнике бывшего немецкого офицера была найдена запись, документально подтверждавшая, что самолет Экзюпери был сбит фашистским истребителем и сгорел над морем. Таковы сухие и точные факты. Но иногда больше хочется верить поэтической сказке.

В ясную тихую ночь взгляните на небо и спросите себя: не зажглась ли там для вас звезда поэта и философа, летчика и мечтателя Антуана Сент-Экзюпери?

**В. ЛАКШИН.**



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА НА СТРОЙКАХ СЕМИЛЕТКИ.** «Советская Россия». М. 1959. 200 стр. Цена 2 р. 95 к.

Выход этой книги в свет продиктован самой жизнью. Сегодня пропаганда задач и планов, разработанных XXI съездом КПСС, и связанные неразрывно с решением этих задач вопросы коммунистического воспитания становятся важнейшим звеном в деятельности партийных организаций. Как говорил товарищ Н. С. Хрущев, для перехода к коммунизму необходима не только развитая материально-техническая база, но и высокий уровень сознательности всех граждан.

Книга «Политическая работа на стройках семилетки» представляет собой сборник статей, в большинстве написанных секретарями обкомов и горкомов КПСС. Разнообразна «география» книги, разнообразны и освещаемые в ней вопросы, а также формы и методы массовой работы — касаются ли они производства или организации быта трудящихся.

Отличительная черта всех материалов сборника — их конкретность, целеустремленность.

Авторы книги делятся не только успехами, они не скрывают и не изживают пока недостатков. Подобный обмен опытом принесет, несомненно, большую пользу.

**А. И. ВИКЕНТЬЕВ.** Очерк развития народного хозяйства СССР. Госполитиздат. М. 1959. 244 стр. Цена 4 р. 60 к.

Автор анализирует экономические явления, происшедшие за очень интересное в истории нашей страны время. Это 1951—1958 годы, преддверие семилетки. Успешно выполнена пятая пятилетка. Осуществляя задания XX съезда КПСС, наш народ добился замечательных успехов в коммунистическом строительстве. Исторический сентябрьский (1953 г.) Пленум ЦК КПСС и последующие решения партии и правительства наметили верные пути дальнейшего крутого подъема сельского хозяйства. Коренная перестройка управления промышленностью и строительством подняла нашу экономику на новую, более высокую ступень развития.

В своей книге А. Викентьев ставит задачу рассмотреть, «как сложились в этот период на базе действия объективных экономических законов социализма, сознательно применяемых в хозяйственной политике Коммунистической партии и Советским го-

сударством, основные народнохозяйственные пропорции».

Заключительная часть книги посвящена рассказу о тех грандиозных перспективах, которые открывает семилетний план на 1959—1965 годы — период развернутого строительства коммунизма, решающий этап в мирном экономическом соревновании социалистической и капиталистической систем.

**И. С. ШАПИРО.** Казахстан — новая база черной металлургии. Госпланиздат. М. 1959. 71 стр. Цена 1 р. 70 к.

Предисловие к этой книжке написано академиком И. П. Бардиным. В нем говорится: «На VII Всероссийском съезде Советов В. И. Ленин указывал на Казахстан как на богатый край больших возможностей. Ныне Казахстан выдвигается в ряд высокоразвитых стран. Это является ярким свидетельством преимуществ социалистической системы хозяйства и ленинской национальной политики».

Материалы книжки знакомят с ресурсами железной руды и угля в республике, а также с возможными масштабами добычи железной руды, выплавки чугуна, добычи коксующихся углей и выжига кокса. Интересна «Обзорная карта железорудных и топливных месторождений Казахской ССР».

Чугун, выплавленный из кустанайских магнетитовых и атасуйских руд, будет очень дешевым. Балансовые запасы железных руд в Казахстане оцениваются в пятнадцать миллиардов тонн и составляют почти пятую часть запасов СССР.

Книжка показывает, какое почетное и ответственное место занимает в семилетнем плане Казахская ССР.

**В. СЕМЕНОВ.** Проблема классов и классовой борьбы в современной буржуазной социологии. Госполитиздат. М. 1959. 248 стр. Цена 4 р. 50 к.

Книга В. Семенова посвящена критике буржуазных теорий о классах и классовой борьбе.

Автор анализирует изменения, происшедшие в социальной структуре современного капитализма.

Буржуазные социологи проповедуют «классовый мир» между рабочими и буржуазией, «общность их интересов», они раздувают миф об «исчезновении» классов. По мнению идеологов буржуазии, в капиталисти-

ческом обществе пролетариат все более «обуржуазивается» и «депролетаризируется», буржуазия и пролетариат будто бы «сравниваются» между собой. Среди буржуазных и реформистских теорий наиболее распространенной становится теория о «среднем классе».

Не случайно, подчеркивает автор книги, в современной буржуазной науке проблема классов и классовой борьбы занимает одно из центральных мест. Причина ясна: все большее обострение противоречий мировой капиталистической системы, кризисные явления, широкий размах забастовочного движения заставляют буржуазных ученых искать новые средства в идеологической обработке масс, в извращении социализма и клевете на марксизм-ленинизм.

**КАК ВЫГЛЯДИТ ЗАПАДНАЯ ГЕРМАНИЯ СЕГОДНЯ.** Перевод с немецкого. Соцэкгиз. М. 1959. 176 стр. Цена 3 р. 10 к.

Вопрос, содержащийся в названии книги, волнует все миролюбивое человечество. Западная Германия — это очаг беспокойства, расположенный в центре Европы. Анализ причин, вызвавших такое положение, мы находим в аннотируемой книге. Она подготовлена Комитетом борьбы за единство Германии и освещает наиболее острые проблемы ФРГ — экономические, политические и социальные.

Книга имеет форму справочника и содержит ответы на сто двадцать шесть вопросов. В них вскрыты истоки милитаристской политики, проводимой федеральным правительством, и разоблачается истинное положение в стране, прикрытое вывеской «экономического чуда». Читатель узнает правду о том, что представляет собой «социальное партнерство», «народные акции», как обстоит дело с «полной занятостью». Убедительно противопоставление неизменного роста покупательной способности марки ГДР и теряющей свою ценность западной марки.

О падении культуры в ФРГ свидетельствует глава «Искусство и литература», где, в частности, рассказывается о потоке фашистских, милитаристских и других низкопробных изданий, выбрасываемых на книжный рынок.

В книге много выразительных фотографий.

**ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ.** Соцэкгиз. М. 1960. 464 стр. Цена 11 р. 40 к.

Эта книга — сборник статей — представляет собой первый и притом удачный опыт совместного труда советских и южноамериканских исследователей. Среди зарубежных авторов, написавших свои статьи специально для советского издания, — видные деятели рабочего и прогрессивного движения, экономисты, историки и литературоведы: председатель Народно-социалистической партии Кубы Хуан Маринельо, член ЦК Коммунистической партии Аргентины Паулино Гонсалес Альберди, уругвайский ученый, профессор социологии

Карлос М. Рама, мексиканский историк Луис Чавес Ороско. Цель книги — ознакомить широкие круги читателей с некоторыми основными проблемами, волнующими Латинскую Америку в настоящее время.

Книгу открывает статья В. Г. Спирина «На пути к национальному освобождению», в которой анализируются новые процессы в экономике и политике, происходящие в послевоенные годы в Латинской Америке. Работы Х. Маринельо и А. Ф. Шульговского посвящены недавним событиям на Кубе и в Венесуэле, в результате которых народы свергли кровавые диктатуры Батисты и Переса Хименеса.

О дружеских связях народов СССР и Латинской Америки пишут советские авторы А. П. Самсонов и Л. А. Шур.

В конце книги помещена библиография книг и статей по истории Латинской Америки, опубликованных в Советском Союзе.

**А. М. ГОРЬКИЙ И СОЗДАНИЕ ИСТОРИИ ФАБРИК И ЗАВОДОВ.** Составители Л. Зак и С. Зимина. Соцэкгиз. М. 1959. 364 стр. Цена 6 р. 30 к.

Сборник содержит документы и материалы, раскрывающие опыт работы по созданию истории фабрик и заводов нашей страны — одного из замечательных начинаний А. М. Горького.

В книге собраны постановления партийных органов, статьи, выступления и письма Горького и другие документы, характеризующие участие партийных и общественных деятелей, ученых, писателей и рабочих в создании истории фабрик и заводов.

В приложениях к книге даются обзоры архивных фондов Москвы и Ленинграда и краткий библиографический перечень литературы (на русском языке) за 1932—1957 годы.

Сборник рассчитан на широкий круг читателей. Он окажет практическую помощь рабочим коллективам в создании истории своих предприятий и явится пособием для научных работников и писателей в изучении славных традиций революционной борьбы рабочего класса нашей страны и опыта строительства социализма.

**А. РОСКИН. А. П. Чехов. Статьи и очерки.** Гослитиздат. М. 1959. 432 стр. Цена 11 р.

Более двадцати лет назад появились в печати работы о Чехове Александра Роскина, впервые собранные в этой книге. Круг интересов Роскина-чеховеда широк: путь от Антоши Чехонте к Чехову, вопросы, связанные с биографией писателя, Чехов и медицина, Чехов и писатели-восьмидесятники, его пьесы на сцене Художественного театра. Но эти темы далеко не исчерпывают содержания сборника, потому что Роскин обладал замечательной способностью, исследуя любой конкретный вопрос, широко очерчивать круг проблем, наметить перспективы их изучения.

Роскин тонко чувствовал чеховский стиль, его художественную манеру. В сборнике много оригинальных наблюдений такого

рода — о языке драматургии Чехова, о поэтике собственных имен, о своеобразном чеховском «приеме перенесений». Критик настойчиво указывал на необходимость «мелкого и четкого» изучения творений Чехова. Примером такого анализа может служить лучшая работа книги, посвященная пьесе «Три сестры». Внимательно рассматривая каждую сцену, монолог, буквально каждую реплику персонажей, исследователь убедительно показывает значение этих «малых деталей» для художественного целого. Мастерски, иногда всего несколькими словами, нарисованы портреты актеров, характеры героев, передано течение спектакля.

В книге впервые дается полная библиография работ Роскина о Чехове.

**ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРАФИМОВИЧЕ.** Сталинградское книжное издательство. 1959. 192 стр. Цена 4 р. 25 к.

Сборник открывают воспоминания Федора Гладкова. В них рассказывается об огромной роли, которую сыграл Серафимович в сплочении молодых сил советской литературы. По словам Гладкова, Серафимович «всегда привлекал к себе своей жизнерадостностью, каким-то юношеским любопытством к человеку. И каждый сразу чувствовал эту нелицемерную его сердечную пристальность. Никогда в нем не было ни тени самообольщения, ни своенравного желания показать свое величие или снисходительность, как мэтра».

Воспоминания В. Ильенкова, А. Первенцева, В. Лидина, В. Билль-Белоцерковского, И. Козлова, Г. Нерадова, В. Петрова, И. Попова, А. Рыбина, П. Топоркова, М. Веселовской, воспоминания переводчика «Железного потока» на китайский язык Цао Цзин-хуа помогают лучше представить облик Серафимовича как человека и писателя.

**ВАСИЛИЙ СУГОНЯЙ.** Михаил Садовяну. Жизнь и творчество. «Советский писатель». М. 1959. 332 стр. Цена 8 р.

О жизни и творчестве классика румынской литературы Михаила Садовяну до настоящего времени не существовало более или менее полной монографии. Автор аннотируемой книги сделал попытку впервые в общем очерке рассказать о творческом пути этого выдающегося художника слова.

Михаил Садовяну (сейчас ему семьдесят девять лет) написал и издал за свою жизнь огромное количество произведений — очерков, рассказов, повестей, романов, пьес. Они составили свыше ста томов. В своей сравнительно небольшой книге В. Сугонай, естественно, не мог всесторонне осветить весь этот большой и сложный материал. Он ограничился изложением и анализом лишь важнейших фактов жизни и творчества писателя.

Автор знакомит читателей с детством М. Садовяну, рассказывает о демократических традициях его семьи, об увлечении юного Садовяну произведениями передовых писателей румынской литературы XIX века

Позже на Михаила Садовяну большое влияние оказала русская и западная классическая литература.

В книге в хронологической последовательности рассматриваются первые выступления писателя в печати, увлечение романтизмом, критический реализм М. Садовяну (повести «Ион Урсу», «Боярский грех», рассказ «Лес» и другие) и, наконец, его овладение методом социалистического реализма. Из произведений, созданных писателем после освобождения Румынии от фашизма, наиболее значительным справедливо считается повесть «Митря Кокор». Она посвящена ожесточенной классовой борьбе в румынской деревне и переведена на многие иностранные языки, в том числе на русский. Ее анализу автор книги уделяет значительное место.

**ВОПРОСЫ КИНОДРАМАТУРГИИ.** Сборник статей. Вып. 3. «Искусство». М. 1959. 395 стр. Цена 14 р. 70 к.

Страницы этого сборника предоставлены крупным мастером советского кино — теоретиком, драматургам, режиссерам.

Статьи поднимают как общие, так и специальные вопросы мастерства сценариста: современность кинодраматургии, законы построения сценария, кинематографическая образность, структура киноэпизода, обстановка и атмосфера действия и т. д.

Первый раздел сборника — «Выразительные возможности сценария». Здесь обращает на себя внимание интересная работа В. Шкловского «Ситуация и коллизия». В статье А. Мачерета «Поэтическая идея фильма» поднимаются проблемы тенденции произведения, художественного, образного выражения его идеи, остро и полемично разбираются современные фильмы «Летят журавли» М. Калатозова, «Коммунист» Ю. Райзмана. С большим, углубленным, хотя и не во всем бесспорным исследованием «О кинематографической образности сценария» выступил искусствовед Ан. Вартаков. В сборнике опубликованы также статьи И. Вайсфельда «Заметки на полях сценариев», К. Виноградской «О творческой технике», Е. Добина «Обстановка и атмосфера действия».

Второй раздел книги озаглавлен «Творческая лаборатория кинодраматурга». Здесь впервые публикуются режиссерский сценарий С. Эйзенштейна «Ферганский канал», выступление и письма Вс. Вишневского, «Дневники» писателя и драматурга М. Большинцова, стенограмма лекции одного из крупнейших советских сценаристов, Натана Зархи.

Статьи, принадлежащие разным авторам, содержат порой полемические мысли, они вступают в спор на страницах сборника. Теория молодого киноискусства еще переживает свое становление. И нет сомнения, что интересные исследования сборника «Вопросы кинодраматургии» (редактор И. Вайсфельд) внесут существенный вклад в разработку поэтики киноискусства.

**И. ДУБИНСКИЙ.** Контрудар. Роман. «Советский писатель». М. 1959. 394 стр. Цена 6 р. 50 к.

Имя участника гражданской войны И. Дубинского знакомо читателям «Нового мира» по его воспоминаниям «В строю червонных казаков». В своем романе «Контрудар» автор рассказывает о том, как в отрядах Красной Армии, в бригаде Котовского он дрался с Деникиным, участвовал в разгроме банд Петлюры и Махно, ходил на Перекоп.

В центре романа — судьба Алексея Булата, бывшего фортепианного наладчика, который «совсем еще недавно... принимал участие в борьбе больше по велению чувства, нежели по долгу сознательного революционера». Когда развернулись события 1917 года, молодой коммунист Булат с винтовкой в руках, перепоясанный пулеметными лентами, встал на защиту революции.

Трудный и героический путь Алексея Булата, боровшегося с контрреволюцией, с иностранными интервентами на землях родной Украины, и явился в то же время путем его нравственного роста, духовного возмужания, становления сознательного, преданного всем сердцем партии и народу коммуниста.

В книге И. Дубинского, где действуют ряды с вымышленными героями и исторические лица, даны широкие картины народной борьбы за страну Советов.

**СИБИРЬ СЕГОДНЯ.** Рассказы и очерки. «Советский писатель». М. 1959. 576 стр. Цена 10 р. 30 к.

О новой Сибири, об огромной созидательной работе, кипящей на всей ее необозримой территории, рассказывает книга «Сибирь сегодня». Она состоит из рассказов и очерков, написанных по горячим следам событий и опубликованных несколько лет назад в центральных и сибирских журналах и альманахах. Эти рассказы и очерки принадлежат перу опытных писателей: Г. Кублицкого, С. Кожевникова,

А. Смердова, С. Залыгина, А. Коптелова, Г. Кунгурова, Г. Маркова. С. Сартакова, Л. Кожевникова, К. Лисовского и молодых литераторов — Ю. Полухина, В. Осипова, А. Озерского и других. Книга богата по содержанию. В ней рассказывается о первых шагах в строительстве Братской ГЭС и о новых способах добычи угля в Кузбассе, о выведении в суровых условиях сибирского климата новых сортов яблок и об открытии новых месторождений алмазов, об освоении целины и улучшении породы соболей. И самое главное — рассказывается о людях, чьими руками меняется лицо Сибири.

«Сибирь сегодня» — интересный и живой репортаж о современной Сибири.

**РУД. БЕРШАДСКИЙ.** О чем рассказывают марки. Детгиз. М. 1959. 96 стр. Цена 4 р. 60 к.

Обложка этой небольшой книжки привлекает внимание своей красочностью: по синему морю плывет лодка, распустив белоснежные паруса. И внутри книжки много ярких рисунков: земля Исландии с ее знаменитыми гейзерами, лошади, мчащие почтовую карету, собака Лайка, лазурный берег Монако, спутник, пирамида Хеопса...

Рисунки воспроизводят изображения на различных марках. Ведь за каждой маркой стоит очень много. Они запечатлевают природу страны, судьбу народа, прогресс науки и многое другое. Поэтому, рассказывая о марках, автор говорит, по сути, о жизни, об истории, о людях: и о мужественном венгерском юноше Шандоре Сегеди, помогавшем в 1945 году нашим воинам освободить Будапешт, и о борьбе колониальных народов за независимость, и о том, когда и почему появилась на свет первая марка, о природе и хозяйстве Исландии, о завоевании космоса.

Хорошо написанная книга Руд. Бершадского, автора и других произведений, связанных с историей («На раскопках древнего Хорезма», «Горизонты истории»), с интересом будет прочитана детьми и взрослыми.





## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Очередные задачи Советской власти.— Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата. 56 стр. Цена 60 к.

**В. И. Ленин.** Пролетарская революция и ренегат Каутский. 112 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП.** Протоколы. Апрель (апрель—май) 1906 года. 714 стр. Цена 14 р.

**Л. Я. Берри, А. С. Толкачев.** Материально-техническая база коммунизма. 100 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Х. Барсебян.** Степан Шаумян. 88 стр. Цена 1 р.

**Вопросы марксистско-ленинской этики.** Материалы научного совещания. 264 стр. Цена 5 р.

**Н. И. Губанов.** Отечество и патриотизм. 144 стр. Цена 1 р. 75 к.

**В. И. Евдокимов.** Возрастающая роль партии в строительстве коммунизма. 88 стр. Цена 1 р.

**Записная книжка партийного активиста.** 416 стр. Цена 4 р. 25 к.

**Легендарный рейд.** Сборник воспоминаний о походе южноуральских партизан под командованием В. К. Блюхера. 192 стр. Цена 2 р. 20 к.

**Т. Лильин.** Общественность и укрепление законности. 80 стр. Цена 1 р.

**Александр Михалевич.** О страстях и страстишках. 80 стр. Цена 90 к.

**Мы были баптистами.** 112 стр. Цена 1 р. 15 к.

**Наши современники.** 320 стр. Цена 9 р. 50 к.

**Я. М. Свердлов.** Избранные произведения. Том III. 276 стр. Цена 5 р. 50 к.

**И. И. Скворцов-Степанов.** Беседы о вере. 40 стр. Цена 45 к.

**Установление Советской власти на местах в 1917—1918 гг.** Выпуск второй. Сборник статей. 728 стр. Цена 16 р.

**Виктор Хмара.** Человеку надо верить. 32 стр. Цена 30 к.

**В. Чуев.** В. И. Ленин в Самаре (1889—1893 гг.). Документально-исторический очерк. 96 стр. Цена 1 р.

**И. Шевцов.** Особое задание (Воспоминания о деятельности причерноморских партизан в 1919—1920 гг.). 112 стр. Цена 1 р. 35 к.

### ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

**Заседания Верховного Совета СССР пятого созыва.** Четвертая сессия (14—15 января 1960 г.). Стенографический отчет. 208 стр. Цена 4 р. 85 к.

Стенографический отчет издается на языках союзных республик: русском, украинском, белорусском, узбекском, казахском, грузинском, азербайджанском, литовском, молдавском, латышском, киргизском, таджикском, армянском, туркменском и эстонском.

### ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

**Законы СССР, постановления и обращения Верховного Совета СССР.** Приняты на третьей и четвертой сессиях Верховного Совета СССР пятого созыва. 60 стр. Цена 50 к.

### СОЦЭКГИЗ

**И. М. Бровер.** Экономические взгляды Г. В. Плеханова. 232 стр. Цена 6 р. 40 к.

**В. Бурова, С. Шор.** Хозяева подземных кладовых. Из истории шахты им. Ильича в Донбассе. 166 стр. Цена 1 р. 90 к.

**В. Итенберг.** Дмитрий Рогачев, революционер-народник. 80 стр. Цена 95 к.

**Коллектив авторов.** Критика современных буржуазных, реформистских и ревизионистских экономических теорий. 592 стр. Цена 11 р.

**А. Д. Кузнецов.** Трудовые ресурсы СССР и их использование (К вопросу об экономической мощи страны). 176 стр. Цена 3 р. 15 к.

**А. И. Пашков.** Экономические работы В. И. Ленина 90-х годов. 508 стр. Цена 12 р. 85 к.

**С. П. Первушин.** Некоторые проблемы перехода от социализма к коммунизму. 160 стр. Цена 1 р. 90 к.

**Э. М. Розенталь.** Дипломатическая история русско-французского союза в начале XX века. 272 стр. Цена 8 р. 40 к.

**Б. А. Чагин.** Из истории борьбы В. И. Ленина за развитие марксистской философии. 292 стр. Цена 8 р.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Г. Бакланов.** Пядь земли. Повесть. 256 стр. Цена 3 р. 10 к.

**З. Богуславская.** Леонид Леонов. Монография. 368 стр. Цена 8 р. 75 к.

**В. Боровик.** Причуды бабьего лета. Рассказы и повесть. 180 стр. Цена 3 р. 85 к.

**С. Георгиевская.** Тарасик. Повесть. 212 стр. Цена 4 р. 10 к.

**А. Гулуев.** Горное гнездо. Стихи и поэмы. Перевод с осетинского. 76 стр. Цена 1 р.

**Дагестанские повести и рассказы.** 356 стр. Цена 6 р. 10 к.

**Хаджи-Мурат Дзудцов.** Ветер времени. Стихи. Перевод с осетинского. 72 стр. Цена 1 р. 50 к.

**П. Дружнин.** Большая земля. Стихи. 208 стр. Цена 3 р. 85 к.

**В. Жданов.** Творческая история романа Л. Н. Толстого «Воскресение». 452 стр. Цена 10 р. 50 к.

**А. Кулаковский.** К восходу солнца. Повести и рассказы. Перевод с белорусского. 296 стр. Цена 5 р. 30 к.

**В. Лукашевич.** Твоя подруга. Повесть и рассказы. 336 стр. Цена 5 р. 80 к.

**И. Машбаш.** Гром в горах. Стихи и поэмы. Перевод с адыгейского. 136 стр. Цена 2 р.

**М. Метсанурк.** Красный ветер. Роман. Перевод с эстонского. 488 стр. Цена 8 р. 25 к.

**С. Мушник.** Дороги поколения. Поэмы. Перевод с украинского. 72 стр. Цена 1 р. 25 к.

**Н. Погодин.** Человек с ружьем. Кремлевские куранты. Третья патетическая. Пьесы. 220 стр. Цена 6 р. 80 к.

**Ш. Рашидов.** Сильнее бури. Роман. Перевод с узбекского. 328 стр. Цена 6 р. 25 к.

**А. Розен.** Счастливей возраст и другие рассказы. 296 стр. Цена 5 р. 30 к.

**Б. Рюриков.** Марксизм-ленинизм о литературе и искусстве. 156 стр. Цена 3 р. 10 к.

**А. Салынский.** Забытый друг. Сборник пьес. 292 стр. Цена 7 р. 60 к.

**В. Синенко.** Страна Офир. Исторический роман. 600 стр. Цена 9 р. 60 к.

**Г. Ходжер.** Чайки собираются над морем. Повесть. 212 стр. Цена 4 р.

**Н. Шамота.** Художник и народ. 348 стр. Цена 8 р. 30 к.

**К. Шильдкрет.** Минувшая пора. Роман. 384 стр. Цена 6 р. 50 к.

## ГОСЛИТИЗДАТ

**Антология азербайджанской поэзии.** В трех томах. Том 1. 383 стр. Цена 8 р. Том 2. 327 стр. Цена 6 р. Том 3. 280 стр. Цена 7 р.

**Генрих Бёльль.** Дом без хозяина. Роман. Перевод с немецкого. 304 стр. Цена 8 р.

**Иоганнес Р. Бехер.** Сонеты. Переводы с немецкого. 191 стр. Цена 4 р.

**Анатолий Виноградов.** Избранные произведения. В трех томах. Том 1. 624 стр. Цена 12 р. Том 2. 712 стр. Цена 13 р. 25 к. Том 3. 560 стр. Цена 11 р.

**Ашот Граши.** Стихи. Перевод с армянского. 359 стр. Цена 4 р. 15 к.

**Кальман Миксат.** Избранные произведения. В двух томах. Переводы с венгерского. Том 1. 463 стр. Цена 9 р. Том 2. 575 стр. Цена 10 р. 60 к.

**Абдул Муис.** Неправильное воспитание. Роман. Перевод с индонезийского. 215 стр. Цена 5 р. 40 к.

**Антоний Погорельский.** Двойник, или Мои вечера в Малороссии. Монастырка. 352 стр. Цена 6 р. 25 к.

**Д. Б. Пристли.** Улица Ангела. Роман. Перевод с английского. 504 стр. Цена 15 р. 45 к.

**Юлиуш Словацкий.** Избранные сочинения. В двух томах. Перевод с польского. Том 1. 808 стр. Цена 12 р. 15 к. Том 2. 702 стр. Цена 10 р. 25 к.

**Сергей Смирнов.** Стихотворения и короткие басни. 223 стр. Цена 3 р. 65 к.

**Советские писатели.** Автобиографии в двух томах. Том 1. 703 стр. Цена 21 р. 45 к. Том 2. 759 стр. Цена 22 р. 90 к.

**Анатолий Софронов.** Стихи и песни. 223 стр. Цена 3 р. 90 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**В. И. Ленин.** Задачи Союзов Молодежи. Речь на III Всероссийском съезде Российской Коммунистической Союзу Молодежи 2 октября 1920 г. 62 стр. Цена 25 к.

**В. Бондарец.** Военнопленные. Записки капитана. 288 стр. Цена 6 р. 60 к.

**Ал. Гогуа.** Река спешит к морю. Повесть и рассказы. Перевод с абхазского. 272 стр. Цена 5 р. 45 к.

**З. Гусева.** Швейцарские зарисовки. Очерки. 112 стр. Цена 1 р. 60 к.

**А. Елагина.** Черкасские встречи. Очерки. 112 стр. Цена 1 р. 60 к.

**И. Ефремов.** Юрта ворона. Рассказы. 288 стр. Цена 5 р. 85 к.

**А. Д. Жариков.** Подвиги юных. Рассказы и очерки. 144 стр. Цена 1 р. 60 к.

**В. Иванов-Леонов.** Генерал «Африка». Повесть. 239 стр. Цена 5 р.

**Мстислав Левашов.** Таежный друг. Рассказы. 136 стр. Цена 2 р. 85 к.

**Анна Лупан.** Порыв ветра. Повесть и рассказы. Перевод с молдавского. 208 стр. Цена 4 р. 60 к.

**В. Маланчук.** Молодость, закаленная в боях. Очерки. 120 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Сергей Михалков, Анатолий Алексин.** Мы встретились в Заполярье. Сборник документальных рассказов. 56 стр. Цена 70 к.

**У. Мэкин.** Ветер сулит бурю. Роман. Перевод с английского. 350 стр. Цена 5 р. 10 к.

**Песни юности над Веной.** Очерки. 208 стр. Цена 3 р.

**С. Полетаев.** Егорка меняет характер. Рассказы. 128 стр. Цена 1 р. 80 к.

**Юрий Сальников.** Шестиклассники. Повесть. 317 стр. Цена 6 р. 25 к.

**Сергей Семенов.** Степь ковыльная. Исторический роман. 334 стр. Цена 6 р. 40 к.

**В. Степаненко.** Колькина тайна. Рассказы. 144 стр. Цена 2 р. 10 к.

**М. Шаскольская.** Фредерик Жолио-Кюри. 270 стр. Цена 6 р. 5 к.

**М. Шолохов.** Поднятая целина. Роман. 1-я и 2-я книги. 615 стр. Цена 13 р. 50 к.

### ДЕТГИЗ

**Братья в борьбе.** Стихи и рассказы писателей стран Азии и Африки. 336 стр. Цена 5 р. 90 к.

**Ж. Верн, А. Лори.** Найденыш с погибшей «Цинтии». Роман. Перевод с французского. 240 стр. Цена 6 р. 25 к.

**Я. Волчек.** Рассказы о капитане Бурунце. 360 стр. Цена 6 р. 60 к.

**С. Григорьев.** Собрание сочинений в четырех томах. Том I. 480 стр. Цена 10 р.

**Дети Индии.** Рассказы индийских писателей. Переводы с хинди. 176 стр. Цена 3 р. 60 к.

**Детская литература.** 1959 год. Сборник статей. 176 стр. Цена 4 р. 75 к.

**Н. Емельянова.** Родной дом. Повесть. 272 стр. Цена 5 р. 35 к.

**Т. Иванова.** Четыре лета. Лермонтов в Середникове. 96 стр. Цена 4 р. 65 к.

**Л. Кассиль.** Про жизнь совсем хорошую. Очерки. 128 стр. Цена 3 р.

**П. Клушанцев.** К другим планетам! 64 стр. Цена 6 р. 50 к.

**Н. К. Крупская.** Моя жизнь. 66 стр. Цена 1 р. 80 к.

**Ради великой цели.** Слово делегатов XXI съезда КПСС. 224 стр. Цена 7 р. 10 к.

**Н. Тихонов.** Стихи о Китае. 48 стр. Цена 1 р. 55 к.

### СЕЛЬХОЗГИЗ

**Иржи Карлик.** Единые сельскохозяйственные кооперативы Чехословакии. 153 стр. Цена 2 р. 10 к.

**Коллектив авторов.** Славный почин рязанцев. 114 стр. Цена 1 р. 15 к.

**Коллектив авторов.** Яровая пшеница. 374 стр. Цена 6 р. 55 к.

**Н. А. Филатов.** Пригородное овощеводство. 427 стр. Цена 7 р. 25 к.

### ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Г. Н. Александров, Н. С. Алексеев, Б. А. Галкин и другие.** Вопросы судопроизводства и судостроительства в новом законодательстве Союза ССР. 476 стр. Цена 13 р. 80 к.

**Высшие органы государственной власти стран народной демократии (Сборник нормативных актов).** Выпуск 1. Европейские страны. 456 стр. Цена 5 р. 60 к.

**В. Д. Попков.** Критика буржуазно-реформистской теории «государства благоденствия». 80 стр. Цена 95 к.

**Сборник постановлений и определений Верховного Суда РСФСР по трудовым делам (1953—1958 гг.).** 244 стр. Цена 5 р. 85 к.

**Ежи Старостяк.** Правовые формы административной деятельности. 332 стр. Цена 9 р. 30 к.

**А. И. Трусов.** Основы теории судебных доказательств (Краткий очерк). 176 стр. Цена 4 р. 80 к.

**Е. В. Шорина.** Коллегиальность и единоначалие в советском государственном управлении. 112 стр. Цена 3 р.

---

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Зак** (ответственный секретарь), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

---

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

---

Сдано в набор 23/II 1960 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 21/III 1960 г.  
А 00367. Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 90.200.  
Зак. № 405.

---

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.